



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

UC-NRLF



B 3 723 368

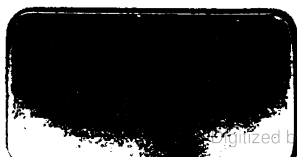
вскій.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Томъ II.—Вып. 5.

(Русская литература 30—40 г.г. XIX в.)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНИЕ БР. БАШМАНОВЫХЪ.
1908.



H. Thompson

**Въ продажѣ имѣются сочиненія прив.-доц. Имп. Спб.
Университета В. В. Сиповскаго:**

1) ИСТОРИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, ч. I, вып. 1-й, „Народная словесность“, изд. 3-е; вып. 2-й, „Исторія русской письменности отъ XI до XVIII в.“, изд. 3-е; ч. II, „Русская литература XVIII-го, начала XIX в.“, изд. 2-е; ч. III, вып. 1-й, „Пушкинъ, Гоголь и Бѣлинскій“; вып. 2-й, „Русская литература послѣ Пушкина и Гоголя“.

Ученымъ Комитетомъ М. Н. Пр. это сочиненіе допущено въ качествѣ РУКОВОДСТВА въ старшіе классы мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

2) ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРЕСТОМАТІЯ.

Первое изданіе было допущено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Пр. въ качествѣ учебнаго пособія въ старшіе классы мужскихъ и женскихъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Томъ I-й, вып. 1-й, „Народная словесность“; вып. 2-й, „Русская литература до Петра“; вып. 3-й, „Русская литература отъ Петра до Карамзина“; томъ II, вып. I, „Русская литература XVIII—XIX в.“: Сентиментальное направленіе (Карамзинъ, Чулковъ, В. и А. Измайловы, Кн. Шаликовъ); Народническое направленіе (Ив. Дмитріевъ, Нелединскій-Мелецкій, Н. Львовъ, Чулковъ, Аблесимовъ и др.); вып. 2-й, „Русская литература 20—30-ыхъ годовъ XIX ст.“: Романтическое направленіе (Каменевъ, Жуковский); Классическое направленіе (Озоровъ, Батюшковъ); вып. 3-й, „Русская литература 20—30-хъ годовъ“: Реалистическое направленіе (И. Дмитріевъ, А. Измайловъ, И. Крыловъ, А. Грибоѣдовъ, Нарѣжный); Народническое направленіе (Мерзляковъ, Ершовъ, Растопчинъ); вып. 4-й, „Русская литература 20—40-хъ годовъ“ (Пушкинъ и Гоголь); вып. 5-й, „Русская литература 30—40-хъ годовъ“ (Кольцовъ, Лермонтовъ, Бѣлинскій); т. III, „Русская литература 40—70-хъ годовъ“ (Майковъ, Полонскій, Фетъ, Тютчевъ, Ал. Толстой, Некрасовъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Л. Толстой и Достоевскій).

3) ПУШКИНЪ, ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО. Содержаніе: Въмѣсто предисловія: „Русская литература до Пушкина“; „Въ родной семьѣ“; „Въ Царскомъ Селѣ“; „Въ Петербургѣ“; „На югѣ“; „Въ селѣ Михайловскомъ“; „На волѣ“; „Въ тихой пристани“; „Русланъ и Людмила“; „Пушкинъ; Байронъ и Шатобрианъ“; „Полтава“ и „Борисъ Годуновъ“; „Исторія села Горохина“; „Онѣгинъ“, „Ленскій“, „Татьяна“. 617 стр. Ц. 3 р. 50 к.

Сочиненіе это включено въ каталогъ книгъ, рекомендуемыхъ Мин. Нар. Пр. въ составъ ученическихъ библіотекъ.



ІЯ

ости
ТИ.

У-ыхъ годовъ

КІЙ.

и"
ой.

*Просе. въ качествѣ
фр. Просе.; вследствие
ебн. завед. Внд. Импе-
Торговли и Промыш-*

ОВЫХЪ.

Sipovskii, V. V.
Istoricheskaja
ИСТОРИЧЕСКАЯ
khrestomatia
ХРЕСТОМАТІЯ
slovesnosti
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Составилъ В. В. СИПОВСКІЙ.

Т. II, вып. 5-й: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 30 — 40-ыхъ годовъ
XIX в.

КОЛЬЦОВЪ, ЛЕРМОНТОВЪ, БЪЛИНСКІЙ.

ПРИМѢНИТЕЛЬНО КЪ „ИСТОРИИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ“
ТОГО ЖЕ АВТОРА Ч. III вып. 1-ый и ч. III вып. 2-ой.

Томъ I былъ допущенъ Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. въ качествѣ учебнаго пособія въ среднеучебныя заведенія Мин. Нар. Просв.; вслѣдствіе такого постановленія книга эта допускается и въ учебн. завед. Вѣд. Императрицы Маріи Ѳеодоровны и учебн. заведенія Мин. Торговли и Промышленности.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНИЕ Бр. БАШМАКОВЫХЪ.
1908.

Цена въ переплетъ 1 р. 40 к.

JOHN STACE

JOHN STACE

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка, 86.

PG 2950

S5

1908

v. 2:5

Предисловіе.

Выпуская въ свѣтъ пятый выпускъ II-ой части своей „Исторической Хрестоматіи“, я считаю долгомъ выяснитъ тѣ соображенія, которыя заставили меня издать сочиненія Лермонтова, Кольцова и Бѣлинскаго въ *сокращенномъ видѣ*. Прежде всего, я полагалъ бы, что, съ педагогической точки зрѣнія, не все для учениковъ необходимо въ полныхъ собраніяхъ названныхъ авторовъ, а многое даже едва ли полезно (нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова). Затѣмъ на свою Хрестоматію я смотрю, какъ на „пособіе“ при прохожденіи учебниковъ по исторіи русской словесности (въ частности—моей „Исторіи русской словесности“, ч. III, вып. 1-й и 2-й),—и, съ этой точки зрѣнія, считаю себя въ правѣ дѣлать изъ сочиненій Кольцова, Лермонтова и Бѣлинскаго выборъ тѣхъ произведеній, которыя особенно характерны и для школы необходимы. Наконецъ, думаю, что для учениковъ гораздо удобнѣе имѣть подъ рукой весь нужный матеріалъ въ одной небольшой книгѣ, чѣмъ въ нѣсколькихъ томахъ; иногда приходится носить сочиненія писателя въ классъ,—это представляетъ для дѣтей большое неудобство. Думаю, что и въ этомъ случаѣ мое изданіе можетъ сослужить службу.

Считаю своимъ долгомъ поблагодарить уважаемаго В. И. Короленко за то, что онъ взялъ на себя трудъ корректуровать этотъ выпускъ.

Составитель.

Оглавление.

Кольцовъ	СТРАН. 1—10.
<p>„Пѣсня“ (Ты не пой, соловей)—1; „Не шуми ты, рожь...“—1; „Молодая жница“—1; „Косарь“—2; „Пѣснь разбойника“—3; „Пѣ- ня“—(Ахъ, зачѣмъ меня...)—3; „Лѣсъ“—4; „Пѣсня пахаря“—5; „Урожай“—5; „Раздумье селянина“—6; „Крестьянская пирушка“ —7; Что ты спишь, мужичокъ?...—7; „Первая пѣсня Лихача-Ку- дрявича“—8; „Вторая пѣсня Лихача-Кудрявича“—8; „Горькая доля“—9; „Передъ образомъ Спасителя“—9; „Божій міръ“—9; „Неразгаданная истина“—10; „Молитва“—10; „Поетъ“—10.</p>	
Лермонтовъ	11—152.
<p>ЛИРИКА.</p> <p>„Цѣвница“—11; „Портретъ“—11; „Панъ“—12; „Жалоба тур- ка“—12; „Два сокола“—12; „Мой демонъ“—12; „Къ другу“—13; „Монологъ“—13; „Молитва“—13; „Пѣсня“—13; „Люблю я цѣпи синихъ горъ...“—14; „Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень...“—14; „Къ ***“—14; „Романсъ“—15; „Эпитафія“—15; „Кавказъ“—15; „Отры- вокъ“—15; „Къ ***“—16; „10 Іюля 1830 года“—16; „Привѣтствую тебя...“—16; „У вратъ обители святой...“—16; „Парижъ 30 Іюля 1830 года“—17; „Не говори...“—17; „Къ Л***“—17; „Смерть“—17; „Рас- каѣнье“—18; „Ангель“—18; „1831 Января“—18; „Вверху одна...“—18; „Толпѣ“—19; „1831 года Іюня 11“—19; „Къ ***“—23; „Желаніе“—23; „7-го Августа“—23; „Воля“—24; „Сентября 23“—24; „Небо и звѣзды“—24; „Когда-бъ въ покорности незнанья...“—25; „Я видѣлъ тѣнь блаженства...“—25; „Ужасная судьба...“—25; „Стансы“—26; „На картину Рембрандта“—26; „Волны и люди“—27; „Ты мо- лодъ...“—27; „Нѣтъ, я не Байронъ...“—27; „Потокъ“—27; „Къ ***“—27; „Мой демонъ“—28; „Хоть давно измѣнила мнѣ радость...“—28; „Стансы“—28; „Къ себѣ“—29; „Душа моя должна прожить...“—29; „Къ ***“—29; „Сонетъ“—29; „Къ ***“—30; „Послушай, быть мо- жеть...“—30; „Парусъ“—30; „Опять народные вѣтія...“—30; „Еврей- ская мелодія“—31; „Желаніе“—31; „Гляжу на будущность съ боязнью...“—31; „Молитва“—31; „На смерть Пушкина“—32; „Вѣтка</p>	
	11—43.

Палестины"—33; „Узникъ"—33; „Когда волнуется желтѣющая нива..."—33; „Дума"—34; „Ребенку"—34; „Молитва"—35; „Не вѣрь себѣ..."—35; „Памяти Александра Ивановича Одоевскаго"—36; „Поэтъ"—37; „Казацья колыбельная пѣснь"—37; „Журналистъ, читатель и писатель"—38; „И скучно, и грустно..."—39; „Изъ Гёте"—39; „Тучи"—39; „Сосна"—39; „Изъ альбома"—39; „Слышу-ли голосъ твой..."—40; „Есть рѣчи—значенье..."—40; „Оправданіе"—40; „Родина"—40; „Кинжалъ"—41; „Плѣнный рыцарь"—41; „Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ..."—41; „Не смѣйся надъ моей пророческой тоскою..."—41; „Сонъ"—42; „Утѣсь"—42; „Изъ Гейне"—42; „Дубовый листокъ оторвался..."—42; „Выхожу одинъ я на дорогу..."—43; „Пророкъ"—43.

БАЛЛАДЫ И ПОЭМЫ 43—88

„Умирающій Гладіаторъ"—43; „Два великана"—44; „Бородино"—44; „Три пальмы"—45; „Дары Терека"—46; „Воздушный корабль"—47; „Споръ"—48; „Валерикъ"—49; „Измаиль-Бей"—51; „Хаджи-Абрекъ"—62; „Бояринъ Орша"—64; „Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова"—70; „Мцыри"—76; „Демонъ"—81.

ДРАМЫ 88—99

„Маскарадъ"—88.

РОМАНЫ 99—151

„Герой нашего времени"—99; („Бѣла"—100; „Максимъ Максимычъ"—113; „Журналь Печорина"—118; „Княжна Мэри"—119).

Бѣлинскій 152—386.

„Литературныя мечтанія"—152; „Менцель, критикъ Гёте"—211; „Очерки Бородинскаго сраженія"—235; „Изъ критическихъ отзывовъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ"—258 („Народность, гуманность и художественность—отличительныя черты поэзіи Пушкина"—258; „Евгеній Онѣгинъ"—263; „Борисъ Годуновъ"—296); „Повѣсти Гоголя"—313; „Ревизоръ"—327; „Стихотворенія Лермонтова"—342; „Герой нашего времени"—370; „Стихотворенія Кольцова"—376.



КОЛЬЦОВЪ.

П ѣ с н я.

Ты не пой, соловей,
Подъ моимъ окномъ;
Улети ты въ лѣса
Моей родины!

Полюби ты окно
Души-дѣвицы;
Прощебечь нѣжно ей
Про мою тоску...

Ты скажи, какъ безъ ней
Сохну, вяну я,
Что трава на степи
Передъ осенью.

Безъ нея ночью мнѣ
Мѣсяцъ сумраченъ;
Среди дня безъ огня
Ходить солнышко.

Безъ нея кто меня
Приметь ласково?
На чью грудь отдохнуть
Склоню голову?

Безъ нея на чью рѣчь
Улыбнуса я?
Чья мнѣ пѣснь, чей привѣтъ
Будетъ по-сердцу?

Что жъ поешь, соловей,
Подъ моимъ окномъ?
Улетай, улетай
Къ душѣ-дѣвицѣ!

—
Не шуми ты, рожь.

Не шуми ты, рожь,
Спѣлымъ колосомъ!
Ты не пой, косарь,
Про широку степь!

Мнѣ не для чего
Собирать добро,
Мнѣ не для чего
Богатѣть теперь!

Прочилъ молодецъ,
Прочилъ доброе
Не своей душѣ —
Душѣ-дѣвицѣ.

Сладко было мнѣ
Глядѣть въ очи ей,
Въ очи, полныя
Полюбовныхъ думъ!

И тѣ ясны
Очи стухнули,
Спитъ могильнымъ сномъ
Красна дѣвица!

Тяжелѣй горы,
Темнѣй полночи
Легла на сердце
Дума черная!

Молодая жница.

Высоко стоятъ
Солнце на небѣ,
Горячо печетъ
Землю матушку.

Душно дѣвицѣ,
Грустно на полѣ,
Нѣтъ охоты жать
Колосистой ржи.

Всю сожгло ее
Поле жаркое,
Горить-горятъ все
Лицо бѣлое;

Голова со плечъ
На грудь клонится,
Колось сръзанный
Изъ рукъ валится...

Не съ-проста ума
Жница жнетъ—не жнетъ,
Глядитъ въ сторону,
Забывается.

Охъ, болить у ней
Сердце бѣдное,
Заронилось въ немъ
Небывалое!

Она пла вчерѣ—
Нерабочимъ днемъ,
Лѣсомъ пла себѣ
По малинушку;

Повстрѣчался ей
Добрый молодецъ;
Ужъ не въ первый разъ
Повстрѣчался онъ...

К о с а р ь.

Не возьму я въ толкъ,
Не придумаю...
Отчего же такъ
Не возьму я въ толкъ?
Охъ, въ несчастный день,
Въ безталанный часъ,
Безъ сорочки я
Родился на свѣтъ!
У меня ль плечо
Шире дѣдова;
Грудь высокая—
Моей матушки;
На лицѣ моемъ
Кровь отцовская
Въ молоко зажгла
Зорю красную;
Кудри черныя
Лежать скобкою;
Что работаю—
Все мнѣ спорится!...
Да, въ несчастный день,
Въ безталанный часъ,
Безъ сорочки я
Родился на свѣтъ!

Прошлой осенью,
Я за Грунюшку,

Дочку старосты,
Долго сватался;
А онъ, старый хрѣнь,
Заупрямился!
За кого же онъ
Выдастъ Грунюшку?—
Не возьму я въ толкъ,
Не придумаю...

Я ль за тѣмъ гонюсь,
Что отецъ ея
Богачомъ слыветъ?
Пускай домъ его—
Чаша полная!
Я ее хочу,
Я по ней крушусь;
Лицо бѣлое—
Заря алая,
Щеки полныя,
Глаза темныя
Свели молодца
Съ ума-разума...

Ахъ, вчерѣ по мнѣ
Ты такъ плакала!
Наотрѣзъ старикъ
Отказалъ вчерѣ...
Охъ, не свыкнуться
Съ этой горестью!..

Я куплю себѣ
Косу новую;
Отобью ее,
Наточу ее—
И прости-прощай,
Село рѣдное!
Не плачь, Грунюшка,—
Косой острою
Не подрѣжусь я...
Ты прости, село,
Прости, староста:
Въ края дальніе
Пойдетъ молодецъ:
Что внизъ по Дону,
По набережью
Хороши стоятъ
Тамъ слободушки!
Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемъ-травой
Разстилается!..
Ахъ ты, степь моя,

Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадвинулась!
Въ гости я къ тебѣ
Не одинъ пришелъ:
Я пришелъ самъ-другъ
Съ косою вострою;
Мнѣ давно гулять
По травѣ степной
Вдоль и поперекъ
Съ ней хотѣлося...

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни въ лицо,
Вѣтеръ съ полудня!
Освѣжи, взволнуй
Степь просторную!
Зажужжи, коса,
Засверкай кругомъ!
Зашуми, трава,
Подкошбная,
Поклонись, цвѣты,
Головой землѣ!
Наряду съ травой
Вы засохнете,
Какъ по Грулѣ я
Сохну, молодецъ!
Нагребу копенъ,
Намечу стоговъ,—
Дастъ казачка мнѣ
Денегъ пригоршни.
Я зашью казну,
Сберегу казну;
Ворочусь въ село—
Прямо къ старостѣ:
Не разжалобилъ
Его бѣдностью,
Такъ разжалоблю
Золотой казной!..

Пѣсня разбойника.

Не страшна мнѣ, добру мѣлодцу,
Волга-матушка широкая,
Лѣса темные, дремучіе,
Вьюги зимнія, крещенскія...

Ужъ какъ было: по темнымъ лѣсамъ
Пировалъ я зимы круглая;
По чужимъ краямъ, на свой талантъ,
Погулялъ я, поохотился.

А по Волгѣ—моей матушкѣ,
По родимой, по кормилицѣ,
Вмѣстѣ съ братьями, за добычю
На край свѣта леталъ соколомъ.

Но не Волга, лѣса темные,
Вьюги зимнія—крещенскія
Погубили мою голову,
Сокрушили мочь желѣзную...

Въ некрещеномъ славномъ городѣ,
На крутомъ, высокомъ островѣ,
Живетъ дѣвушка-красавица,
Дочка гости новгородскаго...

Она въ теремѣ, что зорюшка,
Подъ окномъ сидитъ растѣбреннымъ:
Поетъ пѣсни задушевныя,
Наши братскія-отцовскія.

„Ахъ, душа ль моя ты, душенька!
Что сидишь ты! чтѣ ты думаешь?
Али рѣчь моя не по сердцу?
Али батюшка спесивится?..

Не сиди, не плачь;—ты кинь отца,
Ты бѣги ко мнѣ изъ терема;
Мы съ тобою, птицы вольныя,
Жить пойдѣмъ въ Москву красную“.

Отвѣчаетъ ему дѣвица:
„За любовь твою, мой милый другъ,
Рада кинуть отца съ матерью;
Но боюсь суда я страшнова!“

Забуду же, непогодушка,
Разгуляйся, Волга-матушка!
Ты возьми мою кручинушу,
Размечи волной по бережку...

Пѣсня.

Ахъ, зачѣмъ меня
Силой выдали
За немидова—
Мужа старова?
Небось весело
Теперь матушкѣ
Утирать мои
Слезы горькія!
Небось весело
Глядѣть батюшкѣ

На жить-бытьё
Горемычное!

Небось сердце въ нихъ
Разрывается,
Какъ приду одна
На великій день;

Отъ дружка дары
Принесу съ собой:
На лицѣ—печаль,
На душѣ—тоску!

Поздно, рбдные,
Обвинять судьбу,
Ворожить-гадать,
Сулить радости!

Пусть изъ-за моря
Корабли плывутъ,
Пуцай золото
На полъ сыплется:

Не расти травѣ
Послѣ осени;
Не цвѣсти цвѣтамъ
Зимой по снѣгу!

Л ѣ с ѣ .

Памяти А. С. Пушкина.

Что, дремучій лѣсъ,
Призадумался,
Грустью темною
Затуманился?

Что, Бова-силачъ
Заколдованный,
Съ непокрытою
Головой въ бою—

Ты стоишь—понижъ
И не ратуешь
Съ мимолетною
Тучей-бурею?

Густолиственный
Твой зеленый шлемъ
Буйный вихрь сорвалъ—
И развѣялъ въ прахъ;

Плащъ упалъ къ ногамъ
И рассыпался...
Ты стоишь—понижъ
И не ратуешь.

Гдѣ жъ дѣвалась
Рѣчь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?

У тебя ль, было,
Въ ночь безмолвную
Заливная пѣснь
Соловьиная...

У тебя ль, было,
Дни—роскошество:
Другъ и недругъ твой
Прохлаждаются.

У тебя ль, было,
Поздно вечеромъ
Грозно съ бурею
Разговоръ пойдетъ;

Распахнетъ она
Тучу черную,
Обойметъ тебя
Вѣтромъ-холодомъ...

И ты молившъ ей
Шумнымъ голосомъ:
„Вороти назадъ!
Держи около!“

Закружитъ она,
Разыграется...
Дрогнетъ грудь твою,
Зашатаешься;

Встрепенувшись,
Разбушуешься;
Только свистъ кругомъ,
Голоса и гулъ...

Буря всплachtetъ
Лѣшимъ, вѣдьмою,—
И несетъ свои
Тучи за море.

Гдѣ жъ теперь твою
Мочь зеленая?
Почернѣлъ ты весь,
Затуманился...

Одичалъ, замолѣлъ...
Только въ непогоду
Воешь жалобу
На безвременье...

Такъ-то, темный лѣсъ,
Богатырь-Бова!
Ты всю жизнь свою
Маялъ битвами;

Не осилили
Тебя сильные,
Такъ дорѣзала
Осень черная.

Знать, во время сна
Къ безоружному

Силы вражія
Понахлынули;
Съ богатырскихъ плечъ
Сняли голову—
Не большой горой,
А соломенкой...

Пѣсня пахаря.

Ну, тащися, сивка,
Пашней десятиной!
Выбѣлимъ желѣзо
О сырую землю.

Красавица-зорька
Въ небѣ загорѣлась;
Изъ большова лѣса
Солнышко выходить.

Весело на пашнѣ...
Ну! тащися, сивка!
Я самъ-другъ съ тобою,
Слуга и хозяинъ.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телѣгу готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вѣю...

Ну! тащися, сивка!

Пашенку мы рано
Съ сивкою распашемъ,
Зернышку сготовимъ
Колыбель святую.

Его вспоить, вскормить
Мать-земля сырая;
Выйдетъ въ полѣ травка...
Ну! тащися, сивка!

Выйдетъ въ полѣ травка—
Вырастетъ и колось,
Станетъ спѣть, рядиться
Въ золотыя ткани.

Заблеститъ нашъ серпъ здѣсь,
Завеняетъ здѣсь косы;
Сладокъ будетъ отдыхъ
На снопахъ тяжелыхъ!

Ну! тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою—
Водой ключевою.

Съ тихою молитвой
Я вспашу, поспѣю:
Уроди мнѣ, Боже,
Хлѣбъ—мое богатство!

У р о ж а й.

Краснымъ полымемъ
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туманъ стелется.

Разгорѣлся день
Огнемъ солнечнымъ,
Подобралъ туманъ
Выше темя горъ,

Нагустилъ его
Въ тучу черную.
Туча черная
Понахмурилась,

Понахмурилась,
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину...

Понесутъ ее
Вѣтры буйные
Во всѣ стороны
Свѣта бѣлова...

Ополчается
Громомъ, бурей,
Огнемъ, молніей,
Дугой-радугой;

Ополчилась—
И расширилась,
И ударила,
И пролилась

Слезой крупною—
Проливнымъ дождемъ
На земную грудь
На широкую.

И съ горы небесъ
Глядитъ солнышко;
Напилась воды
Земля досыта.

На поля, сады,
На зеленые,
Люди сельскіе
Не насмотрятся.

Люди сельскіе
Божьей милости

Ждали съ трепетомъ
И молитвою.

Заодно съ весной
Пробуждаются
Ихъ завѣтныя
Думы мирныя.

Дума первая:
Хлѣбъ изъ закрома
Насыпать въ мѣшки,
Убирать воза.

А вторая ихъ
Была думушка:
Изъ села гужомъ
Впору выѣхать.

Третью думушку
Какъ задумали,—
Богу-Господу
Помолилися;

Чѣмъ-свѣтъ по полю
Всѣ разѣхались,—
И пошли гулять

Другъ за дружкою,
Горстью полною
Хлѣбъ раскидывать.
И давай пахать
Землю плугами,
Да кривой сохой
Перепахивать,
Бороны зубѣмъ
Порасчесывать...

Посмотрю пойду,
Полюбуюся,
Что послалъ Господь
За труды людямъ?

Выше пояса
Рожь зернистая
Дремитъ колосомъ
Почти до земли;

Словно Божій гость,
На всѣ стороны
Дню веселому
Улыбается;

Вѣтерокъ по ней
Плыветъ-лоснится,
Золотой волной
Разбѣгается...

Люди сѣмьями...
Принялися жать,
Косить подъ корень
Рожь высокую

Въ копны частыя
Снопъ сложены;
Отъ воевъ всю ночь
Скрипитъ музыка.

На гумнахъ вездѣ,
Какъ князья, скирды
Широко сидятъ,
Поднявъ головы,

Видитъ солнышко—
Жатва кончена:

Холоднѣй оно
Пошло къ осени;
Но жарка свѣча
Поселянина
Предъ иконою
Божьей Матери.

Раздумье селянина.

Сяду я за столъ—
Да подумаю:
Какъ на свѣтѣ жить
Одиному?

Нѣтъ у молодца
Молодой жены,
Нѣтъ у молодца
Друга вѣрнова,
Золотой казны,
Угла теплова,
Бороны-сохи,
Коня-пахаря...

Вмѣстѣ съ бѣдностью,
Дать мнѣ батюшка
Лишь одинъ таланъ—
Силу крѣпкую;

Да и ту какъ разъ
Нужда горькая
По чужимъ людямъ
Всю истратила.

Сяду я за столъ—
Да подумаю:
Какъ на свѣтѣ жить
Одиному?

Крестьянская пирушка.

Ворота тесовы
Растворилися;
На коняхъ, на саняхъ
Гости въѣхали;
Имъ хозяинъ съ женой
Низко кланялись,
Со двора повели
Въ свѣтлу горенку.
Передъ Спасомъ святымъ
Гости молятся;
За дубовы столы,
За набранные,
На основныхъ скамьяхъ
Сѣли званые.
На столахъ куръ, гусей
Много жареныхъ.
Пироговъ, ветчины
Блюда полныя.

Бахромой, кисеей
Принаряжена,
Молодая жена,
Чернобровая,
Обходила подругъ
Съ поцѣлуями,
Разносила гостямъ
Чашку горькова;
Самъ хозяинъ, за ней,
Брагой хмельною
Изъ ковшей вырѣзныхъ
Родныхъ потчуетъ;
А хозяйская дочь
Медомъ сыченымъ
Обносила кругомъ,
Съ лаской дѣвичьей.

Гости пьютъ и ѣдятъ,
Рѣчи гуторять—
Про хлѣба, про покось,
Про старинушку:
Какъ-то Богъ и Господь
Хлѣбъ уродитъ намъ?
Какъ-то сѣно въ степи
Будетъ зелено?

Гости пьютъ и ѣдятъ,
Забавляются
Отъ вечерней зари
До полуночи.
По селу пѣтухи

Перекликнулись;
Призатаихъ говоръ, шумъ
Въ темной горенкѣ,—
Отъ воротъ поворотъ
Виденъ по снѣгу.

* * *

Что ты спишь, мужичокъ?
Вѣдь весна на дворѣ;
Вѣдь сосѣди твои
Работають давно.

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Что ты былъ? и что сталъ?
И что есть у тебя?

На гумнѣ—ни снопа,
Въ закромахъ—ни зерна;
На дворѣ, по травѣ—
Хоть шаромъ покати.

Изъ кѣтѣй домовою
Соръ метлою посмелъ,
И лошадокъ, за долгъ,
По сосѣдамъ развелъ.

И подъ лавкой сундукъ
Опрокинуть лежить;
И, погнувшись, изба,
Какъ старушка, стоять.

Вспомни время свое:
Какъ катилось оно
По полямъ и лугамъ
Золотою рѣкой,

Со двора и гумна
По дорожкѣ большой,
По селамъ, городамъ,
По торговымъ людямъ!
И какъ двери ему
Растворили вездѣ,
И въ почетномъ углу
Было мѣсто твое!

А теперь подъ окномъ
Ты съ нуждою сидишь,
И весь день на печи
Безъ просыпу лежишь;

А въ поляхъ, сиротой,
Хлѣбъ нескошенъ стоитъ:
Вѣтеръ точитъ зерно,
Птица клюетъ его!

Что ты спишь, мужичок?
Вѣдь ужъ лѣто прошло,
Вѣдь ужъ осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ.

Вслѣдъ за нею зима
Въ теплой шубѣ идетъ,
Путь снѣжкомъ порошитъ,
Подъ саями хруститъ.
Всѣ сосѣди на нихъ
Хлѣбъ везутъ, продаютъ,
Собираютъ казну,
Бражку ковшикомъ пьютъ.

Первая пѣсня Лихача-кудрявича.

Съ радости-веселья
Хмелемъ кудри вьются;
Ни съ какой заботы
Онѣ не сѣкутся.

Ихъ не гребень чешетъ—
Золотая доля,
Завиваетъ въ кольца
Молодецка удаля.

Не родись богатымъ,
А родись кудрявымъ:
По шучью вѣльню
Все тебѣ готово.

Чего душа хочетъ—
Изъ земли родится:
Со всѣхъ сторонъ прибыль
Ползетъ и валится.

Что шутя задумалъ,—
Пошла шутка въ дѣло;
А тряхнулъ кудрями,—
Въ одинъ мигъ поспѣло.

Не возьмутъ гдѣ лоскомъ,
Возьмутъ кудри силой;
А что худо,—смотришь,
По водѣ поплыло!

Любо жить на свѣтѣ
Молодцу съ кудрями,
Весело на бѣломъ
Съ черными бровями!

Во-время да впору
Медомъ рѣчи льются,
И съ утра до ночи
Пѣсенки поются.

Про тѣ рѣчи, пѣсни
Дѣвушки всѣ знаютъ—

И о кудряхъ зиму,
Ночь не спать,—гадаютъ.

Честь и слава кудрямъ!
Пусть ихъ волосъ вьется!
Съ ними все на свѣтѣ
Ловко удастся!

Не подь шапку горе
Головѣ кудрявой!
Разливайтесь, пѣсни!
Ходи, парень, браво!

Вторая пѣсня Лихача-кудрявича.

Въ золотое время
Хмелемъ кудри вьются;
Съ горести-печали
Русыя сѣкутся.

Ахъ, сѣкутся кудри!
Любить ихъ забота;
Полюбить забота,—
Не чешетъ и гребень!

Не родись въ сорочкѣ,
Не родись таланливъ:
Родись терпѣливымъ
И на все готовымъ.

Вѣкъ прожить—не поле
Пройти за сохою;
Кручину, что тучу,
Не уносить вѣтромъ.

Зла бѣда—не буря:
Горами качаетъ,
Ходитъ невидимкой,
Губить безъ разбору.

Отъ ея напасти
Не уйти на лыжахъ:
Въ чистомъ поле найдеть,
Въ темномъ лѣсѣ сыщеть;

Чуешь только сердцемъ:
Придетъ, сядетъ рядомъ,
Объ руку съ тобою
Пойдетъ и поведетъ...

И щемить, и ноетъ,
Болитъ ретивое:
Все—изъ рукъ вонъ плохо,
Нѣтъ ни въ чемъ удачи.

То—скосило градомъ,
То—сняло пожаромъ...
Чистъ кругомъ и легокъ,
Никому не нуженъ...

Къ старикамъ на сходеу
Выйти приневолять,—
Старыя лаптишки
Безъ онучъ обуешь;
Кафтанишка рваный
На плеча натянешь;
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь...
Тихомолкомъ станешь
За чужія плечи...
Пусть не видятъ люди
Прожитова счастья!

Горькая доля.

Соловьѣмъ залетнымъ
Юность пролетѣла;
Волной въ непогоду
Радость прошумѣла.
Пора золотая
Была, да сокрылась;
Сила молодая
Съ тѣломъ износилась;
Отъ кручины-думы
Въ сердцѣ кровь застыла;
Что любишь, какъ душу,—
И то измѣнило.
Какъ былинку, вѣтеръ
Молодца шатаетъ;
Зима лицо знобитъ,
Солнце—сожигаетъ.
До поры—до время
Всѣмъ я весь изжилъ,
И кафтанъ мой синій
Съ плечъ долой свалился!
Безъ любви, безъ счастья
По міру скитаюсь:
Разойдусь съ бѣдою,—
Съ горемъ повстрѣчаюсь!
На крутой горѣ
Росъ зеленый дубъ;
Подъ горой теперь
Онъ лежитъ—гнѣтъ...

Передъ образомъ Спасителя.
Предъ Тобою, мой Богъ,
Я свѣчу погасилъ;

Премудрую книгу
Предъ Тобою закрылъ.
Твой небесный огонь
Негасимо горитъ;
Везконечный твой міръ
Предъ очами раскрытъ;
Я съ любовью къ Тебѣ
Погружаюсь въ немъ;
Со слезами стою
Передъ свѣтлымъ лицомъ!
И напрасно весь міръ
На Тебя возставалъ,
И напрасно на смерть
Онъ Тебя осуждалъ:
На крестѣ, подъ вѣнцомъ,
И спокоенъ, и тихъ,
До конца Ты молилъ
За злодѣевъ своихъ!

Божій міръ.

Отецъ свѣта—вѣчность;
Сынъ вѣчности—сила;
Духъ силы есть жизнь:
Міръ жизнью кипитъ.
Вездѣ Тріединный,
Воззавшій все къ жизни!
Нѣтъ вѣка Ему!
Нѣтъ мѣста Ему!
Съ величества трона,
Съ престола чудесъ
Божій образъ—солнце
Къ намъ съ неба глядитъ,
И днемъ повѣряетъ
Всемирную жизнь.
Въ другомъ мѣстѣ неба
Оно отразилось,—
И мѣсяцемъ землю
Всю ночь сторожитъ.
Тьма, на конѣ ночи
И живой прохлады,
Всѣ стихіи міра
Сномъ благословляетъ.
Въ царствѣ Божьей воли,
Въ переливахъ жизни,
Нѣтъ безсильной смерти,
Нѣтъ бездушной жизни!

Неразгаданная истина.

Цѣлый вѣкъ я рылся
Въ тайнствахъ вселенной,
До сѣдинъ учился
Мудрости священной.
Всѣ вѣка были
Съ новыми повѣриль;
Чудеса земныя
Опытомъ измѣриль.
Мелкія причины
Тѣшились людьми;
Карлы-властелины
Двигали міраи.
Райскія долины
Кровью обливались;
Карлы-властелины
Въ бездну низвергались.
Гдѣ пройдетъ коварство
Съ злобою людскою—
Тамъ въ обломкахъ царство
Зарастетъ травой...
Племена другія
На нихъ поселятся,
Города большіе
Людьми разродятся.
Сторона пустая
Снова запарюетъ—
И жизнь молодая
Шумно запируетъ!
Подсѣку жъ я крылья
Дерзкому сомнѣнью,
Проклянута усилія
Къ тайнамъ Провидѣнья!
Умъ нашъ не шагаетъ
Міра за границу,—
Наобумъ мѣшаетъ
Съ былью небылицу.

Молитва.

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вѣра,
Какъ пламя молитвы!
Но, Боже, и вѣръ
Могила темна!
Что слухъ мой замѣнить?
Потухшія очи?
Глубокое чувство
Остыившаго сердца?

Что будетъ жизнь духа
Безъ этого сердца?

На крестѣ, на могилу,
На небо, на землю,
На точку начала
И цѣли твореній
Творецъ Всемогушій
Накинулъ завѣсу,
Печать наложилъ...

Печать та навѣки;
Ея не расторгнуть
Міры, разрушаясь,
Огонь не растопить,
Не смоетъ вода!..

Прости жъ мнѣ, Спаситель,
Слезу моей грѣшной
Вечерней молитвы:
Во тьмѣ она свѣтитъ
Любовью къ Тебѣ...

Поэтъ.

Въ душѣ человѣка
Возникаютъ мысли,
Какъ въ дали туманной
Небесныя звѣзды...

Міръ есть тайна Бога,
Богъ есть тайна жизни;
Цѣлая природа—
Въ душѣ человѣка.

Проникнуты чувствомъ,
Согрѣты любовью,
Изъ нея всѣ силы
Въ образахъ выходятъ...

Властелинъ-художникъ
Создаетъ картину—
Великую драму,
Исторію царства.

Въ нихъ духъ вѣчной жизни,
Самъ себя сознавши,
Въ видахъ безконечныхъ
Себя проявляетъ;

И живетъ столѣтъя,
Умъ нашъ поражая,
Надъ бездушной смертью
Вѣчно торжествуя.

Дивныя созданья
Мысли всемогущей!
Весь міръ передъ вами
Со мной исчезаетъ

Лермонтовъ.

Лирическія стихотворенія.

Цѣвница.

На склонѣ горъ, близъ водъ, прохо-
жій, зрѣлъ ли ты
Бесѣдку тайную, гдѣ грустныя мечты
Сидятъ, задумавшись? Надъ ними сводъ
акацій:

Тамъ нѣкогда стоялъ алтарь и музъ,
и грацій;
И кустъ прелестныхъ розъ, взлелѣян-
ныхъ весной,
Тамъ нѣкогда крутомъ черемухи млеч-
ной

Струилъ свой ароматъ; шума, съ при-
брежной ивой
Шутилъ подчасъ зефиръ и рѣзвый, и
игривый;

Тамъ нѣкогда моя послѣдняя любовь
Питала сердце мнѣ и волновала кровь!..
Сокрылось все теперь, какъ поутру
туманы

Отъ солнечныхъ лучей рѣдѣютъ средь
поляны.

Исчезло все теперь! ноты осталась мнѣ,
Утѣха страждущихъ, спасенье въ ти-
шинѣ,

О милое, души святое воспоминанье!
Тебѣ жъ, о мирный кровь, тѣхъ дней,
когда страданье

Не вѣдало меня, я сохранилъ залогъ,
Который умертвить не можетъ гроз-
ный рокъ—

Мое веселіе, ужъ взятое гробницей,
И ржавый предковъ мечъ съ задум-
чивой цѣвницей.

Портретъ.

Онъ не красивъ, онъ не высокъ,
Но взоръ горитъ, любовь сулитъ;
И на челѣ оставилъ рокъ,
Средь юныхъ дней, печать страстей.
Власы на немъ какъ смоль черны;
Блѣдны всегда его уста;
Открыты ль, сомкнуты ль они,
Ліютъ безъ словъ языкъ боговъ!..
И пылокъ онъ, когда надъ нимъ
Грозитъ бѣдой перунъ земной!
Не любить онъ и славны дымъ:
Средь тайныхъ мукъ, свободы другъ,
Смѣется рѣдко; чаще—вновь
Клянеть онъ міръ, гдѣ вѣчно сирь,
Коварность, зависть и любовь.
Все проклялъ онъ, какъ лживый сонъ,
Какъ призракъ дымныя мечты.
Холодный умъ, средь мрачныхъ думъ,
Не тронуть слезы красоты.
Вездѣ одинъ, природы сынъ,
Не зналъ онъ друга межъ людей;
Такъ бури токъ сухой листокъ
Мчитъ жертвой посреди степей!..

Панъ.

Въ древнемъ родѣ.

Люблю, друзья, когда за рѣчкой гас-
нетъ день,
Укрывшись лѣсовъ въ таинственную
сѣнь,
Или подъ вѣтвями пустынныхъ рябины,
Смотрѣть на синія туманныя равнины.
Тогда приходитъ Панъ съ толпою
пастуховъ
И пляшетъ вокругъ меня на бархатѣ
луговъ.
Но чаще богъ овецъ ко мнѣ въ уеди-
ненье
Является, ведя святое вдохновенье:
Главу рогатую ласкаетъ легкій хмель,
Въ одной рукѣ его—стаканъ, въ дру-
гой свирѣль.
Онъ учить пѣть меня, а я въ тиши
дубравы
Играю и пою, не зная жажды славы.

Жалоба турна.

Отрывокъ.

Ты зналъ ли дикій край, подъ зной-
ными лучами,
Гдѣ рощи и луга поблекшіе цвѣтутъ,
Гдѣ хитрость и безпечность злобѣ данъ
несутъ,
Гдѣ сердце жителей волнуемо стра-
стями,
И гдѣ являются порой
Умы и хладныя, и твердые, какъ ка-
мень,
Но мощь ихъ давится безвременной
тоской
И рано гаснетъ въ нихъ добра спо-
койный пламень.
Тамъ рано жизнь тяжка бываетъ для
людей,
Тамъ за успѣхами несется укоризна,
Тамъ стонетъ человекъ отъ рабства
и цѣпей!...
Другъ! этотъ край—моя отчина!..

Два сокола.

Степь, синѣя, разстилалась
Близъ азовскихъ береговъ;
Западъ гасъ и ночь спускалась;
Вихрь скользилъ между холмовъ.
И, тряхнувшись, въ полѣ дикомъ
Сѣрый соколъ тихо сѣлъ;
И къ нему съ отвѣтнымъ крикомъ
Братъ стрѣлою прилетѣлъ.
„Братецъ, братецъ, что ты видѣлъ?
Расскажи мнѣ поскорѣй!“
—Ахъ! я свѣтъ возненавидѣлъ
И безжалостныхъ людей.
„Что жъ ты видѣлъ тамъ худого?“
—Кучу каменныхъ сердецъ:
Дѣвы—смѣхъ тоска милого,
Для дѣтей—тиранъ отецъ.
Дѣвы мукой слезъ правдивыхъ
Веселятся, какъ игрой,
И у ногъ самолюбивыхъ
Гибнутъ юноши толпой!...
Братецъ, братецъ, ты что жъ видѣлъ?
Расскажи мнѣ поскорѣй!
„Свѣтъ и я возненавидѣлъ
И измѣнчивыхъ людей.
Ношею обмановъ скрытыхъ
Юность тамъ удручена,
Вспоминаній ядовитыхъ
Старость мрачная полна.
Гордость, вѣрь ты мнѣ, прекрасной
Забывается порой;
Но измѣна дѣвы страстной—
Ножъ для сердца вѣковой!...“

Мой демонъ.

Собранье золъ—его стихія.
Носясь межъ дымныхъ облаковъ,
Онъ любитъ бури роковыя
И пѣну рѣкъ, и шумъ дубровъ.
Межъ листьевъ желтыхъ, облетѣв-
шихъ,
Стоитъ его недвижный тронъ;
На немъ, средъ вѣтровъ онѣмѣвшихъ,
Сидитъ унылъ и мраченъ онъ...
Онъ недовѣрчивость вселяетъ,
Онъ прѣзрѣлъ чистую любовь.

Онъ всё моленья отвергаетъ,
Онъ равнодушно видитъ кровь;
И звукъ высокихъ ощущений
Онъ давить голосомъ страстей,
И муза кроткихъ вдохновеній
Страшится неземныхъ очей.

Къ другу.

Отрывокъ.

Стремится медленно толпа людей
До гроба самого отъ самой колыбели,
Игралищемъ и рока, и страстей,
Къ одной святой, неизъяснимой цѣли.
И я къ высокому, въ порывѣ думъ
живыхъ,
И я душой летѣлъ во дни былые;
Но мнѣ мнѣй страданія земныя—
Я къ нимъ привыкъ, я не оставляю
ихъ!...

Монологъ.

Повѣрь, ничтожество есть благо въ
здѣшнемъ свѣтѣ!...
Къ чему глубокія познанья, жажда
славы,
Талантъ и пылкая любовь свободы,
Когда мы ихъ употребить не можемъ?
Мы, дѣти сѣвера, какъ здѣшнія ра-
стенья,
Цвѣтемъ недолго, быстро увядаемъ...
Какъ солнце зимнее на сѣромъ небо-
склонѣ,
Такъ пасмурна жизнь наша, такъ не-
долго
Ея однообразное теченье...
И душно кажется на родинѣ,
И сердцу тяжело, и душа тоскуетъ,
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустыхъ томится юность
наша,
И быстро злобы ядъ ее мрачить,
И намъ горька остыллой жизни чаша,
И ужъ ничто души не веселить.

Молитва.

Не обвиняй меня, Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мракъ земли могильный
Съ ея страстями я люблю;
За то, что рѣдко въ душу входитъ
Живыхъ ручей Твоихъ струя;
За то, что въ заблужденіи бродить
Мой умъ далеко отъ Тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочетъ на груди моей;
За то, что дикія волненья
Мрачатъ стекло моихъ очей;
За то, что міръ земной мнѣ тѣсенъ,
Къ Тебѣ жъ проникнуть я боюсь,
И часто звукомъ грѣшныхъ пѣсень
Я, Боже, не Тебѣ молюсь.
Но угаси сей чудный пламень—
Всесожигающій костеръ,
Преобрази мнѣ сердце въ камень,
Останови голодный взоръ;
Отъ страшной жажды пѣснопѣнья
Пускай, Творецъ, освобожусь;
Тогда на тѣсный путь спасенья
Къ Тебѣ я снова обращусь.

Пѣсня.

Желтый листъ о стебель бьется
Передъ бурей;
Сердце бѣдное трепещетъ
Предъ несчастьемъ.
Что за важность, если вѣтеръ
Мой листокъ одинокій
Унесетъ далеко, далеко...
Пожалѣетъ ли объ немъ
Вѣтка сирая?
Зачѣмъ грустить молодцу,
Если рокъ судилъ ему
Угаснуть въ краю чужомъ?
Пожалѣетъ ли объ немъ
Красна дѣвица?

* * *

Люблю я цѣпи синихъ горъ,
Когда, какъ южный метеоръ,
Ярка безъ свѣта и красна
Всплываетъ изъ-за нихъ луна,
Царица лучшихъ думъ пѣвца
И лучший перлъ того вѣнца
Которымъ сводъ небесъ порой
Гордится, будто царь земной.
На западѣ вечерній лучъ
Еще горитъ на ребрахъ тучъ
И уступить все медлитъ онъ
Лунѣ—угрюмый небосклонъ.
Но скоро гаснетъ лучъ зари...
Высоко мѣсяцъ... Двѣ или три
Младныя тучки окружатъ
Его сейчасъ... Вотъ весь нарядъ,
Которымъ бѣлое чело
Ему убрать позволено.—
Кто не знавалъ такихъ ночей
Въ ущельяхъ горъ или средѣ степей?
Однажды, при такой лунѣ,
Я мчался на лихомъ конѣ
Въ пространствѣ голубыхъ долинъ,
Какъ вѣтеръ, волею и одинъ.
Туманный мѣсяцъ и меня,
И гриву, и хребетъ коня
Сребристымъ блескомъ осыпалъ;
Я чувствовалъ, какъ онъ дышалъ,
Какъ онъ, ударивши ногой,
Отбрасываемъ былъ землей;
И я въ чудесномъ забытѣ
Движенья сковывалъ свои,
И съ нимъ себя желалъ я слить,
Чтобъ этимъ бѣгъ нашъ ускорить.
И долго такъ мой конь летѣлъ...
И вокругъ себя я поглядѣлъ:
Все та же степь, все та жъ луна...
Свой взоръ ко мнѣ склонивъ, она,
Казалось, упрекала въ томъ,
Что человекъ съ своимъ конемъ
Хотѣлъ владычество степей
Въ ту ночь оспаривать у ней!..

* * *

Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень,
Не нуженъ въ мѣрѣ я;

Хоть сердце тяжело, какъ камень.
Но все подъ нимъ змѣя.
Меня спасало вдохновенье
Отъ мелочныхъ суетъ;
Но отъ своей души спасенъ я
И въ самомъ счастьи нѣтъ.
Можно о счастьи, бывало...
Дождался наконецъ—
И тягостно мнѣ счастье стало,
Какъ для царя вѣнецъ.
И, всѣ мечты отвергнувъ, снова
Остался я одинъ,
Какъ замакъ мрачнаго, пустого
Ничтожный властелинъ.

Къ ***

Я не унижусь предъ тобою:
Ни твой привѣтъ, ни твой укоръ
Не властны надъ моею душою.
Знай, мы чужіе съ этихъ поръ.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденія не отдамъ:
И такъ пожертвовалъ я годы
Твоей улыбкѣ и глазамъ,
И такъ я слишкомъ долго видѣлъ
Въ тебѣ надежду юныхъ дней,
И цѣлый міръ возненавидѣлъ,
Чтобы тебя любить сильнѣй!
Какъ знать? Быть можетъ, тѣ мгновенья,
Что протекли у ногъ твоихъ,
Я отнималъ у вдохновенія!
А чѣмъ ты замѣнила ихъ?..
Быть можетъ, мыслию небесной
И силой духа убѣжденъ,
Я далъ бы міру даръ чудесный,
А мнѣ за то—безсмертье онъ?..
Зачѣмъ такъ нѣжно общалась
Ты замѣнить его вѣнецъ,
Зачѣмъ ты не была сначала,
Какою стала наконецъ?..

Я былъ готовъ на смерть и муку,
И цѣлый міръ на битву звать,
Чтобы твою младую руку—
Безумецъ!—лишній разъ пожать.
Не зная коварную измѣну,
Тебѣ я душу отдавалъ;

Такой души ты знала ль цѣну?
Ты знала—я тебя не зналъ.

* * *

Но свѣтъ чего не уничтожить,
Что благородное снесетъ,
Какую душу не сожжетъ,
Чье самолюбье не умножитъ,
И чьихъ не обольститъ очей
Нарядной маскою своей?

Романсъ.

Стояла сѣрая скала
На берегу морскомъ.
Однажды на чело ея
Слетѣлъ небесный громъ,
И раздвоилъ ее ударъ—
И новою тропой
Между разрозненныхъ камней
Течетъ потокъ сѣдой.
Вновь двумъ утесамъ не сойтись,
Но все они хранятъ
Союза прежняго слѣды—
Глубокихъ трещинъ рядъ.
Такъ мы съ тобою разлучены
Злословіемъ людскимъ,
Но для тебя я никогда
Не сдѣлаюсь чужимъ.
И мы не встрѣтимся опять,
И если предъ тобою
Меня случайно назовутъ,
Ты спросишь: кто такой?
И, проклиная жизнь мою,
На память приведешь
Былое... и одну себя
Невольно проклянешь,
И не изгладить ты никакъ
Изъ памяти своей
Не только чувствъ и словъ моихъ—
Минуты прежнихъ дней!..

Эпитафія.

Прости! увидимся ль мы снова?
И смерть захочетъ ли свести
Двѣ жертвы жребія земного!
Какъ знать! Итакъ, прости, прости!
Ты далъ мнѣ жизнь, но счастья не
далъ;

Ты самъ на свѣтѣ былъ гонимъ,
Ты въ людяхъ только зло извѣдалъ,
Но понимаемъ былъ однимъ.
И тотъ одинъ, когда, рыдая,
Толпа склонялась надъ тобою,
Стоялъ, очей не отирая,
Небрежный, холодный и нѣмой.
И всѣ, не вѣдая причины,
Винили дерзостно его,
Какъ будто мигъ твоей кончины
Былъ мигомъ счастья для него.
Но что ему ихъ восклицанья?
Безумцы! не могли понять,
Что легче плакать, чѣмъ страдать,
Безъ всякихъ признаковъ страданья!

Кавказъ.

Хотя я судьбой, на зарѣ моихъ дней,
О, южныя горы, отторгнутъ отъ васъ!
Чтобъ вѣчно ихъ помнить, тамъ надо
быть разъ.
Какъ сладкую пѣсню отчины моей,
Люблю я Кавказъ.
Въ младенческихъ лѣтахъ я мать
потерялъ,
Но мнилось, что въ розовый вечера
часъ
Та степь повторяла мнѣ памятный
гласъ.
За это люблю я вершины тѣхъ скалъ,
Люблю я Кавказъ.
Я счастливъ былъ съ вами, ущелія
горы!
Пять лѣтъ пронеслось, все тоскою по
вамъ.
Тамъ видѣлъ я пару божественныхъ
глазъ—
И сердце лепечетъ, воспомня тотъ
взоръ:
Люблю я Кавказъ!

Отрывокъ.

...Теперь я вижу: пышный свѣтъ
Не для людей былъ сотворенъ.
Мы сплбнемъ—нашъ сотрется слѣдъ,
Таковъ нашъ рокъ, таковъ законъ.

Парижъ 30 іюля 1830 года.

Черновой набросокъ.

Ты могъ быть лучшимъ королемъ,
Ты не хотѣлъ—ты полагалъ
Народъ унижить подъ ярмомъ,
Но ты французовъ не узналъ!...
И загорѣлся страшный бой...
И пламя вольности, какъ духъ,
Идетъ предъ гордою толпой—
И звукъ одинъ наполнилъ слухъ,
И брызнула въ Парижѣ кровь...
Когда архангела труба
Судъ страшный съ неба возвѣститъ,
Когда откроются гроба
И прахъ твой прежній приметъ видъ,
Твои дѣянья на вѣсы
Положить Вѣчный Судія...

— * *

Не говори: однимъ высокимъ
Я на землѣ воспламененъ—
Къ нему лишь съ чувствомъ я глубо-
кимъ
Бужу забытой лиры звонъ.
Повѣрь—великое земное
Различно съ мыслями людей:
Свершилъ съ успѣхомъ дѣло злое—
Великъ, не удалось—злѣдѣй.
Среди дружинъ необозримыхъ
Былъ чуть не Богъ Наполеонъ;
Разбитый на снѣгахъ родимыхъ—
Безумцемъ нарицаемъ онъ!
Внимая шумъ волны прибрежной
Въ изгнаньи дальнемъ онъ погасъ,
И что жъ? Конецъ его мятежный
Не отуманилъ нашихъ глазъ.

Къ Л ***

Подражаніе Байрону.

У ногъ другихъ не забывалъ
Я взоръ твоихъ очей;
Любя другихъ, я лишь страдалъ
Любовью прежнихъ дней.

Т. Ц, вып. 5.

Такъ память, демонъ-властелинъ,
Все будитъ старину,
И я твержу одинъ, одинъ:
Люблю, люблю одну!

Принадлежишь другому ты,
Забыть пѣвецъ тобой;
Съ тѣхъ поръ влекутъ меня мечты
Прочь отъ земли родной;
Корабль умчитъ меня отъ ней
Въ безвѣстную страну,
И повторитъ волна морей:
Люблю, люблю одну!
И не узнаешь шумный свѣтъ,
Кто нѣжно такъ любимъ;
Какъ я страдалъ и сколько лѣтъ
Я памятью томимъ;
И гдѣ бы я ни сталъ искать
Былую тишину,
Все сердце будетъ мнѣ шептать:
Люблю, люблю одну!

— Смерть.

Закатъ горитъ огнистой полосой;
Любуюсь имъ безмолвно подъ окномъ.
Быть можетъ, завтра онъ заблищетъ
надо мною—
Безжизненнымъ, холоднымъ мертве-
цомъ.
Одна лишь дума въ сердцѣ опустѣломъ,
То мысль объ ней... О! далеко она;
И надъ моимъ недвижнымъ, блѣднымъ
тѣломъ
Не упадетъ слеза ея одна!
Ни другъ, ни братъ прощальными
устами
Не поцѣлуетъ здѣсь моихъ ланитъ,
И сожалѣнью чуждыми руками
Въ сырую землю буду я зарыть.
Мой духъ утонетъ въ безднѣ беско-
нечной...
Но ты... О! пожалѣй о мнѣ, краса моя!
Никто не могъ тебя любить, какъ я,
Такъ пламенно и такъ чистосердечно.

Раскаяніе.

Къ чему мятежное роптанье,
Укоръ владѣющей судьбѣ?...
Она была добра къ тебѣ—
Ты создалъ самъ свое страданье.
Безмысленный! ты обладалъ
Душою чистой, откровенной,
Всеобщимъ зломъ незараженной—
И этотъ кладъ ты потерялъ!
Огонь любви первоначальной
Ты въ ней рѣшилъ зародить
И долѣе не могъ любить,
Достигнувъ цѣли сей печальной;
Ты презрѣлъ все; между людей
Стоишь, какъ дубъ въ странѣ пу-
стынной,
И тихій плачъ любви невинной
Не могъ потрясти души твоей.
Не дважды Богъ даетъ намъ радость,
Взаимной страстью веселя;
Безъ утѣшенія, томя,
Пройдетъ и жизнь твоя, какъ младость.
Ея лобзанья встрѣтилъ ты
Въ устахъ обманщицы прекрасной,
И будутъ предъ тобой всечасно
Предмета перваго черты.
О! вымоли ея прощенье,
Пади, пади къ ея ногамъ!
Не то—ты приготовишь самъ
Свой адъ, отвергнувъ примиренье.
Хоть будешь ты еще любить,
Но прежнимъ чувствамъ нѣтъ воз-
врату:
Ты вѣчно первую утрату
Не будешь въ силахъ замѣнить.

Ангель.

По небу полуночи ангелъ летѣлъ
И тихую пѣсню онъ пѣлъ;
И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи толпой
Внимали той пѣснѣ святой.
Онъ пѣлъ о блаженствѣ безгрѣшныхъ
духовъ
Подъ кущами райскихъ садовъ,
О Богѣ великомъ онъ пѣлъ—и хвала
Его непритворна была.

Онъ душу младую въ объятіяхъ неся
Для міра печали и слезъ,
И звукъ его пѣсни въ душѣ молодой
Остался безъ словъ, но живой.

И долго на свѣтѣ томилась она,
Желаніемъ чуднымъ полна,
И звуковъ небесъ замѣнить не могли
Ей скучныя пѣсни земли.

1831 января...

Рѣдѣютъ блѣдныя туманы
Надъ бездной смерти роковой,
И вновь стоятъ передо мной
Вѣковъ протекшихъ великаны.
Они зовутъ, они манятъ,
Поютъ, и я пою за ними
И, полный чувствами живыми,
Страшуся поглядѣть назадъ,—
Чтобъ бытія земного звуки
Не замѣшались въ пѣснь мою,
Чтобъ лучшей жизни на краю
Не вспомнилъ я людей и муки;
Чтобъ я не вспомнилъ этотъ свѣтъ,
Гдѣ носить все печать проклятья,
Гдѣ полны ядомъ всѣ объятія,
Гдѣ счастья безъ обмана нѣтъ.

* * *

Вверху одна
Горитъ звѣзда,
Мой взоръ она
Манитъ всегда;
Мои мечты
Она влечетъ
И съ высоты
Меня зоветъ.
Таковъ же былъ
Тотъ свѣтлый взоръ,
Что я любилъ
Судьбѣ въ укоръ.
Мукъ никогда
Онъ зрѣть не могъ;
Какъ та звѣзда,
Онъ былъ высокъ.
Усталыхъ вѣждъ

Я не смыкалъ
И безъ надеждъ
Къ нему зывалъ.

Т о л п ь.

Безумецъ я! вы правы, правы!
Смѣшно безсмертье на земли!
Какъ смѣлъ желать я громкой славы,
Когда вы счастливы въ пыли?
Какъ могъ я цѣль предубѣжденій
Умомъ свободнымъ потрясать
И пламень тайныхъ угрызений
За жаръ поэзіи принять!
Нѣтъ, не похожъ я на поэта!
Я обманулся, вижу самъ;
Пускай, какъ онъ, я чуждъ для свѣта,
Но чуждъ зато и небесамъ!
Мои слова печальны, знаю,
Но смысла ихъ вамъ не понять,
Я ихъ отъ сердца отрываю,
Чтобъ цѣли съ ними оторвать!
Нѣтъ... мнѣ ли властвовать умами,
Всю жизнь на то употребя?
Пускай возвышусь я надъ вами,
Но удалюсь ли отъ себя,
И позабуду ль самовластно
Мою погибшую любовь,
Все то, чему я вѣрилъ страстно,
Чему не смѣю вѣрить вновь?...

1831 года іюня 11.

1.

Моя душа, я помню, съ дѣтскихъ
лѣтъ
Чудеснаго искала. Я любилъ
Всѣ обольщенія свѣта, но не свѣтъ,
Въ которомъ я минутами лишь жилъ;
И тѣ мгновенья были мукъ полны,
И населялъ таинственные сны
Я этими мгновеньями... Но сонъ,
Какъ міръ, не могъ быть ими омраченъ.

2.

Какъ часто силой мысли въ краткій
часъ
Я жилъ вѣка и жизнию иной,

И о землѣ позабывалъ. Не разъ,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакалъ; но всѣ образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существъ земныхъ.
О нѣтъ, все было адъ иль небо въ нихъ!

3.

Холодной буквой трудно объяснить
Боренье думъ. Нѣтъ звуковъ у людей
Довольно сильныхъ, чтобъ изобразить
Желаніе блаженства. Пыль страстей
Возвышенныхъ я чувствую; но словъ
Не нахожу, и въ этотъ мигъ готовъ
Пожертвовать собой, чтобъ какъ-ни-
будь
Хоть тѣнь ихъ перелить въ другую
грудь.

4.

Извѣстность, слава, что онъ?—А есть
У нихъ и надо мною власть: они
Велятъ себѣ на жертву все принести,
И я влачу мучительные дни
Безъ цѣли, оклеветанъ, одинокъ;
Но вѣрю имъ! Невѣдомый пророкъ
Мнѣ обѣщалъ безсмертье, и живой—
Я смерти отдалъ все, что даръ земной.

5.

Но для небеснаго могилы нѣтъ.
Когда я буду прахъ, мои мечты,
Хоть не пойметъ ихъ, удивленный
свѣтъ
Благословить; и ты, мой ангелъ, ты
Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдастъ безсмертной жизни вновь;
Съ моимъ названьемъ стануť повто-
рять
Твое: на что имъ мертвыхъ разлучать?

6.

Къ погибшимъ люди справедливы;
сынъ
Боготворить, что проклиналъ отецъ.
Чтобъ въ этомъ убѣдиться, до сѣдинъ
Дожить не нужно: есть всему конецъ;
Немного долготѣнъ челоуѣкъ

Цвѣтка; въ сравненіи съ вѣчностью
ихъ вѣкъ
Равно ничтоженъ. Пережить одна
Душа лишь колыбель свою должна.

7.

Такъ и ея созданье. Иногда
На берегу рѣки, одинъ, забыть,
Я наблюдалъ, какъ быстрая вода,
Синѣя, гнется въ волны, какъ шипитъ
Надъ ними пѣна бѣлой полосой:
И я глядѣлъ, и мыслю иной
Я не былъ занятъ, и пустынный шумъ
Разсѣвалъ толпу глубокихъ думъ.

8.

Тутъ былъ я счастливъ... О, ко-
гда бъ я могъ
Забить, что незабвенно... женскій взоръ!
Причину столькохъ слезъ, безумствъ,
тревогъ!
Другой владѣть ею съ давнихъ поръ,
И я другую съ нѣжностью люблю,
Хочу любить—и небеса молю
О новыхъ мукахъ; но въ груди моей
Все живъ печальный призракъ преж-
нихъ дней.

9.

Никто не дорожитъ мной на землѣ
И самъ себѣ я въ тягость, какъ дру-
гимъ;
Тоска блуждаетъ на моемъ челѣ.
Я холоденъ и гордъ, и даже злымъ
Толпѣ кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко въ сердце мнѣ
должна?
Зачѣмъ ей знать, что въ немъ заклю-
чено?
Огонь иль сумракъ тамъ—ей все равно!

10.

Темна проходитъ туча въ небесахъ,
И въ ней таится пламень роковой:
Онъ, вырываясь, обращаетъ въ прахъ
Все, что ни встрѣтитъ. Съ дивной
быстрою
Блеснетъ—и снова въ облакѣхъ укроитъ;

И кто его источникъ объяснить,
И кто заглянетъ въ нѣдра облаковъ?
Зачѣмъ? Они исчезнутъ безъ слѣдовъ.

11.

Грядущее тревожитъ грудь мою:
Какъ жизнь я кончу, гдѣ душа моя
Блуждать осуждена, въ какомъ краю
Любезные предметы встрѣчу я?..
Но кто меня любилъ, кто голосъ мой
Услышитъ—и узнаетъ... И съ тоской
Я вижу, что любить, какъ я,—порокъ,
И вижу... я слабѣй любить не могъ.

12.

Не вѣрять въ мірѣ многіе любви,
И тѣмъ счастливы; для иныхъ она
Желанье, порожденное въ крови,
Разстройство мозга иль видѣнье сна.
Я не могу любовь опредѣлить,
Но эта страсть сильнѣйшая!—Любить
Необходимо мнѣ, и я любилъ
Всѣмъ напряженіемъ душевныхъ силъ.

13.

И огучить меня не могъ обманъ.
Пустое сердце ныло безъ страстей,
И въ глубинѣ моихъ сердечныхъ ранъ
Жила любовь, богиня юныхъ дней;
Такъ въ трещинѣ развалинъ иногда
Береза вырастаетъ—молода
И зелена, и взоры веселитъ,
И украшаетъ сумрачный гранитъ.

14.

И о судьбѣ ея чужой пришлецъ
Жалѣетъ. Беззащитно предана
Порыву бурь и зною, наконецъ
Увянетъ преждевременно она;
Но съ корнемъ не исторгнетъ никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Такъ лишь въ разбитомъ сердцѣ можетъ
страсть
Имѣть неограниченную власть.

15.

Подъ ношей бытія не устаетъ
И не хладѣетъ гордая душа;

Судьба ее такъ скоро не убьетъ,
А лишь взбунтуетъ; мщениемъ дыша
Противъ непобѣдимой, много зла
Она свершитъ готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
Съ такой душой ты Богъ, или злодѣй...

16.

Какъ правились всегда пустыни мнѣ!
Люблю я вѣтеръ межъ нагихъ холмовъ,
И коршуна въ небесной вышинѣ,
И на равнинѣ тѣни облаковъ.
Ярма не знаетъ рѣзвый здѣсь табунъ,
И кровожадный тѣшится летунъ
Подъ синевой, и облако степей
Свободнѣй какъ-то мчится и свѣтлѣй.

17.

И мысль о вѣчности, какъ великанъ,
Умъ человѣка поражаетъ вдругъ,
Когда степей безбрежный океанъ
Синѣетъ предъ глазами; каждый звукъ
Гармоніи вселенной, каждый часъ
Страданья или радости—для насъ
Становится понятенъ, и себѣ
Отчетъ мы можемъ дать въ своей
судьбѣ.

18.

Кто посѣщалъ вершины дикихъ горъ
Въ тотъ свѣжій часъ, когда садится
день:
На западѣ свѣтило видитъ взоръ
И на востокѣ близкой ночи тѣнь,
Внизу туманъ, уступы и кусты,
Кругомъ все горы чудной высоты,
Какъ послѣ бури облака, стоятъ
И странные верхи въ лучахъ горятъ.

19.

И сердце полно, полно прежнихъ
лѣтъ,
И сильно бьется; пылкая мечта
Приводитъ въ жизнь минувшаго ске-
летъ,
И въ немъ почти все та же красота.
Такъ любимъ мы глядѣть на свой пор-
третъ,

Хоть съ нами въ немъ ужъ сходства
больше нѣтъ,
Хоть на холстѣ хранится блескъ очей,
Погаснувшихъ отъ время и страстей.

20.

Что на землѣ прекраснѣй пирамидъ
Природы, этихъ гордыхъ свѣжныхъ
горъ?
Не переменить ихъ надменный видъ
Ничто: ни слава царствъ, ни ихъ по-
зоръ;
О ребра ихъ дробятся темныхъ тучъ
Толпы, и молніи обвиваетъ лучъ
Вершины скалъ: ничто не вредно имъ.
Кто близъ небесъ, тотъ не сраженъ
земнымъ.

21.

Печаленъ степи видъ, гдѣ безъ пре-
понъ,
Волнуя лишь серебряный ковыль,
Скитается летучій аквилонъ
И предъ собой свободно гонитъ пыль,
И гдѣ кругомъ, какъ зорко ни смотри,
Встрѣчаетъ взглядъ березы двѣ или
три,
Которыя подъ синеватой мглой
Чернѣютъ вечеромъ въ дали пустой.

22.

Такъ жизнь сучна, когда боренья
нѣтъ.
Въ минувшее проникнувъ, различить
Въ ней мало дѣла мы можемъ: въ
цвѣтѣ лѣтъ
Она души не будетъ веселить.
Мнѣ нужно дѣйствовать, я каждый
день
Безсмертнымъ сдѣлать бы желалъ, какъ
тѣнь
Великаго героя, и понять
Я не могу, что значитъ отдыхать.

23.

Всегда кипитъ и зрѣетъ что-нибудь
Въ моемъ умѣ. Желанье и тоска
Тревожатъ безпрестанно эту грудь.

Но что жъ? Мнѣ жизнь все какъ-то
коротка
И все боюсь, что не успѣю я
Свершить чего-то. Жажда бытія
Во мнѣ сильнѣй страданій роковыхъ,
Хотя я презираю жизнь другихъ.

24.

Есть время—леденѣть быстрый умъ;
Есть сумерки души, когда предметъ
Желаній мраченъ; усыпленіе думъ;
Межъ радостью и горемъ полусвѣтъ;
Душа сама собою стѣснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть
страшна—
Находишь корень мукъ въ себѣ самомъ
И небо обвинить нельзя ни въ чемъ.

25.

Я къ состоянью этому привыкъ,
Но ясно выразить его бѣ не могъ
Ни ангельскій, ни демонскій языкъ:
Они такихъ не вѣдаютъ тревогъ;
Въ одномъ все чисто, а въ другомъ
все зло.
Лишь въ человѣкѣ встрѣтиться могло
Священное съ порочнымъ. Всѣ его
Мученья происходятъ оттого.

26.

Никто не получалъ, чего хотѣлъ
И что любилъ; и если даже тотъ,
Кому вполнѣ счастливый данъ удѣлъ,
Въ умѣ своемъ минувшее пройдетъ—
Увидитъ онъ, что могъ счастливѣй
быть,
Когда бы не успѣла отравить
Судьба его надежды. Но волна
Ко берегу возвратиться не сильна.

27.

Когда, гонима бурей роковой,
Шипитъ и мчится съ пѣною своей...
Она все помнитъ тотъ заливъ родной,
Гдѣ нѣжилась въ пріютахъ камышей,
И, можетъ быть, она опять придетъ
Въ другой заливъ, но тамъ ужъ не
найдетъ

Себѣ покоя: кто въ моряхъ блуждалъ,
Тотъ не заснетъ въ тѣни прибрежныхъ
скалъ.

28.

Я предузналъ мой жребій, мой ко-
нецъ,
И грусти ранняя на мнѣ печать;
И какъ я мучусь, знаетъ лишь Тво-
рецъ;
Но равнодушный міръ не долженъ
знать.
И не забыть умру я. Смерть моя
Ужасна будетъ; чуждые края
Ей удивятся, а въ родной странѣ
Всѣ проклянутъ и память обо мнѣ.

29.

Всѣ?... нѣтъ, не всѣ!.. Созданье есть
одно,
Способное любить—хоть не меня;
До этихъ поръ не вѣритъ мнѣ оно,
Однако сердце, полное огня,
Не увлечется мнѣньемъ, и мое
Пророчество припомнитъ умъ ея,
И взоръ, теперь веселый и живой,
Напрасной отуманится слезой.

30.

Кровавая меня могила ждетъ
Могила безъ молитвъ и безъ креста,
На дикомъ берегу ревущихъ водъ
И подъ туманнымъ небомъ; пустота
Кругомъ. Лишь чужестранецъ молодой,
Невольнымъ сожалѣньемъ и молвой,
И любопытствомъ приведенъ сюда,
Сидѣть на камнѣ станетъ иногда.

31.

И скажетъ: отчего не понялъ свѣтъ
Великаго, и какъ онъ не нашелъ
Себѣ друзей, и какъ любви привѣтъ
Къ нему надежду въ сердце не при-
велъ?
Онъ былъ ея достоинъ.—И печаль
Его встревожитъ, онъ посмотритъ вдаль:
Увидитъ облака съ лазурью волнъ
И бѣлый парусъ, и бѣгущій челнъ,

32.

И мой курганъ!—Любимыя мечты
Мои подобны этимъ; сладость есть
Во всемъ, что не сбылось; есть красоты
Въ такихъ картинахъ, — только пере-
нести
Ихъ на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размѣромъ словъ не стѣснена,
Когда свободна какъ игра дѣтей,
Какъ арфы звукъ въ молчаніи ночей!

Нѣ ***.

Всевышній произнесъ свой приговоръ—
Его ничто не перемѣнитъ;
Межъ нами руку мести онъ простеръ,
И безпристрастно все оцѣнитъ.
Онъ знаетъ, и Ему лишь можно знать,
Какъ нѣжно пламенно любилъ я,
Какъ безотвѣтно все, что только могъ
отдать,

Тебѣ на жертву приносилъ я.
Во зло употребила ты права,
Приобрѣтенныя надъ мною,
И мнѣ, польстивъ любовію сперва,
Ты измѣнила—Богъ съ тобою!
О, нѣтъ! я бѣ не рѣшился проклянуть!..

Все для меня въ тебѣ святое:
Волшебные глаза и эта грудь,
Гдѣ бьется сердце молодое.
Я помню, сорвалъ я обманомъ разъ
Цвѣтокъ, хранившій ядъ стра-
данья:

Съ невинныхъ устъ твоихъ въ про-
щальный часъ

Непринужденное лобзанье;
Я зналъ: то не любовь—и перенесъ;

Но отгадать не могъ я тоже,
Что всѣхъ моихъ надеждъ и мукъ, и
слезъ

Веселый мигъ тебѣ дороже!
Будь счастлива несчастіемъ моимъ
И, услыхавъ, что я страдаю,
Ты не томись раскаяньемъ пустымъ.

Прости!—вотъ все, что я желаю..
Чѣмъ заслужилъ я, чтобъ твоихъ очей
Затмился свѣжій блескъ слезами?

Ко смѣху приучить себя нужай:
Вѣдь жизнь смѣется же надъ
нами!

Желаніе.

Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной,
Пролетѣвшій сейчасъ надо мной?

Зачѣмъ не могу въ небесахъ я парить
И одну лишь свободу любить?

На западъ, на западъ помчался бы я,
Гдѣ цвѣтутъ моихъ предковъ поля,
Гдѣ въ замкѣ пустомъ, на туман-
ныхъ горахъ,

Ихъ забвенный покоится прахъ.
На древней стѣнѣ ихъ наслѣдствен-
ный щитъ

И заржавленный мечъ ихъ виситъ.
Я сталъ бы летать надъ мечомъ и ши-
томъ—

И смахнулъ бы я пыль съ нихъ кры-
ломъ.
И арфы шотландской струну бы за-
дѣлъ—

И по сводамъ бы звукъ полетѣлъ:
Внимаемъ однимъ и однимъ пробу-
жденъ,
Какъ раздался, такъ смолкнулъ бы
онъ.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы
Противъ строгихъ законовъ судьбы.
Межъ мной и холмами отчизны моей
Разстилаются волны морей.

Последній потомокъ отважныхъ бой-
цовъ

Увядаетъ средь чуждыхъ снѣговъ;
Я здѣсь былъ рожденъ, но нездѣш-
ный душой...

О, зачѣмъ я не воронъ степной!..

7-го августа.

Въ деревнѣ, на холмѣ у забора.

... Жалокъ міръ!

Въ немъ каждый средь толпы за-
бытъ и сирь,

И люди всѣ къ ничтожеству спѣ-
шатъ.

Но хоть природа презираетъ ихъ,
Любимцы есть у ней, какъ у царей
другихъ.

И тотъ, на комъ лежитъ ея печать,
Пускай не ропщетъ на судьбу свою,
Чтобы никто, никто не смѣлъ сказать,
Что у груди своей она змѣю
Согрѣла. „О, когда бъ одно „люблю“
Изъ устъ прекрасныхъ могъ подслу-
шать я,

Тогда бы люди, даже жизнь моя
Въ однообразномъ сѣверномъ краю,
Все бъ въ новый блескъ одѣлось!“ такъ
мечталъ
Безпечный... но просить онъ Небо не
желалъ!

Воля.

Моя мать—злая кручина,
Отцомъ же была мнѣ судьбина,
Мои братья, хоть люди,
Не хотятъ къ моей груди

Прижаться;
Имъ стыдно со мною,
Съ бѣднымъ сиротою,
Обняться.

Но мнѣ Богомъ дана
Молодая жена—
Воля-волюшка,
Вольность милая,
Несравненная.

Съ ней нашлись другіе у меня—
Мать, отецъ и семья;

А моя мать—степь широкая,
А мой отецъ—небо далекое;

Они меня воспитали,
Кормили, поили, ласкали;
Мои братья въ лѣсахъ—
Березы да сосны...

Несусь ли я на конѣ,
Степь отвѣчаетъ мнѣ;

Брожу ли поздней порою—
Небо свѣтитъ мнѣ луной;

Мои братья въ лѣтній день,
Призывая подъ тѣнь,

Машутъ издали руками,
Киваютъ мнѣ головами;
И вольность мнѣ гнѣздо свила,
Какъ міръ—необъятное!

Сентября 28.

Опять, опять я видѣлъ взоръ твой
милый!

Я говорилъ съ тобой!

И мнѣ бывшее, взятое могилой,

Напомнилъ голосъ твой.

Къ чему?... Другой лобзаетъ эти очи

И руку жметъ твою;

Другому голосъ твой во мракѣ ночи

Твердитъ: люблю, люблю!

Отверойся мнѣ: ужели непритворны

Лобзанія твои?

Они правамъ супружества покорны,

Но не правамъ любви.

Онъ для тебя не созданъ; ты роди-
лась

Для пламенныхъ страстей;

Отдавъ ему себя, ты не спросилась

У совѣсти своей!

Онъ чувствовалъ ли трепетъ потаен-
ный

Въ присутствіи твоёмъ?

Умѣлъ ли презирать онъ міръ презрѣн-
ный,

Чтобъ мыслить объ одномъ?

Встрѣчалъ ли онъ съ молчаньемъ и
слезами

Привѣтъ холодный твой?

И лучшими ль онъ жертвовалъ го-
дами—

Мгновеніямъ съ тобой?

Нѣтъ! я увѣренъ: твоего блаженства

Не можетъ сдѣлать тотъ,

Кто красоты наружной совершенства

Одни въ тебѣ найдетъ.

Такъ!.. ты его не любишь!.. Тайной
властью

Прикована ты вновь

Къ душѣ печальной, незнакомой сча-
стью,

Но нѣжной, какъ любовь.

Небо и звѣзды.

Чисто вечернее небо,

Ясны далекія звѣзды,

Ясны, какъ счастье ребенка;

О, для чего мнѣ нельзя и подумать:

Звѣзды, вы ясны, какъ счастье мое!
 Чѣмъ ты несчастливъ?
 Скажутъ мнѣ люди.
 Тѣмъ я несчастливъ,
 Добрые люди, что звѣзды и небо—
 Звѣзды и небо!—а я—человѣкъ!..
 Люди другъ къ другу
 Зависть питаютъ;
 Я же, напротивъ,
 Только завидую звѣздамъ прекраснымъ,
 Только ихъ мѣсто занять бы хотѣлъ.

* * *

Когда бъ въ покорности незнанья
 Насъ жить Создатель осудилъ,
 Неисполнимыя желанья
 Онъ въ нашу душу бъ не вложилъ;
 Онъ не позволилъ бы стремиться
 Къ тому, что не должно свершиться,
 Онъ не позволилъ бы искать
 Въ Себѣ и въ мірѣ совершенства,
 Когда бъ намъ полнаго блаженства
 Не должно вѣчно было знать?

Но чувство есть у насъ святое—
 Надежда, богъ грядущихъ дней;
 Она въ душѣ, гдѣ все земное,
 Живетъ наперекоръ страстей,
 Она залогъ, что есть понынѣ
 На небѣ, иль въ другой пустынѣ,
 Такое мѣсто, гдѣ любовь
 Предстанетъ намъ, какъ ангелъ нѣж-
 ный,

И гдѣ тоски ея мятежной
 Душа узнать не можетъ вновь.

* * *

Я видѣлъ тѣнь блаженства; но впол-
 нѣ,

Свободно отъ людей и отъ земли,
 Не суждено имъ насладиться мнѣ.
 Быть можетъ, манить только издали
 Оно надежду; получивъ—какъ знать?—
 Быть можетъ, я бъ его сталъ прези-
 рать;
 И увидалъ бы, что ни слезъ, ни мукъ
 Не стоитъ счастье, ложное, какъ звукъ.

Кто скажетъ мнѣ, что звукъ ея рѣчей
 Не отголосокъ рая? что душа
 Не смотритъ изъ живыхъ ея очей,
 Когда на нихъ смотрю я, чуть дыша?
 Что для мученья моего она,
 Какъ ангелъ казни, Богомъ создана?
 Нѣтъ! чистый ангелъ не виновенъ въ

томъ,

Что есть пятно тоски въ умѣ моемъ.
 И съ каждымъ годомъ шире то пятно,
 И скоро все поглотитъ, и тогда
 Узнаю я спокойствіе; оно,
 Навѣрно много причинитъ вреда
 Моимъ мечтамъ и пламень чувствъ
 убьетъ,

Зато безъ бурь напрасныхъ приве-
 детъ

Къ уничтоженію; но до этихъ дней
 Я воленъ, даже—если рабъ страстей!
 Печалью вдохновенный, я пою
 О ней одной, и все, что чуждо ей,
 То чуждо мнѣ; я родину люблю
 И больше многихъ; средь ея полей
 Есть мѣсто, гдѣ я горестъ началъ
 знать;

Есть мѣсто, гдѣ я буду отдыхать,
 Когда мой прахъ, смѣшавшися съ
 землей,

Навѣки прежній видъ оставить свой.
 О! мой отецъ! гдѣ ты? гдѣ мнѣ найти
 Твой гордый духъ, бродящій въ небе-
 сахъ?

Въ твой міръ ведутъ столь разные
 пути,

Что избирать мѣшаетъ тайный страхъ.
 Есть рай небесный, звѣзды говорятъ;
 Но гдѣ же? вотъ вопросъ—и въ немъ-
 то ядъ:

Онъ сдѣлалъ то, что въ женскомъ
 сердцѣ я
 Хотѣлъ сыскать отраду бытія.

* * *

Ужасная судьба отца и сына—
 Жить розно и въ разлукѣ умереть,
 И жребій чуждаго изгнанника имѣть
 На родинѣ съ названьемъ гражданина.
 Но ты свершилъ свой подвигъ, мой
 отецъ;

Постигнуть ты желанною кончиной!
 Дай Богъ, чтобы, какъ твой, спокоенъ
 былъ конецъ
 Того, кто былъ всѣхъ мукъ твоихъ
 причиною!
 Но ты простишь мнѣ! Я ль виновенъ
 въ томъ,
 Что люди угасить въ душѣ моей хотѣли
 Огонь божественный, отъ самой ко-
 лыбели
 Горѣвшій въ ней, оправданный Твор-
 цомъ?
 Однакожъ тщетны были ихъ желанья:
 Мы не нашли вражды одинъ въ дру-
 гомъ,
 Хотя оба стали жертвою страданья!
 Не мнѣ судить, виновенъ ты или нѣтъ?
 Ты свѣтомъ осужденъ... А что такое
 свѣтъ?
 Толпа людей, то злыхъ, то благосклон-
 ныхъ.
 Собраніе похвалъ незаслуженныхъ
 И столькожъ же насмѣшливыхъ кле-
 ветъ.
 Далеко отъ него, духъ ада или рая,
 Ты о землѣ забылъ, какъ былъ забытъ
 землей;
 Ты счастливѣй меня: передъ тобой,
 Какъ море жизни, вѣчность роковая
 Неизмѣримою открылась глубиной.
 Ужели вовсе ты не сожалѣешь нынѣ
 О дняхъ, потерянныхъ въ тревогѣ и
 слезахъ,
 О сумрачныхъ, но вмѣстѣ милыхъ
 дняхъ,
 Когда въ душѣ искалъ ты, какъ въ
 пустынѣ,
 Остатки прежнихъ чувствъ и прежнія
 мечты?
 Ужель теперь совсѣмъ меня не лю-
 бишь ты?..
 О, если такъ! то небо не сравняю
 Я съ этою землей, гдѣ жизнь влачу
 мою:
 Пускай на ней блаженства я не знаю,
 По крайней мѣрѣ я—люблю!

Стансы.

Гляжу впередъ сквозь сумракъ лѣтъ,
 Сквозь лучъ надеждъ, которымъ нѣтъ
 Опредѣленья, и они
 Мнѣ общають годы, дни,
 Подобные минувшимъ днямъ:
 Ни мукъ, ни радостей, а тамъ
 Конецъ—ожиданный конецъ...
 Какая будущность, Творецъ!
 Пусть я кого-нибудь люблю,
 Любовь не краситъ жизнь мою:
 Она, какъ чумное пятно
 На сердцѣ, жжетъ—хотя темно...
 Враждебной силою гонимъ,
 Я тѣмъ живу, что смерть другимъ,
 Живу—какъ неба властелинъ—
 Въ прекрасномъ мірѣ, но одинъ!
 Я сынъ страданья. Мой отецъ
 Не зналъ покоя по конецъ:
 Въ слезахъ утасла мать моя;
 Отъ нихъ остался только я,
 Ненужный членъ въ пиру людскомъ,
 Младая вѣтвь на пнѣ сухомъ;
 Въ ней соку нѣтъ, хоть зелена,
 Дочь смерти—смерть ей суждена.

На картину Рембрандта.

Ты понималъ, о мрачный геній!
 Тотъ грустный безотчетный тонъ,
 Порывъ страстей и вдохновеній,
 Все то, чѣмъ удивлялъ Байронъ.
 Я вижу—ликъ полуоткрытый
 Означенъ рѣзкою чертой...
 То не бѣглецъ ли знаменитый
 Въ одеждѣ инока святой?
 Быть можетъ тайнымъ преступленьемъ
 Высокій умъ его убить;
 Все темно вокругъ; тоской, сомнѣньемъ
 Надменный взглядъ его горить.
 Быть можетъ, ты писалъ съ природы,
 И этотъ ликъ—не идеаль;
 Или въ страдальческіе годы
 Ты самъ себя изображалъ?—
 Но никогда великой тайны
 Холодный не проникнетъ взоръ,
 И этотъ трудъ необычайный
 Бездушнымъ будетъ злой укоръ.

Волны и люди.

Волны катятся одна за другою
Съ плескомъ и шумомъ глухимъ;
Люди проходятъ ничтожной толпою
Также одинъ за другимъ.

Волнамъ ихъ воля и холодъ дороже
Знойныхъ полудня лучей;
Люди хотятъ имѣть души... и что же?

Души въ нихъ—волнѣ холоднѣй!

* * *

Ты молодъ, цвѣтъ твоихъ кудрей
Не уступаетъ цвѣту ночи;
Какъ день твой блистаютъ очи
При встрѣчѣ радостныхъ очей.

Ты, отъ души смѣясь смѣшному,
Какъ скуку, гонишь прочь печаль;
Что бредъ ребяческій другому,
То все тебѣ покинуть жаль.

Мною жизни унесенный
Далеко отъ надеждъ былыхъ,
Какъ путешественникъ забвенный,
Я чуждымъ сталъ между родныхъ.

Предъ мною носятся видѣнья,
Жизнь обманувшія мою,
И, не рожденный для забвенья,
Я вновь черты ихъ узнаю,

И время ихъ не измѣнило:
Они все тѣ же!—я не тотъ:
Зачѣмъ же гибнетъ все, что мило?
А что жалѣетъ, то живетъ?

* * *

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,
Еще невѣдомый, избранный—
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.
Я раньше началъ, кончу ранъ,
Мой умъ не много совершить;
Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ,
Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ.
Кто можетъ, океанъ угрюмый,
Твои извѣдать тайны? Кто
Толпѣ мои расскажетъ думы!
Или поэтъ—или никто!..

Потокъ.

Источникъ страсти есть во мнѣ,
Великій и чудесный:

Потокъ серебряный на днѣ.

Поверхность—ликъ небесный.

Но безпрестанно быстрый токъ

Воротить и крутить песокъ,

И небо надъ водами

Одѣто облаками.

Родится съ жизнью этотъ ключъ

И съ жизнью исчезаетъ;

Въ иномъ онъ слабъ, въ другомъ
могучъ,

Но всѣхъ онъ увлекаетъ;

И первый счастливъ, но такой

Я праздный отдалъ бы покой

За нѣсколько мгновений

Блаженства или мучений.

Пускай же мчится мой потокъ,

Неистовый и бурный,

Пускай отъ берега цвѣтокъ

Отмоетъ онъ лазурный

И увлечетъ съ собою въ путь,

И съ нимъ погибнетъ гдѣ-нибудь,

Вдвоемъ, забыть всею вселенной,

Въ пустынѣ отдаленной.

Нъ ***.

О, полно извинять развратъ!

Ужель злодѣямъ щить?

Пусть ихъ глупцы боготворятъ,

Пусть имъ звучитъ другая лира;

Но ты остановись, пѣвецъ,—

Златой вѣнецъ не твой вѣнецъ.

Изгнаньемъ изъ страны родной

Хвались повсюду, какъ свободой!

Высокой мыслью и душой

Ты рано одаренъ природой;

Ты видѣлъ зло и передъ зломъ

Ты гордымъ не поникъ челою.

Ты пѣлъ о вольности, когда

Тиранъ гремѣлъ, гровили казни;

Боясь лишь вѣчнаго суда

И чуждый на землѣ боязни,

Ты пѣлъ,—и въ этомъ есть краю

Одинъ, кто понялъ пѣснь твою.

Мой демонъ.

1.

Собранье золъ—его стихія:
Носясь межъ темныхъ облаковъ,
Онъ любить бури роковыя,
И пѣну рѣкъ, и шумъ дубровъ;
Онъ любить пасмурныя ночи,
Туманы, блѣдную луну,
Улыбки горькія и очи,
Безвѣстныя слезамъ и сну.

2.

Къ ничтожнымъ, хладнымъ толкамъ
свѣта

Привыкъ прислушиваться онъ,
Ему смѣшны слова привѣта
И всякій вѣрапій смѣшонъ;
Онъ чуждъ любви и сожалѣнья,
Живетъ онъ пищею земной,
Глотаешь жадно дымъ сраженья
И паръ отъ крови пролитой.

3.

Родится ли страдалецъ новый,
Онъ беспокоитъ духъ отца,
Онъ тутъ съ насмѣшкою суровой
И съ дикой важностью лица.
Когда же кто-нибудь нисходитъ
Въ могилу съ трепетной душой,
Онъ часъ послѣдній съ нимъ прово-
дитъ,
Но не утѣшенъ имъ больной.

4.

И гордый демонъ не отстанетъ,
Пока живу я, отъ меня,
И умъ мой озарять онъ станетъ
Лучомъ чудеснаго огня;
Покажетъ образъ совершенства
И вдругъ отниметъ навсегда,
И, давъ предчувствіе блаженства,
Не дастъ мнѣ счастья никогда.

* * *

Хоть давно измѣнила мнѣ радость,
Какъ любовь, какъ улыбка людей,

И померкнуло прежде, чѣмъ младость,
Свѣтило надежды моей;
Но судьбу я и міръ презираю,
Но нельзя имъ унижить меня,
И я хладно прихожду ожидаю
Кончины, или лучшаго дня.
Словамъ моимъ вѣрить не станутъ,
Но, клянуся въ неживости ихъ,
Кто самъ былъ такъ часто обманутъ,
Обманутъ не захочетъ другихъ.
Пусть жизнь моя въ буряхъ несется,
Я безпеченъ, я знаю давно:
Пока сердце въ груди моей бьется,
Не увидитъ блаженства оно.
Одна лишь сырая могила
Успокоитъ того, можетъ быть,
Чья душа слишкомъ пылко любила,
Чтобы могъ его міръ полюбить.

Стансы.

Не могу на родинѣ томиться,
Прочь отсель, туда—въ кровавый бой!
Тамъ, быть можетъ, перестанетъ биться
Это сердце, полное тобой.
Нѣтъ, я не прошу твоей любви,
Нѣтъ, не знай губительныхъ стра-
стей;
Видѣть смерть мнѣ надо, надо крови,
Чтобъ залить огонь въ груди моей.
Пусть паду, какъ ратникъ въ бран-
номъ полѣ,—
Не оплаканъ свѣтомъ буду я,
Никому не будетъ въ тягость болѣ
Буря чувствъ моихъ и жизнь моя.
Юныхъ лѣтъ святныя обѣщанья
Прекратитъ судьба на мѣстѣ томъ,
Гдѣ безъ думъ, безъ воли, безъ
роптанья
Я усну давно желаннымъ сномъ.
Такъ, но если я не позабуду
Въ этомъ снѣ любви печальный сонъ,
Если образъ твой всегда, повсюду
Я носить съ собою осужденъ?
Если тамъ, въ предѣлахъ отдален-
ныхъ,
Гдѣ душа должна блаженство пить,
Тяжкихъ язвъ, на ней напечатлѣн-
ныхъ,

Невозможно будетъ испѣлить?
О, взгляни пріятно въ часъ раз-
луки
На того, кто, съ гордою душой,
Не боится ни людей, ни муки,
Кто умереть за честь страны родной;
Кто, бывало, въ тайномъ упоеньи
На тебя вперивъ свой влажный
взглядъ,
Возбуждалъ людское сожалѣнье
И твоей улыбкѣ былъ такъ радъ.

Къ себѣ.

Какъ я хотѣлъ себя увѣрить,
Что не люблю ее,—хотѣлъ
Неизмѣримое измѣрить,
Любви безбрежной дать предѣлы!
Мгновенное пренебреженье
Ея могущества опять
Мнѣ доказало, что влеченья
Души нельзя намъ избѣжать;
Что цѣль моя несокрушима;
Что мой теперешній покой
Лишь гласъ залетный херувима
Надъ сонной демоновъ толпой.

* * *

Душа моя должна прожить въ зем-
ной неволѣ
Недолго, можетъ быть,—я не увижу
болѣ
Твой взоръ, твой милый взоръ, столь
нѣжный для другихъ,
Звѣзду пріятную соперниковъ моихъ;
Желаю счастья имъ—тебя винить без-
божно,
За то, что мнѣ нельзя все, все, что имъ
возможно;
Но если ты ко мнѣ любовь хотѣла
скрыть,
Казаться хладною и въ тишинѣ лю-
бить,
Но если ты при мнѣ смѣялась надо
мною,
Тогда какъ внутренно полна была
тоскою,

То мрачный мой тебѣ пускай пока-
жетъ взглядъ,
Кто болѣе страдалъ, кто болѣ виноватъ.

Къ ***.

Дай руку мнѣ, склонись къ груди
поэта,
Свою судьбу соедини съ моею,—
Какъ ты, мой другъ, я не рожденъ
для свѣта
И не умѣю жить среди людей;
Я не имѣлъ ни время, ни охоты
Дѣлать ихъ шумъ, ихъ мелкія заботы,
Любовь мое все сердце заняла,
И что жъ?—взгляни на блѣдный цвѣтъ
чела!..

На немъ ты видишь слѣдъ страстей
уснувшихъ,
Такъ рано обуявшихъ жизнь мою;
Не лстять мнѣ воспоминанье дней
минувшихъ,
Я одинокъ надъ пропастью стою,
Гдѣ все мое подавлено судьбою,—
Такъ кустъ растетъ надъ бездною
морскою
И листъ, грозой оборванный, плыветъ
По произволу странствующихъ водъ.

Сонетъ.

Я памятью живу съ увядшими ме-
чтами,
Видѣнья прежнихъ лѣтъ толпятся
предо мной,
И образъ твой межъ нихъ, какъ мѣ-
сяцъ въ часъ ночной
Между бродящими блистаетъ облаками.
Мнѣ тягостно твое владычество по-
рой—
Твоей улыбкою, волшебными глазами
Порабощенъ мой духъ и скованъ,
какъ цѣпями—
Что жъ пользы для меня? — я не
любимъ тобой...
Я знаю, ты любовь мою не презираешь,
Но холодно ея моленіямъ внимаешь;
Такъ мраморный кумиръ на берегу
морскомъ

И вѣримъ нашему царю,
И будемъ всё стоять упорно
За честь его, какъ за свою!..
Но честь Россіи невредима,
И вамъ, смѣясь, внимаютъ свѣтъ!
Такъ въ дни воинственные Рима,
Во дни торжественныхъ побѣдъ,
Когда триумфомъ шелъ Фабрицій
И раздавался по столицѣ
Восторга благодарный кликъ,
Бѣжалъ за свѣтлой колесницей
Одинъ наемный клеветникъ!

Еврейская мелодія.

Изъ Вайрона.

Душа моя мрачна. Скорѣй, пѣвецъ,
скорѣй!

Вотъ арфа золотая:

Пускай персты твои, промчавшись по
ней,

Пробудятъ въ струнахъ звуки рая.
И если не навѣкъ надежды рокъ унесъ—
Онѣ въ груди моей проснутся.

И если есть въ очахъ застывшихъ
капли слезъ—

Онѣ растаютъ и прольются.

Пусть будетъ пѣснь твоя дика. Какъ
мой вѣнецъ,

Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки.
Страданьями была упитана она;
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ—теперь она

полна,
Какъ кубокъ смерти, яда полный.

Желаніе.

Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня!
Дайте разъ по синю полю
Проскакать на томъ конѣ;
Дайте разъ на жизнь и волю,
Какъ на чуждую мнѣ долю,
Посмотрѣть поближе мнѣ.

Дайте мнѣ челнокъ достатый
Съ полусгнившею скамьей,
Парусъ сѣрый и косматый,
Ознакомленный съ грозой.
Я тогда пушусь въ море,
Беззаботенъ и одинъ;
Разгуляюсь на просторѣ
И потѣшусь въ буйномъ спорѣ
Съ дикой прихотью пучинъ.

Дайте мнѣ дворецъ высокій
И кругомъ зеленый садъ,
Чтобъ въ тѣни его широкой
Зрѣлъ янтарный виноградъ,
Чтобъ фонтанъ, не умолкая,
Въ залѣ мраморномъ журчалъ,
И меня, въ мечтаньяхъ рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплялъ и пробуждалъ...

* * *

Гляжу на будущность съ боязнью,
Гляжу на прошлое съ тоской,
И, какъ преступникъ передъ казнью,
Ищу кругомъ души родной!..
Придетъ ли вѣстникъ избавленья
Открыть мнѣ жизни назначенье,
Цѣль упованій и страстей;
Повѣдать, чтó мнѣ Богъ готовилъ,
Зачѣмъ такъ горько прекословилъ
Надеждамъ юности моей?

Землѣ я отдалъ дань земную
Любви, надеждѣ, добра и зла.
Начать готовъ я жизнь другую...
Молчу и жду... Пора пришла...
Я въ мірѣ не оставляю брата;
И тьмой, и холодомъ объята
Душа усталая моя:
Какъ ранній плодъ, лишенный сока,
Она увала въ буряхъ рока
Подъ знойнымъ солнцемъ бытія

Молитва.

Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою
Предъ твоимъ образомъ, яркимъ сія-
ніемъ,
Не о спасеніи, не передъ битвою,
Не съ благодарностью, иль покаяніемъ,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника въ свѣтѣ без-
роднаго;

Но я вручить хочу дѣву невинную
Теплой Заступницѣ міра холоднаго.

Окружи счастьемъ счастья достойную,
Дай ей спутниковъ, полныхъ вниманія,
Молодость свѣтлую, старость покойную,
Сердцу незлобному миръ упованія.

Срокъ ли приблизится часу прощаль-
ному,

Въ утро ли шумное, въ ночь ли
безгласную,

Ты воспріять пошли къ ложу не-
чальному

Лучшаго ангела душу прекрасную.

На смерть Пушкина.

Погибъ поэтъ, невольникъ чести,
Паль оклеветанный молвой,
Съ свинцомъ въ груди и съ жаждой
мести,

Поникнувъ гордой головой.
Не вынесла душа поэта
Позора мелочныхъ обидъ;
Возсталъ онъ противъ мнѣній свѣта
Одинъ, какъ прежде—и убить!
Убить!.. Къ чему теперь рыданья,
Похвалъ и слезъ ненужный хоръ,
И жалкій лепетъ оправданья—
Судьбы свершился приговоръ!
Не вы ль сперва такъ долго гнали
Его свободный, чудный даръ
И, для потѣхи, возбуждали
Чуть затаившійся пожаръ...
Что жъ? Веселитесь!.. Онъ мученій
Послѣднихъ перенести не могъ.
Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,
Увяль торжественный вѣнокъ!..
Его убійца хладнокровно
Навелъ ударъ—спасенья нѣтъ:
Пустое сердце бьется ровно,
Въ руцѣ не дрогнетъ пистолетъ.
И что за диво?... Издалека,
Подобно сотнямъ бѣглецовъ,
На ловлю счастья и чиновъ
Заброшенъ къ намъ по волѣ рока,
Смѣясь, онъ дерзко превиралъ

Земли чужой языкъ и нравы:
Не могъ падить онъ нашей славы,
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый
На что онъ руку подымалъ!

*

И онъ погибъ и взятъ могилой,
Какъ тотъ пѣвецъ невѣдомый, но
милый,

Добыча ревности нѣмой,
Воспѣтый имъ съ такою чудной силой,
Сраженный, какъ и онъ, безжалостной
рукой.

Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы
простодушной

Вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ, зави-
стливый и душный

Для сердца вольнаго и пламенныхъ
страстей?

Зачѣмъ онъ руку далъ клеветникамъ
безбожнымъ,

Зачѣмъ повѣрилъ онъ словамъ и ла-
скамъ ложнымъ—

Онъ, съ юныхъ лѣтъ постигнувшій
людей!

И прежній снявъ вѣнокъ, они вѣнце
терновый,

Увитый лаврами, надѣли на него;
Но иглы тайныя сурово

Язвили славное чело...
Отравлены его послѣднія мгновенья
Коварнымъ шопотомъ безчувственныхъ
невѣждъ,

И умеръ онъ съ глубокой жаждой
мщенья,

Съ досадой тайною обманутыхъ на-
деждъ...

Замолкли звуки дивныхъ пѣсень,
Не раздаваться имъ опять,
Пріютъ пѣвца утrophъ и тѣсень
И на устахъ его печать!

*

А вы, надменные потомки
Извѣстной подлостью прославленныхъ
отцовъ,

Пятою рабскою поправшіе обломки
Игроу счастья обиженныхъ родовъ!

Вы, жадною толпой стоящіе у трона,
Свободы, генія и славы палачи!

Таитесь вы подъ сѣнію закона,
Предъ вами судъ и правда—все молчи!

Но есть и Божій судъ, наперсники
разврата,
Есть грозный Судія,—Онъ ждетъ,
Онъ недоступенъ звону злата,
И мысли, и дѣла Онъ знаетъ напередъ.
Тогда напрасно вы прибѣгнете къ зло-
словью:

Оно вамъ не поможетъ вновь,
Ивынесмоетевсейвашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Вѣтка Палестины.

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины:
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины
Ты украшеніемъ была?
У водъ ли чистыхъ Иордана
Востока лучъ тебя ласкалъ,
Ночной ли вѣтръ въ горахъ Ливана
Тебя сердито колыхалъ?

Молитву ль тихую читали,
Иль пѣли пѣсни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бѣдные сыны?

И пальма та жива ль понинѣ?
Все также ль мѣнить въ лѣтній зной
Она прохожаго въ пустынѣ
Широколиственной главой?

Или въ разлукѣ безотрадной
Она увяла, какъ и ты,
И дольний прахъ ложится жадно
На пожелтѣвшіе листы?..

Повѣдай: набожной рукою
Кто въ этотъ край тебя занесъ?
Грустилъ онъ часто надъ тобою?
Хранишь ты слѣдъ горючихъ слезъ?

Иль Божьей рати лучшій воинъ
Онъ былъ, съ безоблачнымъ челомъ,
Какъ ты, всегда небесъ достоинъ
Передъ людьми и божествомъ?...

Заботой тайною хранима,
Передъ иконою золотой
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,
Святыни вѣрный часовой!

Прозрачный сумракъ, лучъ лампы,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой.

Узникъ.

Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцѣлю,
На коня потомъ вскочу,
Въ степь, какъ вѣтеръ, улечу.

Но окно тюрьмы высоко;
Дверь тяжелая съ замкомъ;
Черноокая далеко
Въ пышномъ теремѣ своемъ;
Добрый конь въ зеленомъ полѣ,
Безъ узды, одинъ, по волѣ
Скачетъ, веселъ и игривъ,
Хвостъ по вѣтру распутивъ.

Одинокъ я—нѣтъ отрады:
Стѣны голыя кругомъ;
Тускло свѣтитъ лучъ лампы
Умирающимъ огнемъ;
Только слышно: за дверями,
Звучномѣрными шагами
Ходитъ въ тишинѣ ночной
Безотвѣтный часовой.

* * *

Когда волнуется желтѣющая нива
И свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ вѣ-
терка,

И прячется въ саду малиновая слива
Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка;
Когда росой обрызганный душистой,
Румянымъ вечеромъ, иль утра въ
часъ златой,

Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ сере-
бристый

Привѣтливо киваетъ головой;
Когда студеный ключъ играетъ по
оврагу
И, погружая мысль въ какой-то смут-
ный сонъ,

Лепечетъ мнѣ таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчитъ онъ,—
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челѣ,

И счастье я могу постигнуть на
землѣ,
И въ небесахъ я вижу Бога...

Д у м а.

Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно;
Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья
и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ
умомъ,
И жизнь ужъ насъ томить, какъ ров-
ный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы внемемъ безъ
борьбы;
Передъ опасностью позорно-малодушны,
И передъ властію презрѣнныя рабы.
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣ-
лый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, пришлецъ осиротѣлый,
И часть ихъ красоты—его паденья часть!
Мы изсушили умъ наукою бесплод-
ной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и
друзей
Надежды лучшія и голосъ благо-
родный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши насла-
жденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сбе-
регли;
Изъ каждой радости, бояся пресы-
щенья,
Мы лучшій сокъ навѣки извлекли.
Мечты поэzin, созданія искусства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не
шевелить;
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ
чувства—
Зарытый скупостью и бесполезный
кладъ.

И ненавидимъ мы, и любимъ мы слу-
чайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ
тайный,

Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя
забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій раз-
вратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья
и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ
шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли пло-
довитой,
Ни гениемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи
и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ
стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

Ребенку.

О грезахъ юности томимъ воспоми-
наньемъ,
Съ отрадой тайною и тайнымъ содро-
ганьемъ,
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если бъ знало ты, какъ я тебя
люблю!
Какъ милы мнѣ твои улыбки молодыя,
И быстрые глаза, и еудри золотые,
И звонкій голосокъ!—Не правда ль,
говорять,
Ты на нее похожъ?—Увы! года летятъ;
Страданія ее до срока измѣнили,
Но вѣрныя мечты тотъ образъ сохра-
нили
Въ груди моей; тотъ взоръ, испол-
ненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли
меня?
Не скучны ли тебѣ непрощенныя ласки?
Не слишкомъ часто ль я твои пѣлую
глазки?

Слеза моя ланить твоихъ не обожгла ль?
Смотри жъ, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ее, быть

можетъ,
Ребяческій рассказъ разсердить иль
встревожить...

Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ
вечерній часъ,
Предъ образомъ съ тобой заботливо
склоняясь,

Молитву дѣтскую она тебѣ шептала
И въ знаменье креста персты твои
сжимала,

И всѣ знакомыя, родныя имена
Ты повторялъ за ней—скажи, тебя
она

Ни за кого еще молиться не учила?
Блѣднѣя, можетъ быть, она произ-
носила

Названіе, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Чтò имя?—звукъ
пустой!

Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось
тайной.

Но если, какъ-нибудь, когда-нибудь,
случайно

Узнаешь ты его—ребяческіе дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

Молитва.

Въ минуту жизни трудную,
Тѣснится ль въ сердцѣ грусть:

Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ,
И дышетъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ.

Съ души какъ бремя скатится,
Сомнѣнье далеко—
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко...

Не вѣрь себѣ.

Que nous font après tout les vulgaires abois
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands, de pathos et les faiseurs d'emphasis
Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?
A. Barbier.

Не вѣрь, не вѣрь себѣ, мечтатель мо-
лодой,
Какъ язвы, бойся вдохновенья...

Оно тяжелый бредъ души твоей боль-
ной,

Иль плѣнной мысли раздраженіе.
Въ немъ признака небесъ напрасно
не ищи:

То кровь кипитъ, то сила избытокъ!
Скорѣ жизнь свою въ заботахъ истощи,
Разлей отравленный напитокъ!

Случится ли тебѣ въ завѣтный, чуд-
ный мигъ

Открыть въ душѣ давно безмолвной,
Еще невѣдомый и дѣвственный род-
никъ,

Простыхъ и сладкихъ звуковъ пол-
ный,—

Не вслушиваясь въ нихъ, не пре-
давайся имъ,

Набрось на нихъ покровъ забвенья:
Стихомъ размѣреннымъ и словомъ
ледянымъ

Не передашь ты ихъ значенья.
Закрадется ль печаль въ тайникъ души
твоей,

Зайдетъ ли страсть съ грозой и
вьюгой—

Не выходи тогда на шумный пиръ
людей

Съ своею бѣшеной подругой;
Не унижай себя. Стыдися торговать
То гнѣвомъ, то тоской послушной,
И гной душевныхъ ранъ надменно
выставлять

На диво черни простодушной.
Какое дѣло намъ, страдалъ ты или
нѣтъ?

На чтò намъ знать твои волненья,
Надежды глупыя первоначальныхъ
лѣтъ,

Разсудка злыя сожалѣнья?

Все, чѣмъ при жизни радовался ты,
Судьба соединила такъ чудесно:
Нѣмая степь синѣетъ, и вѣнцомъ
Серебрянымъ Кавказъ ее объемлетъ;
Надъ моремъ онъ, нахмурясь, тихо
дремлетъ,
Какъ великанъ склонившись надъ
щитомъ,
Разскажамъ волнъ кочующихъ внимая,
А море черное шумитъ, не умолкая.

П о э т ъ.

Отдѣлкой золотой блистаетъ мой
кинжалъ:
Клинокъ надежный, безъ порока;
Булатъ его хранить таинственный
закалъ,
Наслѣдье браннаго Востока.
Наѣзднику въ горахъ служилъ онъ
много лѣтъ,
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провелъ онъ страш-
ный слѣдъ
И не одну порвалъ кольчугу.
Забавы онъ дѣлилъ послушнѣе раба;
Звенѣлъ въ отвѣтъ рѣчамъ обиднымъ;
Въ тѣ дни была бѣ ему богатая рѣзба
Нарядомъ чуждымъ и постыднымъ.
Онъ взятъ за Терекѣмъ отважнымъ
казакомъ
На хладномъ трупѣ господина,
И долго онъ лежалъ, заброшенный
потомъ,
Въ походной лавкѣ армянина.
Теперь родныхъ ножонъ, избитыхъ на
войнѣ,
Лишень героя спутникъ бѣдный;
Игрушкой золотой онъ блещетъ на
стѣнѣ—
Увы! безславный и безвредный!
Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистить, не ласкать,
И надписи его, молясь передъ зарей,
Никто съ усердьемъ не читаетъ...

*

Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли
ты, поэтъ,
Свое утратилъ назначенье,

На злато промѣнявъ ту власть, которой
свѣтъ
Внималъ въ нѣмомъ благовѣннѣ?
Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ
словъ
Воспламенялъ бойца для битвы;
Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша
для пировъ,
Какъ еиміамъ въ часы молитвы.
Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился
надъ толпой,
И отзывъ мыслей благородныхъ
Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ
вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.
Но скученъ намъ простой и гордый
твой языкъ,
Насъ тѣшутъ блески и обманы;
Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ
привыкъ
Морщины прятать подъ румяны...
Проснешься ль ты опять, осмѣянный
пророкъ,
Иль никогда на голосъ мщенія,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой
киннокъ,
Покрытый ржавчиной презрѣнья?

Казачья колыбельная пѣсня.

Спи младенецъ мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотреть мѣсяцъ ясный
Въ колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Пѣсенку спою;
Ты жъ дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камнямъ струится Терекъ,
Плещетъ мутный валъ;
Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой кинжалъ;
Но отецъ твой—старый воинъ,
Закаленъ въ бою;
Спи, малютка, будь спокоенъ,
Баюшки-баю.
Самъ узнаешь—будетъ время—
Бранное житье;

Смѣло вдѣнешь ногу въ стремя
И возьмешь ружье.
Я сѣдельце боевое
Шолкомъ разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.
Богатырь ты будешь съ виду
И казакъ душой.
Провожать тебя я выйду—
Ты махнешь рукой...
Сколько горькихъ слезъ уградкой
Я въ ту ночь пролью!..
Спи, мой ангелъ, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться,
Безутѣшно ждать;
Стану цѣлый день молиться,
По ночамъ гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты въ чужомъ краю...
Спи жъ, пока заботъ не знаешь,
Баюшки-баю.
Дамъ тебѣ я на дорогу
Образокъ святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой;
Да, готовясь въ бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Журналистъ, читатель и писатель.

Les poètes ressemblent aux ours, qui
se nourrissent en suçant leur patte.
In edit.

Комната писателя; опущенныя шторы. Онъ сидитъ въ большихъ креслахъ передъ каминомъ. Читатель съ сигарой стоитъ спиной къ камину. Журналистъ входитъ.

Писатель.

О чемъ писать?.. Бываетъ время,
Когда заботъ спадаетъ бремя,
Дни вдохновеннаго труда,
Когда и умъ и сердце полны,
И риемы дружныя, какъ волны,
Журча, одна вослѣдъ другой
Несутся вольной чередой.
Восходить чудное свѣтило
Въ душѣ проснувшейся едва:

На мысли, дышашія силой,
Какъ жемчугъ, низжуются слова...
Тогда съ отвагою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ,
И мѣръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ.
Но эти странныя творенья
Читаешь дома онъ одинъ,
И ими послѣ, безъ зазрѣнья,
Онъ затопляетъ свой каминъ.
Ужель ребяческія чувства,
Воздушный безотчетный бредъ
Достойны строгаго искусства?
Ихъ осмѣетъ, забудетъ свѣтъ..
Бываютъ тягостныя ночи:
Безъ сна, горятъ и плачутъ очи,
На сердцѣ—жадная тоска;
Дрожа, холодная рука
Подушку жаркую объемлетъ;
Невольный страхъ власы подьѣмлетъ;
Болѣзненный, безумный крикъ
Изъ груди рвется—и языкъ
Лепечетъ громко, безъ сознанья,
Давно забытыя названья;
Давно забытыя черты
Въ сіяньи прежней красоты
Рисуетъ память своевольно:
Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ—
И вѣришь снова имъ невольно,
И какъ-то весело и больно
Тревожить язы старыхъ ранъ...
Тогда пишу. Диктуетъ совѣсть,
Перомъ сердитый водить умъ:
То соблазнительная повѣсть,
Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думъ;
Картины хладныя разврата,
Преданья глухихъ юныхъ дней,
Давно безъ пользы и возврата
Погибшихъ въ омутъ страстей,
Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ,
Среди обманщицъ и невѣждъ,
Среди сомнѣній ложно-черныхъ
И ложно-радужныхъ надеждъ.
Судья безвѣстный и случайный,
Не дорожа чужою тайной,
Приличьемъ скрашенный порокъ
Я смѣло предаю позору;
Неумолимъ я и жестокъ...
Но, право, этихъ горькихъ строкъ
Неприготовленному взору

Я не рѣшусь показать...
Скажите жѣ, мнѣ о чемъ писать?
Къ чему толпы неблагодарной
Мнѣ злость и ненависть навлечь,
Чтобъ бранью назвали коварной
Мою пророческую рѣчь?
Чтобъ тайный ядъ страницы зной-
ной

Смутилъ ребенка сонъ покойный
И сердце слабое увлечь
Въ свой необузданный потокъ?
О нѣтъ! преступною мечтою
Не ослѣпля мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

Подъ арестомъ на арсенальной гауптвахтѣ.

И скучно и грустно.

И скучно, и грустно, и некому руку
подать

Въ минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. Что пользы напрасно и
вѣчно желать?..

А годы проходятъ—всѣ лучшіе годы!
Любить... но кого же?.. На время—не
стоитъ труда,

А вѣчно любить невозможно.
Въ себя ли заглянешь?—Тамъ про-
шлаго нѣтъ и слѣда;

И радость, и муки, и все тамъ
ничтожно...

Что страсти?—Вѣдь рано или поздно
ихъ сладкій недугъ

Исчезнетъ при словѣ разсудка;
И жизнь, какъ посмотрѣшь съ холод-
нымъ вниманьемъ вокругъ—

Такая пустая и глупая шутка...

Изъ Гёте.

Горныя вершины
Спятъ во тьмѣ ночной;
Тихія долины
Полны свѣжей мглой;
Не пылить дорога,
Не дрожать листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Тучи.

Тучки небесныя, вѣчныя странники!
Степью лазурною, цѣпью жемчужною
Мчитесь вы, будто, какъ я же, изгнан-
ники,

Съ милаго сѣвера въ сторону южную.
Кто же васъ гонитъ: судьбы ли
рѣшеніе?

Зависть ли тайная? Злоба ль от-
крытая?

Или на васъ тяготитъ преступленіе?

Или друзей клевета ядовитая?

Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплод-
ныя...

Чужды вамъ страсти и чужды стра-
данія;

Вѣчно холодныя, вѣчно свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ из-
гнанія.

Сосна.

Изъ Гейне.

На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко
На голой вершинѣ сосна,
И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сы-
пучимъ

Одѣта, какъ ризой, она.

И снится ей все, что въ пустынѣ
далекой,

Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,
Одна и грустна на утесѣ горючемъ
Прекрасная пальма растетъ.

Изъ альбома.

Софья Николаевна Карамзинной.

Любилъ и я въ былые годы,
Въ невинности души моей,
И буря шумныя природы,
И буря тайныя страстей
Но красоты ихъ безобразной
Я скоро таинство постигъ,
И мнѣ наскучилъ ихъ несвязный
И оглушающій языкъ.
Люблю я больше, годъ отъ году,
Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ,

Поутру ясную погоду,
Подъ вечеръ—тихий разговоръ...

* * *

Слышу ли голосъ твой,
Звонкій и ласковый,—
Какъ птичка въ клеткѣ
Сердце запрыгаетъ.

Встрѣчу ль глаза твои,
Лазурью глубокие,—
Душа на встрѣчу имъ
Изъ груди просится!

И какъ-то весело!
И плакать хочется...
И такъ на шею бы
Тебѣ я кинулся...

* * *

Есть рѣчи—значенье
Темно или ничтожно:
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно.

Какъ полны ихъ звуки
Безумствомъ желанья!
Въ нихъ слезы разлуки,
Въ нихъ трепетъ свиданья.

Не встрѣтить отвѣта
Средь шума мірскаго
Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово;

Но въ храмѣ, средь боя,
И гдѣ я ни буду,
Услышавъ, его я
Узнаю повсюду;

Не кончивъ молитвы,
На звукъ тотъ отвѣчу
И брошусь изъ битвы
Ему я навстрѣчу.

Оправданіе.

Когда одни воспоминанья
О заблужденіяхъ страстей,
На мѣсто славнаго названья,
Твой другъ оставитъ межъ людей—

И будетъ спать въ землѣ безгласно
То сердце, гдѣ кипѣла кровь,
Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно
Съ враждой боролася любовь;
Когда предъ общимъ приговоромъ
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будетъ для тебя поворомъ
Любовь безгрѣшная твоя—

Того, кто страстью и порокомъ
Затмилъ твои молодые дни,
Молю, явительнымъ упрекомъ
Ты въ оный часъ не помяни!
Но предъ судомъ толпы лукавой
Скажи, что судить насъ Иной,
И что прощать святое право
Страданьемъ куплено тобой.

Редина.

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не побѣдитъ ея разсудокъ мой!
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордаго довѣрія покой,
Ни темной старины заветныя преданья
Не шевелятъ во мнѣ отраднато
мечтанья.

Но я люблю—за чтѣ, не знаю самъ—
Ея степей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать
въ тѣлѣгѣ

И, взоромъ медленнымъ пронзая ночи
тѣнь,

Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о
ночлегѣ,

Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣхъ средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.

Съ отрадой, многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ,
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ,
Подъ говоръ пьяныхъ мужичковъ.

Кинжалъ.

Люблю тебя, булатный мой кинжалъ,
Товарищъ свѣтлый и холодный.
Задумчивый грузинъ на мѣстѣ тебя
Евоалъ,
На грозный бой точилъ черкесъ сво-
бодный.
Лилейная рука тебя мнѣ поднесла
Въ знакъ памяти, въ минуту раз-
ставанья,
И въ первый разъ не кровь вдоль
по тебѣ текла,
Но свѣтлая слеза—жемчужина стра-
данья.
И черные глаза, остановясь на мнѣ,
Исполнены таинственной печали,
Какъ сталь твоя, при трепетномъ огнѣ,
То вдругъ тускнѣли, то сверкали.
Ты данъ мнѣ въ спутники, любви
залогъ вѣмой,
И страннику въ тебѣ примѣръ не
бесполезный:
Да, я не измѣнюсь и буду твердъ
душой,
Какъ ты, какъ ты, мой другъ же-
лѣзный.

Плѣнный рыцарь.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы,
Синее небо отсюда мнѣ видно:
Въ небѣ играютъ все вольныя птицы;
Глядя на нихъ, мнѣ и больно, и стыдно.
Нѣтъ на устахъ моихъ грѣшной
молитвы,
Нѣту ни пѣсни во славу любезной;
Помню я только старинныя битвы,
Мечъ мой тяжелый да панцырь же-
лѣзный.
Въ каменный панцырь я нынѣ за-
кованъ,
Каменный шлемъ мою голову давить,
Щитъ мой отъ стрѣлъ и меча за-
колдованъ,
Конь мой бѣжить, и никто имъ не
править.
Быстрое время—мой конь неиз-
мѣнный,

Шлема забрало—рѣшетка бойницы,
Каменный панцырь—высокія стѣны,
Щитъ мой—чугунныя двери тем-
ницы.

Мчись же быстрѣе, летучее время!
Душно подъ новой броней мнѣ стало!
Смерть, какъ прїедемъ, поддержи
мнѣ стремя;
Слѣзу и сдерну съ лица я забрало.

* * *

Я не хочу, чтобъ свѣтъ узналъ
Мою таинственную повѣсть,
Какъ я любилъ, за что страдалъ:
Тому судья лишь Богъ да совѣсть.
Имъ сердце въ чувствахъ дать
отчетъ,

У нихъ попросить сожалѣнья—
И пусть меня накажетъ Тотъ,
Кто изобрѣлъ мои мученья.
Укоръ невѣждѣ, укоръ людей
Души высокой не печалить;
Пускай шумитъ волна морей—
Утѣсь гранитный не повалить:
Его чело межъ облаковъ;
Онъ двухъ стихій жилище угрюмый,
И, кромѣ бури да громовъ,
Онъ никому не ввѣритъ думы.

* * *

Не смѣйся надъ моей пророческой
тоскою.
Я зналъ—ударъ судьбы меня не обой-
детъ,
Я зналъ, что голова, любимая тобою,
Съ твоей груди на плаху перейдетъ.
Я говорилъ тебѣ: ни счастья, ни славы
Мнѣ въ мірѣ не найти. Настанетъ
часъ кровавый,
И я паду—и хитрая вражда
Съ улыбкой очернитъ мой недоцвѣт-
шій геній,
И я погибну, безъ слѣда
Моихъ надеждъ, моихъ мученій...
Но я безъ страха жду довременный
конецъ;
Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый.

Пускай толпа растопчет мой вѣнецъ,
Вѣнецъ пѣвца, вѣнецъ терновый—
Пускай! я имъ не дорожилъ!..

Сонъ.

Въ полдневный жаръ, въ долину Да-
гестана,
Съ свинцомъ въ груди лежалъ недви-
жимъ я;
Глубокая еще дымилась рана,
По каплѣ кровь точилась моя.
Лежалъ одинъ я на песокъ долины,
Уступы скалъ тѣснилися кругомъ,
И солнце жгло ихъ желтыя вершины,
И жгло меня—но спалъ я мертвымъ
сномъ.

И снился мнѣ сіяющій огнями
Вечерній пиръ въ родимой сторонѣ;
Межъ юныхъ женъ, увѣнчанныхъ цвѣ-
тами,

Шелъ разговоръ веселый обо мнѣ.
Но, въ разговоръ веселый не вступая,
Сидѣла тамъ задумчиво одна,
И въ грустный сонъ душа ея мла-
дая

Богъ знаетъ чѣмъ была погружена.
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый трупъ лежалъ въ долину
той,

Въ его груди, дымаясь, чернѣла рана
И кровь лилась хладѣющей струей...

Утесъ.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана
Утромъ въ путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.

Но остался влажный слѣдъ въ мор-
щинѣ

Старого утеса. Одиноко
Онъ стоитъ; задумался глубоко
И тихонько плачетъ онъ въ пусты-
нѣ...

Изъ Гейне.

Они любили другъ друга такъ долго
и нѣжно,
Съ тоскою глубокой и страстью без-
умно-мятежной,
Но, какъ враги, избѣгали признанья и
встрѣчи,
И были пусты и хладны ихъ краткія
рѣчи.
Они разстались въ безмолвномъ и гор-
домъ страданья
И милый образъ во снѣ лишь порою
видали;
И смерть пришла, наступило за гро-
бомъ свиданье—
Но въ мірѣ новомъ другъ друга они
не узнали.

* * *

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки
родимой

И въ степь укатился, жестокою бурей
гонимый;

Засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и
горя,

И вотъ, наконецъ, докатился до Чер-
наго моря.

У Чернаго моря чинара стоитъ
молодая,

Съ ней шепчется вѣтеръ, зеленая
вѣтви лаская;

На вѣтвяхъ зеленыхъ качаются рай-
скія птицы—

Поютъ онѣ пѣсни про славу морской
царь-дѣвицы.

И странникъ прижался у корня чинары
высокой:

Пріюта на-время онъ молить съ тоскою
глубокой.

И такъ говоритъ онъ: „Я бѣдный
листочекъ дубовый,

До срока созрѣлъ я и выросъ въ отчизнѣ
суровой.

„Одинъ и безъ цѣли по свѣту ношуся
давно я,

Засохъ я безъ тѣни, увялъ я безъ
сна и покоя.

Прими же пришельца межъ листьевъ
своихъ изумрудныхъ—
Немало я знаю рассказовъ мудреныхъ
и чудныхъ“.

— „На что мнѣ тебя! отвѣчаетъ младая
чинара:

Ты пыленъ и желтъ, и сынамъ моимъ
свѣжимъ не пара.

Ты много видалъ,—да къ чему мнѣ твои
небылицы?

Мнѣ слухъ утомили давно ужъ и рай-
скія птицы...

„Иди себѣ дальше, о странникъ! тебя
я не знаю.

Я солнцемъ любима, пѣту для него
и блистаю;

По небу я вѣтви раскинула здѣсь
на просторѣ,

И корни мои умываетъ холодное
море.

* * *

Выхожу одинъ я на дорогу:

Сквозь туманъ кремнистый путь
блестить:

Ночь тиха, пустыня внемлетъ Богу,
И звѣзда съ звѣздой говорить.

Въ небесахъ торжественно и чудно!

Спитъ земля въ сияньѣ голубомъ...

Что же мнѣ такъ больно и такъ

трудно:

Жду ль чего? жалѣю ли о чемъ?

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,

И не жалѣю мнѣ прошлаго ничуть;

Я ищу свободы и покоя;

Я бѣ хотѣлъ забыться и заснуть...

Но не тѣмъ холоднымъ сномъ
могила—

Я бѣ желалъ на вѣки такъ заснуть,

Чтобъ въ груди дремали жизни силы,

Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтобъ всю ночь, весь день, мой слухъ
лелѣя,

Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ;

Надо мной чтобъ, вѣчно зеленѣя,

Темный дубъ склонялся и шумѣлъ.

Пророкъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Вѣчный Судия
Мнѣ далъ всевѣдѣнне пророка,
Въ очахъ людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я сталъ любви
И правды чистыя ученя:
Въ меня всѣ ближніе мои
Бросали бѣшено каменья.

Посыпалъ пепломъ я главу,
Изъ городовъ бѣжалъ я нищій,
И, вотъ, въ пустынѣ я живу,
Какъ птицы—даромъ Божьей пищи.

Завѣтъ Предвѣчнаго храня,
Мнѣ тварь покорна тамъ земная,
И звѣзды слушаютъ меня,
Лучами радостно играя.

Когда же черезъ шумный градъ
Я пробираюсь торопливо,
То старцы дѣтямъ говорятъ
Съ улыбкою самолюбивой:

„Смотрите: вотъ примѣръ для васъ!
Онъ гордъ былъ, не ужился съ нами;
Глупецъ—хотѣлъ увѣрить насъ,
Что Богъ гласитъ его устами!

„Смотрите жъ; дѣти, на него,
Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и блѣденъ!
Смотрите, какъ онъ нагъ и бѣденъ!
Какъ презираютъ всѣ его!“

Умирающій Гладіаторъ.

I see before me the gladiator lie...
Byron.

Ликуетъ буйный Римъ... торжественно
гремятъ

Рукоплесканьями широкая арена—
А онъ, произанный въ грудь, безмолвно
онъ лежитъ,

Во прахѣ и крови скользятъ его колѣна...
И молятся жалости напрасно мутный
взоръ:

Надменный временщикъ и льстецъ его,
сенаторъ,

Вѣнчаютъ похвалою побѣду и поворотъ...
Что яростной толпѣ сраженный гла-
діаторъ?

Онъ презрѣнъ и забытъ... освищенный
актеръ!

И кровь его течетъ—последнія мгновенья
Мелькаютъ—близокъ часъ... Вотъ лучъ
воображенья
Сверкнулъ въ его душѣ... предъ нимъ
шумитъ Дунай...
И родина цвѣтетъ—свободной жизни
край;
Онъ видитъ кругъ семьи, оставленной
для брани,
Отца простершаго нѣмѣющія длани,
Зовущаго къ себѣ опору дряхлыхъ
дней...
Дѣтей играющихъ — возлюбленныхъ
дѣтей!
Всѣ ждутъ его назадъ съ добычею и
славой...
Напрасно: жалкій рабъ, онъ палъ какъ
звѣрь лѣсной,
Безчувственной толпы минутою забавой...
„Прости, развратный Римъ!—прости,
о край родной!“

Два великана.

Въ шапкѣ золота литого
Старый русскій великанъ
Поджидалъ къ себѣ другого
Изъ далекихъ чуждыхъ странъ.
За горами, за долами
Ужъ гремѣлъ о немъ рассказъ,
И помѣряться главами
Захотѣлось имъ хоть разъ.
И пришелъ съ грозой военной
Трехнедѣльный удалецъ,
И рукою дерзновенной
Хватъ за вражескій вѣнецъ.
Но улыбкой роковою
Русскій витязь отвѣчалъ—
Посмотрѣлъ, трихнулъ главою:
Ахнулъ дерзкій—и упалъ...
Но упалъ онъ въ дальнемъ морѣ
На невѣдомый гранитъ,
Тамъ, гдѣ буря на просторѣ
Надъ пучиною шумитъ.

Бородино.

„Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Недаромъ помнить вся Россія
Про день Бородина!“
—Да, были люди въ наше время,
Не то, что нынѣшнее племя:
Богатыри—не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногие вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!
Мы долго молча отступали.
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
„Что жъ мы? На зимнія квартиры?
Не смѣютъ что ли командиры
Чужіе изорвать мундиры
О русскіе штаны?“
И вотъ—нашли большое поле:
Есть разгуляться гдѣ на волѣ!
Построили редутъ.
У нашихъ уши на макушкѣ!
Чуть утро освѣтило пушки
И лѣса синія верхушки—
Французы тутъ-какъ-тутъ.
Забилъ зарядъ я въ пушку туго
И думалъ: угошу я друга!
Постой-ка, братъ мусью!
Что тутъ хитрить, пожалуй къ бою;
Ужъ мы пойдемъ ломить стѣною,
Ужъ постоимъ мы головою
За родину свою!
Два дня мы были въ перестрѣлкѣ.
Что толку въ этакій бездѣлѣ?
Мы ждали третій день.
Повсюду стали слышны рѣчи:
„Пора добаться до картечи!“
И вотъ на полѣ грозной сѣчи
Ночная пала тѣнь.
Прилегъ вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвѣта,
Какъ ликовалъ французъ.
Не тихъ былъ нашъ бивакъ открытый:
Кто киверъ чистилъ весь избитый,
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,

Кусая длинный усь.
И только небо засвѣтилось,—
Все шумно вдругъ зашевелилось,
Сверкнулъ за строемъ строй.
Полковникъ нашъ рождень былъ
хвatomъ:
Слуга царю, отецъ солдатамъ..
Да, жаль его: сраженъ булатомъ,
Онъ спитъ въ землѣ сырой.
И молвилъ онъ, сверкнувъ очами:
„Ребята! не Москва ль за нами?
Умереть жъ подъ Москвой,
Какъ наши братья умирали!“—
И умереть мы общали,
И клятву вѣрности сдержали
Мы въ Бородинскій бой.
Ну жъ, былъ денегъ!.. Сквозъ дымъ
летучій
Французы двинулись, какъ тучи,
И все на нашъ редутъ.
Уланы съ пестрыми значками,
Драгуны съ конскими хвостами—
Всѣ промелькнули передъ нами,
Всѣ побывали тутъ.
Вамъ не видать такихъ сраженій!..
Носились знамена, какъ тѣни,
Въ дыму огонь блестѣлъ,
Звучалъ булатъ, картечь визжала,
Рука бойцовъ колотъ устала,
И ядрамъ пролетать мѣшала
Гора кровавыхъ тѣлъ.
Извѣдалъ врагъ въ тотъ день немало,
Что значить русскій бой удалый,
Нашъ рукопашный бой!..
Земля тряслась, какъ наши груди;
Смѣшались въ кучу кони, люди;
И залпы тысячи орудій
Слились въ протяжный вой...
Вотъ смерелось. Были всѣ готовы
Завтра бой затѣять новый
И до конца стоять...
Вотъ затрещали барабаны—
И отступили басурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.
Да, были люди въ наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри—не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногие вернулись съ поля...

Когда бъ на то не Божья воля,
Не отдали бъ Москвы!

Три пальмы.

Восточное сказаніе.

Въ песчаныхъ степяхъ аравійской
земли
Три гордыя пальмы высоко росли.
Родникъ между ними изъ почвы без-
плодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый подъ сѣнью зеленыхъ ли-
стовъ
Отъ знойныхъ лучей и летучихъ
песковъ.
И многіе годы неслышно прошли;
Но странникъ усталый, изъ чуждой
земли,
Пылающей грудью ко влагъ студен-
ной
Еще не склонялся подъ кущей зе-
леной.
И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ
лучей
Роскошныя листья и звучный ручей.
И стали три пальмы на Бога роптать:
„На то ль мы родились, чтобъ здѣсь
увядать?
Безъ пользы въ пустынѣ росли и
цвѣли мы,
Колеблемы вихремъ и зноемъ палимы,
Ничей благосклонный не радуя взоръ?..
Не правъ твой, о Небо, святой приго-
воръ!..“
И только замолели—въ дали голубой
Столбомъ ужъ крутился песокъ зо-
лотой,
Звонковъ раздавались нестройные
звуки,
Пестрѣли коврами покрытые въюки,
И шель, колыхаясь, какъ въ морѣ
челнокъ,
Верблюдъ за верблюдомъ, врывая
песокъ.
Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ гор-
бовъ
Узорные помы походныхъ шатровъ;
Ихъ смуглыя ручки порой подымали,

И черныя очи оттуда сверкали...

И, станъ худощавый въ лукъ наклона,
Арабъ горячилъ вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой,
И прыгалъ, какъ барсъ, пораженный
стрѣлой;

И бѣлой одежды красивыя складки
По плечамъ фариса вились въ без-
порядкѣ;

И, съ крикомъ и свистомъ несясь
по песку,

Бросалъ и ловилъ онъ копы на скаку.
Вотъ къ пальмамъ подходитъ, шумя,
караванъ;

Въ тѣни ихъ веселый раскинулся станъ.
Кувшины, звуча, налилися водою,

И, гордо кивая махровой главою,
Привѣтствуютъ пальмы нежданныхъ
гостей,

И щедро поить ихъ студеный ручей.
Но только-что сумракъ на землю
упалъ,

По корнямъ упругимъ топоръ за-
стучалъ—

И пали безъ жизни питомцы столѣтій!
Одежду ихъ сорвали малыя дѣти,
Изрублены были тѣла ихъ потомъ,
И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.

Когда же на западъ умчался туманъ,
Урочный свой путь совершалъ кара-
ванъ;

И слѣдомъ печальнымъ на почвѣ без-
плодной

Видѣлся лишь пепелъ сѣдой и хо-
лодный;

И солнце остатки сухіе дожгло,
А вѣтромъ ихъ въ степи потомъ раз-
несло.

И нынѣ все дико и пусто кругомъ—
Не шепчутся листья съ гремучимъ
ключемъ:

Напрасно пророка о тѣни онъ про-
ситъ—

Его лишь песокъ раскаленный за-
носить,

Да коршунъ хохлатый, степной не-
людимъ,

Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ
нимъ.

Дары Терекъ.

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ,
Межъ утесистыхъ громадъ,
Бурѣ плачъ его подобенъ,
Слезы брызгами летятъ.
Но, по степи разбѣгаясь,
Онъ лукавый принялъ видъ,
И, привѣтливо ласкаясь,
Морю Каспію журчить:

„Разступись, о старецъ-море,
Дай пріютъ моей волнѣ!
Погуляя я на просторѣ,
Отдохнуть пора бы мнѣ.
Я родился у Казбека,
Вскормленъ грудью облаковъ,
Съ чуждой властью человѣка
Вѣчно спорить былъ готовъ.
Я, сынамъ твоимъ въ забаву,
Разорилъ родной Дарыалъ,
И валуновъ имѣ, на славу,
Стадо цѣлое пригналъ“.

Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій стихнулъ, будто спитъ,
И опять, ласкаясь, Терекъ
Старцу на ухо журчитъ:

„Я привезъ тебѣ гостинецъ!
То гостинецъ не простой:
Съ поля битвы кабардинецъ,
Кабардинецъ удалой.

„Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,
Въ налокотникахъ стальныхъ:
Изъ Корана стихъ священный
Писанъ золотомъ на нихъ.
Онъ угрюмо сдвинулъ брови,
И усовъ его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя;
Взоръ открытый, безотвѣтный,
Половъ старую враждой:
По затылку чубъ завѣтный
Вьется черною космой“.

Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій дремлетъ и молчитъ;
И, волнуясь, буйный Терекъ
Старцу снова говоритъ:
„Слушай, дядя: даръ безцѣнный!
Что другіе всѣ дары!

Но его отъ всей вселенной
Я тайлъ до сей поры.
Я примчу къ тебѣ съ волнами
Трупъ казачки молодой,
Съ томно-блѣдными плечами,
Съ свѣтло-русою косой.
Грустепъ ликъ ея туманный,
Взоръ такъ тихо, сладко спитъ,
А на грудь изъ малой раны
Струйка алая бѣжитъ.
По красотѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.

„Осѣдлалъ онъ вороного,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ чеченца злого
Сложить голову свою“.

Замолчалъ потокъ сердитый,
И надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косой размытой,
Колыхаяся, всплыла.

И старикъ во блескѣ власти
Всталъ, могучій какъ гроза,
И одѣлся влагой страсти
Темно-синіе глаза.

Онъ выигралъ, веселья полный,
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви.

Воздушный корабль.

Изъ Зейдлица.

По синимъ волнамъ океана,
Лишь звѣзды блеснутъ въ небесахъ,
Корабль одинокій несется,
Несется на всѣхъ парусахъ.

Не гнутся высокія мачты,
На нихъ флюгера не шумятъ,
И, молча, въ открытые люки
Чугунныя пушки глядятъ.

Не слышно на немъ капитана,
Не видно матросовъ на немъ;
Но скалы и тайныя мели,
И бури ему нипочемъ.

Есть островъ на томъ океанѣ—
Пустынный и мрачный гранитъ;
На островѣ томъ есть могила,
А въ ней императоръ зарытъ.
Зарытъ онъ безъ почестей бранныхъ
Врагами въ сыпучій песокъ;
Лежитъ на немъ камень тяжелый,
Чтобъ встать онъ изъ гроба не могъ.
И въ часъ его грустной кончины,
Въ полночь, какъ совершается годъ,
Къ высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристаеъ.

Изъ гроба тогда императоръ,
Очнувшись, является вдругъ;
На немъ треугольная шляпа
И сѣрый походный скрутокъ.
Скрестивши могучія руки,
Главу опустивши на грудь,
Идетъ и къ рулю онъ садится,
И быстро пускается въ путь.
Несется онъ къ Франціи милой,
Гдѣ славу оставилъ и тронъ,
Оставилъ наслѣдника-сына
И старую гвардію онъ.

И только-что землю родную
Завидитъ во мракѣ ночномъ,
Опять его сердце трепещетъ
И очи пылаютъ огнемъ.

На берегъ большими шагами
Онъ смѣло и прямо идетъ,
Соратниковъ громко онъ кличетъ
И маршаловъ грозно зоветъ.
Но спать усачи-гренадеры—
Въ равнинѣ, гдѣ Эльба шумитъ,
Подъ снѣгомъ холодной Россіи,
Подъ знойнымъ пескомъ пирамидъ.

И маршалы зова не слышатъ:

Иные погибли въ бою,

Другіе ему измѣнили

И продали шпагу свою.

И, топнувъ о землю ногою,
Сердито онъ взадъ и впередъ
По тихому берегу ходитъ,
И снова онъ громко зоветъ:

Зоветъ онъ любезнаго сына—

Опору въ превратной судьбѣ;

Ему обѣщаетъ полміра,

А Францію только—себѣ.

Но въ цвѣтѣ надежды и силы
Угасъ его царственный сынъ,

И долго, его поджидая,
Стоить императоръ одинъ.
Стоить онъ и тяжело вздыхаетъ,
Пока озарится востокъ,
И капаютъ горькія слезы
Изъ глазъ на холодный песокъ.
Потомъ на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идетъ и, махнувши рукою,
Въ обратный пускается путь.

С п о р ъ.

Какъ-то разъ передъ толпою
Соплеменныхъ горъ
У Казбека съ Шатъ-горою
Былъ великій споръ.
„Берегись!“ сказалъ Казбеку
Сѣдовласый Шатъ:
„Покорился человѣку
Ты недаромъ, братъ!
Онъ настроить дымныхъ келій
По уступамъ горъ;
Въ глубинѣ твоихъ ущелій
Загнать топоръ;
И желѣзная лопата
Въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и золото,
Врѣжетъ страшный путь.
„Ужъ проходятъ караваны
Черезъ тѣ скалы,
Гдѣ носились лишь туманы,
Да цари-орлы.
Люди хитры! Хоть и труденъ
Первый былъ скачокъ—
Берегись! многолюденъ
И могучъ Востокъ!“
— „Не боюсь я Востока!“
Отвѣчалъ Казбекъ:
„Родъ людской тамъ спитъ глубоко
Ужъ девятый вѣкъ.
Посмотри: въ тѣни чинары,
Пью сладкихъ винъ
На узорные шальвары
Сонный лѣтъ грузинъ;
И, склонясь въ дыму кальяна
На цвѣтной диванъ,
У жемчужнаго фонтана
Дремлетъ Тегеранъ.

Вотъ у ногъ Ерусалима,
Богомъ сожжена,
Безглагольна, недвижима
Мертвая страна.
Дальше: вѣчно чуждый тѣни,
Моетъ желтый Нилъ
Раскаленные ступени
Царственныхъ могилъ.
Бедуинъ забылъ наѣзды
Для цвѣтныхъ шатровъ,
И поетъ, считая звѣзды,
Про дѣла отцовъ.
Все, что здѣсь доступно оку,
Спитъ, покой цѣня.
Нѣтъ! не дряхлому Востоку
Покорить меня!—
„Не хвались еще заранѣ!“
Молвилъ старый Шатъ:
„Вотъ на сѣверѣ въ туманѣ
Что-то видно, братъ!“
Тайно былъ Казбекъ огромный
Вѣстью той смущенъ;
И, смутясь, на сѣверѣ темный
Взоры кинулъ онъ;
И туда въ недоумѣньѣ
Смотритъ полный думъ:
Видитъ странное движеніе,
Слышитъ звонъ и шумъ.
Отъ Урала до Дуная,
До большой рѣки,
Колыхаясь и сверкая,
Двигутся полки;
Вѣютъ бѣлые султаны,
Какъ степной ковыль;
Мчатся пестрые уланы,
Подымая пыль;
Боевые батальоны
Тѣсно въ рядъ идутъ,
Впереди несутъ знамены,
Въ барабаны бьютъ;
Батареи мѣднымъ строемъ
Скачутъ и гремятъ,
И, дымясь, какъ передъ боемъ,
Фитили горятъ.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Ихъ ведетъ, грозя очами,
Генералъ сѣдой.
Идутъ всѣ полки, могучи,
Шумны какъ потокъ,

Страшно-медленны, какъ тучи,
Прямо на востокъ.
И, томимъ зловѣщей думой,
Полный черныхъ сновъ,
Сталъ считать Казбекъ угрюмый,
И не счелъ враговъ.
Грустнымъ взоромъ онъ окинулъ
Племя горъ своихъ,
Шапку на брови надвинулъ—
И навѣкъ затихъ.

Повѣсти изъ современной жизни.

Валерикъ.

Я къ вамъ пишу случайно; право,
Не знаю какъ и для чего.
Я потерялъ ужъ это право.
И чтò скажу вамъ?—Ничего!...
Что помню васъ?... Но, Боже правый!
Вы это знаете давно,
И вамъ, конечно, все равно.
И знать вамъ также нѣту нужды—
Гдѣ я, чтò я, въ какой глуши?
Душою мы другъ другу чужды...
Да врядъ ли есть родство души!
Страницы прошлаго читая,
Ихъ по порядку разбирая
Теперь остынувшимъ умомъ,
Разувѣряюсь я во всемъ.
Смѣшно же сердцемъ лицемѣрить
Передъ собою столько лѣтъ;
Добро бѣ, еще морочить свѣтъ...
Да и притомъ, что пользы вѣрить
Тому, чего ужъ больше нѣтъ?..
Безумно ждать любви заочной?
Въ нашъ вѣкъ всѣ чувства лишь на
сроки;

Но я васъ помню—да и точно
Я васъ никакъ забыть не могъ!
Во-первыхъ, потому что много
И долго, долго васъ любилъ,
Потомъ страданьемъ и тревогой
За дни блаженства заплатилъ,
Потомъ въ раскаяннй безплодномъ
Влачилъ я цѣпь тяжелыхъ лѣтъ
И размышленіемъ холоднымъ
Убилъ послѣдній жизни цвѣтъ...

Съ людьми сближаясь осторожно,
Забылъ я шумъ молодыхъ проказъ,
Любовь, поэзію... но васъ
Забыть мнѣ было невозможно!
И къ мысли этой я привыкъ;
Мой крестъ несу я безъ роптанья:
То иль другое наказанье—
Не все ль одно! Я жизнь постигъ.
Судьбѣ, какъ турокъ иль татаринъ,
За все я равно благодаренъ;
У Бога счастья не прошу
И молча зло переполну:
Быть можетъ, небеса Востока
Меня съ ученіемъ ихъ пророка
Невольно сблизили. Притомъ
И жизнь всечасно кочевая,
Труды, заботы, ночь и день,
Все, размышленію мѣшая,
Приводитъ въ первобытный видъ
Больную душу; сердце спитъ,
Простора нѣтъ воображенію
И нѣтъ работы головѣ...
Зато лежишь въ густой травѣ
И дремлешь... подъ широкой тѣнью
Чинаръ иль виноградныхъ лозъ.
Кругомъ бѣлѣются палатки;
Казачьи тощія лошадки
Стоять рядкомъ, повѣся носъ;
У мѣдныхъ пушекъ спитъ прислуга;
Едва дымятся фитили;
Попарно цѣпь стоитъ вдали;
Штыки горятъ подъ солнцемъ юга.
Вотъ—разговоръ о старинѣ
Въ палаткѣ ближней слышенъ мнѣ:
Какъ при Ермоловѣ ходили
Въ Чечню, въ Аварію къ горамъ,
Какъ тамъ дрались, какъ мы ихъ били,
Какъ доставалось и намъ...
И вижу я, неподалеку,
У рѣчки, слѣдуя пророку,
Мирной татаринъ свой намазъ
Творить, не подымая глазъ;
И вотъ кружкомъ сидятъ другіе:
Люблю я цвѣтъ ихъ желтыхъ лицъ,
Подобный цвѣту наговицъ;
Ихъ шапки, рукава худые;
Ихъ томный и лукавый взоръ
И ихъ гортанный разговоръ.
Чулъ—дальній выстрѣлъ... прожу-
жала

Пальная пуля... славный звук!..
Вотъ крикъ—и снова все вокругъ
Затихло... Но жара ужъ спала,
Ведутъ коней на водопой,
Зашевелилася пѣхота;
Вотъ проскакалъ одинъ, другой...
Шумъ, говоръ... „Гдѣ вторая рота?“
„Что? Въючить?“—„Что же капи-
танъ?“

„Повозки выдвигайте живо!“
„Савельичъ!...“ — Ой ли? — „Дай
огниво!“

Подъемъ ударилъ барабанъ;
Гудить музыка полковая;
Между колоннами вѣзжая,
Звенятъ орудья; генералъ
Впередъ со свитой поскакалъ;
Разсыпались въ широкомъ полѣ,
Какъ пчелы, съ гикомъ казаки;
Ужъ показались значки
Тамъ, на опушкѣ—два и болѣ.
А вотъ въ чалмѣ одинъ мюридъ
Въ черкескѣ красной ѣздить важно,
Конь свѣтло-сѣрый весь кипитъ;
Онъ машетъ, кличетъ... Гдѣ отваж-
ный?

Кто выйдетъ съ нимъ на смертный
бой?...

Сейчасъ... Смотрите: въ шапкѣ чер-
ной

Казакъ пустился гребенской,
Винтовку выхватилъ проворно,
Ужъ близко... выстрѣлъ... легкій
дымъ...

„Эй вы, станичники, за нимъ!...
„Что? раненъ?—Ничего, бездѣла!...“
И завязалась перестрѣлка...

Но въ этихъ сшибкахъ удалыхъ
Забавы много, толку мало;
Прохладнымъ вечеромъ, бывало,
Мы любовались на нихъ
Безъ кроваваго волненья,
Какъ на трагическій балетъ;
Зато видалъ я представленья,
Какихъ у насъ на сценѣ нѣтъ...

Разъ—это было подъ Гехами—
Мы проходили темный лѣсъ.
Огнемъ дыша, пылалъ падъ нами
Лазурно-яркій сводъ небесъ.
Намъ былъ обѣщанъ бой жестокий.

Изъ горъ Ичкеріи далекой
Уже въ Чечню на бранный ровъ
Толпы стекались удалцовъ.
Надъ допотопными лѣсами
Мелькали маяки кругомъ,
И дымъ ихъ то вился столбомъ,
То разстился облаками.
И оживились лѣса,
Скликались дико голоса
Подъ ихъ зелеными шатрами...
Едва лишь выбрался обозъ
Въ поляну—дѣло началось,
Чу! въ арьергардъ орудье просить;
Вотъ ружья изъ кустовъ выносятся;
Вотъ тащутъ за ноги людей
И кличутъ громко лекарей...
И вотъ изъ лѣса, изъ опушки,
Вдругъ съ гикомъ кинулись на
пушки...

И градомъ пуль съ вершинъ деревъ
Отрядъ осыпанъ... Впереди же
Все тихо... Тамъ, между кустовъ
Бѣжалъ потокъ; подходимъ ближе;
Пустили нѣсколько гранатъ;
Еще подвинулись... молчать...
Но вотъ подъ бревнами завала
Ружье какъ будто заблестало,
Потомъ мелькнуло шапкѣ двѣ—
И вновь все спряталось въ травѣ.
То было грозное молчанье...
Недолго длилось оно,
Но въ этомъ страшномъ ожиданьи
Забилось сердце не одно...
Вдругъ залпъ... глядимъ: лежатъ
рядами.

Что нужды? Здѣшніе полки
Народъ испытанный... Въ штыки!
Дружбе!—раздалось за нами.
Кровь загорѣлася въ груди!
Всѣ офицеры впереди...
Верхомъ помчался на завалы,
Кто не успѣлъ прыгнуть съ воя...
Ура!—и смокло... Вонъ кинжалы...
Въ приклады... и пошла рѣзня.
И два часа въ струяхъ потока
Бой длился; рѣзалось жестоко,
Какъ звѣри, молча, съ грудью грудь.
Ручей тѣлами запрудили.
Хотѣлъ воды я зачерпнуть—
И зной, и битва утомили

Меня—но мутная волна
 Была тепла, была красна...
 На берегу, подъ тѣнью дуба,
 Пройдя заваловъ первый рядъ,
 Стоялъ кружокъ. Одинъ солдатъ
 Былъ на колѣняхъ; мрачно, грубо
 Казалось выраженье лицъ,
 Но слезы капали съ рѣсницъ,
 Покрытыхъ пылью. На шинели,
 Спиною къ дереву, лежалъ
 Ихъ капитанъ... Онъ умиралъ:
 Въ груди его едва чернѣли
 Двѣ ранки: кровь его чуть-чуть
 Сочилась; но высоко грудь
 И трудно подымалась; взоры
 Бродили страшно; онъ шепталъ:
 „Спасите, братцы!.. Ташутъ въ горы!..
 Пойдите!... Гдѣ же генералъ?...
 Не слышу...“ Долго онъ стоналъ,
 Но все слабѣй, и понемногу
 Затихъ—и душу отдалъ Богу.
 На ружья опершись, кругомъ
 Стояли усачи сѣдые
 И тихо плакали... потомъ
 Его останки боевые
 Накрыли бережно плащомъ
 И понесли... Тоской томимый,
 Имъ вслѣдъ смотрѣлъ я, недвижимый.
 Уже затихло все; тѣла
 Стащили въ кучу; кровь текла
 Струею дымной по камнямъ;
 Ея тяжелымъ испареньемъ
 Былъ полонъ воздухъ. Генералъ
 Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
 И донесенъя принималъ.
 Окрестный лѣсъ, какъ бы въ туманѣ,
 Синѣлъ въ дыму пороховомъ.
 А тамъ вдали—грядой нестройной,
 Но вѣчно гордой и спокойной,
 Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
 Тянулись горы—и Кавбекъ
 Сверкалъ главой остроконечной.
 И съ грустью тайной и сердечной
 Я думалъ: жалкій человѣкъ!
 Чего онъ хочетъ?... Небо ясно;
 Подъ небомъ мѣста много всѣмъ:
 Но безпрестанно и напрасно
 Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?...
 Глубь прервалъ мое мечтанье,

Ударивъ по плечу—онъ былъ
 Кунакъ мой—я его спросилъ,
 Какъ мѣсту этому названье?
 Онъ отвѣчалъ мнѣ: „Валерикъ—
 А перевести на нашъ языкъ,
 Такъ будетъ—рѣчка смерти;
 вѣрно,
 Дано старинными людьми!“
 —А сколько ихъ дралось, примѣрно,
 Сегодня?—„Тысячъ до семи“.
 —А много горцы потеряли?
 „Какъ знаты! зачѣмъ вы не считали?“
 — Да, будетъ, кто-то тутъ сказалъ,
 Имъ въ память этотъ день кровавый!—
 Чеченецъ посмотрѣлъ лукаво
 И головою покачалъ...
 Но я боюсь вамъ наскучить.
 Въ забавахъ свѣта вамъ смѣшны
 Тревоги дикія войны;
 Свой умъ вы не привыкли мучить
 Тяжелой думой о концѣ;
 На вашемъ молодомъ лицѣ
 Слѣдовъ заботы и печали
 Не отыскать, и вы едва ли
 Вблизи когда-нибудь видали,
 Какъ умираютъ... Дай вамъ Богъ
 И не видать! Иныхъ тревогъ
 Довольно есть. Въ самозабвеньи
 Но лучше ль кончить жизни путь,
 И безпробуднымъ сномъ заснуть
 Съ мечтой о близкомъ пробужденіи?
 Теперь прощайте!—Если васъ
 Мой безыскусственный рассказъ
 Развеселитъ, займетъ хоть малость—
 Я буду счастливъ; а не такъ...
 Простите мнѣ его, какъ шалость,
 И тихо молвите: чуждакъ!

Измаилъ-Бей.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Привѣтствую тебя, Кавказъ сѣдой!
 Твоимъ горамъ я путникъ не чужой;
 Онъ меня въ младенчествѣ носили

И къ небесамъ пустыни приучили.
И долго мнѣ мечтались съ этихъ поръ
Все небо юга да утесы горъ.
Прекрасенъ ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вѣчные природы,
Когда, какъ дымъ синѣя, облака
Подъ вечеръ къ вамъ летятъ издалека,
Надъ вами вьются, шепчутся какъ

тѣни,
Какъ надъ главой огромныхъ при-
видѣній

Колеблемыя перья—и луна
По синимъ сводамъ странствуетъ одна.

II.

Какъ я любилъ, Кавказъ мой вели-
чавый,

Твоихъ сыновъ воинственные нравы,
Твоихъ небесъ прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенныхъ, громкихъ
бурь,

Когда пещеры и холмы крутые
Какъ стражи отелѣкаются ночные;
И вдругъ проглянетъ солнце, и потокъ
Озолотится, и степной цвѣтокъ,
Душистую головку поднимая,
Блится, какъ цвѣты небесъ и рай!..
Въ вечерній часъ дождливыхъ облаковъ
Я наблюдалъ разодранный покровъ:
Лиловыя, съ багряними краями
Одни еще грозятъ, и надъ скалами
Волшебный замокъ, чудо древнихъ
дней,

Растетъ въ минуту; но еще скорѣй
Его разсвѣтъ вѣтра дуновенье.
Такъ прерываетъ рѣзкій звукъ цѣпей
Преступнаго страдальца сновидѣнье,
Когда онъ зрѣтъ холмы своихъ полей...
Межъ тѣмъ бѣлѣй, чѣмъ горы снѣговья,
Идутъ на западъ облака другія
И, проводивши день, тѣсняся въ рядъ,
Другъ черезъ друга свѣтлыя глядятъ
Такъ весело, такъ пышно и безпечно,
Какъ будто жить и нравиться имъ
вѣчно!...

III.

И дики тѣхъ ущелій племена;
Имъ Богъ—свобода, ихъ законъ—
война;

Они растутъ среди разбоевъ тайныхъ,
Жестокихъ дѣлъ и дѣлъ необычайныхъ.
Тамъ въ колыбели пѣсни матерей
Пугаютъ русскимъ именемъ дѣтей;
Тамъ поразить врага не преступленье;
Вѣрна тамъ дружба, но вѣрнѣе мщенье;
Тамъ за добро—добро, и кровь—за
кровь,
И ненависть безмѣрна, какъ любовь.

Однажды въ горахъ ѣхалъ всадникъ,
одѣтый черкесомъ. Это былъ Исмаиль-бей,
который, послѣ продолжительной жизни
въ Россіи, возвращается въ родныя горы;
онъ отыскиваетъ родное селеніе, но его
нѣтъ; жители, боясь русскихъ, ушли въ
горы.

XI.

Кто жъ этотъ путникъ? русскій?
нѣтъ.

На немъ чекмень, простой бешметъ,
Чело подъ шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолетъ
Блестятъ насѣчкой небогатой;
И перетянутъ онъ ремнемъ,
И шапка чуть звенитъ на немъ;
Ружье, мотаясь за плечами,
Вѣлѣетъ въ шерстяномъ чехлѣ;
И какъ же горда на сѣдлѣ
Не различить мнѣ съ казаками?
Я не ошибся—онъ черкесъ.
Но смуглый цвѣтъ почти исчезъ
Съ его ланитъ; снѣга и вьюга
И холодъ сѣверныхъ небесъ,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно все, что онъ черкесъ.
Густыя брови, взглядъ орлиный,
Рѣсницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны.
Отвергнувъ онъ обрядъ чужбины,
Не сбрилъ бородки и усовъ,
И блещетъ бѣлый рядъ зубовъ,
Какъ брызги пѣны у береговъ.
Онъ, сколько могъ, привычекъ, правилъ
Своей отчизны не оставилъ...
Но горе, горе, если онъ,
Храня людей суровыхъ мнѣнья,
Развратомъ, ядомъ просвѣщенья
Въ Европѣ душной заражаетъ!
Старикъ для чувствъ и наслажденья,

Безъ сѣдины между волосъ,
Зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо,
Такъ непокойно, такъ игриво,
Онъ сердце мертвое принесъ?

XIII.

Какъ наши юноши, онъ молодъ,
Но хладенъ блескъ его очей;
Поверхность темную морей
Такъ покрываетъ ранній холодъ
Корой ледяною своей
До первой бури. Чувства, страсти,
Въ очахъ навѣки догорѣвъ,
Таятся, какъ въ пещерѣ левъ,
Глубоко въ сердцѣ, но ихъ власти
Оно никакъ не избѣжить.
Пусть будетъ это сердце камень—
Ихъ пробужденный адскій пламень
И камень углемъ раскалитъ.

XVII.

Куда черкесь направилъ путь?
Гдѣ отдохнетъ младая грудь
И усмирится думъ волненье?
Черкесь не хочетъ отдохнуть:
Ужели отдыхаетъ мщенье?
Аулъ, гдѣ дѣтство онъ провелъ,
Мечети, кровы мирныхъ селъ—
Все уничтожилъ русскій воинъ.
Нѣтъ, нѣтъ, не будетъ онъ спокоенъ,
Пока изъ бѣлыхъ ихъ костей,
Вѣкамъ грядущимъ въ поученье,
Онъ не воздвигнетъ мавзольей
И такъ отмститъ за униженъе
Любезной родины своей.
„Я знаю васъ, онъ шепчетъ, знаю!
И вы узнаете меня;
Давно ужъ васъ я презираю;
Но вашу кровь пролить желаю
Я только съ нынѣшняго дня...“
Онъ бьетъ и дергаетъ коня,
И конь летитъ, какъ вѣтеръ степи;
Надулись ноздри, блещетъ взоръ,
И ужъ въ виду зубчаты цѣпи
Кремнистыхъ безконечныхъ горъ,
И Шатъ подѣмляется за ними
Съ двумя главами снѣговыми,
И путникъ мнитъ: „недалеко:
Въ часъ прискачу я къ нимъ легко“.

XIX.

Но вотъ его, подобно тучѣ,
Встрѣчаетъ крайняя гора:
Пестрый восточнаго ковра
Холмы кругомъ, все выше, круче.
Покрытый пѣной до ушей,
Здѣсь началъ конь дышать вольнѣй;
И дѣтскихъ лѣтъ воспоминанья
Передъ черкесомъ пронеслись,
Въ груди проснулись желанья,
Во взорахъ слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И думъ неотразимыхъ бремя
Отъ сердца, мнилось, отлегло;
Онъ поднималъ свѣтлое чело,
Смотрѣлъ и внутренно гордился,
Что онъ черкесь, что здѣсь родился.
Межъ скалъ невыблемыхъ, одинъ,
Забылъ онъ жизни скоротечность,
Онъ, въ мысляхъ міра властелинъ,
Присвоить бы желалъ ихъ вѣчность.
Забылъ онъ все, что испыталъ:
Друзей, враговъ, тоску изгнанья
И, какъ невѣсту въ часъ свиданья,
Душой природу обнималъ.

Усталый путникъ находитъ пріютъ въ
скалѣ горца.

XXIII.

Межъ тѣмъ привѣтно въ скалѣ
дымной

Проѣзжій встрѣченъ старикомъ;
Сажая гостя предъ огнемъ,
Онъ руку жметъ гостепріимно.
Блится по стѣнамъ кругомъ
Богатство горца: ружья, стрѣлы,
Кинжалы съ набожнымъ стихомъ,
Въ углу башлыкъ убійцы бѣлый,
И плетъ межъ буркой и сѣдломъ.
Они заводятъ рѣчь о волѣ,
О прежнихъ дняхъ, о бранномъ полѣ;
Кипитъ, кипитъ бесѣда ихъ
И носятся въ мечтахъ живыхъ
Они къ грядущему, былому;
Проходитъ непримѣтно часъ—
Они сидятъ, и въ первый разъ,
Внимая странника разсказъ,
Старикъ дивится молодому.

XXIV.

Онъ самъ лезгинецъ: ужъ давно
(Такъ было небомъ суждено)
Не зрѣлъ отечества. Три сына
И дочь младая съ нимъ живутъ.
При нихъ молчить еще кручина
И бѣдный милъ ему пріютъ.
Когда горятъ ночныя звѣзды,
Тогда пускаются въ разлѣзды
Его лихіе сыновья:
Живетъ добычей вся семья.
Они повсюду страхъ приносятъ;
Украсть, отнять—имъ все равно;
Чихирь и медъ кинжаломъ просятъ
И пулей платятъ за пшено.
Изъ табуна ли, изъ станицы
Любого уведутъ коня;
Они боятся только дня,
И ихъ владѣнья нѣтъ границы.
Сегодня дома лишь одинъ
Его любимый, старшій сынъ.
Но словъ ховаяна не слышитъ
Пришелецъ; онъ почти не дышетъ,
Остановился быстрый взоръ,
Какъ въ мигъ паденья метеоръ:
Предъ нимъ, подъ видомъ дѣвы горъ,
Созданіе земли и рая,
Стояла пери молодая.

XXV.

И кто бѣ, ее увидѣвъ, молвилъ: нѣтъ!
Кто прелести небесъ иль даже слѣдъ
Небеснаго, разсѣянный лучами
Въ улыбка устъ, движеніи черныхъ
глазъ—
Все, что такъ дружно съ первыми
мечтами,
Все, что встрѣчаемъ въ жизни только
разъ—
Не отличить отъ красоты ничтожной,
Отъ красоты земной, нерѣдко ложной?
И кто, кто скажетъ, совѣсть заглуша:
Прелестный ликъ, но хладная душа!
Когда онъ вдругъ увидитъ предъ собою
То, что сперва почелъ бы онъ душою
Освобожденныхъ отъ земныхъ цѣпей,
Слетѣвшихъ въ міръ, чтобъ утѣшать
людей.
Пусть, подойдя, лезгинку онъ узнаетъ:

Въ ея чертахъ земная жизнь играетъ,
Восточная видна въ ланитахъ кровь;
Но только удалится образъ милый—
Онъ станетъ сомнѣваться въ томъ,
что было,
И заблужденъ онъ повѣритъ вновь.

XXVI.

Нѣжна, какъ пери молодая,
Созданіе земли и рая;
Мила—какъ намъ въ краю чужомъ
Межъ звуковъ языка чужого
Знакомый звукъ, родныхъ два слова;
Такъ утѣшительно мила,
Какъ древле узнику была
На сумрачномъ окнѣ темницы
Простая пѣсня вольной птицы,
Стояла Зара у огня.
Чело немножко наклоня,
Она стояла гордо, ловко;
Въ ея нарядѣ простота,
Но также вкусъ. Ея головка
Платкомъ прилежно обвита;
Изъ-подъ него до груди нѣжной
Двѣ косы темныя небрежно
Бѣгутъ—ужъ, вѣрно, часть она
Ихъ расплетала, заплетала;
Она поправится желала—
Какъ въ этомъ женщина видна!

XXIX.

Ужъ милой Зары въ саклѣ нѣтъ.
Черкесъ глядитъ ей долго вслѣдъ
И мыслить: „Нѣжное созданье!
Едва изъ дѣтскихъ вышла лѣтъ,
А есть ужъ слезы и желанья!
Безсильный, свѣтлый лучъ зари
На темной тучѣ не гори:
На ней твой блескъ лишь помрачится.
Ей ждать нельзя, она умчится.

XXX.

„Еще не знаешь ты, кто я.
Утѣшься! нѣтъ, не мирной долѣ,
Но битвамъ, родинѣ и волѣ
Обречена судьба моя.
Я бѣ могъ нѣжнѣйшею любовью
Тебя любить, но надъ тобой

Хранитель, вѣрно, неземной;
Рука, обрызганная кровью,
Должна твою ли руку жать?

Зара влюбилась въ Исмаила; но онъ
отвергъ ея любовь такими словами:

XXXVI.

„Не обвиняй меня такъ строго;
Скажи, чего ты хочешь—слезъ?
Я ихъ имѣлъ когда-то много:
Ихъ міръ изъ зависти унесъ.
Но не рѣшусь судьбы мятежной
Я раздѣлять съ душою нѣжной;
Свободный, рабъ иль властелинъ,
Пускай погибну я одинъ.
Все, что меня хоть малость любятъ,
За мною вслѣдъ увлечено;
Мое дыханье радость губить;
Падать—мнѣ власти не дано.
И не простого человѣка
(Хотя въ одеждѣ я простой),
Утѣшься, Зара, предъ собой
Ты видишь брата Рослаббека.
Я въ жертву счастье долженъ при-
нести...

О, не жалѣй о томъ... Прости, прости!..“

Исмаиль Бей находить родной народъ;
его брать Рослаббекъ княжить тамъ въ го-
рахъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

IV.

У Рослаббека братъ когда-то былъ;
О немъ жалуютъ шайки удалыя;
Отцомъ въ Россію посланъ Исмаиль,
И ихъ надежду отняла Россія.
Четырнадцать лѣтъ оставилъ онъ
Края, гдѣ былъ воспитанъ и рожденъ,
Чтобъ знать законы и права чужіе.
Не подъ персидскимъ шолковымъ ков-
ромъ
Родился Исмаиль, не пѣсню нѣжной
Онъ усыпленъ былъ въ сумракѣ ноч-
номъ:
Его баюкалъ бури вой мятежный;
Когда онъ въ первый разъ открылъ
глаза,

Его улыбку встрѣтила гроза;
Въ пещерѣ темной—гдѣ, гонимый бра-
томъ,

Убийцею коварнымъ, Бей-Булатомъ,
Его отецъ тайлся много лѣтъ—
Изгнанникъ новый, онъ увидѣлъ свѣтъ.

V.

Какъ лишній межъ людьми, своимъ
рожденьемъ
Онъ душу не обрадовалъ ничью,
И, хотъ невинный, началъ жизнь свою,
Какъ многіе кончаютъ—преступле-
ньемъ.
Онъ материнской ласки не знавалъ.
Не у груди—подъ буркою согрѣтый,
Одинъ провелъ младенческія лѣта;
И вѣтеръ колыбель его качалъ,
И мѣсяцъ полуночи съ нимъ игралъ;
Онъ выросъ межъ землей и небесами,
Не зная принужденія и заботъ;
Привыкъ онъ тучи видѣть подъ ногами,
А надъ собой одинъ лазурный сводъ,
И лишь орлы, да скалы величавы
Съ нимъ раздѣляли юныя забавы.
Онъ для великихъ созданъ былъ стра-
стей,

Онъ обладалъ пылающей душою,
И бури юга отразились въ ней
Со всей своей ужасной красотой...
Но къ русскимъ посланъ онъ своимъ
отцомъ,
И съ той поры извѣстія нѣтъ о немъ...

Неожиданное появленіе забытаго Ис-
маила вызываетъ восторгъ; на первыхъ
порахъ всѣ позабыли даже Рослаббека и
занялись однимъ Исмаиломъ.

XI.

И по долинѣ восклицанья
Восторга дикаго гремѣть;
Благословляя часъ свиданья,
Вкругъ Исмаила старъ и младъ
Тѣсняются, шепчутъ. Поднима
На плечи маленькихъ ребятъ,
Ихъ жены смуглыя, зѣвая,
На князя новаго глядятъ.
Гдѣ жъ Рослаббекъ, кумиръ народа?
Гдѣ тотъ, кѣмъ славится свобода?—

Одинъ, забытъ, передъ огнемъ,
 Поодаль, съ пасмурнымъ челомъ,
 Стоялъ онъ, жертва злой досады.
 Давно ли привлекалъ онъ самъ
 Всѣ помысленія, всѣ взгляды?
 Давно ли по его слѣдамъ
 Вся эта чернь, шума, бѣжала?
 Давно ль, дивясь его дѣламъ,
 Ихъ мать ребенку повторяла?
 И что же вышло?—Измаилъ,
 Враговъ отечества служитель,
 Всю эту славу погубилъ
 Своимъ приѣздомъ—и властитель,
 Вчерашній гордый полубогъ,
 Вниманья черни безтолковой
 Къ себѣ привлечь уже не могъ.
 Ей все плѣнительно, что ново.
 „Простынетъ!“ мыслить Росламбекъ.
 Но если злобный человекъ
 Узналъ ужъ зависть, то не можетъ
 Совѣмъ забыть ее никакъ:
 Ея насмѣшливый призракъ
 И днемъ и ночью духъ тревожить.

ХП.

Война!.. знакомый людямъ звукъ
 Съ тѣхъ поръ, какъ братъ отъ брат-
 нихъ рукъ

Предъ алтаремъ погибъ невинно...
 Гремя, черезъ Кавказъ пустынный
 Промчался кликъ: война! война!
 И пробудились племена;
 На смерть идутъ они охотно.
 Умолкъ аулъ, гдѣ беззаботно
 Недавно слушали пѣвца;
 Оружья звонъ, движеніе стана—
 Вотъ нынѣ пѣсни молодца,
 Вотъ удовольствія байрана!
 „Смотри, какъ всякій биться радъ
 За дѣло чести и свободы!..
 Такъ точно было въ наши годы,
 Когда насъ велъ Ахметъ-Булатъ!“
 Съ улыбкой гордою шептали
 Между собою старики,
 Когда дорогой наблюдали
 Отважныхъ юношей полки.
 Пора! кипятъ они досадою,
 Что русскихъ нѣтъ: имъ крови надо!

Росламбекъ совѣтуетъ врасплохъ на-
 пасть на русскихъ.

ХV.

Согласны всѣ на подвигъ ратный,
 Но не согласенъ Изманлъ.
 Взмахнулъ онъ пашкою булатной
 И шумно съ мѣста онъ вскочилъ;
 Окинулъ внимъ летучимъ взглядомъ
 Онъ узденей, сидѣвшихъ рядомъ,
 И, опустивши свой булатъ,
 Такъ отвѣчаетъ брату братъ:
 „Я не разбойникъ потасанный;
 Я видѣть, видѣть кровь люблю;
 Хочу, чтобъ мною пораженный
 Зналъ руку грозную мою!
 Какъ ты, я русскихъ ненавижу,
 И даже болѣе, чѣмъ ты;
 Но подъ покровомъ темноты
 Я чести князя не унижу!
 Иную мѣсть родной страѣ,
 Иную славу надо мнѣ!..
 И поединка ожидали
 Межъ братьевъ молча уздени;
 Не смѣли тронуться они.
 Онъ вышелъ—всѣ еще молчали...

ХVI.

Ужасна ты, гора Шайтанъ,
 Пустыни старый великанъ;
 Тебя злой духъ, гласить преданье,
 Построилъ дерзостной рукой,
 Чтобъ хоть на мигъ свое изгнанье
 Забыть межъ небомъ и землей.
 Здѣсь, три столѣтья очарованъ,
 Онъ тяжелой цѣпью былъ прикованъ,
 Когда, надменный, съ новыхъ скалъ
 Стрѣлой Пророку угрожалъ.
 Какъ буркой, ельникомъ покрыта,
 Сосѣднихъ горъ она чернѣй.
 Тропинка желтая прорыта
 Слезою отчаянья по ней;
 Она ни мохомъ, ни кустами
 Не зарастаетъ никогда;
 Пестрѣя чудными слѣдами,
 Она ведетъ Богъ-вѣсть куда.
 Олень съ вѣтвистыми рогами,
 Между высокими цвѣтами,
 Одѣтый хмелемъ и плющомъ.
 Лежитъ, полубытатый сномъ,
 И вдругъ знакомый лай онъ слышитъ

И чуёт близкаго врага:
Поднявши медленно рога,
Минуто свѣжестью подышать,
Росу съ могучихъ плечъ страхнеть,
И вдругъ однимъ прыжкомъ махнеть
Черезъ утесъ—и вотъ онъ мчится,
Терновъ ключихъ не боится
И хмель коварный грудью рветъ—
Но, вольный путь пересѣкая,
Предъ нимъ тропинка роковая...
Никѣмъ незримая рука
Царя лѣсовъ останавливаетъ,
И онъ, какъ гибель ни близка,
Свой прежній путь не продолжаетъ...

XVII.

Кто жъ подъ ужасною горой
Зажегъ огонь сторожевой?
Трепта, краснѣя и сверкая,
Кусты вокругъ онъ озарилъ.
На камень голову склоняя,
Лежитъ поодаль Измаиль.
Его приверженцы хотѣли
Идти за нимъ—но не посмѣли.

XVIII.

Вотъ что ему родной готовилъ край!
Сбылись мечты: увидѣлъ онъ свой рай,
Гдѣ мѣръ такъ юнъ, природа такъ
богата;
Но люди, люди—что природа имъ?
Едва успѣлъ обнять изгнанникъ брата,
Ужъ клевета и зависть—все надъ
нимъ!

Друзей улыбка, нѣжное свиданье,
За что бъ другой Творца благодарилъ,
Все то ему дается въ наказанье...
Но для терпѣнья ль созданъ Измаиль?
Бывають люди: чувства—имъ стра-
данья,
Причуда злой судьбы—ихъ бытіе;
Чтобъ самовластье показать свое,
Она порой кидаетъ ихъ межъ нами.
Такъ, древле, въ море кинулъ царь
алмазъ:

Но горный камень въ свой урочный
часть
Ему обратно отданъ былъ волнами...
И дѣтямъ рока мѣста въ мѣрѣ нѣтъ;

Они его пугаютъ жизнью новой,
Они блеснуть—и сгладится ихъ слѣдъ,
Какъ въ темной тучѣ слѣдъ стрѣлы
громовой.

Толпа дивится часто ихъ уму,
Но чаще обвиняетъ, потому
Что въ морѣ бѣдъ, какъ вихри ихъ
ни носить,
Они пособій отъ рабовъ не просятъ;
Хотятъ ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ,
И власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ.

XIX.

„Безсмысленный! зачѣмъ отвергнулъ
ты

Слова любви, моленья красоты?
Зачѣмъ, когда такъ долго съ ней сра-
жался,

Своей судьбы ты дѣтски испугался?
Все прежнее, незнаемый молвой,
Ты бъ могъ забыть близъ Зары моло-
дой,

Забыть людей близъ ангела въ пу-
стынѣ,

Ты бъ могъ любить, но не хотѣлъ—
и нынѣ

Картины счастья живо предъ тобой
Проходятъ укоряющей толпой.

Ты жмешь ей руку; грудь ея и плечи
Цѣлуешь въ упоеньи; ласки, рѣчи,
Исполненныя счастья и любви,
Ты чувствуешь, ты слышишь; образъ
милой,

Волшебный взоръ—все предъ тобой,
какъ было

Еще недавно; всѣ мечты твои
Такъ вѣроятны, что душа боится,
Не вѣря имъ, вторично ошибиться...
А чѣмъ ты это счастье замѣнилъ?
Передъ огнемъ такъ думалъ Измаиль.
Вдругъ выстрѣлъ, два, и много: онъ
вскочилъ.

И слушаетъ... но все утихло снова.
И говорить онъ: „Это сонъ больного!“

XX.

Души волненьемъ утомленъ,
Опять на землю князь ложится;
Трепещитъ огонь и дымъ клубится...

И что же? Призракъ видить онъ:
 Передъ огнемъ стоитъ спокоенъ,
 На саблю опершись рукой,
 Въ фуражкѣ блѣлой, русскій воинъ,
 Печальный, блѣдный и худой.
 Спросить хотѣлось Измаилу:
 Зачѣмъ оставилъ онъ могилу?
 И свѣтъ дрожащаго огня,
 Упавъ на смуглыя ланиты,
 Черкесу придавъ видъ сердитый.
 — Чего ты хочешь отъ меня?
 „Гостепріимства и защиты“.
 Пришлецъ безстрашно отвѣчалъ.
 „Свой путь въ горахъ я потерялъ,
 Черкесы вслѣдъ за мною спѣшили
 И казаковъ моихъ убили,
 И вѣрный конь подъ мною палъ.
 Спаси, убить врага ночнова
 Равно ты можешь. Не боюсь
 Я смерти: грудь моя готова.
 Твоей я чести предаюсь!“
 — Ты правъ: на честь мою надѣйся!
 Вотъ мой огонь—садись и грѣйся.

XXI.

Тиха, прозрачна ночь была;
 Свѣтила на небѣ блистали,
 Луна за облакомъ спала,
 Но люди ей не подражали.
 Передъ огнемъ враги сидятъ,
 Хранятъ молчанье и не спятъ.
 Черты пришельца возбуждали
 У князя новыя мечты:
 Онъ ему напоминали
 Давно знакомыя черты.
 То не игра воображенья!
 Онъ долженъ разрѣшить сомнѣнья...
 И такъ пришельцу говорилъ
 Нетерпѣливый Измаилъ:
 — Ты молодецъ, вижу я. За славой
 Привыкнувъ гнаться, ты забылъ,
 Что славы нѣтъ въ войнѣ кровавой
 Съ необразованной толпой.
 За что завистливой рукой
 Вы возмущили нашу долю?
 За то, что бѣдны мы, и волю,
 И степь свою не отдадимъ
 За злато роскоши нарядной;
 За то, что мы боготворимъ,

Что презираете вы хладно!
 Не бойся, говори смѣлѣй:
 Зачѣмъ ты насъ возненавидѣлъ,
 Какою грубостью своей
 Простой народъ тебя обидѣлъ?

XXII.

„Ты ошибаешься, черкесъ!“
 Съ улыбкой русскій отвѣчаетъ.
 „Повѣрь: меня, какъ васъ, плѣняетъ
 И водопадъ, и темный лѣсъ;
 Съ восторгомъ ваши льды я вижу,
 Встрѣчаю пышную зарю,
 И ваше племя я люблю;
 Но одного я ненавижу:
 Черкесъ онъ родомъ, не душой,
 Ни въ чемъ, ни въ чемъ не схожъ съ
 тобой—

Себѣ, иль князю Измаилу
 Клялся я здѣсь найти могилу...
 Къ чему опять ты мрачный взоръ
 Мохнатой шапкой закрываешь?
 Твое молчанье мнѣ укоръ;
 Но выслушай, ты все узнаешь,
 И самъ досадой запыхаешь...

XXIII.

„Ты знаешь, вѣрно, что служилъ
 Въ российскомъ войскѣ Измаилъ,
 Но, недовольный между нами,
 Родными бредилъ онъ полями,
 И все черкесъ въ немъ виденъ былъ.
 Въ пирахъ и битвахъ отличался
 Онъ передъ всѣми; томный взглядъ
 Восточной нѣгой отзывался:
 Для нашихъ женщинъ въ немъ былъ
 ядъ!

Воспламенивъ воображенье,
 Повелѣвалъ онъ безъ труда,
 И за проступокъ—наслажденье
 Не почиталъ онъ никогда;
 Не знаю, было то презрѣнье
 Къ законамъ стороны чужой,
 Или испорченныя чувства...
 Любовью женщинъ, ихъ тоской
 Онъ веселился какъ игрой;
 Но избѣжать его искусства
 Не удалось ни одной.

Измаиль, между прочимъ, обольстилъ невѣсту этого русскаго, и онъ явился ему мстителю, Измаиль выслушалъ рассказъ гостя и на прощанье сказалъ ему.

XXXI.

„Прощай, ты можешь безопасно
Теперь идти въ шатры свои.
Но, если вѣришь мнѣ, напрасно
Ты хочешь потопить въ крови
Свою печаль! Страхись; быть можетъ,
Раскаенье прибавишь къ ней.
Болѣзни этой не поможетъ
Ни кровь врага, ни рѣчь друзей!
Напрасно здѣсь, въ краю далекомъ,
Ты губишь прелесть юныхъ дней.
Нѣтъ! не достать враждѣ твоей
Главы, постигнутой ужъ рокомъ!
Онъ палачамъ судей земныхъ
Не уступаетъ жертвъ своихъ!
Твоя бѣ рука не утратила
Того, кто борется съ судьбой:
Ты худо знаешь Измаила;
Смотри жъ: онъ здѣсь передъ тобой!“
И съ видомъ гордаго презрѣнья
Отвѣта князь не ожидалъ;
Онъ скрылся межъ уступовъ скалъ...
И долго русскій, безъ движенія,
Одинъ, какъ вкопанный, стоялъ.

Зара, влюбленная въ Измаила, переодѣваясь въ мужской костюмъ, слѣдуетъ, неузнанная, за Измаиломъ подъ именемъ Селима.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

III.

Въ аулѣ дальнемъ Росламбекъ
угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасомъ объять,
Но у него коварныя есть думы—
Имъ помѣшать теперь не можетъ братъ.
Гдѣ жъ Измаиль?—Безвѣстными го-
рами
Блуждаетъ онъ, дерется съ казаками
И, заманивъ толпы ихъ за собой,
Пустыню усыпаетъ ихъ костями,
И манить новыхъ по дорогѣ той.

За нимъ устали русскіе гоняться,
На крѣпости природныя взбираться;
Но отдохнуть черкесы не даютъ,
То скроются, то снова нападутъ;
Они—какъ тѣнь, какъ дымное видѣнье:
И далеко и близко въ то жъ мгновеніе.

IV.

Но въ буряхъ битвъ не думалъ
Измаиль
Сыскать самозабвенія и покоя.
Не за отчизну, за друзей онъ мстилъ,
И не плѣнялся именемъ героя;
Онъ вѣдалъ цѣну почестей и словъ,
Изобрѣтенныхъ только для глупцовъ.
Недогнѣй жаръ погасъ; душой усталый,
Его бы не желалъ онъ воскресить:
И не родной аулъ—родныя скалы
Рѣшилъ онъ отъ русскихъ защитить.

VI.

Одинъ... такъ точно—Измаиль.
Безвѣстной думой угнетаемъ,
Онъ солнцу тусклое слѣдилъ,
Какъ мы нерѣдко провожаемъ
Гостей докучливыхъ; на немъ
Черкесскій панцырь и шоломъ,
И пятна крови омрачали
Мѣстами блескъ военной стали.
Младую голову Селимъ
Вождю склоняетъ на колѣни;
Онъ всюду слѣдуетъ за нимъ,
Хранительной подобно тѣни:
Никто ни ропота, ни пени
Не слышалъ на его устахъ...
Боятся онъ, или устанетъ,
На Измаила только взглянетъ—
И веселъ трудъ ему и страхъ.

Подслушавъ любовный бредъ спящаго Селима, Измаиль рѣшилъ, что этого юноша въ кого-то влюбленъ.

X.

Не знаю... но въ другихъ онъ чув-
ства
Судить отвыкъ ужъ по своимъ.

Не разъ, личиною искусства,
Слезой и сердцемъ ледянымъ,
Когда обмановъ самъ чуждался,
Обмануть былъ онъ—и боялся
Онъ вѣрить только потому,
Что вѣрилъ нѣкогда всему...
И презиралъ онъ этотъ міръ ничтож-
ный,
Гдѣ жизнь—измѣнъ взаимныхъ вѣч-
ный рядъ,
Гдѣ радость и печаль—все призракъ
ложный;
Гдѣ память о добрѣ и злѣ—все ядъ;
Гдѣ льститъ намъ зло, но болѣе тре-
вожить;
Гдѣ сердце утѣшать добро не можетъ,
И гдѣ они, покорствуя страстямъ,
Раскаянье одно приносятъ намъ...

Во время горячаго боя русскій про-
рвался къ Исмаилу, чтобы его убить.

XXIII.

Кто этотъ русскій съ саблею въ рукѣ,
Въ фуражкѣ бѣлой? Страхъ онъ не
знаетъ;
Онъ между всѣхъ отличенъ вдалекѣ
И казаковъ примѣромъ ободряетъ;
Онъ ищетъ Исмаила—и нашелъ,
И вынулъ пистолетъ свой, и навелъ,
И выстрѣлилъ... напрасно; обманулся
Его свинецъ!—но выстрѣлъ роковой
Услышалъ князь, и мигомъ обернулся,
И задрожалъ: „Ты вновь передо мной!...
Свидѣтель Богъ: не я тому виной!...“
Воскликнулъ онъ, и шашка зазвенѣла,
И отдѣлясь отъ трепетнаго тѣла,
Какъ зрѣлый плодъ отъ вѣтки молодой,
Скатилась голова, и конь ретивый,
Вставъ на дыбы, заржалъ, мотая гри-
вой;
И скоро обезглавленный сѣдокъ
Свалился на растоптанный песокъ.
Недолго это сердце увядало,
И миръ ему! въ единый мигъ оно
Любить и ненавидѣть перестало:
Не всѣмъ такое счастье суждено.

Бой оказался неудачнымъ для Исма-
ила; шайка его была разбита, самъ онъ
раненъ.

XXVI.

Онъ раненъ; кровь его течетъ,
А онъ не чувствуетъ, не слышитъ;
Въ опасный путь его несетъ
Ретивый конь, хранишь и пышетъ;
Одинъ Селимъ не отстаетъ:
За гриву ухватясь руками,
Едва сидитъ онъ на сѣдлѣ:
Боязни блѣдность на челѣ;
Онъ очи, полныя слезами,
Порой выдаетъ на того,
Кто все на свѣтѣ для него,
Кому надежду жизни милой
Готовъ онъ въ жертву принести,
И чье послѣднее „прости“
Его бы съ жизнью разлучило.
Будь передъ міромъ онъ злодѣй—
Что для любви слова людей?
Что ей небесъ опредѣленье?
Нѣтъ, охладить любовь—гоненье
Еще ни разу не могло:
Она сама свое добро и зло.

XXVIII.

Ужъ полдень. Исмаилъ слабѣетъ...
Пылаетъ солнце высоко...
Но есть надежда: дымъ синѣетъ,
Родной аулъ недалеко...
Тамъ, гдѣ, кустарникомъ прикрыты,
Встаютъ красивые граниты
Какимъ-то пасмурнымъ вѣнцомъ,
Есть поворотъ и путь, прорытый
Арбы скрипучимъ колесомъ.
Оттуда кровы земляные,
Мечетъ, бѣлѣющій заборъ,
Аргуны воды голубыя,
Какъ подъ ногами, встрѣтитъ взоръ...
Достигнуть поворотъ желанный:
Вотъ и вѣнецъ горы туманной,
Вотъ слышенъ рѣчки ревъ глухой;
И бѣлый конь сильный рванулся...
Но вдругъ переднею ногой
Онъ оступился, спотыкнулся,
И на скаку, между камней,
Упалъ всей тяжестью своей.

XXIX.

И всадникъ, кровью истекая,
 Лежалъ безъ чувства на землѣ;
 Въ устахъ недвижность гробовая
 И блѣдность муки на челѣ;
 Казалось, часть его кончины
 Ждалъ знакъ условный въ небесахъ,
 Чтобы слетѣть и въ мигъ единый
 Изъ человѣка сдѣлать прахъ.
 Ужель степная лишь могила
 Ничтожный въ мірѣ будетъ слѣдъ
 Того, чье сердце столько лѣтъ
 Мысль о ничтожествѣ томила?
 Нѣтъ! нѣтъ! вѣдь здѣсь еще Селимъ...
 Склонясь въ отчаяньи надъ нимъ,
 Какъ въ бурю ива молодая
 Надъ падшимъ гнется алтаремъ—
 Снималъ онъ панцырь и шоломъ;
 Но сердце къ сердцу прижимая,
 Не слышать жизни ни въ одномъ.
 И если бѣ страшное мгновенье
 Всѣ мысли не убило въ немъ,
 Судиться сталъ бы онъ съ Творцомъ
 И проклиналъ бы Провидѣнье...

XXXI.

Очнулся блѣдный Измаилъ,
 Вздохнулъ, потомъ глаза открылъ.
 Онъ слабъ: другую ищетъ руку
 Его дрожащая рука;
 И, каждому внимая звуку,
 Онъ пьетъ дыханье вѣтерка,
 И все, что близко, отдалению,
 Предъ нимъ яснѣетъ постепенно...
 Гдѣ жъ другъ послѣдній, гдѣ Селимъ?
 Глядитъ... и что же передъ нимъ?
 Глядитъ... уста оледѣнѣли,
 И мысли зрѣньемъ овладѣли...
 Не могъ бы описать подобный мигъ
 Ни ангельскій, ни демонскій языкъ.

XXXII.

Селимъ... и кто теперь не отгадаетъ?
 На немъ мохнатой шапки больше нѣтъ:
 Раскрылась грудь, на шелковый беш-
 метъ

Волна кудрей, чернѣя, ниспадаетъ—
 Въ печали женщины лучшій ихъ уборъ.
 Молитва стихла на устахъ... а взоръ...
 О, небо, небо! есть ли въ кушакъ рай
 Глаза, гдѣ слезы, робость и печаль
 Оставить — страшно, уничтожить—
 жаль?

Скажи мнѣ: есть ли Зара молодая
 Межъ дѣвъ твоихъ, и плачетъ ли она,
 И любить ли? Но понялъ я молчанье!
 Не встрѣтить мнѣ подобное созданье:
 На небѣ неумѣстно подражанье,
 А Зара на землѣ была одна.

XXXIII.

Узналъ, узналъ онъ образъ позабы-
 тый
 Среди душевныхъ бурь и бурь войны:
 Поцѣловалъ онъ нѣжныя ланиты—
 И краски жизни имъ возвращены.
 Она чело на грудь ему склонила;
 Смушаютъ Зару ласки Измаила,—
 Но сердцу какъ ума не соблазнить?
 И какъ любви стыда не побѣдить?
 Ихъ рѣчи—пламень; вѣчная пустыня
 Восторгомъ и блаженствомъ ихъ полна.
 Любовь для неба и земли святыня
 И только для людей порокъ она;
 Во всей природѣ дышетъ сладострастье,
 И только люди покупаютъ счастье.

Однажды Рослаббекъ, завидуя славѣ
 Измаила, самъ его застрѣлилъ.

Дымъ взвился, бѣлѣя,
 Вѣрна рука и вѣренъ глазъ злодѣя!
 Съ свинцомъ въ груди, простертый на
 землѣ
 Съ печатью смерти на крутомъ челѣ,
 Друзьями окружонъ, любимецъ брани
 Лежалъ, навѣки нѣмъ для ихъ при-
 званій.

Послѣдній лучъ зари еще игралъ
 На пасмурныхъ чертахъ и придавалъ
 Его лицу румянецъ; и казалось,
 Что въ немъ отъ жизни что-то оста-
 валось;
 Что мысль, которой угнетенъ былъ
 умъ,

Есть поворотъ и путь, прорытый
Арбы скрипучимъ колесомъ,
Тамъ, гдѣ красивые граниты
Зубчатымъ сходятся вѣнцомъ.
Оттуда онъ, какъ подъ ногами,
Смиранный различить ауль,
И пыль; поднятую стадами,
И пробужденія первый гуль;
И на краю крутого ската
Отмѣтитъ саклю Бей-Булата,
И, какъ орелъ, съ вершины горъ
Вперить на крышу свѣтлый взоръ...
Въ тѣни прохладной, у порога,
Лезгинка юная сидитъ.

Это была Леила; влюбленная въ Бей-Булата, она ждетъ его прѣзда съ нетерпѣніемъ.

Легко надежда утѣшаетъ;
Легко обманываетъ глазъ;
Ужъ близко путникъ подъѣзжаетъ...
Увы! она его не знаетъ
И видитъ только въ первый разъ.
То странникъ, въ полѣ запоздалый,
Гостепріимный ищетъ кровь.

Хаджи-Абрекъ передаетъ ей привѣтъ
отца и спрашиваетъ, не груститъ ли она
здѣсь, вдали отъ родины.

Ле и ла. Къ чему? Мнѣ лучше, веселѣй
Среди нагорнаго тумана.
Вездѣ прекрасенъ Божій свѣтъ.
Отечества для сердца нѣтъ!
Оно насилья не боится:
Какъ птичка вырвется, умчится...
Повѣрь мнѣ—счастье только тамъ,
Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ!
Хаджи-Абрекъ. Любви!.. Но

знаешь ли, какое
Блаженство на землѣ второе
Тому, кто все похоронилъ,
Чему онъ вѣрилъ, чтó любилъ?
Блаженство то вѣрнѣй любви,
И только хочеть слезъ да крови...
Въ немъ утѣшенье для людей,
Когда умереть другое счастье;
Въ немъ преступленій сладострастье,
Въ немъ адъ и рай души моей.
Оно при насъ всегда, безсмѣнно;
То мучить, то ласкаетъ насъ...

Нѣтъ, за единый мщенія часъ,
Клянусь, я не взялъ бы вселенной!
Ле и ла. Ты блѣднѣе?
Хаджи-Абрекъ. Выслушай.

Давно

Тому назадъ, имѣлъ я брата;
И онъ—такъ было суждено—
Погибъ отъ пули Бей-Булата;
Погибъ безъ славы, не въ бою,
Какъ звѣрь лѣсной—врага не зная;
Но месть и ненависть свою
Онъ завѣщалъ мнѣ, умирая.
И я убійцу отыскалъ:
И занесенъ былъ мой кинжалъ,
Но я подумалъ: „это ль мщенье?
Чтѣ смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатить мнѣ за столько лѣтъ
Печали, грусти, мукъ?.. О, нѣтъ!
Онъ что-нибудь да въ мірѣ любитъ:
Найду любви его предметъ,
И мой ударъ его погубитъ!“
Свершилось наконецъ. Пора!
Твой часъ пробилъ еще вчера.
Смотри, ужъ блещетъ лучъ заката!..
Пора! я слышу голосъ брата...
Когда сегодня въ первый разъ
Я увидалъ твой образъ нѣжный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа, какъ адомя, вся зажглась.
Но это чувство улетѣло...
Валлахъ! исполню клятву смѣло!

Онъ отрубаетъ ей голову и съ этимъ
страшнымъ подаркомъ спѣшитъ къ ея отцу.
Старикъ съ горя умеръ.

Промчался годъ. Въ глухой тѣснинѣ
Два трупа смрадные, въ пыли,
Блуждая, путники нашли
И схоронили на вершинѣ.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятіе на ихъ челѣ.
Обнявшись крѣпко, на землѣ
Они лежали, костенѣя,
Два друга съ виду—два злодѣя!
Быть можетъ, то одна мечта,—
Но бѣднымъ странникамъ казалось,
Чтѣ ихъ лицо порой мѣнялось,
Чтѣ все грозили ихъ уста.
Одежда ихъ была богата;

Башлыкъ ихъ шапки покрывалъ;
Въ одномъ узнали Бей-Булата,
Никто другого не узналъ.

Бояринъ Орша.

ГЛАВА I.

Then burst her heart in one long shriek
And to the earth she fell like stone
As statue from its base o'erthrown.
Byron.

Во время оно жилъ да былъ
Въ Москвѣ бояринъ Михаилъ,
Прозваньемъ Орша.—Важный санъ
Далъ Оршѣ Грозный Іоаннъ;
Онъ далъ ему съ руки своей
Кольцо—наслѣдіе царей;
Онъ далъ ему, въ веселый мигъ,
Соболю шубу съ плечъ своихъ;
Въ день Воскресенія Христа
Пощивалъ его въ уста,
И общался въ тотъ же день
Дать тридцать царскихъ деревень,
Съ тѣмъ, чтобы Орша до конца
Не отлучался отъ дворца.

Но Орша нравомъ былъ угрюмъ:
Онъ не любилъ придворный шумъ;
При видѣ трепетныхъ ластецовъ
Щипалъ концы сѣдыхъ усовъ,
И разъ, опричнымъ огорченъ,
Такъ Іоанну молвилъ онъ:
„Надѣжа-царь! пусти меня
На родину—я день отъ дня
Все старѣ; даже не могу
Обиду выместить врагу.
Есть много слугъ въ дворцѣ твоемъ.
Пусти меня! Мой старый домъ
На берегу Днѣпра кругомъ,
Вблизи рубежа Литвы чужой,
Обросъ могильною травой;
Пробудь я здѣсь еще хоть годъ,
Онъ догниетъ—и упадетъ.
Дай поклониться мнѣ Днѣпру...
Тамъ я родился—тамъ умру!“

И онъ узрѣлъ свой старый домъ.
Покои темные кругомъ
Уставилъ златомъ и серебромъ;
Икону въ ризѣ дорогой,

Въ алмазахъ, въ жемчугѣ, съ рѣзъ-
бой,

Повѣсилъ въ каждомъ онъ углу,
И запестрѣлись на полу
Узоры шолковыхъ ковровъ.
Но лучше царскихъ всѣхъ даровъ
Былъ Божій даръ—младая дочь;
О ней онъ думалъ день и ночь;
Въ его глазахъ она росла
Свѣжа, невинна, весела.
Цвѣтокъ грядущаго святой,
Былого памятникъ живой!
Такъ средь развалинъ иногда
Растетъ береза: молода,
Мила надъ плитами гробовъ
Игроу шепчущихъ листовъ...
И та холодная стѣна
Ея красой оживлена!..

Однажды вечеромъ долго не могъ уснуть
Орша.

Все въ домѣ спитъ—не спитъ одинъ
Его угрюмый властелинъ
Въ покоѣ пышномъ и большомъ,
На ложѣ бархатномъ своемъ.
Полусгорѣвшая свѣча
Предъ нимъ, сверкая и треща,
Порой на каждый льетъ предметъ
Какой-то странной полусвѣтъ.
Висятъ надъ ложемъ образа;
Ихъ ризы блещутъ, ихъ глаза
Вдругъ оживляются, глядятъ—
Но съ чѣмъ сравнить подобный
взглядъ?

Онъ непонятнѣй и страшнѣй
Всѣхъ мертвыхъ и живыхъ очей!
Томить боярина тоска.
Ужъ поздно. Подъ окномъ рѣка
Шумитъ, и съ бурей заодно
Гремучій дождь стучитъ въ окно.
Чернѣетъ тѣнь во всѣхъ углахъ,
И—странно—Оршу обнять страхъ!
Бывалъ онъ въ битвахъ, хотъ и
старъ,

Противъ поляковъ и татаръ;
Слыхалъ онъ грозный царскій гласъ,
Встрѣчалъ и взоръ въ недобрый часъ:
Ни разу духъ его крутой

Не ослабѣлъ передъ бѣдой;
Но тутъ—онъ свистнулъ, и вошелъ
Любимый рабъ его, Соколъ.

Соколъ рассказываетъ сказку о томъ, какъ одна царская дочь обманула отца, сблбившись съ молодымъ конюхомъ, какъ отецъ случайно напалъ его въ ея свѣтлицѣ.

И по морщинамъ старика,
Какъ тѣни облака, слегка
Промчались тѣни черныхъ думъ.
Встревоженный и быстрый умъ
Вблизи предвидѣлъ много бѣдъ.
Онъ жилъ: онъ зналъ людей и свѣтъ,
Онъ зломъ не могъ быть удивленъ
Добру жъ давно не вѣрилъ онъ,
Не вѣрилъ только потому,
Что вѣрилъ нѣкогда всему!..
И вспыхнулъ въ немъ остатокъ силъ.
Онъ съ ложа мягкаго вскочилъ,
Соболю шубу на плеча
Накинулъ онъ; въ рукѣ свѣча;
И вотъ, дрожа, идетъ скорѣй
Къ свѣтлицѣ дочери своей.
Ступени лѣстницы крутой
Подъ тяжкою его стопой
Скрипятъ и свѣчка раза два
Изъ рукъ не выпала едва.

Онъ видитъ: няня въ уголкѣ
Сидитъ на старомъ сундукѣ
И спитъ глубоко, и порой
Во снѣ качаетъ головой.
На ней, предчувствиемъ объята,
На мигъ онъ удержалъ свой взглядъ
И мимо; но, послыша стукъ,
Старуха пробудилась вдругъ,
Перекрестилась и потомъ
Опять заснула крѣпкимъ сномъ
И, занята своей мечтой,
Вновь закачала головой.
Стоитъ бояринъ у дверей
Свѣтлицы дочери своей
И чуткимъ ухомъ онъ приникъ
Къ замку—и думаетъ старикъ:
„Нѣтъ! непорочна дочь моя!
А ты, Соколъ, ты рабъ, змѣя,
За дерзкій, хитрый твой намекъ
Получишь гибельный урокъ!“
Но вдругъ... о горе! о позоръ!
Онъ слышитъ тихій разговоръ...

И голоса замолкли вдругъ.
И слышитъ Орша тихій звукъ,
Звукъ поцѣлуя... и другой...
Онъ вспыхнулъ, дверь толкнулъ рукою
И, испуганный и нѣмой,
Предсталъ предъ блѣдною четой...

Бояринъ сдѣлалъ шагъ назадъ,
На дочь онъ кинулъ злобный взглядъ,
Глаза ихъ встрѣтились—и вмгъ
Мучительный ужасный крикъ
Раздался, пролетѣлъ—и стихъ.
И тотъ, кто крикъ сей услышалъ,
Подумалъ, вѣрно, или сказалъ,
Что дважды изъ груди одной
Не вылетаетъ звукъ такой.

У дочери Орши былъ Арсеній, молодой
монастырскій послушникъ; Орша заклю-
тила его въ темницу, а свѣтлицу дочери
заперъ на ключъ, который потомъ бросилъ
въ Дятлѣрь. Дочь оказалась обреченной на
голодную смерть.

ГЛАВА II.

Народъ кипитъ въ монастырѣ;
У вратъ святыхъ и на дворѣ
Рабы боярскіе стоятъ.
Ихъ копыя мѣдныя горятъ,
Ихъ шапки длинныя кругомъ
Опушены густымъ бобромъ,
За кушакомъ блестятъ у нихъ
Ножны кинжаловъ дорогихъ...
Межъ нихъ стреманный молодой,
За гриву правую рукою
Держа боярскаго коня,
Стоитъ; повременамъ, звеня,
Стремена бьются о бока;
Истертъ ногами сѣдока,
Въ пыли малиновый чепракъ;
Весь въ мыль, сѣрый аргамакъ
Мотааетъ гривкою густой,
Бьетъ землю жилистой ногой,
Грызетъ съ досады удила,
И пѣна легкая—бѣла,
Чиста какъ первый снѣгъ въ поляхъ,
Съ желѣза падаетъ на прахъ.

Но вотъ обѣдня отошла;
Гудятъ, ревутъ колокола;
Вотъ слышно пѣнье—изъ дверей
Мелькаетъ длинный рядъ свѣчей,
Вослѣдъ игумену-отцу
Монахи сходятъ по крыльцу
И прямо въ трапезу идутъ;
Тамъ грозный судъ, послѣдній судъ
Произнесетъ отецъ святой
Надъ бѣдной, грѣшной головой.

Безмолвна трапеза была.
Къ стѣнѣ налѣво два стола
И пышныхъ креселъ полукругъ—
Издѣлье инокескихъ рукъ—
Блестали тканью парчевой;
Въ большія окна свѣтъ дневной,
Врываясь бѣлой полосой,
Дробясь въ искры по стеклу,
Игралъ на каменномъ полу,
Рѣзкою мелкою стѣна
Была искусно убрана,
И на двери въ кружкахъ златыхъ
Блестали образа святыхъ.
Тяжелый, низкій потолокъ
Расписывалъ, какъ зналъ, какъ могъ,
Усердный инокъ... жалкій трудъ,
Отнявшій множество минутъ
У Бога, думъ святыхъ и дѣлъ...
Искусства горестный удѣлъ!..

На мягкихъ креслахъ предъ сто-
ломъ

Сидѣлъ въ бездѣйствіи нѣмомъ
Бояринъ Орша. Иногда
Усы сѣдые, борода,
Съ игривымъ встрѣтившись лучомъ,
Вдругъ отливались серебромъ,
И часто кудри старика
Отъ дуновенья вѣтерка
Приподымались слегка.
Движеньемъ пасмурныхъ очей
Нерѣдко онъ искалъ дверей,
И, въ нетерпѣніи, порой
Онъ по столу стучалъ рукой.
Въ концѣ противномъ залы той
Одинъ, въ пѣляхъ, къ нему спиной,
Покрытъ одеждою раба,
Стоялъ Арсеній у столба.
Но въ молодомъ лицѣ его
Вы не нашли бѣ ни одного
Изъ чувствъ, которыхъ смутный рой

Кружится, вьется надъ душой
Въ часъ разставанія съ землею.

Хотѣлъ ли онъ передъ врагомъ
Предстать съ безчувственнымъ че-
ломъ,

Съ холодной важностью лица,
И мстить хотѣ этимъ до конца?
Иль онъ невольно въ этотъ мигъ
Глубокой мыслию постигъ,
Что онъ въ цѣпи существъ давно
Едва ль не лишнее звено?...
Задумчивъ онъ смотрѣлъ въ окно
На голубыя небеса:

Его манила ихъ краса...
И кудри легкихъ облаковъ,
Небесъ серебряный покровъ,
Неслись свободно, быстро тамъ,
Кидая тѣни по холмамъ.
И онъ увидѣлъ: у окна,
Заботой рѣзкою полна,
Летала ласточка—то внизъ,
То вверхъ, подъ каменный карнизъ
Кидалась съ дивной быстротой
И въ щели пряталась сырой;
То, взвившись на небо стрѣлой,
Тонула въ пламенныхъ лучахъ...
И онъ вздохнулъ о прежнихъ дняхъ,
Когда онъ жилъ, страстямъ чужой,
Съ природой жизнью одной;
Блеснули тусклые глаза,
Но этотъ блескъ былъ—не слеза;
Онъ улыбнулся, но жестокъ
Въ его улыбкѣ былъ упрекъ.

Начался судъ.

Арсеній. Ты слушать исповѣдь мою
Сюда пришелъ—благодарю.
Не понимаю, что была
У васъ за мысль?—Мои дѣла
И безъ меня ты долженъ знать,
А душу можно ль рассказать?
И если бѣ могъ я эту грудь
Передъ тобою развернуть,
Ты вѣрно не прочелъ бы въ ней,
Что я безсовѣстный злодѣй!
Пусть монастырскій вашъ законъ
Рукою Бога утверждень,
Но въ этомъ сердцѣ есть другой,
Ему не менѣ святой:
Онъ оправдать меня—одинъ

Онъ сердца полный властелинъ!
Когда бъ сквозь бѣдный мой нарядъ
Не проникалъ до сердца ядъ,
Тогда я былъ бы виноватъ.
Но всёхъ равно влечетъ судьба:
И подъ одеждою раба,
Но полный жизнью молодой,
Я человекъ, какъ и другой.
И ты, и ты, слѣпой старикъ,
Когда бъ ея небесный ликъ
Тебѣ явился хоть во снѣ,
Ты позавидовалъ бы мнѣ
И, въ изступленье, можетъ быть,
Рѣшился бъ также согрѣшить,
И клятвы бъ грозныя забыть,
И перенести бы счастливъ былъ
За слово, ласку или взоръ
Мое мученье, мой позоръ!...

Орша. Не поминай теперь о ней!
Напрасно!—У груди моей,
Хоть нынѣ поздно вижу я,
Согрѣлась, выросла змѣя!...
Но ты заплатишь мнѣ теперь
За хлѣбъ и соль мою, повѣрь.
За сердце жъ дочери моей
Я заплачу тебѣ, злодѣй—
Тебѣ, найденный безъ креста,
Превратный рабъ и сирота!...

Арсеній. Ты правъ: не знаю, гдѣ
рожденъ,

Кто мой отецъ и живъ ли онъ?
Не знаю... Люди говорятъ,
Что я тобой ребенкомъ взятъ,
И былъ я отданъ съ раннихъ поръ
Подъ строгій иноковъ надзоръ,
И выросъ въ тѣсныхъ я стѣнахъ,
Душой дитя—судьбой монахъ!
Никто не смѣлъ мнѣ здѣсь сказать
Священныхъ словъ „отецъ“ и „мать“.
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,
Чтобъ я въ обители отвыкъ
Отъ этихъ сладостныхъ именъ?
Напрасно: авуе ихъ былъ рожденъ
Со мной. Я видѣлъ у другихъ
Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
А у себя не находилъ
Не только милыхъ душъ—могилъ!
Но иныче самъ я не хочу
Предать ихъ имя палачу,
И все, что славно было въ немъ,

Облить и кровью, и стыдомъ.
Умру, какъ жилъ, твоимъ рабомъ!...
—Нѣтъ, не грови, отецъ святой:
Чего бояться намъ съ тобой?
Обоихъ насъ могила ждетъ...
Не все ль равно, что день, что годъ,
Никто ужъ намъ не господинъ;
Ты въ рай, я въ адъ—но путь одинъ!
Съ тѣхъ поръ, какъ длится жизнь
моя,

Два раза былъ свободенъ я:
Последній—нынѣ... Въ первый разъ,
Когда я жилъ еще у васъ,
Среди молитвъ и пыльныхъ книгъ,
Пришло мнѣ въ мысли хоть на мигъ
Взглянуть на пышныя поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли или тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы...
И въ часъ ночной, въ ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
При блескѣ молній роковыхъ
Я убѣждалъ изъ стѣнъ святыхъ;
Боязнь съ одеждой кинулъ прочь,
Благословилъ и хладъ, и ночь,
Забылъ печали бытія
И бурю братомъ называлъ я.
Восторгомъ бѣшеннымъ объять,
Съ ней унести я былъ бы радъ;
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ!
О старецъ! что средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ взаимъ
Той дружбы краткой и живой
Межъ бурнымъ сердцемъ и гровой?..

Судьи требуютъ, чтобы онъ открылъ
сообщниковъ.

Арсеній. Послушай, я забылся
сномъ

Вчера въ темницѣ. Слышу вдругъ
Я приближающійся звукъ,
Знакомый, милый разговоръ,
И будто вижу ясный взоръ...
И, пробудясь, во тьмѣ скорѣй
Ищу тѣхъ звуковъ, тѣхъ очей...
Увы! они въ груди моей!
Они на сердцѣ, какъ печать,

Чтобъ я не смѣлъ ихъ забывать,
И жгутъ его, и вновь живутъ...
Они—мой рай, они—мой адъ!
Для воспоминаія о нихъ
Жизнь—ничего, а вѣчность—мигъ!..
Игуменъ. Богохулитель, удержись!

Пади на землю, плачь, молись,
Прими святую въ грудь боязнь...
Мечтанья злыя—Божья казнь...
Молись ему...

Арсеній. Напрасный трудъ!
Не говори, что Божій судъ
Опредѣляетъ мнѣ конецъ:
Все люди, люди, мой отецъ!
Пускай умру... но смерть моя
Не продолжитъ ихъ бытія,
И дни градоушіе мои
Имъ не присвоить—и въ крови,
Неправой казнью пролитой,
Въ крови безумца молодой
Имъ разогрѣть не суждено
Сердца, увядшія давно;
И гробъ безъ камня и креста,
Какъ жизнь ихъ ни была свята,
Не будетъ слабымъ ихъ ногамъ
Ступенью новой къ небесамъ;
И тѣнь несчастнаго, повѣрь,
Не отопретъ имъ рая дверь...
Меня могила не страшить:
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
Въ холодной вѣчной тишинѣ...
Но съ жизнью жалъ разстаться мнѣ:
Я молодецъ, молодецъ—зналъ ли ты,
Что значить молодость, мечты?
Или не зналъ? или забылъ,
Какъ ненавидѣлъ и любилъ,
Какъ сердце билось живѣй
При видѣ солнца и полей
Съ высокой башни угловой,
Гдѣ воздухъ свѣжъ и гдѣ, порой,
Въ глубокой трещинѣ стѣны,
Дитя невѣдомой страны,
Прижавшись, голубъ молодой
Сидитъ, испуганный грозой?..
Пускай теперь прекрасный свѣтъ
Тебѣ постылъ... ты слѣпъ, ты сѣдъ,
И отъ желаній ты отвѣкъ...
Что за нужда? ты жилъ, старикъ;
Тебѣ есть въ мірѣ что забыть...

Ты жилъ—я также могъ бы жить!..

Арсеній бѣжалъ изъ монастыря и этимъ
спасъ себя отъ пытокъ и казни.

ГЛАВА III.

Литовцы сдѣлали набѣгъ на русскіе
предѣлы; боярину Оршѣ пришлось съ
ними биться; онъ былъ разбитъ и смер-
тельно раненъ.

Умчался далѣ шумный бой,
Оставая слѣдъ багровый свой...
Между поверженныхъ коней,
Обломковъ копій и мечей
Въ то время всадникъ развѣзжалъ;
Чего-то, мнилось, онъ искалъ,
То низко голову склоня
До гривы чернаго коня,
То вдругъ привставъ на стременахъ...
Кто жъ онъ? не русскій и не ляхъ—
Хоть платье польское на немъ
Пестрѣло ярею серебромъ,
Хоть сабля польская, звеня,
Стучала по ребрамъ коня;
Чела крутого смуглый цвѣтъ,
Глаза, въ которыхъ мракъ и свѣтъ
Въ борьбѣ смѣнялися не разъ,
Почти могли бъ увѣрить васъ,
Что въ немъ кипѣла кровь татаръ...
Онъ былъ немолодъ и не старъ.
Но, разсмотрѣвъ его черты,
Не чуждая той красоты
Невыразимой, но живой,
Которой блескъ печальный свой
Мысль неизмѣнная дала,
Гдѣ все, что есть добра и зла
Въ душѣ, прикованной къ землѣ,
Отражено какъ на стеклѣ,—
Вздохнувши, всякій бы сказалъ,
Что жилъ онъ меньше, чѣмъ страдалъ.

Это былъ Арсеній; онъ видѣлъ въ бою
Оршу и теперь ищетъ его тѣла.

И вдругъ онъ внемлетъ слабый стонъ,
Подходить, смотреть: „это онъ!“
Главу, омнутую въ крови,
Бояринъ приподнялъ съ земли
И слабымъ голосомъ сказалъ:
„И я узналъ тебя! узналъ!“

Ни время, ни чужой нарядъ
Не измѣнять зловѣщій взглядъ
И это гордое чело,
Гдѣ преступленіе и зло
Печать оставили свою.
Арсеній!—Такъ! я узнаю,
Хотя могилы на краю,
Улыбку прежнюю твою,
И въ ней шипящую змѣю!
Я узнаю и голосъ твой
Межъ звуковъ сторонъ чужой,
Которыми ты, можешь быть,
Его желаешь измѣнить.
Твой умыселъ постигъ я весь,
Я знаю, для чего ты здѣсь.
Но, вѣрный родинѣ моей,
Не отверну теперь очей,
Хоть ты бѣ желалъ, измѣнникъ-ляхъ,
Прочестъ въ нихъ близкой смерти
страхъ

И сожалѣнье и печаль...
Но знай, что жизни мнѣ не жалъ,
А жалъ лишь то, что часъ мой билъ,
Покуда я не отомстилъ;
Что не могу поднять меча,
Что на рукахъ моихъ, съ плеча
Омытыхъ кровью до локтей
Злодѣевъ родины моей,
Ни капли крови нѣтъ твоей!“

Арсеній проситъ Оршу сказать ему, гдѣ
его дочь. Орша отвѣчаетъ.

„Скажи скорѣй въ мой старый домъ,
Тамъ дочь моя; ни ночь, ни днемъ
Не ѣсть, не спать: все ждетъ да
ждетъ,

Покуда милый не придетъ.
Спѣши... Ужъ близокъ мой конецъ...
Теперь обиженный отецъ
Для васъ лишь страшенъ—какъ мер-
твецъ!..“

Онъ дальше говорить хотѣлъ,
Но вдругъ языкъ оцѣпенѣлъ;
Онъ сдѣлать знакъ хотѣлъ рукой,
Но пальцы сжались межъ собой,
Тѣнь смерти мрачной полосой
Промчалась на его челѣ;
Онъ обернулъ лицо къ землѣ,
Вдругъ протянулся, захрипѣлъ,
И—духъ отъ тѣла отлетѣлъ.

Къ нему Арсеній подошелъ,
И руки сжатія развелъ,
И поднялъ голову съ земли:
Двѣ яркія слезы текли
Изъ поблѣвшихъ мутныхъ глазъ,
Собой лишь свѣтлы какъ алмазъ.
Спокойны были всѣ черты,
Исполнены той красоты,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, какъ смерть сама.

Арсеній мчится къ терему Орши,
вбѣгаетъ по лѣстницѣ, подбѣгаетъ къ двер-
ямъ знакомой свѣтлицы.

Увы, знакомыя мѣста!
Налѣво дверь—но заперта.
Какъ кровью, ржавчиной покрытъ,
Большой замокъ на ней виситъ.
И, вынувъ ножъ изъ кушака,
Онъ всунулъ въ скважину замка,
И, затрепавъ, распался тотъ...
И тихо дверь толкнувъ впередъ,
Онъ входитъ робкою ступою
Въ свѣтлицу дѣвы молодой.
Громаду бѣлую костей
И желтый черепъ безъ очей,
Съ улыбкой вѣчной и нѣмой—
Вотъ что устрѣлъ онъ предъ собой.
Густая длинная коса,
Плечъ бѣломраморныхъ краса,
Разсыпавшись, къ сухимъ костямъ
Кой-гдѣ прилипла... и тамъ,
Гдѣ сердце чистое такой
Любовью билось огневой,
Давно безъ пищи ужъ бродилъ
Кровавый червь—жилецъ могилъ...

„Такъ вотъ все то, что я любилъ!
Холодный и бездушный прахъ,
Горѣвшій на моихъ устахъ,
Теперь безъ чувства, безъ любви
Сожмутъ объятія земли!
Душа прекрасная ея,
Принявъ другое бытіе,
Теперь паритъ въ странѣ святой,
И, какъ укоръ передо мной,
Ея минутной жизни слѣдъ.
Она погибла въ прѣтѣ лѣтъ,
Средь тайныхъ мукъ, иль безъ тре-
вогъ,

Когда и какъ—то знаетъ Богъ.
Онъ былъ отецъ, но былъ мой врагъ:
Тому свидѣтель этотъ прахъ,
Лишенный сѣни гробовой,
На свѣтѣ признанный лишь мной!

„Да! я преступникъ, я злодѣй—
Но казнь равна ль винѣ моей?
Ни на землѣ, ни въ свѣтѣ томъ
Намъ не сойтись однимъ путемъ...
Разлуки первый грозный часъ
Сталъ вѣкомъ, вѣчностью для насъ.
О, если бъ рай передо мной
Открытъ былъ властью неземной—
Клянусь, я бъ, прежде чѣмъ всту-
пилъ,

У вратъ священныхъ бы спросилъ:
Найду ли тамъ, среди святыхъ,
Погибшій рай надеждъ моихъ?
Творецъ! отдай ты мнѣ назадъ
Ея улыбку, нѣжный взглядъ;
Отдай мнѣ свѣжія уста
И голосъ, сладкій, какъ мечта,
Одинъ лишь слабый звукъ отдай!..
Что безъ нея земля и рай?
Одни лишь звучныя слова,
Блестящій храмъ—безъ божества!..

„Теперь осталось мнѣ одно:
Иду!—куда? Не все ль равно
Та или другая сторона?
Здѣсь прахъ ея, но не она!
Иду отсюда навсегда
Безъ думъ, безъ цѣли и труда,
Одинъ, съ тоской во тѣмѣ ночной,
И выюга слѣдъ завѣтъ мой!..“

П ѣ с н я .

Про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова.

Охъ ты гой еси, царь Иванъ Ва-
сильевичъ!

Про тебя нашу пѣсню сложили мы,
Про твоего любимаго опричника,
Да про смѣлаго купца, про Калашни-
кова;

Мы сложили ее на старинный ладъ,
Мы пѣвали ее подъ гуслярный звонъ,
И причитывали, да присказывали,
Православный народъ ею тѣшился,

А бояринъ Матвѣй Ромодановскій
Намъ чарку поднесъ меду пѣннаго;
А боярыня его бѣлолицая
Поднесла намъ на блюдѣ серебряномъ
Полотенце новое, шолкомъ шитое.
Угощали насъ три дня, три ночи,
И все слушали—не наслушались.

I.

Не сіяетъ на небѣ солнце красное,
Не любятъся имъ тучки синія:
То за трапезой сидитъ во златомъ
вѣнцѣ,
Сидитъ грозный царь Иванъ Василье-
вичъ.

Позади его стоятъ столъники,
Супротивъ его все бояре да князья,
По бокамъ его все опричники;
И пируетъ царь во славу Божию,
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Улыбаясь, царь повелѣлъ тогда
Вина сладкаго заморскаго
Напѣдить въ свой золоченый ковшъ
И поднести его опричникамъ.
— И всѣ пили, царя славили.

Лишь одинъ изъ нихъ, изъ опрични-
ковъ,

Удалой боецъ, буйный молодецъ,
Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ;
Опустилъ онъ въ землю очи темныя,
Опустилъ головушку на широку грудь—
А въ груди его была дума крѣпкая.

Вотъ нахмурилъ царь брови чер-
ныя

И навелъ на него очи зоркія,
Словно ястребъ взглянулъ съ высоты
небесъ

На молодого голубя сизокрылаго—
Да не поднялъ глазъ молодой боецъ.
— Вотъ объ землю царь стукнулъ
палкою,

И дубовый полъ на полчетверти
Онъ желѣзнымъ пробилъ оконечни-
комъ—

Да не вздрогнулъ и тутъ молодой
боецъ.

— Вотъ промолвилъ царь словно
грозное—

И очнулся тогда добрый молодецъ.

И сказалъ, смѣясь, Иванъ Васильевичъ:

„Ну, мой вѣрный слуга! я твоей бѣдѣ,

Твоему горю пособить постараюсь.
Вотъ возьми перстенецъ ты мой
яхонтовый,

Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахѣ смышленной поклоняйся,

И пошли дары драгоценныя
Ты своей Алонѣ Дмитревнѣ:

Какъ полюбишься—празднуй свадьбу,
дебку,

Не полюбишься—не прогнѣвайся“.

— Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!

Обманулъ тебя твой лукавый рабъ,
Не сказалъ тебѣ правды истинной,
Не повѣдалъ тебѣ, что красавица
Въ церкви Божіей перевѣчана,
Перевѣчана съ молодымъ купцомъ
По закону нашему христіанскому...

* * *

Ай, ребята, пойте—только гусли
стройте!

Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!
Ужъ потѣшите вы добраго боярина
И боярыню его бѣлолицую!

II.

За прилавкою сидитъ молодой купецъ,
Статный молодецъ Степанъ Парамоновичъ,

По прозванію Калашниковъ;
Шелковые товары раскладываетъ,
Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,

Злато, серебро пересчитываетъ.
Да не добрый день задался ему:
Ходятъ мимо баре богатые,
Въ его лавочку не заглядываютъ.

Отзвонили вечерню во святыхъ церквяхъ;

За Кремлемъ горитъ заря туманная,
Набѣгаютъ тучки на небо—

Гонить ихъ метелица, распѣваячи;
Опустѣлъ широкій гостинный дворъ.

Запираетъ Степанъ Парамоновичъ
Свою лавочку дверью дубовою
Да замкомъ нѣмецкимъ со пружиною;

Злого пса-ворчуна зубастаго
На желѣзную цѣпь привязываетъ.
И пошелъ онъ домой, призадумавшись,

Къ молодой хозяйкѣ, за Москву-рѣку.
И приходитъ онъ въ свой высокій домъ,

И дивится Степанъ Парамоновичъ:
Не встрѣчаетъ его молодая жена,
Не накрытъ дубовый столъ бѣлой скатертью,

А свѣча передъ образомъ еле-теплится.
И злечетъ онъ старую работницу:

„Ты скажи, скажи, Еремѣевна,
А куда дѣвалась, затаилася
Въ такой поздній часъ Алена Дмитревна?“

А что дѣтки мои любезныя—
Чай забѣгались, зантрались,
Спозаранку спать уложились?“

— Господинъ ты мой, Степанъ Парамоновичъ!

Я скажу тебѣ диво дивное:
Что къ вечернѣ пошла Алена Дмитревна;

Вотъ ужъ попь прошелъ съ молодой попадѣй,

Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать—
А по-сю-пору твоя хозяйшечка
Изъ приходской церкви не вернулася.

А что дѣтки твои малыя
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачемъ плачутъ, все не унимаются.

И смутился тогда думой крѣпкою
Молодой купецъ Калашниковъ.

И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу—

А на улицѣ ночь темнехонька;
Валитъ бѣлый снѣгъ, разстилается,
Заметаетъ слѣдъ человѣческій.

Вотъ онъ слышитъ, въ сѣнахъ дверью хлопнула,

Потомъ слышитъ шагъ торопливые;
Обернулся, глядитъ—сила крестная!

Передъ нимъ стоитъ молодая жена,
Сама блѣдная, простоволосая,

Косы русыя расплетенныя
Снѣгомъ-инеемъ пересыпаны,
Смотрять очи мутныя, какъ безумныя;
Уста шепчуть рѣчи непонятныя.

„Ужъ ты гдѣ, жена, жена, шаталася,
На какомъ на дворѣ, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одежда вся твоя изорвана?
Ужъ гуляла ты, пиновала ты,
Чай, съ сынками все боярскими?...
Не на то предъ святыми иконами
Мы съ тобой, жена, обручались,
Золотыми кольцами мѣнялися!...
Какъ запру я тебя за желѣзный замокъ,

За дубовую дверь окованную,
Чтобы свѣту Божьяго ты не видѣла,
Мое имя честное не порочила...“
И, услышавъ то, Алена Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, какъ листочекъ осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
Въ ноги мужу повалилася.

„Государь ты мой, красно-солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои рѣчи—будто острый ножъ;
Отъ нихъ сердце разрывается.
Не боюсь смерти лютыя,
Не боюсь я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

„Отъ вечерни я домой шла нонече
Вдоль по улицѣ одишенька.
И слышалось мнѣ, будто снѣгъ хруститъ;

Оглянулася—человѣкъ бѣжитъ.
Мои ноженьки подкосились,
Шолковой фатой я закрылася.
И онъ сильно схватилъ меня за руки
И сказалъ мнѣ такъ тихимъ шопотомъ:
— Что пугаешься, красная красавица?
Я не воръ какой, душегубъ лѣсной,
Я слуга царя, царя грознаго,
Прозываюся Кирибѣичемъ,
А изъ славной семьи изъ Малютиной...

„Испугалась я пуще прежняго;
Закружилась моя бѣдная головушка.
И онъ сталъ меня цѣловать-ласкать,
И, цѣлуя, все приговаривалъ:
— Отвѣчай мнѣ, чего тебѣ надобно,
Моя милая, драгоцѣнная!

Хочешь золота, али жемчугу?
Хочешь яркихъ камней, аль цвѣтной парчи?

Какъ царицу, я наряжу тебя,
Станутъ всѣ тебѣ завидовать.
Лишь не дай мнѣ умереть смертью грѣшною:

Полюби меня, обними меня
Хоть единый разъ на прощаніе!
И ласкалъ онъ меня, цѣловалъ меня:
На щекахъ моихъ и теперь горятъ,
Живымъ пламенемъ разливаются
Попѣлуи его океаннныя...
А смотрѣли въ калитку сосѣдушки;
Смѣялись, на насъ пальцемъ показывали...

„Какъ изъ рукъ его я рванулася
И домой стремглавъ бѣжать бросилась;

И остались въ рукахъ у разбойника
Мой узорный платокъ—твой подарочекъ,

И фата моя бухарская.
Опозорилъ онъ, оскрамилъ меня,
Меня, честную, непорочную—
И что скажутъ злыя сосѣдушки?

И кому на глаза покажусь теперь?
„Ты не дай меня, свою вѣрную жену,
Злымъ охульникамъ въ поруганіе!
На кого, кромѣ тебя, мнѣ надѣяться?
У кого просить стану помощи?
На бѣломъ свѣтѣ я сиротинушка;
Родной батюшка ужъ въ сырой землѣ,
Рядомъ съ нимъ лежитъ моя матушка;
А мой старшій братъ, самъ ты вѣдаешь,
На чужой сторонукѣ пропасть безъ вѣсти;

А меньшей мой братъ—дитя малое,
Дитя малое, неразумное...“

Говорила такъ Алена Дмитревна;
Горячими слезами заливалась.
Посылаетъ Степанъ Парамоновичъ
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слово ему молвили:

„Ты повѣдай намъ, старшой нашъ братъ,
Что съ тобой случилось, приключилось,
Что послалъ ты за нами во темную ночь

Такъ и быть, общаюсь, для праздни-
ка,
Отпущу живого съ покаяніемъ,
Лишь потѣшу царя, нашего батюшку".
Вдругъ толпа раздалась на обѣ сто-
роны—

И выходитъ Степанъ Парамоновичъ,
Молодой кулецъ, удалой боецъ,
По прозванію Калашниковъ.
Поклонился прежде царю грозному,
Послѣ бѣлому Кремлю да святымъ
церквямъ,

А потомъ всему народу русскому.
Горятъ очи его соколиныя,
На опричника смотреть пристально.
Супротивъ него онъ становится,
Боевыя рукавицы натягиваетъ,
Могутныя плечи распрямливаетъ,
Да кудряву бороду поглаживаетъ.

И сказалъ ему Кирибѣевичъ:

„А повѣдай мнѣ, добрый молодецъ,
Ты какого роду, племени,
Какимъ именемъ прозываешься?

Чтобы знать, по комъ панихиду слу-
жить,

Чтобы было чѣмъ и похвастаться".
Отвѣчаетъ Степанъ Парамоновичъ:

„А зовутъ меня Степаномъ Калашни-
ковымъ,

А родился я отъ честнова отца.
И жилъ я по закону Господнему:
Не позорилъ я чужой жены,
Не разбойничалъ ночью темною,
Не тайлся отъ свѣта небеснаго...

И промолвилъ ты правду истинную:
По одному изъ насъ будутъ панихиду
пѣть,

И не позже, какъ завтра въ часъ по-
луденный;

И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
Съ удалыми друзьями пируючи...
Не шутку шутить, не людей смѣшивать
Къ тебѣ вышелъ я теперь, басурман-
скій сынъ,

Вышелъ я на страшный бой, на по-
слѣдній бой!"

И, услышавъ то, Кирибѣевичъ
Поблѣднѣлъ въ лицѣ, какъ осенній
снѣгъ;

Бойки очи его затуманились,

Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ
морозъ,
На раскрытыхъ устахъ слово за-
мерло...

Вотъ молча оба расходятся,
Богатырскій бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибѣевичъ
И ударилъ въ-первой купца Калаш-
никова,

И ударилъ его посередѣ груди—
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степанъ Парамоновичъ,
На груди его широкой висѣлъ мѣд-
ный крестъ

Со святыми мощами изъ Кіева;
И погнулся крестъ, и вдавился въ
грудь;

Какъ роса изъ-подъ него кровь за-
капала.

И подумалъ Степанъ Парамоновичъ:
„Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до-последнева!"

Изловчился онъ, приготовился,
Собрался со всею силою

И ударилъ своего ненавистника
Прямо въ лѣвый високъ со всего
плеча.

И опричникъ молодой застоналъ слегка,
Закачался, упалъ замертво;

Повалился онъ на холодный снѣгъ,
На холодный снѣгъ, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыромъ бору
Подъ смолистый подъ корень подру-
бленная.

И, увидѣвъ то, царь Иванъ Василье-
вичъ

Прогнѣвался гнѣвомъ, топнулъ о землю
И нахмурилъ брови черныя;

Повелѣлъ онъ схватить удалого купца
И привести его предъ лицо свое.

Какъ возговорилъ православный царь:
„Отвѣчай мнѣ по правдѣ, по совѣ-
сти,

Вольной волею, или нехотя

Ты убилъ на смерть мово вѣрнаго
слугу,

Мово лучшаго бойца, Кирибѣевича?"

— Я скажу тебѣ, православный царь:
Я убилъ его вольной волею,

А за что, про что—не скажу тебѣ;

ной тишины онъ адѣсь не нашёлъ,—его постоянно тянуло къ роднымъ горамъ. Однажды онъ исчезъ на нѣсколько дней. Монахи нашли его недалеко отъ монастыря умирающимъ. Вотъ его рассказъ о жизни на волѣ:

III.

„Ты слушать исповѣдь мою
Сюда пришёлъ,—благодарю.
Все лучше передъ кѣмъ-нибудь
Словами облегчить мнѣ грудь;
Но людямъ я не дѣлалъ зла,
И потому мои дѣла
Не много пользы вамъ узнать—
А душу можно ль рассказать?
Я мало жилъ, и жилъ въ плѣну.
Такихъ двѣ жизни за одну,
Но только полную тревогъ,
Я промѣнялъ бы, если бъ могъ.
Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она какъ червь во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
Отъ келій душныхъ и молитвъ
Въ тотъ чудный міръ тревогъ и битвъ,
Гдѣ въ тучахъ прячутся скалы,
Гдѣ люди вольны какъ орлы.
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землею
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

IV.

„Старикъ, я слышалъ много разъ,
Что ты меня отъ смерти спасъ—
Зачѣмъ?.. Угрюмъ и одинокъ,
Грозой оторванный листокъ,
Я выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,
Душой дитя, судьбой монахъ.
Я никому не могъ сказать
Священныхъ словъ „отецъ“ и „мать“.
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,
Чтобъ я въ обители отвыкъ
Отъ этихъ сладостныхъ именъ—
Напрасно звукъ ихъ былъ рожденъ
Со мной. Я видѣлъ у другихъ

Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
А у себя не находилъ
Не только милыхъ душъ—могилъ!
Тогда, пустыхъ не тратя слезъ,
Въ душѣ я клятву произнесъ:
Хотя на мигъ когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать съ тоской къ груди другой,
Хоть не знакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья тѣ
Погибли въ полной красотѣ,
И я, какъ жилъ въ землѣ чужой,
Умру рабомъ и сиротой.

V.

„Меня могила не страшить:
Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
Въ холодной вѣчной тишинѣ.
Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ.
Я молодъ, молодъ... зналъ ли ты
Разгульной юности мечты?

VI.

„Ты хочешь знать, что видѣлъ я
На волѣ?—Пышные поля,
Холмы, покрытые вѣнцомъ
Деревъ, разросшихся кругомъ,
Шумящихъ свѣжею толпой,
Какъ братья, въ пляскѣ круговой.
Я видѣлъ груды темныхъ скалъ,
Когда потокъ ихъ раздѣлялъ,
И думы ихъ я угадалъ:
Мнѣ было выше то дано!
Простерты въ воздухъ давно
Объятъя каменные ихъ
И жаждутъ встрѣчи каждый мигъ;
Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года—
Имъ не сойтися никогда!
Я видѣлъ горные хребты,
Причудливые какъ мечты,
Когда въ часъ утренней зари
Курились, какъ алтари,
Ихъ выси въ небѣ голубомъ,
И облачко за облачкомъ,
Покинувъ тайный твой ночлегъ,
Къ востоку направляло бѣгъ—
Какъ будто бѣлый караванъ
Залетныхъ птицъ изъ разныхъ странъ!

Вдали я видѣлъ севозъ туманъ,
Въ снѣгахъ, горящихъ какъ алмазъ,
Сѣдой, неизблемый Кавказъ—
И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мнѣ тайный голосъ говорилъ,
Что нѣкогда и я тамъ жилъ,
И стало въ памяти моей
Прошедшее яснѣй, яснѣй...

Онъ говоритъ, что на волѣ яснѣе вспо-
мнилъ отцовскій домъ и вольную жизнь
горцевъ.

VIII.

„Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ? Жилъ—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была бѣ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля;
Узнать, прекрасна ли земля;
Узнать, для воли или тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы,—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столнясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣждалъ. О! я какъ братъ
Обнялся съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ взаменъ
Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?..

IX.

„Бѣжалъ я долго—гдѣ? куда?
Не знаю! Ни одна звѣзда
Не озаряла трудный путь.
Мнѣ было весело вдохнуть
Въ мою измученную грудь
Ночную свѣжесть тѣхъ лѣсовъ—
И только.
Я самъ, какъ звѣрь, былъ чуждъ людей,
И ползъ и прятался какъ змѣй.

XI.

„Кругомъ меня прѣлъ Божій садъ;
Растеній радужный нарядъ
Хранилъ слѣды небесныхъ слезъ,
И кудри виноградныхъ лозъ
Вились, красуясь, межъ деревь
Прозрачной зеленю листовъ;
И грозды полные на нихъ,
Серегъ подобье дорогихъ,
Висѣли пышно, и порой
Къ нимъ птицъ леталъ пугливый рой.
И снова я къ землѣ припалъ,
И снова вслушиваться сталъ
Къ волшебнымъ, страннымъ голосамъ;
Они шептались по кустамъ,
Какъ будто рѣчь свою вели
О тайнахъ неба и земли;
И всѣ природы голоса
Сливались тутъ; не раздался
Въ торжественный хваленія часъ
Лишь человѣка гордый гласъ.
Все, что я чувствовалъ тогда,
Тѣ думы—имъ ужъ нѣтъ слѣда—
Но я бѣ желалъ ихъ рассказать,
Чтобъ жить, хоть мысленно, опять.
Въ то утро былъ небесный сводъ
Такъ чистъ, что ангела полетъ
Прилежный взоръ слѣдить бы могъ;
Онъ такъ прозрачно былъ глубокъ,
Такъ полонъ ровной синевою!
Я въ немъ глазами и душой
Тонулъ, пока полдневный зной
Мои мечты не разогналъ,
И жаждой я томиться сталъ.

XII.

„Тогда къ потоку съ высоты,
Держась за гибкіе кусты,
Съ плиты на плиту я, какъ могъ,
Спускаться началъ. Изъ-подъ ногъ
Сорвавшись, камень иногда
Катился внизъ—за нимъ бразда
Дымилась, прахъ вился столбомъ;
Гудя и прыгая, потомъ
Онъ поглощаемъ былъ волной;
И я висѣлъ надъ глубиной—
Но юность вольная сильна,

И смерть казалась не страшна!
Лишь только я съ крутыхъ высотъ
Спустился, свѣжесть горныхъ водъ
Повѣяла на встрѣчу мнѣ,
И жадно я припалъ къ волнѣ.
Вдругъ голосъ—легкій шумъ шаговъ...
Мгновенно скрывшись межъ кустовъ,
Невольнымъ трепетомъ объять,
Я подыалъ боязливый взглядъ
И жадно вслушиваться сталъ:
И ближе, ближе все звучалъ
Грузинки голосъ молодой,
Такъ безыскусственно живой,
Такъ сладко вольный, будто онъ
Лишь звуки дружескихъ именъ
Произносить былъ приученъ.
Простая пѣсня то была,
Но въ мысль она мнѣ залегла,
И мнѣ, лишь сумракъ настаесть,
Незримый духъ ее поетъ.

XIII.

„Держа кувшинъ надъ головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила къ берегу. Порой
Она скользила межъ камней,
Смѣясь неловкости своей.
И бѣденъ былъ ея нарядъ;
И шла она легко, назадъ
Изгибы длинныя чадры
Откинувъ. Лѣтніе жары
Покрыли тѣнью золотой
Лицо и грудь ея; и зной
Дышалъ отъ устъ ея и щекъ.
И мракъ очей былъ такъ глубокъ,
Такъ полонъ тайнами любви,
Что думы пылкія мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звонъ—когда струя
Вливалась медленно въ него—
И шорохъ... больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила отъ сердца кровь,
Она была ужъ далеко;
И шла хотъ тише—но легко,
Стройна подъ ношею своей,
Какъ тополь, царь ея полей...
Недалеко въ прохладной мглѣ,
Казалось, приросли къ скалѣ

Двѣ сакли дружною четой;
Надъ плоской кровлею одной
Дымокъ струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Какъ отперлась тихонько дверь
И затворилась опять...
—Тебѣ, я знаю, не понятъ
Мою тоску, мою печаль;
И если бѣ могъ—мнѣ было бѣ жаль:
Воспоминанья тѣхъ минутъ
Во мнѣ, со мной пускай умрутъ.

XIV.

„Трудами ночи изнуренъ,
Я легъ въ тѣни. Отраднѣй сонъ
Сомкнулъ глаза невольно мнѣ...
И снова видѣлъ я во снѣ
Грузинки образъ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заняла грудь.
Я долго силился вздохнуть—
И пробудился. Ужъ луна
Вверху сіяла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Какъ за добычею своей,
Объятья жадныя раскрывъ.
Миръ темень былъ и молчаливъ;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цѣпи снѣговой
Вдали сверкали предо мной,
Да въ берега плескалъ потокъ.
Въ знакомой саклѣ огонекъ
То трепеталъ, то снова гасъ:
На небесахъ въ полночный часъ
Такъ гаснетъ яркая звѣзда!
Хотѣлось мнѣ... но я туда
Взойти не смѣлъ. Я цѣль одну,
Пройти въ родимую страну,
Имѣлъ въ душѣ—и превозмогъ
Страданье голода, какъ могъ.
И вотъ дорогою прямой
Пустился, робкій и нѣмой;
Но скоро въ глубинѣ лѣсной
Изъ виду горы потерялъ
И тутъ съ пути сбиваться сталъ.

XV.

Но, вѣрь мнѣ, помощи людской
Я не желаю... Я былъ чужой

Для нихъ на вѣкъ, какъ звѣрь степной;
И если бѣ хотъ минутный крикъ
Мнѣ измѣнилъ—клянусь, старикъ,
Я бѣ вырвалъ слабый мой языкъ.

Ночью произошла его встрѣча съ барсомъ.

XVIII.

„Ко мнѣ онъ кинулся на грудь;
Но въ горло я успѣлъ воткнуть
И тамъ два раза повернуть
Мое оружье... Онъ завылъ,
Рванулся изъ послѣднихъ силъ,
И мы, сплетясь, какъ пара змѣй,
Обнявшись крѣпче двухъ друзей,
Упали разомъ, и во мглѣ
Бой продолжался на землѣ.
И я былъ страшенъ въ этотъ мигъ;
Какъ барсъ пустынный, волъ и дикъ,
Я пламенѣлъ, визжалъ, какъ онъ:
Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействѣ барсовъ и волковъ
Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.
Казалось, что слова людей
Забылъ я—и въ груди моей
Родился тотъ ужасный крикъ,
Какъ будто съ дѣтства мой языкъ
Къ иному звуку не привыкъ...
Но врагъ мой сталъ изнемогать,
Метаться, медленнѣй дышать,
Сдавалъ меня въ послѣдній разъ...
Зрачки его недвижныхъ глазъ
Блеснули грозно—и потомъ
Закрылись тихо вѣчнымъ сномъ;
Но съ торжествующимъ врагомъ
Онъ встрѣтилъ смерть лицомъ къ лицу,
Какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу!..

Долго онъ блуждалъ въ горахъ.—На-
конецъ увидалъ стѣны того монастыря,
изъ котораго бѣжалъ. Онъ противъ воли
вернулся къ своей темницѣ. Измученный
усталостью и голодомъ, онъ изнемогъ.

Палилъ меня

Огонь безжалостнаго дня.
Напрасно пряталъ я въ траву
Мою усталую голову:
Изохшіи листъ ея вѣнцомъ
Терновымъ надъ моимъ челомъ
Свивался—и въ лицо огнемъ

Сама земля дышала мнѣ.
Сверкая быстро въ вышинѣ,
Кружились искры; съ бѣлыхъ скалъ
Струился паръ. Миръ Божій спалъ,
Въ оцѣпенѣніи глухомъ,
Отчаянья тяжелымъ сномъ.
Хотя бы крикнулъ коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячій лепетъ... Лишь змѣя,
Сухимъ бурьяномъ шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Какъ будто надписью златой
Покрытый до-низу клинокъ,
Вразда разсыпчатый песокъ,
Скользила бережно; потомъ,
Играя, нѣжася на немъ,
Тройнымъ свивалася кольцомъ;
То, будто вдругъ обожжена,
Металась, прыгала она
И въ дальнихъ пряталась кустахъ...

XXIII.

„И было все на небесахъ
Свѣтло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернѣли двѣ горы.
Нашъ монастырь изъ-за одной
Сверкалъ зубчатою стѣной.
Внизу Арагва и Кура.

XXV.

„Прощай, отецъ... дай руку мнѣ:
Ты чувствуешь, моя въ огнѣ...
Знай, этотъ пламень, съ юныхъ дней
Таяся, жилъ въ груди моей;
Но нынѣ пищи нѣтъ ему,
И онъ прожогъ свою тюрьму
И возвратится вновь къ Тому,
Кто всѣмъ законной чередой
Даетъ страданье и покой...
Но что мнѣ въ томъ? Пускай въ раю,
Въ святомъ, заоблачномъ краю,
Мой духъ найдетъ себѣ пріютъ...
Увы! за нѣсколько минутъ
Между крутыхъ и темныхъ скалъ,
Гдѣ я въ ребячествѣ игралъ,
Я бѣ рай и вѣчность промѣнялъ!..

XXVI.

„Когда я стану умирать,
И, вѣрь, тебѣ не долго ждать—
Ты перенести меня вели
Въ нашъ садъ, въ то мѣсто, гдѣ цвѣли
Акацій бѣлыхъ два куста...
Трава межъ ними такъ густа,
И свѣжій воздухъ такъ душистъ,
И такъ прозрачно золотистъ
Играющій на солнцѣ листъ;
Тамъ положить вели меня.
Сіяньемъ голубого дня
Упыюся я въ послѣдній разъ.
Оттуда виденъ и Кавказъ!
Быть можетъ, онъ съ своихъ высотъ
Привѣтъ прощальный мнѣ пришлетъ,
Пришлетъ съ прохладнымъ вѣтеркомъ.
И близъ меня передъ концомъ
Родной опять раздастся звукъ!
И стану думать я, что другъ
Иль братъ, склонившись надо мной,
Отеръ внимательной рукой
Съ лица кончины холодный потъ,
И что вполголоса поетъ
Онъ мнѣ про милую страну...
И съ этой мыслью я засну
И никого не прокляну!..

П О Э М Ы.

Демонъ.

Восточная повѣсть.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Печальный Демонъ, духъ изгнанья,
Леталъ надъ грѣшною землей;
И лучшихъ дней воспоминанья
Предъ нимъ тѣснилися толпой—
Тѣхъ дней, когда въ жилищѣ свѣта
Влисталъ онъ, чистый херувимъ,
Когда бѣгущая комета
Улыбкой ласковой привѣта
Любила помѣняться съ нимъ;
Когда сквозь вѣчные туманы,

Т. II, вып. 5.

Познанья жадный, онъ слѣдилъ
Кочующіе караваны
Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ;
Когда онъ вѣрилъ и любилъ,
Счастливый первенецъ творенья,
Не зналъ ни страха, ни сомнѣнья,
И не грозилъ уму его
Вѣковъ безплодныхъ рядъ унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имѣлъ онъ силы.

II.

Давно, отверженный, блуждалъ
Въ пустынь міра безъ пріюта.
Вослѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,
Какъ за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землей,
Онъ сѣялъ зло безъ наслажденья;
Нигдѣ искусству своему
Онъ не встрѣчалъ сопротивленья—
И зло наскучило ему.

III.

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,
Снѣгами вѣчными сіялъ,
И глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Видся излучистый Дарьялъ,
И Терекъ, прыгая какъ львица
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ,—и хищный авѣръ, и птица
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глаголу водъ его внимали,
И золотыя облака
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялися головой,
Слѣдя мелькающія волны;
И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны!
И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ

Весь Божій міръ, но гордый духъ
Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челъ его высокомъ
Не отразилось ничего.

Онъ пролеталъ надъ Грузіей и уви-
дѣлъ красавицу Тамару, невѣсту князя
Синодала; въ послѣдній разъ она, въ обще-
ствѣ подругъ, утѣшалась пляской.

IV.

И вотъ она, одной рукой
Кружа его надъ головой,
То вдругъ помчится легче птицы,
То остановится—глядить,
И влажный взоръ ея блеститъ
Изъ-подъ завистливой рѣсницы;
То черной бровью поведетъ,
То вдругъ наклонится немножко,
И по ковру скользитъ, плыветъ
Ея божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья дѣтскаго полна.
И лучъ луны, по влагъ зыбкой
Слегка играющій порой,
Едва ль сравнится съ той улыбкой,
Какъ жизнь, какъ молодость, живой.

VII.

Клянусь полночною звѣздой,
Лучомъ заката и востока,
Властитель Персіи златой
И ни единый царь земной
Не цѣловалъ такого ока;
Гарема брызжащій фонтанъ
Ни разу, жаркою порою,
Своей алмазною росой
Не омывалъ подобный станъ;
Еще ни чья рука земная,
По милому челу блуждая,
Такихъ волосъ не расплела.
Съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Подъ солнцемъ юга не цвѣла.

IX.

И Демонъ видѣлъ... На мгновенье
Неизъяснимое волненье

Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ.
Нѣмой души его пустыню
Наполнилъ благодатный звукъ,
И вновь постигнулъ онъ святую
Любови, добра и красоты...
И долго сладостной картиной
Онъ любовался—и мечты
О прежнемъ счастьѣ цѣпью длинной,
Какъ будто за звѣздой звѣзда,
Предъ нимъ катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,
Въ немъ чувство вдругъ заговорило
Роднымъ когда-то языкомъ.
То былъ ли признакъ возрожденья?
Онъ словъ коварныхъ искушенья
Найти въ умѣ своемъ не могъ.
Забутъ?—Забвенья не далъ Богъ
Да онъ и не взялъ бы забвенья...

Демонъ погубилъ молодого жениха;
конь его примчался къ Тамарѣ съ мер-
твымъ всадникомъ.

XV.

На беззаботную семью,
Какъ громъ, слетѣла Божья кара.
Упала на постель свою,
Рыдаетъ бѣдная Тамара;
Слеза катится за слезой,
Грудь высоко и трудно дышетъ...
И вотъ она какъ будто слышитъ
Волшебный голосъ надъ собой:
„Не плачь, дитя, не плачь напрасно!
Твоя слеза на трупъ безгласный
Живой росой не упадетъ;
Она лишь взоръ туманитъ ясный,
Ланиты дѣвственныя жжетъ!
Онъ далеко, онъ не узнаетъ,
Не оцѣнитъ тоски твоей;
Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ
Безплотный взоръ его очей;
Онъ слышитъ райскіе напѣвы...
Что жизни мелочные сны,
И стонъ, и слезы бѣдной дѣвы
Для гостя райской стороны?
Нѣтъ, жребій смертнаго творенья,
Повѣрь мнѣ, ангелъ мой земной,
Не стоитъ одного мгновенья
Твоей печали дорогой!

„На воздушномъ океанѣ
Безъ руля и безъ вѣтриль
Тихо плаваютъ въ туманѣ
Хоры стройные свѣтилъ.
Средь полей необозримыхъ
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
Облаковъ неуловимыхъ
Волокнистыя стада.
Часть разлуки, часть свиданья—
Имъ не радость, не печаль;
Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,
Имъ прошедшаго не жаль.
Въ день томительный несчастья
Ты о нихъ лишь вспомни,
Будь къ земному безъ участья
И безпечна, какъ они!

„Лишь только ночь своимъ покровомъ
Верхи Кавказа осѣнитъ,
Лишь только мѣрь, волшебнымъ сло-
вомъ

Завороженный, замолчить;
Лишь только вѣтеръ надъ скалою
Увядшей шевельнетъ травую,
И птичка, спрятанная въ ней,
Порхнетъ во мракъ веселѣй;
И подъ лозою виноградной,
Росу небесъ глотая жадно,
Цвѣтокъ распустится ночной;
Лишь только мѣсяцъ золотой
Изъ-за горы тихонько встанетъ
И на тебя украдкой взглянетъ,—
Къ тебѣ я стану прилетать,
Гостить я буду до денницы,
И на шелковыя рѣсницы
Сны золотые навѣвать...”

XVI.

Слова умолкли... Въ отдаленіи
Вослѣдъ за звукомъ умеръ звукъ...
Она, вскочивъ, глядитъ вокругъ...
Невыразимое смятеніе
Въ ея груди; печаль, испугъ,
Восторга пыль—ничто въ сравненіи;
Всѣ чувства въ ней кнѣжили вдругъ.
Душа рвала свои оковы,
Огонь по жиламъ пробѣгалъ,
И этотъ голосъ чудно новый,
Ей мнилось, все еще звучалъ.
И передъ утромъ сонъ желанный

Глаза усталые смежилъ;
Но мысль ея онъ возмущилъ
Мечтой пророческой и странной:
Пришлецъ туманный и нѣмой,
Красой блистая неземной,
Къ ея склонился изголовью;
И взоръ его съ такой любовью,
Такъ грустно на нее смотрѣлъ,
Какъ будто онъ объ ней жалѣлъ.
То не былъ ангелъ-небожитель,
Ея божественный хранитель:
Вънецъ изъ радужныхъ лучей
Не украшалъ его кудрей;
То не былъ ада духъ ужасный,
Порочный мученикъ—о, нѣтъ!
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный:
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!..

Этотъ голосъ смущилъ Тамару; она то-
суетъ; наконецъ, уходитъ въ монастырь,
но и тамъ покоя она не находитъ.

V.

Но, полно думою преступной,
Тамары сердце недоступно
Восторгамъ чистымъ. Передъ ней
Весь мѣръ одѣтъ урюмой тѣнью;
И все ей въ немъ предлогъ мученью—
И утра лучъ, и мракъ ночей.
Бывало, только ночи сонной
Прохлада землю обойметъ,
Передъ божественной иконою
Она въ безумьи упадетъ
И плачетъ, и въ ночномъ молчаньи
Ея тяжелое рыданье
Тревожитъ путника вниманье,
И мыслить онъ: „то горный духъ,
Прикованный къ пещерѣ, стонетъ!“
И, чуткій напрягая слухъ,
Коня измученнаго гонить...

VI.

Тоской и трепетомъ полна,
Тамара часто у окна
Сидитъ въ раздумьи одинокомъ
И смотреть въ даль прилежнымъ окомъ,
И цѣлый день, вздыхая, ждетъ...
Ей кто-то шепчетъ: „онъ придетъ!“
Недаромъ сны ее ласкали,

Недаромъ онъ являлся ей
Съ глазами полными печали
И чудной нѣжностью рѣчей.
Ужъ много дней она томится,
Сама не зная почему;
Святымъ захочетъ ли молиться,
А сердце молится ему;
Утомлена борьбой всегдашней
Склонится ли на ложе сна—
Подушка жжетъ, ей душно, страшно,
И вся, вскочивъ, дрожить она;
Трепещетъ грудь, пылаютъ плечи,
Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ,
Объятая жадно ищутъ встрѣчи,
Лобзанья таютъ на устахъ...

Однажды Демонъ проникъ въ келью
Тамары.

VIII.

И входитъ онъ, любить готовый,
Съ душой открытой для добра;
И мыслить онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепетъ ожиданья,
Страхъ неизвѣстности нѣмой,
Какъ будто въ первое свиданье,
Спознались съ гордою душой;
То было злое предвѣщанье...
Онъ входитъ, посмотреть, передъ нимъ
Посланникъ рая—херувимъ,
Хранитель грѣшницы прекрасной,
Стоитъ съ блистающимъ челомъ,
И отъ врага съ улыбкой ясной
Пріосѣнилъ ее крыломъ...
И лучъ божественнаго свѣта
Вдругъ ослѣпилъ нечистый взоръ,
И вмѣсто сладкаго привѣта
Раздался тягостный укоръ:

IX.

„Духъ безпокойный, духъ порочный,
Кто звалъ тебя во тьмѣ полночной?
Твоихъ поклонниковъ здѣсь нѣтъ;
Зло не дышало здѣсь понынь!
Къ моей любви, къ моей святинѣ
Не пролагай преступный слѣдъ!

Кто звалъ тебя?“ Ему въ отвѣтъ
Злой духъ коварно усмѣхнулся;
Зардѣлся ревностію взгляды,
И вновь въ душѣ его проснулся
Старинной ненависти ядъ.
„Она моя!—сказалъ онъ грозно—
Оставь ее! она моя!
Явился ты, защитникъ, поздно,
И ей, какъ мнѣ, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложилъ печать мою;
Здѣсь больше нѣтъ твоей святини;
Здѣсь я владѣю и люблю!“

И ангелъ грустными очами
На жертву бѣдную взглянулъ
И, медленно взмахнувъ крылами,
Въ эфиръ неба потонулъ...

X.

Тамара. О, кто ты? Рѣчь твоя
опасна!

Тебя послалъ мнѣ адъ иль рай?
Чего ты хочешь?

Демонъ. Ты прекрасна!

Тамара. Но кто ты, кто ты?.. Отвѣ-
чай!..

Демонъ. Я тотъ, которому внимала
Ты въ полуночной тишинѣ,
Чья мысль душѣ твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образъ видѣла во снѣ;
Я тотъ, чей взоръ надежду губить,
Едва надежда расцвѣтетъ;
Я тотъ, кого никто не любитъ,
Но все живущее клянеть.
Ничто пространство мнѣ и годы;
Я бичъ рабовъ моихъ земныхъ,
Я царь познанья и свободы,
Я врагъ небесъ, я зло природы,
И видишь—я у ногъ твоихъ!
Тебѣ принесъ я въ умиленьи
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первыя мои.
О, выслушай изъ сожалѣнья!
Меня добру и небесамъ
Ты возвратить могла бы словомъ;
Твоей любви святымъ покровомъ
Одѣтый, я предсталъ бы тамъ,

Какъ новый ангелъ, въ блескъ новомъ.
О! только выслушай, молю!
Я рабъ твой, я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидѣлъ—
И тайно вдругъ возненавидѣлъ
Безсмертіе и власть мою.
Я позавидовалъ невольно
Неполной радости земной;
Не жить, какъ ты, мнѣ стало больно,
И страшно—розно жить съ тобой.
Въ безкровномъ сердцѣ лучъ неждан-
ный

Опять затеплился живѣй,
И грусть на днѣ старинной раны
Зашевелилася какъ змѣй.
Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?
Моихъ владѣній безконечность?
Пустыя звучныя слова,
Обширный храмъ безъ божества!
Т а м а р а. Оставь меня, о духъ лука-
вый!

Молчи, не вѣрю я врагу!
Творецъ!.. увь, я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой умъ слабѣющій обхать.
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова—огонь и адъ...
Скажи, зачѣмъ меня ты любишь?
Д е м о нъ. Зачѣмъ, красавица? Увь,
Не знаю! полножъ жизни новой,
Съ моей преступной головы
Я гордо снялъ вѣнецъ терновый,
Я все бывое бросилъ въ прахъ,—
Мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ!
Люблю тебя не здѣшной страстью,
Какъ полюбить не можешь ты:
Всѣмъ упоеніемъ, всей властью
Безсмертной мысли и мечты.
Въ душѣ моей съ начала міра
Твой образъ былъ напечатлѣнъ,
Передо мной носился онъ
Въ пустыняхъ вѣчнаго эмира.
Давно тревожа мысль мою,
Мнѣ имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мнѣ въ раю
Одной тебя не доставало.
О если бъ ты могла понять,
Какое горькое томленіе
Всю жизнь, вѣка безъ раздѣленья,
И наслаждаться и страдать,

За зло похвалъ не ожидать,
Ни за добро вознагражденъ;
Жить для себя, скучать собой,
И этой вѣчною борьбой
Безъ торжества, безъ примиренья!
Всегда жалѣть и не желать,
Все знать, все чувствовать, все ви-
дѣть,
Все противъ воли ненавидѣть,
И все на свѣтѣ презираты!..

Лишь только Божіе проклятіе
Исполнилось, съ того же дня
Природы жаркія объятъ
Навѣкъ остыли для меня...
Синѣло предо мной пространство,
Я видѣлъ брачное убранство
Свѣтилъ знакомыхъ мнѣ давно...
Они текли въ вѣпцахъ изъ золота;
Но что же?—прежняго собрата
Не узнавало ни одно:
Изгнанниковъ, себѣ подобныхъ,
Я звать въ отчаяніи сталъ,
Но словъ, и лицъ, и взоровъ злоб-
ныхъ,

Увь! я самъ не узнавалъ.
И въ страхѣ я, взмахнувъ крылами,
Помчался... но куда? зачѣмъ?—
Не знаю. Прежними друзьями
Я былъ отвергнутъ; какъ эдемъ,
Міръ для меня сталъ глухъ и нѣмъ.
По вольной прихоти теченья,
Такъ поврежденная ладья
Безъ парусовъ и безъ руля
Плыветъ, не зная назначенья;
Такъ ранней утренней порой
Обрывокъ тучи громовой,
Въ лазурной вышинѣ чернѣя,
Одинъ, нигдѣ пристать не смѣя
Летитъ безъ цѣли и слѣда,
Богъ вѣсть, откуда и куда!
И я людьми недолго правилъ,
Грѣху недолго ихъ училъ;
Все благородное безславилъ
И все прекрасное хулилъ,
Недолго... Пламень чистой вѣры
Легко навѣкъ я залилъ въ нихъ...
И стояли ль трудовъ моихъ
Одни глупцы, да лицемѣры?
И скрылся я въ ущельяхъ горъ;
И сталъ бродить, какъ метеоръ,

Во мракѣ полночи глубокой...
И мчался путникъ одинокій,
Обмануть близкимъ огонькомъ,
И, въ бездну падая съ конемъ,
Напрасно звалъ—и слѣдъ кровавый
За нимъ вился по крутизнѣ...
Но злобы мрачныя забавы
Недолго правились мнѣ.
Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ,
Какъ часто, подымая прахъ,
Одѣтый молнѣй и туманомъ,
Я шумно мчался въ облакахъ,
Чтобы въ толпѣ стихій мятежной
Сердечный ропотъ заглушить,
Спасити отъ думы неизбежной
И незабвенное забыть!
Что повѣсть тягостныхъ лишеній,
Трудовъ и бѣдъ толпы людской,
Градущихъ, прошлыхъ поколѣній,
Передъ минутою одной
Моихъ непризнанныхъ мученій?
Что люди? что ихъ жизнь и трудъ?
Они прошли, они пройдутъ!
Надежда есть: ждетъ правый судъ;
Проститъ онъ можетъ, хоть осудитъ!
Моя жъ печаль безсмѣнно тутъ
И ей конца, какъ мнѣ, не будетъ,
И не вздремнуть въ могилѣ ей!
Она—то ластится какъ змѣй,
То жжетъ и блещетъ будто пламень,
То давитъ мысль мою какъ камень—
Надеждъ погибшихъ и страстей
Несокрушимый мавзолей!

Тамара требуетъ отъ Демона, чтобы онъ покаялся, что больше не вернется ко злу.

Д е м о н ѣ. Клянусь я первымъ днемъ
творенья,

Клянусь его послѣднимъ днемъ,
Клянусь позоромъ преступленья
И вѣчной правды торжествомъ;
Клянусь паденья горькой мукой,
Побѣды краткою мечтой,
Клянусь свиданіемъ съ тобой
И вновь грозящею разлукой;
Клянуся сонмищемъ духовъ,
Судьбою братьѣ мнѣ подвластныхъ,
Мечами ангеловъ бевстрасныхъ,
Моихъ недремлющихъ враговъ;

Клянуся небомъ я и адомъ,
Земной святыней и тобой;
Клянусь твоимъ послѣднимъ взглядомъ,
Твоею первою слезой,
Нездобныхъ устъ твоихъ дыханьемъ,
Волною шелковыхъ кудрей;
Клянусь блаженствомъ и страданьемъ,
Клянусь любовью моею—

Отрекся я отъ старой мести,
Отрекся я отъ гордыхъ думъ;
Отнынѣ ядъ коварной лести
Ничей ужъ не встревожитъ умъ;
Хочу я съ небомъ примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я вѣровать добру.
Слезой раскаянья сотру
Я на челѣ, тебя достойномъ,
Слѣды небеснаго огня;
И міръ въ невѣдѣннѣ спокойномъ
Пусть допѣтаетъ безъ меня!
О! вѣрь мнѣ: я одинъ понинѣ
Тебя постигъ и опѣнилъ.
Избравъ тебя моею святыней,
Я власть у ногъ твоихъ сложилъ.
Твоей любви я жду, какъ дара,
И вѣчность дамъ тебѣ за мигъ;
Въ любви, какъ въ злобѣ, вѣрь,
Тамара,

Я неизмѣненъ и великъ.
Тебя я, вольный сынъ эмира,
Возьму въ надзвѣздные края,
И будешь ты царицей міра,
Подруга вѣчная моя;
Безъ сожалѣнья, безъ участія
Смотрѣть на землю станешь ты,
Гдѣ нѣтъ ни истиннаго счастья,
Ни долговѣчной красоты,
Гдѣ преступленья лишь, да казни,
Гдѣ страсти мелкой только жить;
Гдѣ не умѣютъ безъ боязни
Ни ненавидѣть, ни любить.
Иль ты не знаешь, чтѣ такое
Людей минутная любовь?—
Волненье крови молодое!—
Но дни бѣгутъ и стынетъ кровь.
Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки
И своенравія мечты?
Нѣтъ! не тебѣ, моею подругѣ,

Узнай, назначено судьбой
Увянуть молча въ тѣсномъ кругѣ
Ревнивой грубости рабой,
Средь малодушныхъ и холодныхъ,
Друзей притворныхъ и враговъ,
Боязней и надеждъ безплодныхъ,
Пустыхъ и тягостныхъ трудовъ!
Печально за стѣной высокой
Ты не утаснешь безъ страстей
Среди молитвъ равно далеко
Отъ Божества и отъ людей.
О, нѣтъ! прекрасное созданье,
Къ иному ты присуждена;
Тебя иное ждетъ страданье,
Иныхъ восторговъ глубина!
Оставь же прежнія желанья
И жалкій свѣтъ его судьбѣ:
Пучину гордаго познанья
Взамѣвъ открою я тебѣ.
Толпу духовъ моихъ служебныхъ
Я приведу къ твоимъ стопамъ;
Прислужницъ легкихъ и волшебныхъ
Тебѣ, красавица, я дамъ:
И для тебя съ звѣзды восточной
Сорву вѣнецъ я золотой,
Возьму съ цвѣтовъ росы полночной,
Его усыплю той росой;
Лучемъ румянаго заката
Твой станъ, какъ лентой, обовью;
Дыханьемъ чистымъ аромата
Окрестный воздухъ напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слухъ лелѣять буду я;
Чертоги пышныя построю
Изъ бирюзы и янтара;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дамъ тебѣ все, все земное—
Люби меня!..

XI.

—И онъ слегка
Коснулся жаркими устами
Къ ея трепещущимъ губамъ;
Соблазна полными рѣчами
Онъ отвѣчалъ ей мольбамъ.
Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи.
Онъ жегъ ее. Во мракѣ ночи
Предъ нею прямо онъ сверкалъ

Неотразимый, какъ кинжалъ.
Увы! злой духъ торжествовалъ!
Смертельный ядъ его лобзанья
Мгновенно въ грудь ея проникъ...
Мучительный, ужасный крикъ
Ночное возмутилъ молчанье...
Въ немъ было все: любовь, страданье,
Упрекъ съ послѣднею мольбой,
И безнадежное прощанье—
Прощанье съ жизнью молодой...

Тамара умерла; смерть спасла ея душу
отъ власти Демона.

XV.

Въ пространствѣ синяго ээира
Одинъ изъ ангеловъ святыхъ
Летѣлъ на крыльяхъ золотыхъ,
И душу грѣшную отъ міра
Онъ несъ въ объятіяхъ своихъ;
И сладкой рѣчью упованья
Ея сомнѣнья разгонялъ,
И слѣдъ проступка и страданья
Съ нея слезами онъ смывалъ.
Издалека ужъ звуки рая
Къ нимъ доносились—какъ вдругъ,
Свободный путь пересѣкая,
Взвился изъ бездны адскій духъ...
Онъ былъ могучъ какъ вихорь шум-
ный,

Блисталъ какъ молніи струя,
И гордо, въ дерзости безумной,
Онъ говорилъ: „она моя!“
Къ груди хранителя прижалась,
Молитвой ужасъ заглуша,
— Тамары грѣшная душа.
Судьба грядущаго рѣшалась:
Предъ нею снова онъ стоялъ.
Но, Боже! кто бъ его узналъ?
Какимъ смотрѣлъ онъ злобнымъ
взглядомъ,
Какъ полонъ былъ смертельнымъ
ядомъ

Вражды, незнающей конца,
И вѣяло могильнымъ хладомъ
Отъ неподвижнаго лица.
„Исчезни, мрачный духъ сомнѣнья“,
Посланникъ неба отвѣчалъ:
„Довольно ты торжествовалъ,
Но часъ суда теперь насталъ,

И благо Божіе рѣшеніе!
 Дни испытанія прошли;
 Съ одеждой брэнною земли
 Оковы зла съ нея ниспали.
 Узнай, давно ее мы ждали!
 Ея душа была изъ тѣхъ,
 Которыхъ жизнь—одно мгновенье
 Невыносимаго мученья,
 Недосыгаемыхъ утѣхъ;
 Творецъ изъ лучшаго ээира
 Соткалъ живыя струны ихъ,
 Онѣ не созданы для міра,
 И міръ былъ созданъ не для нихъ!
 Цѣной жестокой искупила
 Она сомнѣнія свои...
 Она страдала и любила—
 И рай открылся для любви!“
 И ангелъ строгими очами
 На искусителя взглянулъ
 И, радостно взмахнувъ крылами,
 Въ сіяньи неба потонулъ,
 И проклялъ Демонъ побѣжденный
 Мечты безумныя свои,
 И вновь остался онъ надменный
 Одинъ, какъ прежде, во вселенной
 Безъ упованья и любви!..

Драматическія произведенія.

Маснарадъ.

Драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Арбенинъ, Евгений	Маска.
Александровичъ.	Чиновникъ.
Нина, жена его.	Игроки.
Князь Звѣздичъ.	Гости.
Баронесса Штраль.	Служители и
Казаринъ, Аеанасій	служанни.
Павловичъ.	
Шприхъ, Адамъ Петровичъ.	

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

ОЦЕНА ПЕРВАЯ.

Выходъ первый.

Игроки, князь Звѣздичъ, Казаринъ и Шприхъ. (За столомъ мечутъ банкъ и понтируютъ. Кругомъ стоятъ).

Князь Звѣздичъ проигрался.

Выходъ второй.

Арбенинъ и прочіе. (Арбенинъ входитъ, кланяется, подходитъ къ столу, потомъ дѣлаетъ нѣкоторые знаки и отходить съ Казаринымъ).

Арбенинъ: Ну, что? !ужъ ты не мечешь—а, Казаринъ?

Казаринъ: Смотрю, братъ, на дру-
гихъ.

А ты, любезнѣйшій, женатъ, богатъ,
сталъ баринъ

И позабылъ товарищей своихъ!

Арбенинъ: Да, я давно ужъ не былъ
съ вами.

Казаринъ: Дѣлами занять все?

Арбенинъ: Любовью... не дѣлами.

Казаринъ: Съ женой по баламъ?

Арбенинъ: Нѣтъ.

Казаринъ: Играешь?

Арбенинъ: Нѣтъ... утихъ!
Но здѣсь есть новыя. Кто этотъ фран-
тихъ?

Казаринъ: Шприхъ,
Адамъ Петровичъ!.. Я васъ позна-
комлю разомъ.

(Шприхъ подходитъ и кланяется).
Вотъ здѣсь пріятель мой, рекоменду
вамъ—

Арбенинъ.

Шприхъ: Я васъ знаю.

Арбенинъ: Помнится, что намъ
Встрѣчаться не случилось.

Шприхъ: По рассказамъ—
И столько я о васъ слыхалъ того-сего,
Что познакомиться давнымъ-давно же-
лаю.

Арбенинъ: Про васъ я не слыхалъ,
къ несчастью, ничего;
Но многое отъ васъ, конечно, я узнаю.

(Раскланиваются опять. Шприхъ, скорчивъ кислую мину, уходитъ).

Онъ мнѣ не нравится. Видалъ я много рожъ,

А этакой не выдумать нарочно:
Улыбка злобная, глаза—стеклярусь
точно;

Взглянуть—не человѣкъ; а съ чортомъ
не похожъ.

Казаринъ: Эхъ, братецъ мой, что
видѣ наружный?

Пусть будетъ хоть самъ чортъ... да
человѣкъ онъ нужный.

Лишь адресуйся—одолжить.

Какой онъ націи—сказать не знаю
смѣло:

На всѣхъ языкахъ говорить—

Вѣрный всего, что жидъ.

Со всѣми онъ знакомъ, вездѣ ему есть
дѣло,

Все помнить, знаетъ все, въ заботѣ
цѣлый вѣкъ;

Былъ бить не разъ; съ безбожни-
комъ—безбожникъ,

Съ святошей—езуитъ, межъ нами—
злой картежникъ,

А съ честными людьми—пречестный
человѣкъ.

Короче, ты его полюбишь, я увѣренъ.
Арбенинъ: Портретъ хорошъ—ори-
гиналъ-то скверенъ!

Ну, а вонъ тотъ высокій и въ усахъ,
И нарумяненный вдобавокъ?

Конечно, житель модныхъ лавокъ,
Любезникъ оставной, и былъ въ чу-
жихъ краяхъ?

Конечно, онъ герой не въ дѣлѣ
И мастерски стрѣляетъ въ цѣль?

Казаринъ: Почти... Онъ изъ полка
былъ выгнанъ за дуэль,

Или за то, что не былъ на дуэли:
Боялся быть убійцей, да и мать

Къ тому жъ строга; потомъ лѣтъ че-
резъ пять

Былъ вызванъ онъ опять,
И тутъ дрался ужъ въ самомъ дѣлѣ.

Арбенинъ: А этотъ маленький ка-
ковъ?

Растрепанный, съ улыбкой откровен-
ной,

Съ крестомъ и табакеркою?

Казаринъ:

Трущовъ.

О! малый онъ неопѣненный:

Семъ лѣтъ онъ въ Грузіи служилъ,
Иль посланъ былъ туда съ какимъ-то
генераломъ,

Изъ-за угла кого-то такъ хватилъ;

Пять лѣтъ за то былъ подъ нача-
ломъ,

И крестъ на шею получилъ.

Арбенинъ: Да вы разборчивы на
новыя знакомства!

Игроки (кричатъ): Казаринъ! Аеана-
сій Павловичъ! сюда!

Казаринъ: Иду! (Съ притворнымъ
участіемъ).

Примѣръ ужасный вѣроломства!

Ха-ха-ха-ха!

1-й понтеръ: Скорѣй!

Казаринъ: Какая тамъ бѣда?

(Живой разговоръ между игроками, по-
томъ они успокаиваются. Арбенинъ замѣ-
чаетъ князя Звѣдича и подходитъ).

Арбенинъ: Князь! какъ, вы здѣсь?
ужель не въ первый разъ?

Князь (недовольно): Я то же самое
хотѣлъ спросить у васъ.

Арбенинъ: Я вашъ отвѣтъ преду-
прежду, пожалуй:

Я здѣсь давно знакомъ, и часто здѣсь,
бывало,

Смотрѣлъ съ волненіемъ нѣмымъ,

Какъ колесо вертѣлось счастья:

Одинъ былъ вознесенъ, другой раздав-
ленъ имъ!

Я не завидовалъ, но и не зналъ
участья.

Видалъ я много юношей, надеждъ

И чувства полныхъ, счастливыхъ
невѣждъ

Въ наукѣ жизни, пламенныхъ ду-
шою,

Которыхъ прежде цѣль была одна
любовь...

Они погибли быстро предо мною...

И вотъ мнѣ суждено увидѣть это вновь!

Князь (съ чувствомъ береть его за руку):
Я проигрался!

Арбенинъ: Вижу. Что жъ? топиться?

Князь: О, я въ отчаяньи!

Арбенинъ садится играть за князя.

Шприхъ (лукаво): Столпились въ кучку всё; кажись, нашла гроза.

Казаринъ: Задасть онъ имъ на мѣсяцъ страху!

Шприхъ: Видно, Что мастеръ.

Казаринъ: Былъ.

Шприхъ: Былъ? А теперь...

Казаринъ: Теперь?..

Женился и богатъ, сталъ человѣкъ солидный;

Глядитъ ягненочкомъ—а, право, тотъ же звѣрь...

Мнѣ скажутъ: можно отучиться, Натуру побѣдить! Дуракъ, кто говорить!

Пусть ангеломъ и притворится, Да чортъ-то все въ душѣ сидитъ.

И ты, мой другъ (ударивъ по плечу), хотъ передъ нимъ ребенокъ,

А и въ тебѣ сидитъ чертенокъ.

Арбенинъ всёхъ обыгрываетъ, беретъ золото и отходитъ; другіе остаются у стола. Казаринъ и Шприхъ также у стола. Арбенинъ молча беретъ за руку князя и отдаетъ ему деньги. Арбенинъ блѣденъ.

Князь: Ахъ, никогда мнѣ это не забыть...

Вы жизнь мою спасли...

Арбенинъ: И деньги ваши тоже. (Горько). А право, трудно разрѣшить,

Которое изъ этихъ двухъ дороже.

Князь: Большую жертву вы мнѣ сдѣлали.

Арбенинъ: Ничуть!

Я радъ былъ случаю, чтобъ кровь привести въ волненье, Тревогою опять наполнить умъ и грудь.

Я сѣлъ играть—какъ вы пошли бы на сраженье.

Князь: Но проигратъся вы могли?

Арбенинъ: Я? нѣтъ!.. Тѣ дни блаженные прошли!

Я вижу все насквозь, всё тонкости ихъ знаю, И вотъ зачѣмъ я нынче не играю.

Арбенинъ ѣдетъ съ княземъ въ маскарадъ.

СЦЕНА ВТОРАЯ.

МАСКАРАДЪ.

Выходъ первый.

Маски, Арбенинъ, потомъ князь звѣздичъ. (Толпа проходитъ владъ и впередъ по сценѣ. Налѣво канаве).

Арбенинъ (входить): Напрасно я ишу повсюду развлечения.

Пестрѣть и жужжить толпа передо мной,

Но сердце холодно и спитъ воображенье:

Они всё чужды мнѣ! и я имъ всёмъ чужой!

(Князь подходитъ звѣздя).

Вотъ нынѣшнее поколѣнье;

И то ль я былъ въ его лѣта, какъ погляжу?

Что, князь? Не набрали еще на приключенье?

Князь разговаривалъ съ одной маской; она сумѣла его собой заинтересовать.

Князь: Ты маска умная, а тратишь много словъ.

Коль знаешь ты меня, скажи, кто я таковъ?

Маска: Ты! безхарактерный, безнравственный, безбожный,

Самолюбивый, злой, но слабый человекъ;

Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣкъ, Вѣкъ нынѣшній, блестящій, но ничтожный.

Наполнить хочешь жизнь, а бѣгаешь страстей;

Все хочешь ты имѣть, а жертвовать не знаешь;

Людей безъ гордости и сердца презираешь,

А самъ игрушка тѣхъ людей.
О! знаю я тебя...

Князь, заинтересованный разговоромъ съ этой маской, преслѣдуетъ ее; она не знаетъ, какъ уйти отъ него; даетъ ему на память браслетъ, кѣмъ-то оброненный. Князь показываетъ браслетъ Арбенину; тому эта вещь кажется знакомой,—у своей жены Нины видѣлъ онъ такой же.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

Выходъ первый.

Арбенинъ входитъ; слуга.

Арбенинъ: Ну, вотъ и вечеръ конченъ—какъ я радъ!

Пора хотя на мигъ забыться.
Весь этотъ пестрый сбродъ—весь этотъ маскарадъ

Еще въ умѣ моемъ кружится,
И что же я тамъ дѣлалъ, не смѣшно ль?..

Давалъ любовнику совѣты,
Догадки повѣрялъ, сличалъ браслеты,
И за другихъ мечталъ, какъ дѣлаютъ поэты.

Ей-Богу, мнѣ такая роль

Ужъ не подъ лѣты!

(Слугѣ). Что, барыня пріѣхала домой?
Слуга: Нѣтъ-съ.

Арбенинъ: А когда же будетъ?

Слуга: Общала-сь

Въ двѣнадцатомъ часу.

Арбенинъ: Теперь ужъ часъ второй—

Не ночевать же тамъ она осталась!

Слуга: Не знаю-съ.

Арбенинъ: Будто бы? Иди! свѣчу поставь на столъ. Какъ будетъ нужно, я вскричу.

(Слуга уходитъ; онъ садится въ кресла).

Выходъ второй.

Арбенинъ (одинъ):

Богъ справедливъ! и я теперь едва ли
Не осужденъ нести печали

За всѣ грѣхи минувшихъ дней.
Бывало, такъ меня чужія жены ждали:

Теперь я жду жены своей...

Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно

И глупо юность погубилъ;
Любимъ былъ часто пламенно и страстно.

И ни одну изъ нихъ я не любилъ.
Романа не начавъ, я зналъ уже развязку,

И для другихъ сердецъ твердилъ
Слова любви, какъ няня сказку.
И тяжело стало мнѣ, и скучно жить!
И кто-то подаль мнѣ тогда совѣтъ лукавый:

Жениться... чтобъ имѣть святое право

Ужъ ровно никого на свѣтѣ не любить,

И я нашелъ жену—покорное созданье.

Она была прекрасна и нѣжна;

Какъ агнецъ Божій на закланье,

Мной къ алтарю она приведена...

И вдругъ во мнѣ забытый звукъ проснулся;

Я въ душу мертвую свою

Взглянулъ... и увидалъ, что я ее люблю.

И стыдно молвить—ужаснулся!..

Опять мечты, опять любовь

Въ пустой груди бушуютъ на просторъ
Изломанный челнокъ—я снова брошенъ въ море!

Вернусь ли къ пристани я вновь?..
(Задумывается).

Выходъ третій.

Арбенинъ и Нина.

Арбенинъ: Послушай. Насъ одной судьбы оковы
Связали навсегда... ошибкой, можетъ быть:

Не мнѣ и не тебѣ судить. (Привлекаетъ ее къ себѣ на колѣни и цѣлуетъ).
Ты молода лѣтами и душою,

Въ огромной книгѣ жизни ты прочла
Одинъ заглавный листъ и предъ тобою

Открыто море счастья и зла.

Иди любой дорогой,

Надѣйся и мечтай—вдали надежды много,

А въ прошломъ жизньъ твоя бѣла!

Ни сердца своего, ни моего не зная,
Ты отдался мнѣ и любишь—вѣрю

я—
Но безотчетно чувствами играя,
И рѣзаясь, какъ дитя.

Но я люблю иначе: я все видѣлъ,
Все перечувствовалъ, все понялъ, все
узналъ;

Любилъ я часто, чаще ненавидѣлъ,
И болѣе всего страдалъ.

Сначала все любилъ, потомъ все пре-
зиралъ я;

То самъ себя не понималъ я,
То мнѣ меня не понималъ.

На жизни я своей узналъ печать про-
клятыя,

И холодно закрылъ объята
Для чувствъ и счастья земли....
Такъ годы многіе прошли.

О дняхъ, отравленныхъ вол-
неньемъ

Порочной юности моей,
Съ какимъ глубокимъ отвра-
щеньемъ

Я мыслю на груди твоей!

Такъ, прежде я тебѣ цѣны не зналъ,
несчастный;

Но скоро черствая кора
Съ моей души слетѣла—мнѣ пре-
красный

Моимъ глазамъ открылся не на-
прасно,

И я воскресъ для жизни и добра.
Но иногда опять какой-то духъ вра-
ждебный

Меня уносить въ бурю прежнихъ
дней,

Стираетъ съ памяти моей
Твой свѣтлый взоръ и голосъ твой
волшебный.

Въ борьбѣ съ собой, подъ грузомъ
тяжкихъ думъ,

Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ.
Боюсь осквернить тебя прикосно-
веньемъ;

Боюсь, чтобы тебя не испугалъ ни
стонъ,

Ни звукъ, исторгнутый мученьемъ.
Тогда ты говоришь: меня не любить
онъ!

(Она ласково смотритъ на него и прово-
дитъ рукой по волосамъ).

Нина: Ты странный человѣкъ! Когда
краснорѣчиво
Ты про любовь свою рассказываешь
мнѣ

И голова твоя въ огнѣ,
И мысль твоя въ глазахъ сияетъ
живо,

Тогда всему я вѣрю безъ труда;
Но часто...

Арбенинъ: Часто?..

Нина: Нѣтъ, но—иногда!..

Арбенинъ: Я сердцемъ слишкомъ
старъ, ты слишкомъ молода;
Но чувствовать могли бы мы равно.
И, помнится, въ твои года
Всему я вѣрилъ безусловно.

Арбенинъ замѣчаетъ, что у жены на
рукѣ нѣтъ браслета, какъ разъ того, кото-
рый похожъ былъ на браслетъ, получен-
ный Звѣдичемъ отъ маски. Чувство рев-
ности овладѣваетъ имъ,—онъ не скры-
ваетъ этого чувства. Нина увѣряетъ его,
что она ни въ чемъ передъ нимъ не вино-
вата; онъ ей не вѣритъ и оскорбляетъ ее
подозрѣніями, говорить о мести.

Конецъ перваго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Выходъ первый.

Баронесса (сидитъ на креслахъ, въ уста-
лости, бросаетъ книгу).

Баронесса: Подумаешь: зачѣмъ жи-
вемъ мы?

Для того ли,

Чтобъ вѣчно угождать на чуждый правъ
И рабствовать всегда? Жоржъ Зандъ
почти что правъ.

Что нынѣ женщина? Созданіе безъ воли,
Игрушка для страстей иль прихотей
другихъ!

Имѣя свѣтъ судьей и безъ защиты въ
свѣтѣ,

Одна должна таить весь пламень
чувствъ своихъ,
Иль удушить ихъ въ полномъ цвѣтѣ.
Что женщина? Ее отъ юности самой
Въ продажу выгодамъ, какъ жертву,
убираютъ.

Винять въ любви къ себѣ одной,
Любить другихъ не позволяютъ.
Въ груди ея порой бушуетъ страсть:
Боязнъ, разсудокъ мысли гонить,
И если какъ нибудь, забывши свѣта
власть,

Она покровъ съ нея уронить,
Предастся чувствамъ всей душой—
Тогда прости и счастье, и покой!
Свѣтъ тутъ: онъ тайны знать не хо-
четъ; онъ по виду,

По платью встрѣтитъ честность и
порокъ,—

Но не снесетъ приличіямъ обиду,
И въ наказаніяхъ жестокъ!... (Хочетъ
читать).

Нѣтъ, не могу читать... Меня сму-
тило

Все это размышленіе; я боюсь
Его какъ недруга... и, вспомнивъ то,
что было,

Сама себѣ еще дивлюсь. (Входитъ
Нина).

Маской, давшей браслетъ князю, ока-
зывается баронесса; къ ней прѣѣзжаетъ
Нина; здѣсь встрѣчается она съ княземъ;
онъ изъ словъ ея догадывается, что
ея браслетъ у него, и пытается объяс-
ниться ей въ любви, но она не хочетъ
его слушать.

Баронесса изъ разговора князя съ Ни-
ной догадывается, что князь считаетъ
Нину той дамой, которая заинтересовала
его на маскарадѣ. Желая спасти свое имя
отъ подозрѣній князя, она приноситъ
Нину въ жертву,—распускаетъ сплетню,
будто Нина и князь любятъ другъ друга.
Благодаря Шприху, сплетня распростра-
няется.

Арбенинъ перехватилъ письмо князя
къ Нинѣ: онъ въѣшенъ и заочно упре-
каетъ князя въ неблагодарности.

Казаринъ: Я думаю, мой другъ,
Что благодарность—вещь, которая тѣмъ
болѣ
Зависитъ отъ цѣны услугъ,

Что не всегда добро бываетъ въ на-
шей волѣ.

Вотъ, напримѣръ, вчера опять
Мнѣ Слукинъ проигралъ почти-что ты-
сячъ пять,

И я, ей-Богу, очень благодаренъ;
Да вотъ какъ: пью ли, ѣмъ, или сплю,
Все думаю о немъ.

Арбенинъ: Ты шутишь все, Ка-
заринъ.

Казаринъ: Послушай. Я тебя люблю
И буду говорить серьезно.

Но сдѣлай милость, братъ, оставь ты
видъ свой грозный,

И я открою предъ тобой
Всѣ тайнства премудрости земной.

Мое ты хочешь слышать мнѣнье
О благодарности... изволь: возьми тер-
пѣнье.

Что ни толкуй Вольтеръ или Декартъ,
Міръ для меня—колода картъ,
Жизнь—банкъ: рокъ мечетъ, я
играю.

И правила игры я къ людямъ при-
мѣняю.

И вотъ теперь примѣръ
Для поясненія этихъ правилъ:
Пусть разомъ тысячу я на туза по-
ставилъ,

Такъ, по предчувствію—я въ картахъ
суевѣръ—

Положимъ, что случайно, безъ об-
ману,

Онъ выигралъ—я очень радъ;
Но все никакъ туза благодарить не
стану

И молча загребу свой кладъ,
И буду гнуть, да гнуть, покуда не
устану;

А тамъ, итоги свелъ
И карту смятую—подъ столъ!

Чтобы отомстить князю, Арбенинъ са-
дится съ нимъ играть въ карты и затѣмъ
публично называетъ его шуллеромъ; князь
въ отчаяньи.

Князь (упадая и закрывая лицо): Честь,
честь моя!..

Арбенинъ: Да, честь не возвра-
тится...

Преграда рушена между добромъ и зломъ,
И отъ тебя весь свѣтъ съ презрѣнемъ
отвратится;
Отнынѣ ты пойдешь отверженца путе-
темъ,
Кровавыхъ слезъ познаешь сла-
дость,
И счастье ближнихъ будетъ въ
тягость
Твоей душѣ; и мыслить объ одномъ
Ты будешь день и ночь; и постепенно
чувства
Любви, прекраснаго погаснуть и умереть,
И счастья не отдасть тебѣ ничье
искусство!
Всѣ шумные друзья, какъ листья, от-
падутъ
Отъ сгнившей вѣтви и, краснѣя,
Закрывъ лицо, въ толпѣ ты будешь
проходить,—
И будетъ больше стыдъ тебя томить,
Чѣмъ преступленіе злодѣя!
Теперь прощай... (уходя) желаю долго
жить. (Уходитъ).

Конецъ второго дѣйствія.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Выходъ второй.

Арбенинъ (одинъ, про себя): Я со-
мнѣвался—я?
А это всѣмъ извѣстно;
Намеки колкіе со всѣхъ сторонъ
Преслѣдуютъ меня... Я жалокъ имъ,
смѣшонъ!
И гдѣ плоды моихъ усилій?
И гдѣ та власть, съ которою, порой,
Казнилъ толпу я словомъ, остротой?..
— Двѣ женщины ее убили!
Одна изъ нихъ... О, я ее люблю,
Люблю—и такъ неистово обмануть!..
Нѣтъ, людямъ я ея не уступаю...
И насъ судить они не станутъ;
Я самъ свершу свой страшный
судъ...

Я казнь ей отыщу—моя жъ пусть бу-
детъ тутъ.
(Показываетъ на сердце).
Она умереть; жить вмѣстѣ съ нею
долѣ
Я не могу... Жить розно? (Какъ бы
испугавшись себя). Рѣшено:
Она умереть—я прежней твердой волѣ
Не измѣню. Ей, видно, суждено
Во цвѣтѣ лѣтъ погибнуть, быть лю-
бимой
Такимъ, какъ я, злодѣемъ и любить
Другого!... это ясно... какъ же можно
жить
Ей послѣ этого!... Ты, Богъ незри-
мый,
Но Богъ всевидящій! возьми ее, возьми!
Какъ свой залогъ Тебѣ ее вручаю...
Прости ее, благослови;
Но я—не Богъ, и не прощаю...
(Слышны звуки музыки).
(Ходить по комнатѣ; вдругъ останавли-
вается).
Тому назадъ лѣтъ десять, я всту-
паѣ
Еще на поприще разврата;
Разъ, въ ночь одну, я все до капли
проигралъ—
Тогда я зналъ ужъ цѣну злата,
Но цѣну жизни я не зналъ.
Я былъ въ отчаяніи—ушелъ и аду
Купилъ, и возвратился вновь
Къ игорному столу; въ груди кипѣла
кровь.
Въ одной рукѣ держалъ я лимонаду
Стаканъ, въ другой четверку пикъ:
Послѣдній рубль въ карманѣ дожидался
Съ заветнымъ порошкомъ — рискъ,
право, былъ великъ;
Но счастье вынесло—и въ часъ я
отыгрался!
Съ тѣхъ поръ хранилъ я этотъ по-
рошокъ,
Среди волненій жизни трудной,
Какъ талисманъ таинственный и
чудный,
Хранилъ на черный день—и день тотъ
не далекъ. (Уходитъ быстро).
Онъ даетъ женѣ ядъ въ мороженомъ.

Дома, вернувшись съ бала, Нина чувствует себя дурно. Въ бесѣдѣ съ мужемъ она жалуется на жизнь.

Арбенинъ (садится вонъ нея): Ты права! Что такое жизнь? Жизнь— вещь пустая:

Покуда въ сердцѣ быстройется кровь,
Все въ мірѣ намъ и радость, и отрада;
Пройдутъ года желаній и страстей—
И все вокругъ темнѣй, темнѣй!
Что жизнь?—давно извѣстная шарада
Для упражненія дѣтей,

Гдѣ первое—рожденіе, гдѣ второе—
Ужасный рядъ заботъ и муки тайныхъ
ранъ,
Гдѣ смерть—послѣднее, а цѣлое—
обманъ!

Нина (показывая на грудь): Здѣсь что-то жжетъ.

Арбенинъ (продолжая): Пройдетъ, пустое!

Молчи и слушай. Я сказалъ,
Что жизнь лишь дорога, пока она
прекрасна,

А долго ль?.. Жизнь какъ балъ:
Кружишься — весело: кругомъ все
свѣтло, ясно;

Вернулся лишь домой, нарядъ измятый
снялъ—

И все забылъ и только что усталъ.
Но въ юныхъ лѣтахъ лучше съ ней
проститься,

Пока душа привычкой не сроднится
Съ ея бездушной пустотой;

Мгновенно въ мірѣ перелетѣть
другой,

Покуда умъ былымъ еще не тяготится,
Покуда съ смертію легка еще борьба—
Но это счастье не вѣзмъ даетъ судьба.

Нина просить послать за докторомъ;
Арбенинъ отказывается; Нина упрекаетъ
его за то, что онъ ея не любитъ.

Арбенинъ: А за что же
Тебя любить? за то ль, что цѣлый адъ
Мнѣ въ грудь ты бросила? О, нѣтъ! я
радъ, я радъ

Твоимъ страданьямъ. Боже, Боже!

И ты, ты смѣешь требовать любви?
А мало я любилъ тебя—скажи?

А этой нѣжности ты знала ль цѣну?

А много ли хотѣлъ я отъ любви
твоей?

Улыбку нѣжную, привѣтный взглядъ
очей—

И что жъ нашелъ?—коварство и
измѣну!

Возможно ли? меня продать —

Меня—за поцѣлуй, глупца... меня, ко-
торый

По слову первому былъ душу радъ
отдать?

Мнѣ измѣнить? мнѣ, и такъ скоро!..

Нина: О! если бы вину свою сама

Я знала, то...

Арбенинъ: Молчи, иль я сойду съ ума!

Когда же эти муки перестанутъ?

Нина: Браслетъ мой князь нашелъ,
потомъ

Какимъ-нибудь клеветникомъ

Ты былъ обманутъ.

Арбенинъ: Такъ я былъ обманутъ!

Довольно! я ошибся... возмечталъ,

Что я могу быть счастливъ... думалъ
снова

Любить и вѣровать... но часть судьбы
насталъ,

И все прошло, какъ бредъ больного.
Быть можетъ я бѣ успѣлъ небесныя
мечты

Осуществить, предавшись въ на-
деждѣ,

И въ сердцѣ бѣ оживилъ все, что цвѣло
въ немъ прежде—

Ты не хотѣла, ты!..

Плачь! плачь! Но что такое, Нина,
Что слезы женскія?—вода.

Я жъ плакалъ—я, мужчина!

Отъ злобы, ревности, мученья и стыда.

Я плакалъ—да!

А ты не знаешь, что такое значить,
Когда мужчина плачетъ?

О! въ этотъ мигъ къ нему не подходи:
Смерть у него въ рукахъ и адъ въ его
груди.

Нина (въ слезахъ упадаетъ на колѣни
и поднимаетъ руки къ небу). Творецъ
небесный, пощади!

Не слышитъ онъ, но Ты все слышишь,
Ты все знаешь—

И Ты меня, Всесильный, оправдаешь!..

Арбенинъ: Остановись! хоть передъ
Нимъ не лги.

Нина: Нѣтъ, я не лгу—я не нарушу
Его святыни ложною мольбой.

Ему я предаю страдальческую душу:
Онъ—твой судья—защитникъ будетъ
мой.

Арбенинъ (который въ это время ходитъ по комнатѣ, сложя руки): Теперь
молиться время, Нина:

Ты умереть должна чрезъ нѣсколько
минуть—

И тайной для людей останется кончина
Твоя, и насъ разсудитъ только Божій
судъ.

Нина: Какъ? умереть? теперь? сей-
часъ?... нѣтъ, быть не можетъ.

Арбенинъ (смѣясь): Я зналъ заранѣе,
что это васъ встревожитъ!

Нина: Смерть, смерть! Онъ правъ...
въ груди огонь, весь адъ...

Арбенинъ Да, я тебѣ на балѣ подаль
адъ. (Молчаніе).

Нина: Не вѣрю, невозможно—нѣтъ!
ты надо мною (Бросается къ нему)

Смѣешься... ты не извергъ—нѣтъ, въ
душѣ твоей

Есть искра доброты... Съ холодною
такою

Меня ты не погубишь въ цвѣтѣ
дней.

Не отворачивайся такъ, Евгений,
Не продолжай моихъ мученій,

Спаси меня, разсѣй мой страхъ...
Взгляни сюда... (Смотритъ ему прямо
въ глаза и отскакиваетъ).

О, смерть въ твоихъ глазахъ!

(Упадаетъ на стулъ и закрываетъ глаза.
Онъ подходитъ и цѣлуетъ ее).

Арбенинъ: Да, ты умрешь—и я
останусь тутъ

Одинъ, одинъ... Года пройдутъ,
Умру—и буду все одинъ... Ужасно!

Но ты не бойся! міръ прекрасный
Тебѣ откроется, и ангелы возьмутъ

Тебя въ небесный свой пріютъ.
(Плачетъ).

Да, я тебя люблю, люблю... Я все
забвѣю,

Что было, предаль; есть граница
мщенья,

И вотъ она,—смотри: убійца твой
Здѣсь, какъ дитя, рыдаетъ надъ
тобой...

(Молчаніе).

Нина (вырывается и вскакиваетъ):
Сюда! сюда!... на помощь!.. умираю...

Ядъ, ядъ!—не слышать... понимаю:
Ты осторожень... никого... нейдуть...

Но помни: есть небесный судъ,
И я тебя, убійца, проклинаю!

(Не добѣжавъ до двери, упадаетъ безъ
чувствъ).

Она умираетъ, увѣряя мужа, что она не-
винна.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Выходъ первый.

Арбенинъ (сидитъ у стола на диванѣ):
Я ослабѣлъ въ борьбѣ съ собою

Среди мучительныхъ усилій...
И чувства наконецъ вкусили

Какой-то тѣлостный, обманчивый покой...
Лишь иногда невольною заботой

Душа тревожится въ холодномъ этомъ
снѣ

И сердце ноетъ, будто ждетъ чего-то.
Не все ли кончено? Ужели на землѣ

Страданье новое вкусить осталось мнѣ?
Вадоръ!.. Дни пройдутъ—придетъ

забвѣнье,
Подъ тягостью годовъ умереть вообра-
женъ;

И долженъ же покой когда-нибудь
Вновь поселиться въ эту грудь...

(Задумывается; вдругъ поднимаетъ
голову).

Я ошибался?... Нѣтъ, неумолимо
Воспоминаніе!.. Какъ живо вижу я

Ея мольбы, тоску... О! мимо, мимо!
Ты, пробужденная змѣя!..

(Упадаетъ головою на руки).

Неизвѣстный и князь явились мстить
Арбенину.

Выходъ восьмой.

Арбенинъ (со свѣчкой).

Арбенинъ: Смерть! Смерть! О, это
слово здѣсь,

Вездѣ,—я имъ проникнуть весь:
Оно меня преслѣдуетъ; безмолвно
Смотрѣлъ я цѣлый часъ на трупъ ея
нѣмой,

И сердце было полно, полно
Невыразимой тоской.

Въ чертахъ спокойствіе и дѣтская
безопасность,

Улыбка вѣчная тихонько расцвѣла,
Когда предъ ней открылась вѣч-
ность,

И тамъ свою судьбу душа ея прочла.
Ужель я ошибался?—Невозможно!

Мнѣ ошибиться?—кто докажетъ мнѣ
Ея невинность?—ложно! ложно!

Гдѣ доказательства?—есть у меня они!
Я не повѣрилъ ей—кому же стану
вѣрить?

Да, я былъ страстный мужъ, но былъ
судья

Холодный.—Кто же разувѣритъ
Меня осмѣлится?

Неизвѣстный: Осмѣлюсь—я!

Арбенинъ (сначала пугается и, отходя,
подносить къ лицу свѣчку). А кто же вы?

Неизвѣстный: — Немудрено, Ев-
геній,

Ты не узналъ меня—а были мы друзья.
Арбенинъ: Но кто вы?

Неизвѣстный: Я—твой добрый геній.
Да! непримѣченный, вездѣ я былъ съ
тобой,

Всегда съ другимъ лицомъ, всегда въ
другомъ нарядѣ,

Зналъ всѣ твои дѣла и мысль твою порой;
Остерегалъ тебя недавно въ маскарадѣ.

Арбенинъ (вадрогнувъ): Пророковъ
не люблю и выйти васъ

Прошу немедленно—я говорю серьезно.
Неизвѣстный: Все такъ: но не-
смотря на голосъ грозный

И на рѣшительный приказъ,
Я не уйду.—Да, вижу, вижу ясно,

Ты не узналъ меня. Я не изъ тѣхъ
людей,

Которыхъ можетъ мигъ опасный
Отвлечь отъ цѣли многихъ дней.

Я цѣль свою достигъ и здѣсь на мѣстѣ
лягу,

Умру—но ужъ назадъ не сдѣлаю ни
шагу.

Арбенинъ: Я самъ таковъ, и этимъ,
сверхъ того,

Не хвастаюсь. (Садится). Я слушаю.
Неизвѣстный (въ сторону): Доселѣ
Мои слова не тронули его.

Иль я ошибся въ самомъ дѣлѣ?
Посмотримъ далѣе. (Ему). Семь лѣтъ

тому назадъ
Ты узнавалъ меня, Арбенинъ. Я былъ
молодъ,

Неопытенъ, и пылокъ, и богатъ.
Но ты... въ твоей груди ужъ крылся
этотъ холодъ,

То адское презрѣнье ко всему,
Которымъ ты гордился всюду.

Не знаю, приписать его къ уму,
Иль къ обстоятельствамъ—я разбирать
не буду

Твоей души—ее пойметъ лишь Богъ,
Который сотворитъ одинъ такую могъ.

Арбенинъ: Дебютъ хорошъ.
Неизвѣстный: Конецъ не
будетъ хуже.

Разъ, ты меня уговорилъ, увлекъ
Къ себѣ... Мой кошелекъ

Былъ полонъ; и къ тому же
Я вѣрилъ счастью. Сѣлъ играть съ
тобой—

И проигралъ. Отецъ мой былъ скупой
И строгій человекъ... и чтобы не под-
вергаться

Упрекамъ, я рѣшился отыгаться;
Но ты, хоть молодъ, ты меня держалъ
Въ когтяхъ — и я все снова про-
игралъ.

Я предался отчаянью. Тутъ были—
Ты помнишь, можетъ быть,

И слезы, и мольбы... Въ тебѣ же воз-
буждали

Онѣ лишь смѣхъ... О! лучше бы
пронзить

Меня кинжаломъ! Но въ то время

Ты не смотрѣлъ еще пророчески
впередь!

И только нынче злое сѣмя
Проявило достойный плодъ.

(Арбенинъ хочетъ вскочить, но заду-
мывается).

И я покинулъ все съ того мгновенья,
Все—женщинъ и любовь, блаженство
юныхъ лѣтъ,

Мечтанья нѣжныя и сладкія волненья,
И въ свѣтѣ мнѣ открылся новый
свѣтъ —

Миръ новыхъ, странныхъ ощущеній,
Миръ обществомъ отверженныхъ лю-
дей,

Самолюбивыхъ душъ и ледяныхъ
страстей

И увлекательныхъ мученій.

Я увидалъ, что деньги—царь земли,
И поклонился имъ. Года прошли,
Все скоро унеслось: богатство и
здоровье;

Навѣки предо мной закрылась счастья
дверь;

Я заключилъ съ судьбой послѣднее
условье—

И вотъ сталъ тѣмъ, что я теперь...

А! ты дрожишь, ты понимаешь

И цѣль мою, и то, что я скавалъ!

Ну, повтори еще, что ты меня не
знаешь.

Арбенинъ: Прочь! я узналъ тебя—
узналъ!..

Неизвѣстный: Прочь! Развѣ это
все? Ты надо мной смѣялся—

И я повеселиться радъ.

Недавно до меня случайно слухъ до-
мчался,

Что счастливъ ты, женился и богатъ.

И горько стало мнѣ, и сердце зароптало,

И долго думалъ я: за что жъ

Онъ счастливъ?—и шептало

Мнѣ чувство внятное: „иди, иди,
встревожь!“

И сталъ я слѣдовать, мѣшаяся съ
толпой,

Безъ усталы, всегда, повсюду за тобой,
Все узнавалъ—и наконецъ

Пришелъ трудамъ моимъ конецъ.

Послушай—я узналъ, и... и открою
Тебѣ я истину одну... (Протяжно)
Послушай: ты... убилъ свою жену!..

(Арбенинъ отскакиваетъ. Князь под-
ходитъ).

Арбенинъ: Убилъ?—я?—Князь!—О!
что такое!

Неизвѣстный (отступая): Я все ска-
залъ; онъ скажетъ остальное.

Арбенинъ (приходя въ бѣшенство):
А! заговоръ!.. прекрасно!.. я у васъ
Въ рукахъ... Вамъ помѣшать кто
смѣетъ?

Никто... вы здѣсь цари... я смиренъ...
я сейчасъ

У вашихъ ногъ... душа моя робѣетъ
Отъ взглядовъ вашихъ... Я глупецъ,
дитя,

Я противъ вашихъ словъ отвѣта не
имѣю.

Я мигомъ побѣжденъ, обманутъ я шутя,
И подъ топоръ нагну спокойно шею!..

А вы не разочли, что есть еще во
мнѣ

Присутствіе ума, и опытность, и сила?
Вы думали, что все взяла ея могила?

Что я не заплачу вамъ всѣмъ по
старинѣ?

Такъ вотъ какъ я униженъ въ вашемъ
мнѣнii

Коварнымъ лепетомъ молвы!..

Да! сцена хорошо придумана; но вы
Не отгадали заключенья.

А этотъ мальчикъ?.. Такъ и онъ со
мною

Бороться вздумалъ? Мало было
Одной пощечины — нѣтъ, хочется
другой?

Вы все получите, мой милый!

Вамъ жизнь наскучила? не странно:
жизнь глупца,

Жизнь площадного волокиты!

Утѣштесь же теперь—вы будете убиты,
Умрете—съ именемъ и смертью подлеца.

Князь: Увидимъ; но скорѣй...

Арбенинъ: Идемъ, идемъ!

Князь: Теперь я счастливъ!

Неизвѣстный (останавливая):

Да! а главное забыли!..

Князь (останавливая Арбенина):
Постойте! Вы должны узнать,
что обвинили

Меня напрасно; что ни въ чемъ
Не виновата ваша жертва; оскорбили
Меня вы вовремя: я только обо всемъ
Хотѣлъ сказать вамъ... Но пойдемъ.

Арбенинъ: Что? что?

Неизвѣстный: Твоя жена невинна;
слишкомъ строго

Ты обошелся...

Арбенинъ (хохочетъ): Да у васъ въ
запасѣ шутокъ много.

Князь: Нѣтъ, нѣтъ, я не шучу,
клянусь Творцомъ.

Браслетъ случайно судьбою
Попался баронессѣ и потомъ

Былъ отданъ мнѣ ея рукою.
Я ошибался самъ; но вашу жену

Любовь моя отвергнута была.

Когда бъ я зналъ, что отъ одной
ошибки

Произойдетъ такъ много зла,
То вѣрно бъ не искалъ ни взора, ни
улыбки...

И баронесса этимъ вотъ письмомъ
Вамъ открывается во всемъ.
Читайте же скорѣй—мнѣ дороги мно-
венья...

(Арбенинъ всматривается на письмо и
читаетъ).

Арбенинъ сходитъ съ ума.

Неизвѣстный: Давно хотѣлъ я
полной мести—

И вотъ исполнѣн я отомщенъ!

Князь: Онъ безъ ума—счастливъ; а
я навѣкъ лишень
Спокойствія и чести!

Р О М А Н Ы.

Герой нашего времени.

Предисловіе ко 2-му изданію.

Во всякой книгѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь. Оно или служитъ объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ дѣла нѣтъ до нравственной цѣли и до журнальных нападокъ, и потому они не читаютъ предисловій. А жаль, что это такъ; особенно у насъ! Наша публика такъ еще молода и простодушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находится нравоученія. Она не угадываетъ шутокъ, не чувствуетъ ироніи; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книгѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность изобрѣла орудіе болѣе острое, почти невидимое, и тѣмъ не менѣе смертельное, которое, подъ одеждою лести, наноситъ неотразимый и вѣрный ударъ. Наша публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, нѣжнѣйшей дружбы.

Эта книга испытала на себѣ еще недавно несчастную довѣрчивость нѣкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись, и не шутя, что имъ ставятъ въ примѣръ такого безпривременнаго человѣка, какъ „Герой Нашего Времени“; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь такъ ужъ сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ подобныхъ нелѣпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгнетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности.

„Герой Нашего Времени“, милостивые государи мои, точно, портретъ, но не одного человѣка: это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ; а я вамъ скажу, что если вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ, отчего же вы не вѣруете въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находитъ у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали.

Вы скажете, что нравственность отъ этого не выигрываетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; нужны горькія лекарства, ѣдкія истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобъ авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ и, къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить—это ужъ Богъ знаетъ!—

I. ВЭЛА.

Я ѣхалъ на перекладныхъ изъ Тифлиса. Вся поклажа моѣй телѣжки состояла изъ одного небольшого чемодана, который до половины былъ набитъ путевыми записками о Грузіи. Бѣлая часть изъ нихъ, къ счастью для васъ, потеряна, а чемоданъ съ остальными вещами, къ счастью для меня, остался цѣлъ.

Ужъ солнце начинало прятаться за снѣговой хребетъ, когда я вѣхалъ въ Койшаурскую долину. Осетинъ-извозчикъ неутомимо погонялъ лошадей, чтобъ успѣть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распѣвалъ пѣсни. Славное мѣсто эта долина! Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обвѣшанныя зеленымъ плющемъ и увѣнчанныя купами чинаръ, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома снѣговъ; а внизу Арагва, обнявшись съ

другой безымянной рѣчкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полного мглого ущелья, тянется серебряною нитью и сверкаетъ, какъ змѣя своею чешуею.

По дорогѣ авторъ разговаривалъ съ попутчикомъ, пожилымъ офицеромъ.

До станціи оставалось еще съ версту. Кругомъ было тихо, такъ тихо что по жужжанію комара можно было слѣдить за его полетомъ. Налѣво чернѣло глубокое ущелье; за нимъ и впереди насъ темносинія вершины горъ, изрытыя морщинами, покрытыя слоями снѣга, рисовались на блѣдномъ небосклонѣ, еще сохранявшемъ послѣдній отблескъ зари. На темномъ небѣ начинали мелькать звѣзды, и странно, мнѣ показалось, что онѣ гораздо выше, чѣмъ у насъ на сѣверѣ. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камни, кой-гдѣ изъ-подъ снѣга выглядывали кустарники, но ни одинъ сухой листокъ не шевелился, и весело было слышать среди этого мертваго сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскаго колокольчика.

Вслѣдствіе дурной погоды автору пришлось заночевать въ саклѣ, не доѣхавъ до почтовой станціи.

Сакля была прилѣплена однимъ бокомъ къ скалѣ; три скользкія мок-рыя ступени вели къ ея двери. Ошупью вошелъ я и наткнулся на корову (хлѣвъ у этихъ людей замѣняетъ лакейскую). Я не зналъ, куда дѣваться: тутъ блеютъ овцы, тамъ ворчитъ собака. Къ счастью, въ сторонѣ блеснулъ тусклый свѣтъ и помогъ мнѣ найти другое отверстіе на подобіе двери. Тутъ открылась картина, довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. Посерединѣ трещалъ огонекъ, разложенный на землѣ, и дымъ, выталкиваемый обратно вѣтромъ изъ отверстія въ крышѣ, разстилался вокругъ такой густой пеленою, что я долго не могъ осмотрѣться; у огня сидѣли двѣ старухи, множество дѣтей и одинъ худошавый грузинъ, всѣ въ лохмотьяхъ. Нечего было дѣлать! мы пріютились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ зашипѣлъ привѣтливо.

— Жалкіе люди! сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то остоленѣніи.

— Преглупый народъ! отвѣчалъ онъ. Повѣрите ли? ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мѣрѣ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянные башки; а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣтъ: порядочнаго кинжала ни на одномъ не увидишь. Ужъ подлинно осетины!

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да я лѣтъ десять стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода—знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надоѣли намъ эти головорѣзы. Нынче, слава Богу, смириѣе; а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валъ, ужъ гдѣ-нибудь кос-

матый дьяволъ сидить и караулить: чуть зазѣвался, того и гляди—либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылкѣ. А молодцы!..

— А, чай, много съ вами бывало приключеній? сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался. Мнѣ страхъ хотѣлось вытянуть изъ него какую-нибудь исторію—желаніе, свойственное всѣмъ путешествующимъ и записывающимъ людямъ. Между тѣмъ чай поспѣлъ; я вытащилъ изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: „да, бывало!“ Это восклицаніе подало мнѣ большія надежды. Я знаю, старые кавказцы любятъ поговорить, поразсказать; имъ такъ рѣдко это удается: другой лѣтъ пять стоитъ гдѣ-нибудь въ захолустѣ съ ротой, и цѣлыя пять лѣтъ ему никто не скажетъ: здравствуйте (потому что фельдфебель говоритъ здравія желаю). А поболтать было бы о чемъ: кругомъ народъ дикій, любопытный; каждый день опасность; случаи бываютъ чудные, и тутъ поневолѣ пожалѣешь о томъ, что у насъ такъ мало записываютъ.

— Я разъ насилу ноги унесъ, а еще у мирного князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Вотъ... (онъ набилъ трубку, затянулся и началъ разсказывать), вотъ, изволите видѣть, я тогда стоялъ въ крѣпости за Терекомъ съ ротой—этому скоро пять лѣтъ. Разъ, осенью, пришелъ транспортъ съ провіантомъ; въ транспортѣ былъ офицеръ, молодой человекъ лѣтъ двадцати-пяти. Онъ явился ко мнѣ въ полной формѣ и объявилъ, что ему велѣно остаться у меня въ крѣпости. Онъ былъ такой тоненькій, блѣдный; на немъ мундиръ былъ такой новенькій, что я тотчасъ догадался, что онъ на Кавказѣ у насъ недавно. „Вы, вѣрно“, спросилъ я его, „переведены сюда изъ Россіи?“

— Точно такъ, господинъ штабсъ-капитанъ, отвѣчалъ онъ. Я взялъ его за руку и сказалъ: „Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ немножко скучно... ну, да мы съ вами будемъ жить по-пріятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычъ, и пожалуйста—къ чему эта полная форма? приходите ко мнѣ всегда въ фуражкѣ“. Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ крѣпости.

— А какъ его звали? спросилъ я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печоринымъ. Славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страненъ. Вѣдь, напримеръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнуть, устать—а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ, вѣтеръ пахнетъ, увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрогнетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ-на-одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, за то ужъ иногда какъ начнетъ разсказывать,

такъ животики надорвешь со смѣха... Да-съ, съ большими странностями, и должно быть богатый человѣкъ: сколько у него было разныхъ дорогихъ вещей!.. Мы съ Печоринимъ сидѣли на почетномъ мѣстѣ, и вотъ къ нему подошла меньшая дочь хозяина, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему: какъ бы сказать?—въ родѣ комплимента?..

— А что жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: „Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду“. Печоринъ всталъ, поклонился ей, приложилъ руку ко лбу и сердцу, и просилъ меня отвѣчать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевелъ его отвѣтъ.

— Когда она отъ насъ отошла, тогда я шепнулъ Григорью Александровичу: ну что, какова?—Прелесть! отвѣчалъ онъ;—а какъ ее зовутъ?—Ее зовутъ Белою, отвѣчалъ я.

— И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ вамъ въ душу. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, и она частенько исподлбоя на него посматривала. Только не одинъ Печоринъ любовался хорошенькой княжною: изъ угла комнаты на нее смотрѣли другіе два глаза, неподвижные, огненные. Я сталъ вглядываться и узналъ моего старого знакомца Казбича. Онъ, знаете, былъ не то, чтобъ мирнѣй, не то чтобъ немирнѣй. Подозрѣній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замѣченъ. Бывало, онъ приводилъ къ намъ въ крѣпость барановъ и продавалъ дешево, только никогда не торговался: что запросить, давай,—хоть зарѣжь, не уступитъ. Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то былъ, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась въ цѣлой Кабардѣ—и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣздники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, ноги—струнки, и глаза не хуже, чѣмъ у Бѣлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верстъ; а ужъ выѣзжена—какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее нѣкогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь!..

Максимъ Максимычъ случайно подслушалъ разговоръ Азамата, хозяйскаго сына, съ Казбичемъ.

— „Славная у тебя лошадь! говорилъ Азаматъ: если бъ я былъ хозяинъ въ домѣ и имѣлъ табунъ въ триста кобылъ, то отдалъ бы половину за твоего скакуна, Казбичъ!..

— А! Казбичъ!—подумалъ я, и вспомнилъ кольчугу.

— „Да“, отвѣчалъ Казбичъ послѣ нѣкотораго молчанія: „въ цѣлой Кабардѣ не найдешь такой. Разъ — это было за Терекѡмъ — я ѣздилъ съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не посчастливилось и мы разсыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; ужъ я слышалъ за собою крики гуяровъ и передо мною былъ густой лѣсъ. Прилежъ я на сѣдло, поручилъ себя Аллаху, и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ плети. Какъ птица нырнулъ онъ между вѣтвями; острые колючки рвали мою одежду, сухіе сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгалъ черезъ пни, разрывалъ кусты грудью. Лучше было бы мнѣ его бросить у онушки и скрыться въ лѣсу пѣшкомъ, да жалъ было съ нимъ разстаться—и пророкъ вознаграждаетъ меня. Нѣсколько пуль провизжало надъ моей головою; я ужъ слышалъ, какъ спѣшившіеся казаки бѣжали по слѣдамъ... Вдругъ передо мною рывина глубокая; скакунъ мой призадумался—и прыгнулъ. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на переднихъ ногахъ. Я бросилъ поводья и полетѣлъ въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ. Казаки все это видѣли, только ни одинъ не спустился меня искать; они, вѣрно, думали, что я убитъ до смерти, и я слышалъ, какъ они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; поползъ я по густой травѣ вдоль по оврагу—смотрю: лѣсъ кончился, нѣсколько казаковъ выѣзжаютъ изъ него на поляну, и вотъ выскакиваетъ прямо къ нимъ мой Карагезъ; всѣ кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею арканъ; я задрожалъ, опустилъ глаза и началъ молиться. Черезъ нѣсколько мгновеній поднимаю ихъ—и вижу, мой Карагезъ летитъ, развѣвая хвостъ, вольный, какъ вѣтеръ; а гуяры далеко одинъ за другимъ тнутъ по степи на измученныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидѣлъ въ своемъ оврагѣ. Вдругъ, что жъ ты думаешь, Азамать? во мракѣ слышу, бѣгаетъ по берегу оврага конь, фыркаетъ, ржетъ и бьетъ копытами о землю; я узналъ голосъ моего Карагеза, это былъ онъ, мой товарищъ!.. Съ тѣхъ поръ мы не разлучались“.

— И слышно было, какъ онъ трепалъ рукою по гладкой шеѣ своего скакуна, давая ему разныя нѣжныя названья.

Азамать сталъ просить у Каабича, чтобы онъ подарилъ ему своего коня; потомъ сталъ предлагать украсть для него Велу въ обмѣнъ за коня.

— Долго, долго молчалъ Казбичъ; наконецъ, вмѣсто отвѣта, онъ затянулъ старинную пѣсню вполголоса:

Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ.
Сладко любить ихъ—завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.

Золото купить четыре жены,
Конь же лихой не имѣть цѣны:
Онъ и отъ вихря въ стѣни не отстанетъ,
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ.

— Напрасно упрашивалъ его Азаматъ согласиться, и плакать, и лѣстить ему, и клялся.

Ихъ разговоръ чуть не окончился рѣзней. Азаматъ, выведенный изъ себя упорствомъ Казбича и его насмѣшками, ударилъ его кинжаломъ; потомъ онъ вбѣжалъ въ саклю, въ разорванномъ бешметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзать.

— Всѣ выскочили, схватились за ружья — и пошла потѣха! Крикъ, шумъ, выстрѣлы; только Казбичъ ужъ былъ верхомъ и вертѣлся среди толпы по улицѣ, какъ бѣсъ, отмахиваясь шапкой. „Плохое дѣло—въ чужомъ пиру похмелѣ“, сказалъ я Григорью Александровичу, поймавъ его за руку: „не лучше ли намъ поскорѣй убраться?“

Максимъ Максимычъ передалъ Печорину разговоръ Азамата съ Казбичемъ; Печоринъ помогъ Азамату украсть Карагеза и, въ благодарность за это, получилъ Велу.

— Какъ я только провѣдалъ, что черкешенка у Григорья Александровича, то надѣлъ эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

— Онъ лежалъ въ первой комнатѣ на постели, подложивъ одну руку подъ затылокъ, а въ другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замокъ, и ключа въ замѣкъ не было. Я все это тотчасъ замѣтилъ... Я началъ каплять и постукивать каблуками о порогъ—только онъ притворялся, будто не слышитъ.

— Господинъ прапорщикъ! сказалъ я какъ можно строже:—развѣ вы не видите, что я къ вамъ пришелъ?

— Ахъ, здравствуйте, Максимъ Максимычъ! Не хотите ли трубку? отвѣчалъ онъ, не приподнимаясь.

— Извините, я не Максимъ Максимычъ: я штабсъ-капитанъ.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучить меня забота!

— Я все знаю, отвѣчалъ я, подошедъ къ кровати.

— Тѣмъ лучше: я не въ духѣ рассказывать.

— Господинъ прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насъ давно все пополамъ.

— Что за шутки? Пожалуйста вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ:

— Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увезъ Бѣлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азаматы!.. Ну, признайся, сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?..

— Ну, что прикажете отвѣчать на это?.. Я сталъ втупикъ. Однакожъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ ее требовать, то надо будетъ отдать.

— Вовсе не надо!

— Да онъ узнаетъ, что она здѣсь.

— А какъ онъ узнаетъ?

Я опять сталъ втупикъ.

— Да покажите мнѣ ее, сказалъ я.

— Она за этой дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть; сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говоритъ и не смотритъ; пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духанщицу: она знаетъ по-татарски, будетъ ходить за нею и приучить ее къ мысли, что она моя; потому что она никому не будетъ принадлежать кромѣ, меня! — прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. — Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дѣлать? Есть люди, съ которыми непременно должно соглашаться.

— А что? спросилъ я у Максима Максимыча: въ самомъ ли дѣлѣ онъ приучилъ ее къ себѣ, или она зачала въ неволѣ, съ тоски по родинѣ?

— Помилуйте, отчего же съ тоски по родинѣ? Изъ крѣпости видны были тѣ же горы, что изъ аула—а этимъ дикарямъ больше ничего не надобно. Да притомъ Григорій Александровичъ каждый день дарилъ ей что нибудь; первые дни, она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицѣ и возбуждали ея краснорѣчіе. Ахъ, подарки! чего не сдѣлаетъ женщина за цвѣтную тряпичку!.. Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Александровичъ, между тѣмъ учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало-по-малу, она приучилась на него смотрѣть, сначала изподлбья, искоса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни вполголоса, такъ что, бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шелъ я мимо и заглянулъ въ окно; Бѣла сидѣла на лежанкѣ, повѣсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичъ стоялъ передъ нею. „Послушай, моя пери“, говорилъ онъ: „вѣдь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею—отчего же только мучишь меня? Развѣ ты любишь какого нибудь чеченца? Если такъ, я тебя сейчасъ отпущу домой“.—Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой. — „Или“, продолжалъ онъ, „я тебѣ совершенно ненавистенъ?“—Она вздохнула. — „Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?“—Она поблѣднѣла и молчала. — „Повѣрь мнѣ, Аллахъ для всѣхъ племенъ одинъ и тотъ же, и если Онъ мнѣ позволяетъ любить тебя, отчего же запретить тебѣ платить мнѣ взаимностью?“—Она посмотрѣла ему пристально

въ лицо, какъ будто пораженная этой новой мыслию; въ глазахъ ея выразились недоувѣрчивость и желаніе убѣдиться. Что за глаза! они такъ и сверкали, будто два угля.

— „Послушай, милая, добрая Бѣла!“ продолжалъ Печоринъ: „ты видишь, какъ я тебя люблю; я все готовъ отдать, чтобы тебя развеселить! я хочу, чтобы ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?“

Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ; потомъ улыбнулась ласково и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: „поджалуста, поджалуста, не нада, не нада“. Онъ сталъ настаивать; она задрожала, заплакала. — „Я твоя плѣнница“, говорила она: „твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить!“ — и опять слезы.

Григорій Александровичъ ударилъ себя въ лобъ кулакомъ и выскокилъ въ другую комнату. Я зашелъ къ нему; онъ сложилъ руки прохаживался, угрюмый, взадъ и впередъ. „Что, батюшка?“ сказалъ я ему. — „Дьяволъ, а не женщина!“ отвѣчалъ онъ: „только я вамъ даю мое честное слово, что она будетъ моя...“. Я покачалъ головою. „Хотите пари?“ сказалъ онъ: „черезъ недѣлю!“ — Извольте! — Мы ударили по рукамъ и разошлись.

Отъ подарковъ Бѣла сдѣлалась ласковѣе; но совѣтъ ея покорила Печоринъ угрозою, что онъ уѣдетъ искать смерти въ бою.

На слѣдующій день спутники продолжали путь.

Между тѣмъ чай былъ выпить; давно запряженные кони продрогли на снѣгу; мѣсяцъ блѣднѣлъ на западѣ и готовъ ужъ былъ погрузиться въ черныя свои тучи, висящія на дальнихъ вершинахъ, какъ клочки разодраннаго занавѣса. Мы вышли изъ сакли. Вопреки предсказанію моего спутника, погода прояснилась и общала намъ тихое утро; хороводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонѣ и одна за другою гасли, по мѣрѣ того какъ блѣдноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутыя отлогости горъ, покрытыя дѣвственными снѣгами. Направо и налево чернѣли мрачныя, таинственныя пропасти; и туманы, клубясь и извиваясь какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ соединенныхъ скалъ, будто чувствуя и пугаясь приближенія дня.

Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человека въ минуту утренней молитвы; только изрѣдка набѣгалъ прохладный вѣтеръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ клѣть тащили наши повозки по извилистой дорогѣ на Гуть-гору. Мы шли пѣшкомъ сзади, подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ могъ разглядѣть, она все поднималась и нако-

нець пропадала въ облакъ, которое еще съ вечера отдыхало на вершинѣ Гуть-горы, какъ коршунъ, ожидающій добычу; снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ рѣдокъ, что было больно дышать: кровь поминутно прилиwała въ голову, но со всѣмъ тѣмъ какое-то отрадное чувство распространилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромъ — чувство дѣтское, не спору, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все прибрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, какою была нѣкогда и, вѣрно, будетъ когда-нибудь опять. Тотъ, кому случилось, какъ мнѣ, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго всматриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе передать, рассказать, нарисовать эти волшебныя картины. Вотъ наконецъ мы взобрались на Гуть-гору, остановились и оглянулись: на ней висѣло сѣрое облако, и его холодное дыханіе грозило близкой бурей; но на востокѣ все было такъ ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабсъ-капитанъ, совершенно о немъ забыли... Да, и штабсъ-капитанъ: въ сердцахъ простыхъ чувство красоты и величія природы сильнѣе, живѣе во стократъ, чѣмъ въ насъ, восторженныхъ рассказчикахъ на словахъ и на бумагѣ.

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великолѣпнымъ картинамъ? сказала я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное бѣненіе сердца.

— Я слышалъ, напротивъ, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

— Разумѣется, если хотите, оно пріятно; только все же потому, что сердце бьется сильнѣе. Посмотрите, прибавилъ онъ, указывая на востокъ:— что за край!

И точно, такую панораму врядъ ли гдѣ еще удастся мнѣ видѣть: подъ нами лежала Койшаурская долина, пересѣкаемая Арагвой и другой рѣчкой какъ двумя серебряными нитями; голубоватый туманъ скользилъ по ней, убѣгая въ сосѣднія тѣснины отъ теплыхъ лучей утра; направо и налево гребни горъ, одинъ выше другого, пересѣкались, тянулись, покрытые снѣгами, кустарникомъ; вдали тѣ же горы, но хоть бы двѣ скалы похожія одна на другую—и всѣ эти снѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что, кажется, тутъ бы и остаться жить навѣки; солнце чуть показалось изъ-за темносиней горы, которую только привычный глазъ могъ бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кровавая полоса, на которую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе. „Я говорилъ вамъ“, воскликнулъ онъ, „что нынче будетъ погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ насъ на Крестовой. Трогайтесь!“ закричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили дѣпи подъ колеса вмѣсто тормозовъ, чтобъ они не раска-

тывались; ввали лошадей подъ уздцы и начали спускаться; направо былъ утесъ, направо пропасть такая, что цѣлая деревушка осетинъ, живущихъ на днѣ ея, казалась гнѣздомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здѣсь, въ глухую ночь, по этой дорогѣ, гдѣ двѣ повозки не могутъ разъѣхаться, какой-нибудь курьеръ разъ десять въ годъ проѣзжаетъ, не выѣзая изъ своего тряскаго экипажа. Одинъ изъ нашихъ извозчиковъ былъ русскій ярославскій мужикъ, другой осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ уздцы со всѣми возможными предосторожностями, отпрягши заранѣе уносныхъ — а нашъ безпечный русакъ даже не слѣзъ съ облучка! Когда я ему замѣтилъ, что онъ могъ бы побезпокоиться въ пользу хотя моего чемодана, за которыми я вовсе не желалъ лазить въ эту бездну, онъ отвѣчалъ мнѣ: „И, баринъ! Богъ дастъ, не хуже ихъ дождемъ; вѣдь намъ не впервые!“ — и онъ былъ правъ: мы точно могли бы не доѣхать, однакожь все-таки доѣхали. И еслибъ всѣ люди побольше разсуждали, то убѣдились бы, что жизнь не стоитъ того, чтобъ объ ней такъ много заботиться...

„Вотъ и Крестовая!“ сказалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, когда мы съѣхали въ Чортову долину, указывая на холмъ, покрытый пеленою снѣга: на его вершинѣ чернѣлся каменный крестъ, и мимо него вела едва-едва замѣтная дорога, по которой проѣзжаютъ только тогда, когда боковая завалена снѣгомъ: наши извозчики объявили, что обваловъ еще не было, и, сберегая лошадей, повезли насъ кругомъ. При поворотѣ встрѣтили мы человѣкъ пять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уцѣпясь за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать нашу телѣжку. И точно, дорога опасная: направо висѣли надъ нашими головами груды снѣга, готовые, кажется, при первомъ порывѣ вѣтра оборваться въ ущелье; узкая дорога частію была покрыта снѣгомъ, который въ иныхъ мѣстахъ проваливался подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледъ отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и ночныхъ морозовъ, такъ что съ трудомъ мы сами пробирались; лошади падали; — направо зіяла глубокая разсѣлина, гдѣ катился потокъ, то скрываясь подъ ледяной корою, то съ пѣною прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору — двѣ версты въ два часа! Между тѣмъ тучи спустились, повалилъ градъ, снѣгъ; вѣтеръ, врываясь въ ущелья, ревѣлъ, свисталъ, какъ Соловей-Разбойникъ, и скоро каменный крестъ скрылся въ туманѣ, котораго волны, одна другой гуще и тѣснѣе, набѣгали съ востока... Кстати: объ этомъ крестѣ существуетъ странное, но всеобщее преданіе, будто его поставилъ императоръ Петръ I, проѣзжая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ былъ только въ Дагестанѣ, и во-вторыхъ, на крестѣ было написано крупными буквами, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а именно въ 1824 году. Но преданіе, несмотря на надпись, такъ укоренилось, что, право, не знаешь чему вѣрить, тѣмъ болѣе, что мы не привыкли вѣрить надписямъ.

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледенѣвшимъ

скаламъ и тонкому снѣгу, чтобъ достигнуть станціи Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудѣла сильнѣе и сильнѣе, точно наша родимая, сѣверная; только ея дикіе напѣвы были печальнѣе, заунывнѣе. „И ты, изгнанница“, думалъ я, „плачешь о своихъ широкихъ, раздольныхъ степяхъ! Тамъ есть гдѣ развернуть холодныя крылья, а здѣсь тебѣ душно и тѣсно, какъ орлу, который съ крикомъ бьется о рѣшетку желѣзной своей кѣтки“.

Въ саклѣ спутники остановились, спасая себя отъ дурной погоды; Максимъ Максимычъ продолжалъ свой рассказъ о Белѣ.

Славная была дѣвочка эта Бѣла. Я къ ней наконецъ такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня любила. Надо вамъ сказать, что у меня нѣтъ семейства: обѣ отцѣ и матери я лѣтъ двѣнадцать ужъ не имѣю извѣстія, а заpastись женой не догадался раньше—такъ теперь ужъ, знаете, и не къ лицу; я и радъ былъ, что нашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поетъ пѣсни, или пляшетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губернскихъ барышень, а разъ былъ-съ и въ Москвѣ въ благородномъ собраніи, лѣтъ двадцать тому назадъ, — только куда имъ! совсѣмъ не то!.. Григорій Александровичъ наряжалъ ее какъ куколку, холилъ и лелѣялъ, и она у насъ такъ похорошѣла, что чудо! съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, румянецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Богъ ей прости!..

Печоринъ скоро заскучалъ; онъ сталъ часто отлучаться изъ дому. Бѣла замѣтила его холодность и горевала.

Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба—я княжеская дочь!..

— Я сталъ ее уговаривать. — Послушай, Бѣла, вѣдь нельзя же ему вѣкъ сидѣть здѣсь, какъ пришитому къ твоей юбкѣ: онъ человѣкъ молодой, любить погоняться за дичью — походить да и придетъ; а если ты будешь грустить, то скорѣй ему наскучишь.

— Правда, правда, отвѣчала она: я буду весела. — И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно: она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

— Чтѣ было съ нею мнѣ дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался; думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ!

— Вечеромъ я имѣлъ съ нимъ длинное объясненіе: мнѣ было досадно, что онъ перемѣнился къ этой бѣдной дѣвочкѣ; кромѣ того, что онъ половину дня проводилъ на охотѣ, его обращеніе стало холодно, ласкалъ

онъ ее рѣдко, и она замѣтно начинала сохнуть, личико ея вытянулось, большіе глаза потускнѣли. Бывало спросишь: о чемъ ты вздохнула, Бала! ты печальна? „Нѣтъ“. Тебѣ чего нибудь хочется? „Нѣтъ“. Ты тоскуешь по роднымъ? „У меня нѣтъ родныхъ“. Случалось по цѣлымъ днямъ, кромѣ „да“ да „нѣтъ“, отъ нея ничего больше не добьешься.

— Вотъ объ этомъ-то я и сталъ ему говорить. „Послушайте, Максимъ Максимычъ“, отвѣчалъ онъ; „у меня несчастный характеръ: воспитаніе ли меня сдѣлало такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ — не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастія другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ. Разумѣется, это имъ плохое утѣшеніе—только дѣло въ томъ, что это такъ. Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыми можно достать за деньги, и, разумѣется, удовольствія эти мнѣ опротивѣли. Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ, и былъ любимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто... Я сталъ читать, учиться — науки также надоѣли; я видѣлъ, что ни слава, ни счастье отъ нихъ не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди—невѣжды, а слава—удача, и чтобъ добиться ея, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно... Вскорѣ перевели меня на Кавказъ: это самое счастливое время моей жизни. Я надѣялся, что скука не живетъ подъ чеченскими пулями—напрасно: черезъ мѣсяцъ я такъ привыкъ къ ихъ жужжанью и къ близости смерти, что, право, обращалъ больше вниманія на комаровъ, и мнѣ стало скучнѣе прежняго, потому что я потерялъ почти послѣднюю надежду. Когда я увидѣлъ Балу въ своемъ домѣ, когда въ первый разъ, держа ее на колѣняхъ, цѣловалъ ея черные локоны, я, глупецъ, подумалъ, что она ангелъ, посланный мнѣ сострадательной судьбой... Я опять ошибся: любовь дикарки немногимъ лучше любви знатной барыни; невѣжество и простосердечіе одной также надоѣдаютъ, какъ и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодаренъ за нѣсколько минутъ довольно сладкихъ, я за нее отдамъ жизнь — только мнѣ съ нею скучно... Глупецъ я, или злодѣй—не знаю; но то вѣрно, что я также очень достоинъ сожалѣнія, можетъ быть больше, нежели она; во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало, къ печали я такъ же легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день отъ дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать. Какъ только будетъ можно, отправлюсь—только не въ Европу, избави Боже!—пойду въ Америку, въ Аравію, въ Индію—авось гдѣ-нибудь умру на дорогѣ. По крайней мѣрѣ я увѣренъ, что это послѣднее утѣшеніе не скоро истощится, съ помощію бурь и дурныхъ дорогъ“.—Такъ онъ говорилъ долго, и его слова врѣзались у меня въ память, потому что въ первый разъ я слышалъ такія вещи отъ двадцатипяти-лѣтняго человѣка и, Богъ дастъ, въ по-

слѣдній... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, продолжалъ штабсъ-капитанъ, обращаясь ко мнѣ: вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно—неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвѣчалъ, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что, впрочемъ, разочарованіе, какъ всё моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастіе, какъ порокъ.—Штабсъ-капитанъ не понялъ этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду скучать?

— Нѣтъ, англичане.

— Ага, вотъ что!.. отвѣчалъ онъ: да вѣдь они всегда были отъявленные пьяницы!

Однажды Казбичъ подстерегъ Белу, когда она одна гуляла за валомъ, и похитилъ ее. Печоринъ и Максимъ Максимовичъ погнались за нимъ и ранили его. Онъ убѣждалъ, смертельно ранивъ кинжаломъ Белу.

— И Бѣла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ.

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла; по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки. Она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ; давала ему разныя нѣжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его: въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою—не знаю; что до меня, то я ничего жалче этого не видывалъ.

— Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижная, блѣдная, и въ такой слабости, что едва можно было замѣтить, что она дышитъ; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чемъ?.. Этакая мысль придетъ вѣдь только умирающему!.. Начала печалиться о томъ, что она не христіанка, и что на томъ свѣтѣ душа ея никогда не встрѣтится съ душою Григорія Александровича, и что иная женщина будетъ въ раю его подругой. Мнѣ пришло на мысль окрестить ее передъ смертю: я ей это предложилъ; она посмотрѣла на меня въ нерѣшимости и долго не могла слова вымолвить; наконецъ отвѣчала, что она умереть въ той вѣрѣ, въ какой родилась. Такъ прошелъ цѣлый день. Какъ она перемѣнилась въ этотъ день! Блѣдныя щеки впали, глаза сдѣлались большіе, большіе; губы горѣли. Она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желѣзо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увѣрить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, цѣловала его руку, не выпускала ея изъ своихъ. Передъ утромъ она стала чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбивала перевязку и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобъ онъ ее поцѣловалъ. Онъ сталъ на колѣни возлѣ кровати, приподнялъ ея голову съ подушки и прижалъ свои губы къ ея холодѣющимъ губамъ: она крѣпко обвила его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцѣлуѣ хотѣла передать ему свою душу... Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! Ну, что бы съ ней стало, еслибъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось, рано или поздно.

Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно: я бы, на его мѣстѣ, умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землю, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднималъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха... Я пошелъ заказывать гробъ.

II. МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

На той же Военно-Грузинской дорогѣ авторъ еще разъ встрѣтился съ Максимомъ Максимовичемъ. Они долго разговаривали другъ съ другомъ. Наконецъ, ихъ вниманіе было привлекла къ себѣ щегольская коляска. Около нея шелъ лакей.

— Послушай, братецъ, спросилъ у него штабсъ-капитанъ: — чья эта чудесная коляска?.. а?.. Прекрасная коляска!.. Лакей, не оборачиваясь, бормоталъ что-то про себя, развязывая чемоданъ. Максимъ Максимычъ рассердился: онъ тронулъ неучтивца по плечу и сказалъ: — я тебѣ говорю, любезный!..

— Чья коляска?.. Моего господина...

— А кто твой господинъ?

— Печоринъ.

— Что ты? что ты? Печоринъ?.. Ахъ, Боже, мой!.. да не служилъ ли онъ на Кавказѣ?.. воскликнулъ Максимъ Максимычъ, дернувъ меня за рукавъ. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служилъ, кажется, — да я у нихъ недавно.

— Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ?.. Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ барининомъ были пріятеля, прибавилъ онъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться...

— Экой ты, братец!.. да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ?.. Да гдѣ жъ онъ самъ остался?..

Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н....

— Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда? сказалъ Максимъ Максимычъ: или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему зачѣмъ нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ—такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я тебѣ дамъ восьмитривенный на водеу...

Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что онъ исполнить его порученіе.

— Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!.. сказалъ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ:—пойду за ворота его дожидаться... Эхъ! жалко, что я незнакомъ съ Н...

Максимъ Максимычъ волновался въ ожиданіи скорого появленія Печорина, но тотъ не шелъ. Наступила ночь.

Онъ наскоро выхлебнулъ чашку, отказался отъ второй и ушелъ опять за ворота въ какомъ-то безпокойствѣ: явно было, что старика огорчало небреженіе Печорина, и тѣмъ болѣе, что онъ мнѣ недавно говорилъ о своей съ нимъ дружбѣ и еще часъ тому назадъ былъ увѣренъ, что онъ прибѣжитъ, какъ только услышитъ его имя.

Ужъ было поздно и темно, когда я снова отворилъ окно и сталъ звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; онъ что-то пробормоталъ сквозь зубы; я повторилъ приглашеніе—онъ ничего не отвѣчалъ.

Я легъ на диванъ, завернувшись въ шинель и оставивъ свѣчу на лѣжанкѣ, скоро задремалъ и проспалъ бы покойно, еслибъ, уже очень поздно, Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбудилъ меня. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатѣ, шевырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ли васъ кусаютъ? спросилъ я.

— Да, клопы... отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ я проснулся рано, но Максимъ Максимычъ предупредилъ меня. Я нашелъ его у воротъ сидящаго на скамейкѣ. „Мнѣ надо сходить къ коменданту“, сказалъ онъ: „такъ пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...“

Я обѣщался. Онъ побѣждалъ, какъ будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свѣжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; передъ воротами разстилалась широкая площадь; за нею базаръ кипѣлъ народомъ, потому что было воскресенье: босые мальчишки-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ медомъ, вертѣлись вокругъ меня; я ихъ проклиналъ: мнѣ было не до нихъ—я начиналъ раздѣлять безпокойство добраго штабсъ-капитана.

Не прошло десяти минутъ, какъ на концѣ площади показался тотъ, котораго мы ожидали. Онъ шелъ съ полковникомъ Н..., который, доведя его до гостиницы, простился съ нимъ и поворотилъ въ крѣпость. Я тотчасъ же послалъ инвалида за Максимомъ Максимычемъ.

Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе, способное переносить всѣ трудности кочевой жизни и перемѣны климатовъ, не побѣжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный скюрточекъ его, застегнутый только на двѣ нижнія пуговицы, позволялъ разглядѣть ослѣпительно-чистое бѣлье, изобличавшее привычки порядочнаго человѣка; его запачканныя перчатки казались нарочно спитыми по его маленькой аристократической рукѣ, и когда онъ снялъ одну перчатку, то я былъ удивленъ худобой его блѣдныхъ пальцевъ. Его походка была небрежна и лѣнива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный признакъ нѣкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственные замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить вѣровать въ нихъ слѣпо. Когда онъ опустился на скамью, то прямой станъ его согнулся, какъ будто у него въ спинѣ не было ни одной косточки; положеніе всего его тѣла изобразило какую-то нервическую слабость; онъ сидѣлъ, какъ сидитъ Бальзакова тридцатилѣтняя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ послѣ утомительнаго бала. Съ перваго взгляда на лицо его я бы не далъ ему болѣе двадцати-трехъ лѣтъ, хотя послѣ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбокѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность; бѣлокурые волосы, вьющіеся отъ природы, такъ живописно обрисовывали его блѣдный, благородный лобъ, на которомъ только по долгому наблюденію можно было замѣтить слѣды морщинъ, пересѣкавшихъ одна другую и, вѣроятно, обозначавшихся гораздо явственнѣе въ минуты гнѣва или душевнаго безпокойства. Несмотря на свѣтлый цвѣтъ его волосъ, усы его и брови были черныя—признакъ породы въ человѣкѣ, такъ какъ черная грива и черный хвостъ у бѣлой лошади. Чтобы докончить портретъ, я скажу, что у него былъ немного вздернутый носъ, зубы ослѣпительной бѣлизны и каріе глаза; о глазахъ я долженъ сказать еще нѣсколько словъ.

Во-первыхъ, они не смѣялись, когда онъ смѣялся.—Вамъ не случилось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей?.. Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непродолжительный, но проникательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ бы казаться дерзкимъ, еслибъ не былъ столь равнодушно-спокоенъ. Всѣ эти замѣчанія пришли мнѣ на умъ, можетъ быть только потому, что я зналъ нѣкоторыя подроб-

ности его жизни, и можетъ быть на другого видѣ его произвелъ бы совершенно различное впечатлѣніе; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни отъ кого, кромѣ меня, то поневолѣ должны довольствоваться этимъ изображеніемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ былъ вообще очень недурень и имѣлъ одну изъ тѣхъ оригинальныхъ фizioномій, которыя особенно нравятся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; колокольчикъ повременамъ звенѣлъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастью, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему. „Если вы захотите еще немного подождать“, сказалъ я, „то будете имѣть удовольствіе увидѣться со старымъ пріятелемъ...“

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ:—мнѣ вчера говорили; но гдѣ же онъ?—Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго, что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его: колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорину, но тотъ довольно холодно, хотя съ пріятливой улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолебенѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками: онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ! Ну, какъ выживаете? сказалъ Печоринъ.

— А... ты?... а вы?... пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ: сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?..

— Ёду въ Персію—и дальше...

— Неужто сейчасъ?... Да подождите, дражайшій!.. Неужто сейчасъ разстанемся?... Сколько времени не видались...

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ снѣшите?... Мнѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставкѣ?... какъ?... что подбывали?..

— Скучалъ! отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь.

— А помните ваше житье-бытье въ крѣпости?... Славная страна для охоты!.. Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бала?..

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню! сказалъ онъ, почти тотчасъ принужденно зѣвнувъ.

Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще часа два. „Мы славно пообедаемъ“, говорилъ онъ: „у меня есть два фазана; а кахетинское здѣсь прекрасное... разумѣется, не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... Вы мнѣ расскажете про свое житье въ Петербургѣ... А?..“

— Право, мнѣ нечего рассказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. „Забытъ“, проворчалъ онъ: „я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...“

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески:—неужели я не тотъ же? Чтѣ дѣлать?.. всякому своя дорога. Удастся ли ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!.. Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ и ямщикъ ужъ началъ подбирать возжи.

— Постой, постой! закричалъ вдругъ [Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски:—совсѣмъ было забытъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузію, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... Чтѣ съ ними дѣлать?..

— Чтѣ хотите! отвѣчалъ Печоринъ.—Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?.. а когда вернетесь?.. кричалъ вслѣдъ Максимъ Максимычъ.

Коляска была уже далеко, но Печоринъ сдѣлалъ знакъ рукой, который можно было перевести слѣдующимъ образомъ: врядъ ли! да и незачѣмъ!

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ, а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости.

„Да“, сказалъ онъ наконецъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады повременамъ сверкала на его рѣсницахъ: „конечно, мы были пріятели—ну, да чтѣ пріятели въ нынѣшнемъ вѣкѣ!.. Чтѣ ему во мнѣ? Я небогатъ, нечиновенъ, да и по лѣтамъ совсѣмъ ему не пара... Вишь какимъ онъ франтомъ сдѣлался, какъ побывалъ опять въ Петербургѣ... Чтѣ за коляска!.. сколько поклажи!.. и лакей такой гордый!..“ Эти слова были произнесены съ иронической улыбкой. „Скажите, продолжалъ онъ, обратясь ко мнѣ:—ну, чтѣ вы объ этомъ думаете?.. ну, какой бѣсъ несетъ его теперь въ Персію?.. Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!.. Да я всегда зналъ, что онъ вѣтренный человѣкъ, на котораго нельзя надѣяться... А, право, жаль, что онъ дурно кончить... да и нельзя иначе!.. Ужъ я всегда говорилъ, что нѣтъ проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываетъ!..“ Тутъ онъ отвернулся, чтобы скрыть свое волненіе, и пошелъ ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматриваетъ колеса, тогда какъ глаза его поминутно наполнялись слезами.

Бумаги Печорина Максимъ Максимычъ передалъ автору.

Журналъ Печорина.

Предисловіе.

Недавно я узналъ, что Печоринъ, возвращаясь изъ Персіи, умеръ. Это извѣстіе меня очень обрадовало: оно давало мнѣ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя подъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богъ, чтобъ читатели меня не наказали за такой невинный подлогъ!

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ! Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ, слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ его головою градомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Перечитывая эти записки, я убѣдился въ искренности того, кто такъ безпощадно выставлялъ наружу собственныя слабости и пороки. Исторія души человѣческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи пѣлаго народа особенно когда она—слѣдствіе наблюденій ума врѣлаго надъ самимъ собою и когда она писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе. Исповѣдь Руссо имѣетъ уже тотъ недостатокъ, что онъ читалъ ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы заставило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося мнѣ случайно. Хотя я перемѣнилъ всѣ собственныя имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, вѣроятно, себя узнаютъ и, можетъ быть, они найдутъ оправданіе поступкамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человѣка, уже не имѣющаго отнынѣ ничего общаго съ здѣшнимъ міромъ: мы почти всегда извиняемъ то, что понимаемъ.

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ рассказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта; но теперь я не смѣю взять на себя эту отвѣтственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можетъ быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ—заглавіе этой книги. „Да это злая иронія!“ скажутъ они.—Не знаю.

II. Княжна Мери.

11-го Мая.

Вчера я прїѣхалъ въ Пятигорскъ, нанялъ квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мѣстѣ, у подошвы Машука: во время грозы облака будутъ спускаться до моей кровли. Нынче въ пять часовъ утра, когда я открылъ окно, моя комната наполнилась запахомъ цвѣтовъ, растущихъ въ скромномъ палисадникѣ. Вѣтки цвѣтущихъ черешень смотрятъ мнѣ въ окно и вѣтеръ иногда усыпаетъ мой письменный столъ ихъ бѣлыми лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Башту синѣетъ, какъ „последняя туча разсѣянной бури“; на сѣверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая персидская шапка, и закрываетъ всю эту часть небосклона; на востокъ смотрѣть веселѣе: внизу передо мною пестрѣетъ чистенькій, новенькій городокъ, шумятъ цѣлебные ключи, шумитъ разноязычная толпа,—а тамъ, дальше, амфитеатромъ громоздятся горы все синѣе и туманнѣе, а на краю горизонта тянется серебряная цѣпь снѣговыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльбурсомъ... Весело жить въ такой землѣ! Какое отрадное чувство разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свѣжъ, какъ поцѣлуй ребенка; солнце ярко, небо сине—чего бы, кажется, больше? Зачѣмъ тутъ страсти, желанія, сожалѣнія?.. Однако пора. Пойду къ Елизаветинскому источнику: тамъ, говорятъ, утромъ собирается все водяное общество.

.....
Спустился въ середину города, я пошелъ бульваромъ, гдѣ встрѣтилъ нѣсколько печальныхъ группъ, медленно подымающихся въ гору; то были большею частью семейства степныхъ помѣщиковъ: объ этомъ можно было тотчасъ догадаться по истертымъ старомоднымъ скюрткамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, у нихъ вся *водяная* молодежь была уже на перечеѣ, потому что они на меня посмотрѣли съ нѣжнымъ любопытствомъ; петербургскій покрой скюртука ввелъ ихъ въ заблужденіе, но скоро, узнавъ армейскіе эполеты, они съ негодованіемъ отвернулись.

Жены мѣстныхъ властей, такъ сказать ховайки водъ, были благосклоннѣе; у нихъ есть лорнеты; онѣ менѣе обращаютъ вниманія на мундиры; онѣ привыкли на Кавказѣ встрѣчать подъ нумерованной пуговицей пылкое сердце и подъ бѣлой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякій годъ ихъ обожатели смѣняются новыми, и въ этомъ-то, можетъ быть, секретъ ихъ неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинкѣ къ Елизаветинскому источнику, я обогналъ толпу мужчинъ статскихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послѣ, составляютъ особенный классъ людей между чающими движенія воды. Они пьютъ—однако не воду,

гуляютъ мало, волочатся только мимоходомъ: они играютъ и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодезь кислосѣрной воды, они принимаютъ академическія позы; статскіе носятъ свѣтлоголубые галстуки, военные выпускаютъ изъ-за воротника брыжи. Они исповѣдываютъ глубокое презрѣніе къ провинціальнымъ дамамъ и вздыхаютъ о столичныхъ аристократическихъ гостиницахъ, куда ихъ не пускаютъ.

Здѣсь Печоринъ встрѣтился съ Грушницкимъ.

Грушницкій—юнкеръ. Онъ только годъ въ службѣ; носить, по особому роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгіевскій солдатскій крестикъ. Онъ хорошо сложенъ, смуглъ и черноволосъ; ему на видъ можно дать 25 лѣтъ, хотя ему едва ли 21 годъ. Онъ закидываетъ голову назадъ, когда говоритъ, и поминутно крутитъ усы лѣвой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говоритъ онъ скоро и вычурно; онъ изъ тѣхъ людей, которые на всѣ случаи жизни имѣютъ готовые пышные фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ и которые важно драпируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. Производить эффектъ—ихъ наслажденіе; они нравятся романтическимъ провинціалкамъ до безумія. Подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками, либо пьяницами; иногда тѣмъ и другимъ. Въ ихъ душѣ часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи. Грушницкаго страсть была де-кламировать: онъ закидывалъ васъ словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ я никогда не могъ. Онъ не отвѣчаетъ на ваши возраженія, онъ васъ не слушаетъ. Только-что вы остановитесь, онъ начинаетъ длинную тираду, повидимому, имѣющую какую-то связь съ тѣмъ, что вы сказали, но которая въ самомъ дѣлѣ есть только продолженіе его собственной рѣчи.

Онъ довольно остеръ; эпиграммы его часто забавны, но никогда не бываютъ мѣткі и злы: онъ никого не убьетъ однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цѣлую жизнь однимъ собою. Его цѣль—сдѣлаться героемъ романа. Онъ такъ часто старался увѣрить другихъ въ томъ, что онъ существо несозданное для міра, обреченное какимъ-то тайнымъ страданіемъ, что онъ самъ почти въ этомъ увѣрился. Оттого онъ такъ гордо носитъ свою толстую солдатскую шинель. Я его понималъ, и онъ за это меня не любитъ, хотя мы наружно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій слыветъ отличнымъ храбрецомъ; я его видѣлъ въ дѣлѣ: онъ махаетъ шашкой, кричитъ и бросается впередъ, зажимая глаза. Это что-то не русская храбрость!..

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь съ нимъ столкнемся на узкой дорогѣ—и одному изъ насъ не сдобровать.

Пріѣздъ его на Кавказъ—также слѣдствіе его романтическаго фанатизма. Я увѣренъ, что наканунѣ отъѣзда изъ отцовской деревни онъ гово-

рилъ съ мрачнымъ видомъ какой-нибудь хорошенькой сосѣдѣ, что онъ ѣдетъ не такъ, просто, служить, но что ищетъ смерти, потому что... тутъ онъ, вѣрно, закрывъ глаза рукою, продолжаетъ такъ: „нѣтъ, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да къ чему? Что я для васъ? Поймете ли вы меня?..“ и такъ далѣе.

Онъ мнѣ самъ говорилъ, что причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется вѣчною тайною между нимъ и небесами.

Мимо нихъ прошла княгиня Ляговская съ дочерью Мери. Грушницкій вслухъ критиковалъ въ это время пріѣзжающее общество. Печоринъ иронически спросилъ его:

— Ты озлобленъ противъ всего рода человѣческаго?

— И есть за что...

— О! право?

Въ это время дамы отошли отъ колодца и поровнялись съ нами. Грушницкій успѣлъ принять драматическую позу съ помощью костыля и громко отвѣчалъ мнѣ по-французски.

— *Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.*

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгимъ любопытнымъ взоромъ. Выраженіе этого взора было очень неопредѣленно, но не насмѣшливо, съ чѣмъ я внутренно отъ души его поздравилъ.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, сказалъ я ему. — У нея такіе бархатные глаза — именно бархатные: я тебѣ совѣтую присвоить это выраженіе, говоря объ ея глазахъ; нижнія и верхнія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... А что, у нея зубы бѣлы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошенькой женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ.

— *Mon cher, отвѣчалъ я ему, стараясь поддѣлаться подъ его тонъ:— je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.*

Грушницкій былъ очарованъ Мери, когда она подняла уроненный имъ стаканъ, котораго поднять онъ самъ не могъ, такъ какъ рана мѣшала ему нагнуться.

— Ты видѣлъ? сказалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку. — это просто ангелъ!

— Отчего? спросилъ я съ видомъ чистѣйшаго простодушія.

— Развѣ ты не видалъ?

— Нѣтъ, видѣлъ: она подняла твой стаканъ. Еслибъ былъ тутъ сто-рожь, то онъ сдѣлалъ бы то же самое, и еще поспѣшнѣе, надѣясь получить

на водку. Впрочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдѣлалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на прострѣленную ногу...

— И ты не былъ нисколько тронутъ, глядя на нее въ эту минуту, когда душа сіяла на лицѣ ея?

— Нѣтъ.

Я лгалъ: но мнѣ хотѣлось его побѣсить. У меня врожденная страсть противорѣчить; цѣлая моя жизнь была только цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку. Присутствіе энтузіаста обдастъ меня крещенскимъ холодомъ и, я думаю, частыя сношенія съ вѣлымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя. Признаюсь еще, чувство непріятное, но знакомое, пробѣжало слегка въ это мгновеніе по моему сердцу: это чувство было — зависть; я говорю смѣло „зависть“, потому что привыкъ себѣ во всемъ признаваться; и врядъ ли найдется молодой человѣкъ, который, встрѣтивъ хорошенькую женщину, приковавшую его праздное вниманіе и вдругъ явно при немъ отличившую другого, ей равно незнакомаго, врядъ ли, говорю, найдется такой молодой человѣкъ (разумѣется, жившій въ большомъ свѣтѣ и привыкшій баловать свое самолюбіе), который бы не былъ этимъ пораженъ непріятно.

13-го мая.

Нынче по утру зашелъ ко мнѣ докторъ; его имя Вернеръ, но онъ русскій. Что тутъ удивительнаго? Я зналъ одного Иванова, который былъ нѣмецъ.

Вернеръ человѣкъ замѣчательный по многимъ причинамъ. Онъ скептикъ и матеріалистъ, какъ всѣ почти медики, и вмѣстѣ съ этимъ и поэтъ не на шутку — поэтъ на дѣлѣ всегда, и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написалъ двухъ стиховъ. Онъ изучалъ всѣ живыя струны сердца человѣческаго, какъ изучаютъ жилы трупа, но никогда не умѣлъ онъ воспользоваться своимъ знаніемъ: такъ иногда отличный анатомикъ не умѣетъ вылечить отъ лихорадки. Обыкновенно Вернеръ исподтишка насмѣхался надъ своими больными; но я разъ видѣлъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ... Онъ былъ бѣденъ, мечталъ о милліонахъ, а для денегъ не сдѣлалъ бы лишняго шага. Онъ мнѣ разъ говорилъ, что скорѣе сдѣлаетъ одолженіе врагу, чѣмъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда какъ ненависть только усилится соразмѣрно великодушію противника. У него былъ злой языкъ: подъ вывѣскою его эпиграммы не одинъ добрякъ прослылъ пошлымъ дуракомъ; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слухъ, будто онъ рисуетъ карикатуры на своихъ больныхъ — больные взбѣленились: почти всѣ ему отказали. Его пріятели, то есть всѣ истинно порядочные люди, служившіе на Кавказѣ, напрасно старались возстановить его упавшій кредитъ.

Его наружность была изъ тѣхъ, которыя съ перваго взгляда поражаютъ непріятно, но которыя нравятся впослѣдствіи, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытанной и высокой. Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и розовыхъ энди-моновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: онѣ имѣютъ инстинктъ красоты душевной; оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстно любятъ женщинъ.

Вернеръ былъ малъ ростомъ и худъ и слабъ, какъ ребенокъ; одна нога была у него короче другой, какъ у Байрона; въ сравненіи съ туловищемъ, голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаженные такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей. Его маленькіе черные глаза, всегда безпокойные, старались проникнуть въ ваши мысли. Въ его одеждѣ замѣтны были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькія руки красовались въ свѣтложелтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, галстукъ и жилетъ были постоянно чернаго цвѣта. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ показывалъ, будто сердился за это прозваніе, но въ самомъ дѣлѣ оно льстило его самолюбію. Мы другъ друга скоро поняли и сдѣлались пріятелями, потому что я къ дружбѣ неспособенъ: изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другого, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается; рабомъ я быть не могу, а повелѣвать въ этомъ случаѣ—трудъ утомительный, потому что надо вмѣстѣ съ этимъ и обманывать; да притомъ у меня есть лакеи и деньги! Вотъ какъ мы сдѣлались пріятелями: я встрѣтилъ Вернера въ С... среди многочисленнаго и шумнаго круга молодежи; разговоръ принялъ подъ конецъ философско-метафизическое направленіе; толковали объ убѣжденіяхъ: каждый былъ убѣжденъ въ разныхъ разностяхъ.

— Что до меня касается, то я убѣжденъ только въ одномъ... сказалъ докторъ.

— Въ чемъ это? спросилъ я, желая узнать мнѣніе человѣка, который до сихъ поръ молчалъ.

— Въ томъ, отвѣчалъ онъ:—что, рано или поздно, въ одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче васъ, сказалъ я: у меня, кромѣ этого, есть еще убѣжденіе, именно то, что я въ одинъ прегадкій вечеръ имѣлъ несчастье родиться.

Всѣ нашли, что мы говоримъ вздоръ, а, право, изъ нихъ никто ничего умнѣе этого не сказалъ. Съ этой минуты мы отличили въ толпѣ другъ друга. Мы часто сходились вмѣстѣ и толковали вдвоемъ объ отвлеченныхъ предметахъ очень серьезно, пока замѣчали оба, что мы взаимно другъ друга морочимъ. Тогда, посмотрѣвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дѣлали

римскіе авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своимъ вечеромъ.

Я лежалъ на диванѣ, устремивъ глаза въ потолокъ и заложивъ руки подъ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сѣлъ въ кресла, поставилъ трость въ уголъ, зѣвнулъ и объявилъ, что на дворѣ становится жарко. Я отвѣчалъ, что меня беспокоятъ мухи—и мы оба замолчали.

— Замѣьте, любезный докторъ, сказалъ я,—что безъ дураковъ было бы на свѣтѣ очень скучно... Посмотрите, вотъ насъ двое умныхъ людей; мы знаемъ заранее, что обо всемъ можно спорить до безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенныя мысли другъ друга; одно слово—для насъ цѣлая исторія; видимъ зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смѣшно, смѣшное грустно, а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кромѣ самихъ себя. Итакъ, разнѣна чувствъ и мыслей между нами не можетъ быть: мы знаемъ одинъ о другомъ все, чтò хотимъ знать, и знать больше не хотимъ; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мнѣ какуюнибудь новость.

Докторъ рассказалъ Печорину, что въ домѣ Лиговскихъ о немъ шель разговоръ.

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей замѣтилъ, что, вѣрно, она васъ встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣнибудь въ свѣтѣ... я сказалъ ваше имя. Оно было ей извѣстно. Кажется, ваша исторія тамъ надѣлала много шуму... Княгиня стала рассказывать о вашихъ похожденияхъ, прибавляя, вѣроятно, къ свѣтскимъ сплетнямъ свои замѣчанія... Дочка слушала съ любопытствомъ. Въ ея воображеніи вы сдѣлались героемъ романа въ новомъ вкусѣ... Я не противорѣчилъ княгинѣ, хотя зналъ, что она говоритъ вздоръ.

— Достойный другъ! сказалъ я, протянувъ ему руку.

Докторъ пожалъ ее съ чувствомъ и продолжалъ:

— Если хотите, я васъ представлю...

— Помилуйте! сказалъ я, всплеснувъ руками:—развѣ героевъ представляютъ? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную...

Докторъ рассказалъ, между прочимъ, что въ домѣ Лиговскихъ гоститъ родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встрѣтили ль вы ее у колодца?—она среднего роста, блондинка, съ правильными чертами, цвѣтъ лица чахоточный, а на правой щекѣ черная родинка: ея лицо меня поразило своею выразительностью.

— Родинка! пробормоталъ я сквозь зубы.—Неужели?

Докторъ смотрѣлъ на меня и сказалъ торжественно, положивъ мнѣ руку на сердце: „Она вамъ знакома!..“ Мое сердце, точно, билось сильнѣе обыкновеннаго.

— Теперь ваша очередь торжествовать! сказалъ я;—только я на васъ

надѣюсь: вы мнѣ не измѣните. Я ее не видалъ еще, но, увѣренъ, узнаю въ вашемъ портретѣ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо мнѣ ни слова; если она спроситъ, отнеситесь обо мнѣ дурно.

— Пожалуй, сказалъ Вернеръ, пожавъ плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть стѣснила мое сердце. Судьба ли насъ свела опять на Кавказѣ, или она нарочно сюда пріѣхала, зная, что меня встрѣтитъ?... и какъ мы встрѣтимся?... и потомъ она ли это?... Мои предчувствія меня никогда не обманывали. Нѣтъ въ мірѣ человѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ; ничего не забываю—ничего!

Послѣ обѣда часовъ въ шесть я пошелъ на бульваръ: тамъ была толпа; княгиня съ княжною сидѣли на скамьѣ, окруженныя молодежью, которая любовничала наперерывъ. Я помѣстился въ нѣкоторомъ разстояніи на другой лавкѣ, остановилъ двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ: и началъ имъ что-то рассказывать; видно, было смѣшно, потому что они начали хотать, какъ сумасшедшіе. Любопытство привлекло ко мнѣ нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну; мало-по-малу и всѣ ее покинули и присоединились къ моему кружку. Я не умолкалъ; мои анекдоты были умны до глупости, мои насмѣшки надъ проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжалъ увеселять публику до захожденія солнца. Нѣсколько разъ княжна подъ ручку съ матерью проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нѣсколько разъ ея взглядъ, упавъ на меня, выражалъ досаду, стараясь выразить равнодушіе...

— Что онъ вамъ рассказывалъ? спросила она у одного изъ молодыхъ людей, возвратившихся къ ней изъ вѣжливости;—вѣрно, очень занимательную исторію—свои подвиги въ сраженіяхъ?... Она сказала это довольно громко и, вѣроятно, съ намѣреніемъ кольнуть меня. „Ага!“ подумалъ я: „вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будетъ!“

Грушницкій слѣдилъ за нею, какъ хищный звѣрь, и не спускалъ ее съ глазъ: бьюсь объ закладъ, что завтра онъ будетъ просить, чтобы его кто-нибудь представилъ княгинѣ. Она будетъ очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

Въ продолженіе двухъ дней мои дѣла ужасно подвинулись. Княжна меня рѣшительно ненавидитъ; мнѣ уже пересказывали двѣ-три эпиграммы на мой счетъ, довольно колкія, но вмѣстѣ очень лестныя. Ей ужасно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который такъ коротокъ съ ея петербургскими кузинами и тетусками, не стараюсь познакомиться съ нею. Мы встрѣчаемся каждый день у колодца, на бульварѣ; я употребляю

всѣ свои силы на то, чтобъ отвлекать ея обожателей, блестящихъ адъютантовъ, блѣдныхъ москвичей и другихъ—и мнѣ почти всегда удается. Я всегда ненавидѣлъ гостей у себя; теперь у меня каждый день полонъ домъ, обѣдаютъ, ужинаютъ, играютъ и, увы! мое шампанское торжествуетъ надъ силою магнетическихъ ея глазокъ!

Чтобы подразнить княжну, Печоринъ перекупилъ коверъ и передъ окнами ея дома приказалъ водить лошадей, покрытую этимъ ковромъ.

Между тѣмъ, Грушницкій влюбился все сильнѣе; его смущало только, что онъ—юнкеръ, а не офицеръ. Но Печоринъ по этому поводу трунилъ надъ нимъ.

— Помилуй! да этакъ ты гораздо интереснѣе! Ты, просто, не умѣешь пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ... Да солдатская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барышни тебя дѣлаетъ героемъ и страдальцемъ.

Грушницкій самодовольно улынулся.

— Какой вздоръ! сказалъ онъ.

— Я увѣренъ, продолжалъ я,—что княжна въ тебя уже влюблена.

Онъ покраснѣлъ до ушей и надулся.

О самолюбіе! ты рычагъ, которымъ Архимедъ хотѣлъ приподнять земной шаръ!..

— У тебя все шутки! сказалъ онъ, показывая, будто сердится: — во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаетъ...

— Женщины любятъ только тѣхъ, которыхъ не знаютъ.

— Да я вовсе не имѣю претензій ей нравиться; я просто хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ, и было бы очень смѣшно, еслибъ я имѣлъ какія-нибудь надежды... Вотъ вы, напримѣръ, другое дѣло: вы, побѣдители петербургскіе, только посмотрите — такъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебѣ говорила?..

— Какъ? она тебѣ ужъ говорила обо мнѣ?..

— Не радуйся однако. Я какъ-то вступилъ съ нею въ разговоръ у колодца, случайно; третье слово ея было: „Кто этотъ господинъ, у котораго такой непріятный, тяжелый взглядъ? онъ былъ съ вами, тогда...“ Она покраснѣла и не хотѣла назвать дня, вспомнивъ свою милую выходку. „Вамъ не нужно сказывать дня, отвѣчалъ я ей, онъ вѣчно мнѣ будетъ памятенъ...“ Мой другъ, Печоринъ! я тебя не поздравляю: ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А, право, жаль, потому что Мери очень мила!..

Надобно замѣтить, что Грушницкій изъ тѣхъ людей, которые, говоря о женщинѣ, съ которой они едва знакомы, называютъ ее моя Мери, моя Sophie, если она имѣла счастье имъ понравиться.

Я принялъ серьезный видъ и отвѣчалъ ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкій! Русскія барышни большею частью питаются только платоническою любовью, не примѣшивая къ ней мысли о замужествѣ; а платоническая любовь самая безпокойная.

Княжна, кажется, изъ тѣхъ женщинъ, которыя хотять, чтобы ихъ забавляли; если двѣ минуты сразу ей будетъ возлѣ тебя скучно — ты погибь невозвратно! твое молчаніе должно возбуждать ея любопытство; твой разговоръ — никогда не удовлетворять его вполне; ты долженъ ее тревожить ежеминутно: она десять разъ публично для тебя пренебрежетъ мнѣніемъ и назоветъ это жертвой, и чтобъ вознаградить себя за это, станетъ тебя мучить, а потомъ просто скажетъ, что она тебя терпѣть не можетъ. Если ты надъ нею не приобрѣтешь власти, то даже ея первый поцѣлуй не дастъ тебѣ права на второй; она съ тобою накокетничается вдоволь, а года черезъ два выйдетъ замужъ за уроды, изъ покорности къ маменькѣ, и станетъ себя увѣрять, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то есть тебя, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Однажды Печоринъ встрѣтился съ давно-любимой Вѣрой, родственницей княгини Лиговской.

— Вѣра! вскрикнулъ я невольно.

Она вдрогнула и поблѣднѣла.

— Я знала, что вы здѣсь, сказала она.

Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милаго голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами; въ нихъ выражалась недоувѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

Я ее крѣпко обнялъ, и такъ мы оставались долго. Наконецъ губы наши сблизились и слились въ жаркій упоительный поцѣлуй; ея руки были холодны какъ ледъ, голова горѣла. Тутъ между нами начался одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые на бумагѣ не имѣютъ смысла, которыхъ повторить нельзя и нельзя даже напомнить: значеніе звуковъ замѣняетъ и дополняетъ значеніе словъ, какъ въ итальянской оперѣ.

Она рѣшительно не хотеть, чтобъ я познакомился съ ея мужемъ, тѣмъ хромымъ старичкомъ, котораго я видѣлъ мелькомъ на бульварѣ; она вышла за него для сына. Онъ богатъ и страдаетъ ревматизмами. Я не позволилъ себѣ надъ нимъ ни одной насмѣшки: она его уважаетъ, какъ отца, — и будетъ обманывать, какъ мужа... Странная вещь сердце человеческое вообще и женское въ особенности!

Мужъ Вѣры, Семенъ Васильевичъ Г...въ, дальній родственникъ княгини Лиговской. Онъ живетъ съ нею рядомъ. Вѣра часто бываетъ у княгини; я ей далъ слово познакомиться съ Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь отъ нея вниманіе. Такимъ образомъ мои планы ни мало не разстроились и мнѣ будетъ весело...

Весело!.. Да, я ужъ прошелъ тотъ періодъ жизни душевной, когда

ищутъ только счастья, когда сердце чувствуетъ необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь; теперь я только хочу быть любимымъ, и то очень немногими; даже, мнѣ кажется, одной постоянной привязанности мнѣ было бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мнѣ всегда было странно: я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины, напротивъ я всегда пріобрѣталъ надъ ихъ волей и сердцемъ непобѣдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь. Отчего это? — оттого ли, что я никогда ничѣмъ очень не дорожу, и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это магнетическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ просто не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!..

Правда, теперь вспомнилъ: одинъ разъ, одинъ только разъ я любилъ женщину съ твердою волей, которую никогда не могъ побѣдить... Мы разстались врагами—и то, можетъ быть, еслибъ я ее встрѣтилъ пятью годами позже, мы разстались бы иначе...

Возвратясь домой, я сѣлъ верхомъ и поскакалъ въ степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горестъ ни лежала на сердцѣ, какое бы безпокойство ни томило мысль—все въ минуту разсѣется; на душѣ станетъ легко, усталость тѣла побѣдитъ тревогу ума. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ, при видѣ голубого неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ.

Печоринъ встрѣтилъ цѣлую кавалькаду.

Впереди ѣхалъ Грушницкій съ княжною Мери.

Дамы на водахъ еще вѣрятъ нападеніямъ черкесовъ среди бѣлаго дня; вѣроятно, поэтому Грушницкій сверхъ солдатской шинели повѣсилъ шашку и пару пистолетовъ; онъ былъ довольно смѣшонъ въ этомъ геройскомъ облаченіи. Высокій кустъ закрывалъ меня отъ нихъ; но сквозь листья его я могъ видѣть все и отгадать по выраженіямъ ихъ лицъ, что разговоръ былъ сантиментальный. Наконецъ они приблизились къ спуску. Грушницкій взялъ за поводъ лошадь княжны, и тогда я услышалъ конецъ ихъ разговора:

— И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ?—говорила княжна.

— Что для меня Россія? отвѣчалъ ей кавалеръ,—страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами...

— Напротивъ... сказала княжна, покраснѣвъ.

Лицо Грушницкаго изобразило удовольствіе. Онъ продолжалъ:

— Здѣсь моя жизнь протечетъ шумно, незамѣтно и быстро, подъ пулями дикарей, и если бы Богъ мнѣ каждый годъ посылалъ одинъ свѣтлый женскій взглядъ, одинъ, подобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста...

— Mon Dieu, un circassien!..—вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобъ ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ по-французски, слегка наклоняясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier...

Она смутилась—но отчего? отъ своей ошибки, или оттого, что мой отвѣтъ ей показался дерзкимъ? Я желалъ бы, чтобъ послѣднее мое предположеніе было справедливо. Грушницкій бросилъ на меня недовольный взглядъ.

Въ разговорѣ съ Грушницкимъ Печоринъ высказалъ предположеніе, что Мери принимаетъ его не за юнкера, а за офицера, разжалованнаго за какую-нибудь вину.

Мѣстное дамское общество недоброжелательно отнеслось къ княжнѣ Мери. На балу рѣшено было ей устроить скандалъ; для этого былъ подученъ одинъ пьяный господинъ. Печоринъ защитилъ ее, и она, благодарная ему, въ отношеніяхъ съ нимъ сбросила съ себя напускную холодность и превзятельность.

... Личико ея расцвѣло; она шутила очень мило; ея разговоръ былъ остеръ, безъ притязанія на острогу, живъ и свободенъ; ея замѣчанія иногда глубоки... Я далъ ей почувствовать очень запутанной фразой, что она мнѣ давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснѣла.

— Вы странный человѣкъ,—сказала она потомъ, поднявъ на меня свои бархатные глаза и припужденно засмѣявшись.

— Я не хотѣлъ съ вами познакомиться, продолжалъ я:—потому что васъ окружаетъ слишкомъ густая толпа поклонниковъ, и я боялся въ ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись: они всѣ прескучные...

— Всѣ! неужели всѣ?

Она посмотрѣла на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потомъ опять слегка покраснѣла и наконецъ произнесла рѣшительно:—всѣ!

— Даже мой другъ Грушницкій?

— А онъ вашъ другъ?—сказала она, показывая нѣкоторое сомнѣніе.

— Да.

— Онъ, конечно, не входитъ въ разрядъ скучныхъ...

— Но въ разрядъ несчастныхъ,—сказалъ я, смѣясь.

— Конечно! А вамъ смѣшно? Я бѣ желала, чтобъ вы были на его мѣстѣ...

— Что жъ, я былъ самъ нѣкогда юнкеромъ и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А развѣ онъ юнкеръ?..—сказала она быстро и потомъ прибавила:— а я думала...

— Что вы думали?

— Ничего!.. Кто эта дама?..

Тутъ разговоръ перемѣнилъ направленіе и къ этому ужъ болѣе не возвращался.

Печоринъ былъ вечеромъ въ домѣ Лиговскихъ, дразнилъ Мери равнодушіемъ и бесѣдовалъ съ Вѣрой.

— Послушай, говорила мнѣ Вѣра:—я не хочу, чтобъ ты познакомился съ моимъ мужемъ, но ты долженъ непременно понравиться княгинѣ; тебѣ это легко: ты можешь все, чтѣ хочешь. Мы здѣсь только будемъ видѣться...

— Только?..

Она покраснѣла и продолжала: — Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умѣла тебѣ противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мѣрѣ, я хочу сберечь свою репутацію... не для себя—ты это знаешь очень хорошо!.. О, я прошу тебя, не мучь меня попрежнему пустыми сомнѣніями и притворной холодностью; я, можетъ быть, скоро умру; я чувствую, что слабѣю со дня на день... и, несмотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебѣ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я клянусь тебѣ, я, прислушавшись къ твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркіе поцѣлуи не могутъ замѣнить его.

6-го іюня.

Всѣ эти дни я ни разу не отступилъ отъ своей системы. Княжнѣ начинаетъ нравиться мой разговоръ; я рассказалъ ей нѣкоторые изъ странныхъ случаевъ моей жизни, и она начинаетъ видѣть во мнѣ человека необыкновеннаго. Я смѣюсь надъ всѣмъ на свѣтѣ, особенно надъ чувствами: это начинаетъ ее пугать. Она при мнѣ не смѣетъ пускаться съ Грушницкимъ въ сантиментальныя пренія, и уже нѣсколько разъ отвѣчала на его выходки насмѣшливой улыбкой; но я всякій разъ, какъ Грушницкій подходитъ къ ней, принимаю смиренный видъ и оставляю ихъ вдвоемъ; въ первый разъ была она этому рада, или старалась показать; во второй—разсердилась на меня; въ третій—на Грушницкаго.

— У васъ очень мало самолюбія! сказала она мнѣ вчера.—Отчего вы думаете, что мнѣ веселѣе съ Грушницкимъ?

Я отвѣчалъ, что жертвую счастію пріятеля своимъ удовольствіемъ...

— И моимъ, прибавила она.

Я пристально посмотрѣлъ на нее и принялъ серьезный видъ. Потомъ цѣлый день не говорилъ съ ней ни слова... Вечеромъ она была задумчива; нынче поутру у колодца еще задумчивѣе. Когда я подошелъ къ ней, она разсѣянно слушала Грушницкаго, который, кажется, восхищался природой, но только что завидѣла меня, она стала хохотать (очень некстати), показывая, будто меня не примѣчаетъ. Я отошелъ подальше и украдкой сталъ наблюдать за ней; она отвернулась отъ своего собесѣдника и зѣвнула два раза. Рѣшительно, Грушницкій ей надоѣлъ. Еще два дня не буду съ ней говорить.

11-го іюня.

Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чему же это женское кокетство? Вѣра меня любить больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда нибудь; еслибъ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностью пріятія...

Но ничуть не бывало. Слѣдовательно, это не та беспокойная потребность любви, которая насъ мучитъ въ первые годы молодости, бросаетъ насъ отъ одной женщины къ другой, пока мы найдемъ такую, которая насъ терпѣть не можетъ: тутъ начинается наше постоянство—истинная, безконечная страсть, которую математически можно выразить линіей, падающей изъ точки въ пространство; секретъ этой безконечности—только въ невозможности достигнуть цѣли, то есть конца.

Изъ чего же я хлопочу?—Изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ уничтожать сладкія заблужденія ближняго, чтобъ имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить:

— Мой другъ, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надѣюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ.

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучший ароматъ испаряется на встрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до-сыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ дру-

гомъ видѣ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права—не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Еслибъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; еслибъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобъ онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идеи—созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого гений, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть, или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара.

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи; онѣ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ цѣлую жизнь ими волноваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бѣшеныхъ порывовъ; душа, страдающая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгій отчетъ и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее иссушитъ; она проникается своей собственной жизнью—лелѣетъ и наказываетъ себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія человѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.

Грушницкій былъ произведенъ въ офицеры и ликовалъ. Однажды Печоринъ бесѣдовалъ съ Мери, зло выпучивая всѣхъ.

Разговоръ нашъ начался злословіемъ: я сталъ перебирать присутствующихъ и отсутствующихъ нашихъ знакомыхъ; сначала высказалъ смѣшныя, а послѣ дурныя ихъ стороны. Желчь моя взволновалась. Я началъ шутя и окончилъ искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потомъ испугало.

— Вы опасный человѣкъ! сказала она мнѣ:—я бы лучше желала попасться въ лѣсу подъ ножъ убійцы, чѣмъ вамъ на язычокъ... Я васъ прошу не шутя: когда вамъ вздумается обо мнѣ говорить дурно, возьмите лучше ножъ и зарѣжьте меня—я думаю, это вамъ не будетъ очень трудно.

— Развѣ я похожъ на убійцу?..

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потомъ сказалъ, принявъ глубоко-тронутый видъ:

— Да, такова была моя участь съ самаго дѣтства! всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скромнѣе—меня обвинили въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло—никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ—другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ—меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ—меня никто не понималъ: и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость [протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать. Узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе—не то отчаяніе, которое лечатъ дуломъ пистолета, но холодное, бессильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдѣлался нравственнымъ калѣжкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отрѣзалъ и бросилъ—тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины: но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ всѣ вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ—нѣтъ; особенно, когда вспомню о томъ, что подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна—пожалуйста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ нисколько.

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, выпустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала—а это великій признак!

Мы пришли къ провалу; дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не покидала руки моей. Остроты здѣшнихъ денди ее не смѣшили; крутизна обрыва, у котораго она стояла, ее не пугала, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего печальнаго разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвѣчала коротко и разсѣянна.

— Любили ли вы? спросилъ я ее наконецъ.

Она посмотрѣла на меня пристально, покачала головой и опять впала въ задумчивость: явно было, что ей хотѣлось что-то сказать, но она не

знала, съ чего начать; ея грудь волновалась... Какъ быть!.. кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробѣжала изъ моей руки въ ея руку; всѣ почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманываемъ, думая, что насъ женщина любитъ за наши физическія или нравственныя достоинства; конечно, они готовятъ, располагаютъ ея сердце къ принятію священнаго огня, а все-таки первое прикосновеніе рѣшаетъ дѣло.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? сказала мнѣ княжна съ принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняетъ въ холодности... О, это первое, главное торжество!

Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть— вотъ что скучно.

12-го іюня.

Сіяя блескомъ мундира, Грушницкій торопится на балъ, на которомъ онъ рассчитывалъ танцовать съ Мери. Печоринъ задумываетъ его позвать въ этотъ вечеръ.

Черезъ полчаса и я отправился. На улицѣ было темно и пусто; вокругъ собранія, или трактира, какъ угодно, тѣснился народъ; окна его свѣтились; звуки полковой музыки доносили ко мнѣ вечерній вѣтеръ. Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землѣ—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прийти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль палача, или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?.. Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ—или въ сотрудники поставщику повѣстей, напримѣръ, для „Библіотеки для чтенія“?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками?..

Войдя въ залу, я спрятался въ толпѣ мужчинъ и началъ дѣлать свои наблюденія. Грушницкій стоялъ возлѣ княжны и что-то говорилъ съ большимъ жаромъ: она его разсѣянно слушала, смотрѣла по сторонамъ, приложивъ вѣеръ къ губкамъ; на лицѣ ея изображалось нетерпѣніе, глаза ея искали кругомъ кого-то; я тихонько подошелъ сзади, чтобъ подслушать ихъ разговоръ.

— Вы меня мучите, княжна! говорилъ Грушницкій:—вы ужасно перемѣнились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ...

— Вы также перемѣнились, отвѣчала она, бросивъ на него быстрый взглядъ, въ которомъ онъ не умѣлъ разобрать тайной насмѣшки.

— Я? я переменялся?... О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видѣлъ васъ однажды, тотъ навѣки унесетъ съ собою вашъ божественный образъ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и такъ часто, внимали благосклонно?..

— Потому что я не люблю повтореній, отвѣчала она, смѣясь.

— О, я горько ошибся!.. Я думалъ, безумный, что по крайней мѣрѣ эти эполеты дадутъ мнѣ право надѣяться... Нѣтъ, лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу...

Въ это время я подошелъ и поклонился княжнѣ; она немножко покраснѣла и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печоринъ, что сѣрая шинель гораздо больше идетъ къ мсье Грушницкому?..

— Я съ вами не согласенъ, отвѣчалъ я:—въ мундирѣ онъ еще молодежѣе.

Грушницкій не вынесъ этого удара: какъ всѣ мальчики, онъ имѣетъ претензію быть старикомъ; онъ думаетъ, что на его лицѣ глубокіе слѣды страстей замѣняютъ отпечатокъ лѣтъ. Онъ на меня бросилъ бѣшеный взглядъ, топнулъ ногою и отошелъ прочь.

— А признайтесь, сказалъ я княжнѣ:—что хотя онъ всегда былъ очень смѣшонъ, но еще недавно онъ вамъ казался интересенъ... въ сѣрой шинели?...

Она потупила глаза и не отвѣчала.

Грушницкій озабочился и рѣшился мстить. Печоринъ имѣлъ случай убѣдиться, что, кромѣ Грушницкаго, еще нѣсколько другихъ лицъ заговѣваютъ что-то противъ него.

14-го іюня.

Нынче поутру Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Я встрѣтилъ ихъ карету, когда шелъ къ княгинѣ Литовской. Она мнѣ кивнула головой: во взглядѣ ея былъ упрекъ.

Кто жъ виноватъ? Зачѣмъ она не хочетъ дать мнѣ случай видѣться съ нею наединѣ? Любовь, какъ огонь, безъ пищи гаснетъ. Авось ревность сдѣлаетъ то, чего не могли мои просьбы.

Я сидѣлъ у княгини битый часъ. Мери не вышла: больна. Вечеромъ на бульварѣ ея не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная дорнетами, приняла въ самомъ дѣлѣ грозный видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдѣлали бы ей какую нибудь дерзость. У Грушницкаго растрепанная прическа и отчаянный видъ; онъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ огорченъ, осо-

бенно самолюбіе его оскорблено; но вѣдь есть же люди, въ которыхъ даже отчаяніе забавно!..

Возвратясь домой, я замѣтилъ, что мнѣ чего-то недостаетъ. Я не видалъ ея! Она больна? Уже не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?.. Какой вздоръ!

15-го іюня.

Въ одиннадцать часовъ утра—часть, въ который княгиня Литовская обыкновенно потѣетъ въ Ермоловской ваннѣ—я шелъ мимо ея дома. Княжна сидѣла задумчиво у окна; увидѣвъ меня, вскочила.

Я вошелъ въ переднюю, людей никого не было, и я безъ доклада, пользуясь свободой здѣшнихъ правовъ, пробрался въ гостиную.

Тусклая блѣдность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку креселъ; эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошелъ къ ней и сказалъ:

— Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокій взоръ и покачала головой; ея губы хотѣли проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустила въ кресла и закрыла лицо руками.

— Что съ вами? сказалъ я, взявъ ея руку.

— Вы меня не уважаете!.. О, оставьте меня!..

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ... Она выпрямилась въ креслахъ; глаза ея засверкали.

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказалъ:

— Простите меня, княжна! я поступилъ, какъ безумецъ... этого въ другой разъ не случится; я приму свои мѣры... Зачѣмъ вамъ знать то, что происходило до сихъ поръ въ душѣ моей? Вы этого никогда не узнаете, и тѣмъ лучше для васъ. Прощайте.

Уходя, мнѣ кажется, я слышалъ, что она плакала.

Грушницкій и его друзья распустили въ обществѣ слухъ, будто Печоринъ жениться на Мери; оба эти имени сдѣлались достояніемъ сплетни.

18-го іюня.

Вотъ ужъ три дня, какъ я въ Кисловодскѣ. Каждый день вижу Вѣру у колодца и на гуляньѣ. Утромъ, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнетъ на ея балконъ; она давно ужъ одѣта и ждетъ условленнаго знака; мы встрѣчаемся, будто нечаянно, въ саду, который, отъ нашихъ домовъ спускается къ колодцу. Живительный горный воздухъ возвратилъ ей цвѣтъ лица и силы. Недаромъ Нарзанъ называется богатырскимъ ключемъ. Здѣшніе жители утверждаютъ, что воздухъ Кисловодска располагаетъ къ любви, что здѣсь бывають развязки всѣхъ романовъ, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь все дышитъ уедине-

ніемъ; здѣсь все таинственно—и густыя сѣни липовыхъ аллей, склоняющихся надъ потокомъ, который съ шумомъ и пѣною, падая съ плиты на плиту, прорѣзываетъ себѣ путь между зеленѣющими горами,—и ущелья, полныя мглою и молчаньемъ, которыхъ вѣтви разбѣгаются отсюда во всѣ стороны,—и свѣжесть ароматического воздуха, отягощенного испареніями высокихъ кожныхъ травъ и бѣлой акаціи,—и постоянный сладостно-усыпительный шумъ студеныхъ ручьевъ, которые, встрѣтаясь въ концѣ долины, бѣгутъ дружно взапуски и, наконецъ, кидаются въ Подкумокъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зеленую лощину; по ней вьется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ я на нее взгляну, мнѣ все кажется, что ѣдетъ карета, а изъ окна кареты выглядываетъ розовое личико. Уже много каретъ проѣхало по этой дорогѣ—а той все нѣтъ. Слободка, которая за крѣпостью, населилась; въ рестораціи, построенной на холмѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моей квартиры, начинаютъ мелькать вечеромъ огни сквозъ двойной рядъ тополей; шумъ и звонъ стакановъ раздаются до поздней ночи.

Нигдѣ такъ много не пьютъ кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

Но смѣшивать два эти ремесла

Есть тѣмъ охотниковъ—я не изъ ихъ числа.

Грушницкій съ своей шайкой бушуетъ каждый день въ трактирѣ и со мной почти не кланяется.

Онъ только вчера пріѣхалъ, а успѣлъ уже поссориться съ тремя стариками, которые хотѣли прежде его сѣсть въ ванну; рѣшительно—несчастія развиваютъ въ немъ воинственный духъ.

22-го іюня.

Наконецъ онѣ пріѣхали. Я сидѣлъ у окна, когда услышалъ стукъ ихъ кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюбленъ?... Я такъ глупо созданъ, что этого можно отъ меня ожидать.

Я у нихъ обѣдалъ. Княгиня на меня смотрѣла очень нѣжно и не отходитъ отъ дочери... плохо! За то Вѣра ревнуетъ меня къ княжнѣ—добился же я этого благополучія. Чего женщина не сдѣлаетъ, чтобъ огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любилъ другую. Нѣтъ ничего парадоксальнѣе женскаго ума: женщины трудно убѣдить въ чемъ нибудь; надо ихъ довести до того, чтобъ онѣ убѣдили себя сами. Порядокъ доказательствъ, которыми онѣ уничтожаютъ свои предубѣжденія, очень оригиналенъ; чтобъ выучиться ихъ діалектикѣ, надо опрокинуть въ умѣ своемъ всѣ школьныя правила логики. Напримѣръ, способъ обыкновенный:

Этотъ человекъ любитъ меня; но я замужемъ: слѣдовательно, не должна его любить.

Способъ женскій:

— Я не должна его любить, ибо я замужемъ; но онъ меня любить— слѣдовательно...

Тутъ нѣсколько точекъ, ибо разсудокъ ужъ ничего не говоритъ, а говорятъ большею частью: языкъ, глаза и вслѣдъ за ними сердце, если оное имѣется.

Что если когда нибудь эти записки попадутся на глаза женщинѣ?— „Клевета!“ закричитъ она съ негодованіемъ.

Съ тѣхъ поръ какъ поэты пишутъ и женщины ихъ читаютъ (за что имъ глубочайшая благодарность), ихъ столько разъ называли ангелами, что онѣ въ самомъ дѣлѣ, въ простотѣ душевной, повѣрили этому комплименту, забывая, что тѣ же поэты за деньги величали Нерона полубогомъ...

Некстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью, мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любитъ, мнѣ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ, честолубіемъ, живнію... Но вѣдь я не въ припадѣхъ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нѣтъ, все, что я говорю о нихъ, есть только слѣдствіе—

Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Женщины должны бы желать, чтобъ всѣ мужчины ихъ такъ же хорошо знали, какъ я, потому что люблю ихъ во сто разъ больше съ тѣхъ поръ, какъ ихъ не боюсь и постигъ ихъ мелкія слабости.

Кстати: Вернеръ намеренъ сравнить женщинъ съ заколдованнымъ лѣсомъ, о которомъ рассказываетъ Тассъ въ своемъ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“. „Только приступи“, говорилъ онъ, „на тебя полетятъ со всѣхъ сторонъ такіе страхи, что Боже упаси: долгъ, гордость, приличіе, общее мнѣніе, насмѣшка, презрѣніе... Надо только не смотрѣть, а идти прямо; мало-помалу чудовища исчезаютъ и отсрывается предъ тобой тихая и свѣтлая поляна, среди которой цвѣтетъ зеленый миртъ. Зато бѣда, если на первыхъ шагахъ сердце дрогнетъ и обернешься назадъ!“

24-го іюня.

Мы были уже на срединѣ, въ самой быстротѣ, когда она вдругъ на сѣдлѣ покачнулась. „Мнѣ дурно!“ проговорила она слабымъ голосомъ. Я быстро наклонился къ ней, обвилъ рукою ея гибкую талію.

— Смотрите наверхъ! шепнулъ я ей:—это ничего, только не бойтесь; я съ вами.

Ей стало лучше; она хотѣла освободиться отъ моей руки, но я еще крѣпче обвилъ ея нѣжный, мягкій станъ; моя щека почти касалась ея щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ.

— Что вы со мною дѣлаете?... Боже мой!...

Я не обращалъ вниманія на ея трепетъ и смущеніе, и губы мои коснулись ея нѣжной щеки; она вздрогнула, но ничего не сказала; мы ѣхали сзади: никто не видалъ. Когда мы выбрались на берегъ, то всѣ пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возлѣ нея; видно было, что ее беспокоило мое молчаніе, но я поклялся не говорить ни слова—изъ любопытства. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она выпутается изъ этого затруднительнаго положенія,

— Или вы меня презираете, или очень любите! сказала она наконецъ голосомъ, въ которомъ были слезы.—Можетъ быть, вы хотите посмѣяться надо мной, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣтъ! не правда ли, прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности:—не правда ли, во мнѣ нѣтъ ничего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же, я хочу слышать вашъ голосъ!...

Въ послѣднихъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбнулся; къ счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите? продолжала она:—вы, можетъ быть, хотите, чтобъ я первая вамъ сказала, что я васъ люблю...

Я молчалъ.

— Хотите ли этого? продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачѣмъ? отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ.

Печорину удалось подслушать совѣщаніе его враговъ съ Грушницкимъ во главѣ: чтобы наказать Печорина, испытать его храбрость и посмѣяться надъ нимъ, рѣшено было, что Грушницкій вызоветъ его на дуэль,—а секунданты пуль въ пистолеты не класть. Печоринъ былъ ввѣшенъ той глупой ролью, которую ему готовилъ Грушницкій съ друзьями.

Я не спалъ всю ночь. Къ утру я былъ желтъ, какъ померанецъ.

Полуночью я встрѣтилъ княжну у колодца.

— Вы больны? сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ ночь.

— И я также... Я васъ обвиняла... можетъ быть напрасно? Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?...

— Все... только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можетъ быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упрошу. Или ваше собственное

положеніе... но знайте, что я всёмогу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣчайте скорѣй—сжальтесь... вы меня не презираете—не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Вѣры и ничего не видала; но насъ могли видѣть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, отвѣчалъ я княжнѣ:—не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка поблѣднѣли.

— Оставьте меня, сказала она едва внятно.

Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.

25-го іюня.

Я иногда себя презираю... Не оттого ли я презираю и другихъ?... Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ; я боюсь показаться смѣшнымъ самому себѣ. Другой бы, на моемъ мѣстѣ, предложилъ княжнѣ *son coeur et sa fortune*; но надо мною слово жениться—имѣетъ какую-то волшебную власть: какъ бы страстно я ни любилъ женщину, если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться—прости любовь! мое сердце превращается въ камень, и ничто его не разогрѣетъ снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго?... Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе... Вѣдь есть люди, которые безотчетно боятся пауковъ, таракановъ, мышей... Признаться ли? Когда я былъ еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мнѣ смерть отъ злой жены; это меня тогда глубоко поразило: въ душѣ моей родилось непреодолимое отвращеніе къ женитьбѣ... Между тѣмъ что-то мнѣ говорить, что ея предсказаніе сбудется; по крайней мѣрѣ буду стараться, чтобъ оно сбылось какъ можно позже.

26-го іюня.

Печоринъ пробрался вечеромъ въ комнату Вѣры, которая жила въ одномъ домѣ съ Лиговскими. Когда Печоринъ выходилъ изъ ихъ сада, чтобы идти домой, невидимая рука схватила его за плечо:

— Ага! сказалъ грубый голосъ:—попался!... будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!

— Держи его крѣпче, закричалъ другой, выскочившій изъ-за угла. Это были Грушницкій и драгунскій капитанъ.

Я ударилъ послѣдняго по головѣ кулакомъ, спихнулъ его съ ногъ и бросился въ кусты. Всѣ тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были мнѣ извѣстны.

— Вору! караулъ!.. кричали они; раздался ружейный выстрѣлъ; дымящійся пылъ упалъ почти къ моимъ ногамъ.

Черезъ минуту я былъ уже въ своей комнатѣ, раздѣлся и легъ. Едва мой лакей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мнѣ начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? здѣсь вы?.. закричалъ капитанъ?

— Сплю, отвѣчалъ я сердито.

— Вставайте!—воры... черкесы...

— У меня насморкъ, отвѣчалъ я:—боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бѣ еще съ часъ проискали меня въ саду. Тревога, между тѣмъ, сдѣлалась ужасная. Изъ крѣпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось; стали искать черкесовъ во всѣхъ кустахъ—и, разумѣется, ничего не нашли. Но многіе, вѣроятно, остались въ твердомъ убѣжденіи, что еслибъ гарнизонъ показалъ болѣе храбрости и поспѣшности, то, по крайней мѣрѣ, десятка два хищниковъ остались бы на мѣстѣ.

Грушницкій въ большомъ обществѣ рассказывалъ, что Печоринъ ходилъ по ночамъ къ княжнѣ Лиговской. Печоринъ вызвалъ его на дуэль чрезъ его друга штабсъ-капитана.

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, отвѣчалъ онъ:—я даже обязанъ быть его секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мнѣ: я былъ съ нимъ вчера ночью, прибавилъ онъ, выпрямляя свой сутуловатый станъ.

— А! такъ это васъ ударилъ я такъ неловко по головѣ?..

Онъ пожелтѣлъ, посинѣлъ; скрытая злоба изобразилась на лицѣ его.

— Я буду имѣть честь прислать къ вамъ нынче моего секунданта, прибавилъ я, раскланявшись очень вѣжливо и показывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бѣшенство.

Доктору Вернеру, секунданту Печорина, удалось услышать, что штабсъ-капитанъ хочетъ дуэль для Грушницкаго сдѣлать безопасной, не положивъ пули въ пистолетъ Печорина.

Два часа ночи.. не спится... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемъ, на шести шагахъ промахнуться трудно. А! Господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ не удастся... мы помѣняемся ролями: теперь мнѣ придется отыскивать на вашемъ блѣдномъ лицѣ признаки тайнаго страха. Зачѣмъ вы сами назначили эти роковые шесть шаговъ? Вы думаете, что я безъ спора подставляю свой лобъ... но мы бросимъ жребій...

и тогда... тогда... что если его счастье перетянуть? если моя зѣвада, наконецъ, мнѣ измѣнить?.. И немудрено! она такъ долго служила вѣрно моимъ прихотямъ.

Что жъ? умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мнѣ самому порядочно ужъ скучно. Я — какъ человѣкъ, зѣвующій на балѣ, который не ѣдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова... прощайте!..

Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?.. А, вѣрно, она существовала, и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя... Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучшій цвѣтъ жизни. И съ той поры сколько разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ: я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетворялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданья — и никогда не могъ насытиться. Такъ, томимый голодомъ въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушныя дары воображенія, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезаетъ... остается удвоенный голодъ и отчаяніе.

И, можетъ быть, я завтра умру! и не останется на землѣ ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитаютъ меня хуже, другіе лучше, чѣмъ я въ самомъ дѣлѣ. Одни скажутъ: онъ былъ добрый малый, другіе — мерзавецъ. И то, и другое будетъ ложно. Послѣ этого стоитъ ли труда жить? а все живешь — изъ любопытства: ожидаешь чего-то новаго... Смѣшно и досадно!

Мы сѣли верхомъ; Вернеръ уцѣпился за поводья обѣими руками, и мы пустились — мигомъ проскакали мимо крѣпости черезъ слободку и въѣхали въ ущелье, по которому вилась дорога, полузросшая высокой травкой и ежеминутно пересѣкаемая шумнымъ ручьемъ, черезъ который нужно было переправляться въ бродъ, къ великому отчаянію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водѣ останавливалась.

Я не помню утра болѣе голубого и свѣжаго! Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, а сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладой ночи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникалъ еще радостный лучъ молодого дня; онъ золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ обѣихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малѣйшемъ

дыханіи вѣтра осыпали насъ серебрянымъ дождемъ. Я помню — въ этотъ разъ, больше чѣмъ когда-нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любопытно всматривался я въ каждую росинку, трепещущую на широкомъ листѣ виноградномъ и отражавшую миллионы радужныхъ лучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился уже, утесы синѣе и страшнѣе, и наконецъ они, казалось, сходились непроницаемой стѣной. Мы ѣхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе? вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если будете убиты?..

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать свое послѣднее прощаніе?..

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ на свѣтѣ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, докторъ, отвѣчалъ я ему, — чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли, я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умирають, произнося имя своей любезной и завѣщая другу клочокъ напояженныхъ или ненапояженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные не дѣлають и этого. — Друзья, которые завтра меня забудутъ, или, хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небылицы; женщины, которыя, обнимая другого, будутъ смѣяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему — Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей — и ни одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка; одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслить и судить его; первый, быть можетъ, черезъ часъ простится съ вами и міромъ навѣки, а второй... второй?.. Посмотрите, докторъ: видите ли вы, на скалѣ, направо, чернѣются три фигуры? Это, кажется, наши противники?..

Мы пустились.

У подошвы скалы, въ кустахъ, были привязаны три лошади; мы своихъ привязали тутъ же, а сами по узкой тропинкѣ взобрались на площадку, гдѣ ожидалъ насъ Грушницкій съ драгунскимъ капитаномъ и другимъ своимъ секундантомъ, котораго звали Иваномъ Игнатьевичемъ: фамилія его я никогда не слыхалъ.

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ, сказалъ драгунскій капитанъ съ иронической улыбкой.

Я вынулъ часы и показалъ ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы уходятъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось затруднительное молчаніе: наконецъ докторъ прервалъ его, обратясь къ Грушницкому.

— Мнѣ кажется, сказалъ онъ:—что, показавъ оба готовность драться и заплативъ этимъ долгъ условіямъ чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дѣло полюбовно.

— Я готовъ, сказалъ я.

Капитанъ мигнулъ Грушницкому, и этотъ, думая, что я трушу, принялъ гордый видъ, хотя до сей минуты тусклая блѣдность покрывала его щеки. Съ тѣхъ поръ, какъ мы пріѣхали, онъ въ первый разъ поднималъ на меня глаза; но во взглядѣ его было какое-то безпокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условія, сказалъ онъ:—и все, что я могу для васъ сдѣлать, то будьте увѣрены...

— Вотъ мои условія: вы нынче же публично откажетесь отъ своей клеветы и будете просить у меня извиненія...

— Милостивый государь, я удивляюсь, какъ вы смѣете мнѣ предлагать такія вещи?..

— Что-жъ я вамъ могъ предложить, кромѣ этого?..

— Мы будемъ стрѣляться.

Я пожалъ плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что одинъ изъ насъ непременно будетъ убитъ.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увѣренъ въ противномъ...

Онъ смутился, покраснѣлъ, потомъ принужденно захохоталъ.

Капитанъ взялъ его подъ руку и отвелъ въ сторону; они долго шептались. Я пріѣхалъ въ довольно миролюбивомъ расположеніи духа, но все это начинало меня бѣсить.

Ко мнѣ подошелъ докторъ.

— Послушайте, сказалъ онъ съ явнымъ безпокойствомъ:— вы, вѣрно, забыли про ихъ заговоръ?.. Я не умѣю зарядить пистолета, но въ этомъ случаѣ... Вы странный человѣкъ! Скажите имъ, что вы знаете ихъ намѣреніе—и они не посмѣютъ... Чтѣ за охота? подстрѣлять васъ, какъ птицу...

— Пожалуйста, не безпокойтесь, докторъ, и погодите... Я все такъ устрою, что на ихъ сторонѣ не будетъ никакой выгоды. Дайте имъ пошептаться.

— Господа! это становится скучно, сказалъ я имъ громко:— драться, такъ драться; вы имѣли время вчера наговориться.

— Мы готовы, отвѣчалъ капитанъ.— Становитесь, господа! Докторъ, извольте отмѣрить шесть шаговъ...

— Становитесь! повторилъ Иванъ Игнатьевичъ пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! сказалъ я: еще одно условіе; такъ какъ мы будемъ драться на-смерть, то мы обязаны сдѣлать все возможное, чтобы это оста-

лось тайною и чтобъ секунданты наши не были въ отвѣтственности. Согласны ли вы?..

— Совершенно согласны.

— Итакъ, вотъ что я придумалъ. Видите ли на вершинѣ этой отвѣсной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будетъ саженъ тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый изъ насъ станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непременно внизъ и разобьется вдребезги; пулю докторъ вынетъ, и тогда можно будетъ очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлать. Объявляю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! сказалъ капитанъ, посмотрѣвъ выразительно на Грушницкаго, который кивнулъ головой въ знакъ согласія. Лицо его ежеминутно мѣнялось. Я его поставилъ въ затруднительное положеніе. Стрѣляясь при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ могъ цѣлить мнѣ въ ногу, легко меня ранить и удовлетворить такимъ образомъ свою месть, не отягощая слишкомъ своей совѣсти; но теперь онъ долженъ былъ выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцей, или наконецъ оставить свой подлый замыселъ и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Въ эту минуту я не пожелалъ бы быть на его мѣстѣ. Онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить ему что-то съ большимъ жаромъ; я видѣлъ, какъ посинѣвшія губы его дрожали, но капитанъ отъ него отвернулся съ презрительной улыбкой. — Ты дуракъ! сказалъ онъ Грушницкому довольно громко: — ничего не понимаешь!.. Отправьтесь же, господа!

Указая тропинку вела между кустарниками на крутизну; обломки скалъ составляли шаткія ступени этой природной лѣстницы; нѣмаясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкій шелъ впереди, за нимъ его секунданты, а потомъ мы съ докторомъ.

— Я вамъ удивляюсь, сказалъ докторъ, пожавъ мнѣ лѣвую руку. — Дайте пощупать пульсъ!.. Ого! лихорадочный!.. но на лицѣ ничего не замѣтно... только глаза у васъ блестятъ ярче обыкновеннаго.

Вдругъ мелкіе камни съ шумомъ покатались намъ подъ ноги. Что это? Грушницкій споткнулся; вѣтка, за которую онъ уцѣпился, изломалась и онъ скатился бы внизъ на спинѣ, еслибъ его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! закричалъ я ему: — не падайте заранѣе; это дурная примѣта. Вспомните Юлія Цезаря!

Вотъ мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелкимъ пескомъ, будто нарочно для поединка. Кругомъ, теряясь въ золотомъ туманѣ утра, тѣснились вершины горъ, какъ безчисленное стадо, и Эльбурсъ на югѣ вставалъ бѣлою громадой, замыкая цѣпь льди-

стыхъ вершинъ, между которыхъ уже бродили волокнистыя облака, набѣжавшія съ востока. Я подошелъ къ краю площадки и посмотрѣлъ внизъ; голова чуть-чуть у меня не закружилась: тамъ, внизу, казалось темно и холодно, какъ въ гробѣ; мшистыя зубцы скалъ, сброшенныхъ грозой и временемъ, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольникъ. Отъ выдавагося угла отмѣрили шесть шаговъ, и рѣшили, что тотъ, кому придется первому встрѣтить непріятельскій огонь, останется на самомъ углу спиною къ пропасти: если онъ не будетъ убитъ, то противники помѣняются мѣстами.

Я рѣшился предоставить всѣ выгоды Грушницкому; я хотѣлъ испытать его; въ душѣ его могла проснуться искра великодушія—и тогда все устроилось бы къ лучшему; но самолюбіе и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотѣлъ дать себѣ полное право не падить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключалъ такихъ условій съ своею совѣстью?

— Бросьте жребій, докторъ! сказалъ капитанъ.

Докторъ вынулъ изъ кармана серебряную монету и поднялъ ее вверхъ.

— Рѣшетка! закричалъ Грушницкій поспѣшно, какъ человѣкъ, котораго вдругъ разбудилъ дружескій толчокъ.

— Орелъ! сказалъ я.

Монета взвилась и упала, звеня; всѣ бросились къ ней.

— Вы счастливы, сказалъ я Грушницкому: — вамъ стрѣлять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь — даю вамъ честное слово.

Онъ покраснѣлъ; ему было стыдно убить человѣка безоружнаго; я глядѣлъ на него пристально; съ минуту мнѣ казалось, что онъ бросится къ ногамъ моимъ, умолая о прощеніи; но какъ признаться въ такомъ подломъ умыслѣ?.. Ему оставалось одно средство — выстрѣлить на воздухъ. Я былъ увѣренъ, что онъ выстрѣлитъ на воздухъ! Одно могло этому помѣшать: мысль, что я потребую вторичнаго поединка.

— Пора! шепнулъ мнѣ докторъ, дергая за рукавъ: — если вы теперь не скажете, что мы знаемъ ихъ намѣренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжаетъ... если вы ничего не скажете, то я самъ...

— Ни за что на свѣтѣ, докторъ, отвѣчалъ я, удерживая его за руку: — вы все испортите; вы мнѣ дали слово не мѣшать... Какое вамъ дѣло? Можетъ быть, я хочу быть убитъ...

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— О, это другое!.. только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...

Капитанъ между тѣмъ зарядилъ свои пистолеты, подаль одинъ Грушницкому, съ улыбкою шепнувъ ему что-то; другой мнѣ.

Я сталъ на углу площадки, крѣпко упершись лѣвой ногою въ камень

и наклонясь немного напередъ, чтобы въ случаѣ легкой раны не опрокинуться назадъ.

Грушницкій сталъ противъ меня и, по данному знаку, началъ поднимать пистолетъ. Колѣни его дрожали. Онъ цѣлилъ мнѣ прямо въ лобъ.

Неизъяснимое бѣшенство закипѣло въ груди моей.

Вдругъ онъ опустилъ дуло пистолета и, поблѣднѣвъ какъ полотно, повернулся къ своему секунданту:

— Не могу, сказалъ онъ глухимъ голосомъ.

— Трусъ! отвѣчалъ капитанъ.

Выстрѣлъ раздался. Пуля опарала мнѣ колѣно. Я невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣй удалиться отъ края.

— Ну, братъ Грушницкій, жаль, что промахнулся! сказалъ капитанъ.— Теперь твоя очередь, становись! Обними меня прежде: мы ужъ не увидимся! Они обнялись; капитанъ едва могъ удержаться отъ смѣха.— Не бойся, прибавилъ онъ, хитро взглянувъ на Грушницкаго:— все вздоръ на свѣтѣ... Натура—дура, судьба—индѣйка, а жизнь—копѣйка!

Послѣ этой трагической фразы, сказанной съ приличною важностью, онъ отошелъ на свое мѣсто. Иванъ Игнатьевичъ со слезами обнялъ также Грушницкаго, и вотъ онъ остался одинъ противъ меня. Я до-сихъ поръ стараюсь объяснить себѣ, какого рода чувство кипѣло тогда въ груди моей: то было и досада оскорбленнаго самолюбія, и презрѣніе, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этотъ человѣкъ, теперь съ такою увѣренностью, съ такой спокойной дерзостью на меня глядящій, двѣ минуты тому назадъ, не подвергая себя никакой опасности, хотѣлъ меня убить какъ собаку, ибо, раненый въ ногу немного сильнѣе, я бы непременно свалился съ утеса.

Я нѣсколько минутъ смотрѣлъ ему пристально въ лицо, стараясь замѣтить хоть легкій слѣдъ раскаянія. Но мнѣ показалось, что онъ удерживалъ улыбку.

— Я вамъ совѣтую передъ смертью помолиться Богу, сказалъ я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душѣ больше, чѣмъ о своей собственной. Объ одномъ васъ прошу: стрѣляйте скорѣе.

— И вы не отказываетесь отъ своей клеветы? не просите у меня прощенія?.. Подумайте хорошенько: не говорить ли вамъ чегонибудь совѣсть!

— Господинъ Печоринъ! закричалъ драгунскій капитанъ:—вы здѣсь не для того, чтобы исповѣдывать, позвольте вамъ замѣтить... Кончимте скорѣе; неравно кто-нибудь пройдетъ по ущелью—и насъ увидать.

— Хорошо. Докторъ, подойдите ко мнѣ.

Докторъ подошелъ. Бѣдный докторъ! онъ былъ блѣднѣе, чѣмъ Грушницкій десять минутъ тому назадъ.

Слѣдующія слова я произнесъ нарочно съ разстановкой, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ:

— Докторъ, эти господа, вѣроятно второпяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова—и хорошенько!

— Не можетъ быть! кричалъ капитанъ:—не можетъ быть! я зарядилъ оба пистолета: развѣ что изъ вашего пуля выкатилась... Это не моя вина!—А вы не имѣете права переряжать... никакого права... Это совершенно противъ правилъ; я не позволяю...

— Хорошо! сказалъ я капитану: — если такъ, то мы будемъ съ вами стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ...

Онъ замаялся.

Грушницкій стоялъ, опустивъ голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь ихъ! сказалъ онъ наконецъ капитану, который хотѣлъ вырвать пистолетъ мой изъ рукъ доктора.—Вѣдь ты самъ знаешь, что они правы.

Напрасно капитанъ дѣлалъ ему разные знаки—Грушницкій не хотѣлъ и смотрѣть.

Между тѣмъ докторъ зарядилъ пистолетъ и подаль мнѣ.

Увидѣвъ это, капитанъ плюнулъ и топнулъ ногой.

— Дуракъ же ты, братецъ! сказалъ онъ:—пошлый дуракъ!.. Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... Подѣломъ же тебѣ! околѣвай себя какъ муха... Онъ отвернулся и, отходя, пробормоталъ: „А всетаки это совершенно противъ правилъ“.

— Грушницкій! сказалъ я,—еще есть время: откажись отъ своей клеветы, и я тебѣ прощу все. Тебѣ не удалось меня подурочить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали...

— Стрѣляйте! отвѣчалъ онъ:—я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста...

Я выстрѣлилъ...

Когда дымъ разсѣялся, Грушницкаго на площадѣ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще висѣлъ на краю обрыва.

Всѣ въ одинъ голосъ вскрикнули.

— *Finita la comedia!* сказалъ я доктору.

Онъ не отвѣчалъ и съ ужасомъ отвернулся.

Я пожалъ плечами и раскланялся съ секундантами Грушницкаго.

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, я замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго. Я невольно закрылъ глаза.

Отвязавъ лошадь, я шагомъ пустился домой; у меня на сердцѣ былъ камень. Солнце казалось мнѣ тускло; лучи его меня не грѣли.

Не доѣзжая до слободки, я повернулъ направо по ущелью. Видѣ челоука былъ бы мнѣ тягостенъ; я хотѣлъ быть одинъ. Бросивъ поводья, опустивъ голову на грудь, я ѣхалъ долго, наконецъ очутился въ мѣстѣ, мнѣ вовсе незнакомомъ; я повернулъ коня назадъ и сталъ отыскивать дорогу;

ужь солнце садилось, когда я подъѣхалъ къ Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказалъ мнѣ, что заходилъ Вернеръ, и подалъ мнѣ двѣ записки: одну отъ него, другую... отъ Вѣры.

Я распечаталъ первую; она была слѣдующаго содержанія:

„Все устроено какъ можно лучше: тѣло привезено обезображенное; пуля изъ груди вынута. Всѣ увѣрены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендантъ, которому, вѣроятно, извѣстна ваша ссора, покачалъ головой, но ничего не сказалъ. Доказательствъ противъ васъ нѣтъ никакихъ, и вы можете спать спокойно... если можете... Прощайте...“

Я долго не рѣшался открыть вторую записку... Что могла она мнѣ писать?.. Тяжелое предчувствіе волновало мою душу.

Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей памяти:

„Я пишу къ тебѣ въ полной увѣренности, что мы никогда болѣе не увидимся. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разставаясь съ тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично: я не вынесла этого испытанія, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это—не правда ли? Это письмо будетъ вмѣстѣ прощаньемъ и исповѣдью: я обязана сказать тебѣ все, что накопилось въ моемъ сердцѣ съ тѣхъ поръ, какъ оно тебя любитъ. Я не стану обвинять тебя—ты поступилъ со мною, какъ поступилъ бы всякій другой мужчина: ты любилъ меня какъ собственность, какъ источникъ радостей, тревогъ и печалей, смѣнявшихся взаимно, безъ которыхъ жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты былъ несчастливъ, и я пожертвовала собою, надѣясь, что когда нибудь ты оцѣнишь мою жертву, что когда нибудь ты поймешь мою глубокую нѣжность, независящую ни отъ какихъ условій. Прошло съ тѣхъ поръ много времени: я проникла во всѣ тайны души твоей... и убѣдилась, что то была надежда напрасная... Горько мнѣ было! Но моя любовь срослась съ душой моей: она потемнѣла, но не угасла.

„Мы расстаемся навѣки; однако ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощила на тебя всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты былъ лучше ихъ, о, нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное—тебѣ одному свойственное, что-то гордое и таинственное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно, ничей взоръ не общаетъ столько блаженства, никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ“.

Дальше она писала о томъ, что мужъ догадался объ ея отношеніяхъ къ Печорину, оскорбилъ ее грубымъ обвиненіемъ, и потому она спѣшно уѣзжаетъ изъ Кисловодска на сѣверъ.

Солнце уже спряталось въ черной тучѣ, отдыхавшей на хребтѣ западныхъ горъ; въ ущельѣ стало темно и сыро. Подкумокъ, пробираясь по камнямъ, ревѣлъ глухо и однообразно. Я скакалъ, задыхаясь отъ нетерпѣнья. Мысль не застать ее въ Пятигорскѣ молоткомъ ударила мнѣ въ сердце. Одну минуту, еще одну минуту видѣть ее, проститься, пожать ея руку... Я молился, проклиналъ, плакалъ, смѣялся... нѣтъ, ничто не выразить моего безпокойства, отчаянія!.. При возможности потерять ее навѣки, Віра стала для меня дороже всего на свѣтѣ, дороже жизни, чести, счастья! Богъ знаетъ, какіе странные, какіе бѣшеные замыслы родились въ головѣ моей... И между тѣмъ я все скакалъ, погоняя безпощадно.—И вотъ я сталъ замѣчать, что конь мой тяжелѣе дышетъ; онъ раза два ужъ спотыкнулся на ровномъ мѣстѣ... Оставалось пять верстъ до Ессентуковъ—казачьей станицы, гдѣ я могъ переѣхать на другую лошадь.

Все было бы спасено, еслибъ у моего коня достало силъ еще на десять минутъ! Но вдругъ, поднимаясь изъ небольшого оврага, при выѣздѣ изъ горъ, на крутомъ поворотѣ, онъ грянулся на землю. Я проворно соскочилъ, хочу поднять его, дергаю за поводъ—напрасно: едва слышный стонъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; черезъ нѣсколько минутъ онъ издохъ; я остался въ степи одинъ, потерявъ послѣднюю надежду; попробовалъ идти пѣшкомъ—ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упалъ на мокрую траву и, какъ ребенокъ, заплакалъ.

И долго я лежалъ неподвижно и плакалъ горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли, какъ дымъ; душа обезсилѣла, рассудокъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся.

Когда ночная гроза и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ, то я понялъ, что гнаться за погибшимъ счастіемъ бесполезно и безразсудно. Чего мнѣ еще надобно?—ее видѣть?—зачѣмъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горькій прощальный поцѣлуй не обогатитъ моихъ воспоминаній, а послѣ него намъ только труднѣе будетъ разставаться.

Мнѣ однако пріятно, что я могу плакать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиной разстроенные нервы, ночь, проведенная безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета и пустой желудокъ.

Все къ лучшему! Это новое страданіе, говоря военнымъ слогомъ, сдѣлало во мнѣ счастливую диверсію. Плакать здорово, и потомъ, вѣроятно, если бъ я не проѣхался верхомъ и не былъ принужденъ на обратномъ пути пройти пятнадцать верстъ, то и эту ночь сонъ не сомкнулъ бы глазъ моихъ.

У Печорина произошло последнее прощальное объяснение съ Меря.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ моихъ что нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться, ея нѣжныя руки, сложенные на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ее.

— Княжна, сказалъ я: вы знаете, что я надъ вами смѣялся?.. Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ:—Слѣдственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой! произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута—и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, сказалъ я, сколько могъ, твердымъ голосомъ и съ принужденной усмѣшкою:—вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись. Мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ее разувѣрить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь—вотъ все, что я могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?.. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мнѣ, блѣдная, какъ мраморъ, только глаза ея чудесно сверкали.

— Я васъ ненавижу... сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Черезъ часъ курьерская тройка мчала меня изъ Кисловодска. За нѣсколько верстъ отъ Ессентуковъ я узналъ близъ дороги трупъ моего лихого коня; сѣдло было снято, вѣроятно, проѣзжимъ казакомъ, и, вмѣсто сѣдла, на сплѣхъ его сидѣли два ворона. Я вздохнулъ и отвернулся...

И теперь здѣсь, въ этой скучной крѣпости, я часто, пробѣгая мыслію прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?.. Нѣтъ, я бы не ужился съ этой долею! Я, какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ

сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-по-малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...

Бѣлинскій.

Литературныя мечтанія.

(Элегія въ прозѣ).

Я правду о тебѣ поразскажу такую,
Что хуже всякой лжи. Вотъ, братъ, рекомендую:
Какъ этакихъ людей учтивѣ зовутъ?..

Горю отъ ума.

Есть ли у васъ хорошія книги? — Нѣтъ, но у насъ есть великіе писатели. — Такъ, по крайней мѣрѣ, у васъ есть Словесность? — Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля.

Баронъ Брамбеусъ.

Помните ли вы то блаженное время, когда въ нашей литературѣ пробудилось было какое-то дыханіе жизни, когда появлялся талантъ за талантомъ, поэма за поэмою, романъ за романомъ, журналъ за журналомъ, альманахъ за альманахомъ, — то прекрасное время, когда мы такъ гордились настоящимъ, такъ лелѣли себя будущимъ, и, гордые нашею дѣйствительностію, а еще болѣе сладостными надеждами, твердо были увѣрены, что имѣемъ своихъ Байроновъ, Шекспировъ, Шиллеровъ, Вальтеръ-Скоттовъ? Увы! гдѣ ты, о bon vieux temps, гдѣ вы, мечты отрадныя, гдѣ ты, надежда-обольститель! какъ все перемѣнилось въ столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарованіе послѣ столь сильнаго, столь сладкаго обольщенія! Подломились ходульки нашихъ литературныхъ атлетовъ, рухнули соломенные подмостки, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вмѣстѣ съ тѣмъ умолкли, заснули, исчезли и тѣ немногія и небольшія дарованія, которыми мы такъ обольщались во время оно. Мы спали и видѣли себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! какъ хорошо идутъ къ каждому изъ нашихъ геніевъ и полугеніевъ сіи трогательныя слова поэта:

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней!

Да—*прежде и нынѣ, тогда и теперь!* Великій Боже!.. Пушкинъ, поэтъ русскій по преимуществу, Пушкинъ, въ сильныхъ и мощныхъ пѣсняхъ котораго впервые пахнуло вѣяніе жизни русской, игривый и разнообразный талантъ котораго такъ любила и лелѣяла Русь, къ гармоническимъ звукамъ котораго она такъ жадно прислушивалась и на кои отзывалась съ такою любовью, Пушкинъ, авторъ Полтавы и Годунова,—и Пушкинъ, авторъ Анжелю и другихъ мертвыхъ безжизненныхъ сказокъ!.. Козловъ, задумчивый пѣвецъ страданій Чернеца, стойвшихъ столькихъ слезъ прекраснымъ читательницамъ, этотъ слѣпецъ, такъ гармонически передававшій намъ, бывало, свои роскошныя видѣнія, и Козловъ—авторъ балладъ и другихъ стихотвореній, длинныхъ и короткихъ, напечатанныхъ въ „Библіотекѣ для Чтенія“, и о коихъ только и можно сказать, что въ нихъ все обстоитъ благополучно, какъ уже было замѣчено въ „Молвѣ“!.. Какая разница!.. Много бы, очень много могли мы прибавить здѣсь такихъ печальныхъ сравненій, такихъ горестныхъ контрастовъ, но... Словомъ, какъ говоритъ Ламартинъ:

Les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides!

Какіе же новые боги заступили вакантныя мѣста старыхъ? Увы, они смѣнили ихъ, не замѣнивъ! Прежде наши аристархи, заносившіеся юными надеждами, всѣхъ обольщавшими въ то время, восклицали въ чадѣ дѣтскаго, простодушнаго упоенія: „Пушкинъ — сѣверный Байронъ, представитель современнаго человѣчества!“ Нынѣ, на нашихъ литературныхъ рынкахъ, наши неутомимые герольды вопіютъ громко: „Кукольникъ, великій Кукольникъ, Кукольникъ—Байронъ, Кукольникъ—отважный соперникъ Шекспира! на колѣна передъ Кукольникомъ. Теперь Баратынскихъ, Подолинскихъ, Языковыхъ, Туманскихъ, Ознобишиныхъ смѣнили гг. Тимофеевы, Ершовы; на поприщѣ ихъ замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословицѣ, на безлюдьи и Оома дворянинъ. Первые или потчуютъ насъ изрѣдка старыми погудками на старый же ладъ, или хранятъ скромное молчаніе; послѣдніе размѣниваются комплиментами, называютъ другъ друга геніями и кричатъ во всеуслышаніе, чтобы поскорѣе раскупали ихъ книги. Мы всегда были слишкомъ неумѣренны въ раздатѣ лавровыхъ вѣнковъ генія, въ похвалахъ корифеямъ нашей поэзіи: это нашъ давнишній порокъ; по крайней мѣрѣ, прежде причиною этого было невинное обольщеніе, происходившее изъ благороднаго источника—любви къ родному; нынѣ же рѣшительно все основано на корыстныхъ расчетахъ, сверхъ того, прежде еще и было чѣмъ похвастаться; нынѣ же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талантъ г-на Кукольника, мы все-таки не запинаясь можемъ сказать утвердительно, что между Пушкинымъ и имъ, г-номъ Кукольникомъ, пространство неизмѣримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина

Какъ до звѣзды небесной далеко!

Да—Крыловъ и Г. Зилвъ, „Юрій Милославскій“ Загоскина и „Черная Женищина“ г-на Греча, „Послѣдній Новикъ“ Лажечникова и „Стрѣльцы“ г-на Масальскаго и „Мазепа“ г-на Булгарина, повѣсти Одоевскаго, Марлинскаго, Гоголя—и повѣсти, съ позволенія сказать, г-на Брамбеуса!!!... Что все это означаетъ! Какія причины такой пустоты въ нашей литературѣ? Или и въ самомъ дѣлѣ—у насъ нѣтъ литературы?..

Pas de grâcel
HUGO. MARION DE LORME.

Да—у насъ нѣтъ литературы!

„Вотъ прекрасно! вотъ новость!“ слышу я тысячу голосовъ въ отвѣтъ на мою дерзкую выходку. „А наши журналы, неусыпно подвизающіеся за насъ на ловитвѣ европейскаго просвѣщенія, а наши альманахи, наполненные геніальными отрывками изъ недоконченныхъ поэмъ, драмъ, фантазій, а наши бібліотеки, биткомъ набитыя многими тысячами книгъ русскаго сочиненія, а наши Гомеры, Шекспіры, Гёте, Вальтеръ-Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Аристофаны? Развѣ мы не имѣемъ Ломоносова, Хераскова, Державина, Богдановича, Петрова, Дмитріева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина, Баратынскаго, и пр., и пр. А! что вы на это скажете?“

Что такое литература?

Одни говорятъ, что подъ литературою какого-либо народа должно разумѣть весь кругъ его умственной дѣятельности, проявившейся въ письменности. Вслѣдствіе сего нашу, на примѣръ, литературу составляютъ: Исторія Карамзина и Исторія гг. Эмина и С. Н. Глинки, историческія розысканія Шлецера, Эверса, Каченовскаго и статья г. Сѣнковского объ Исландскихъ сагахъ, Физики Велланскаго и Павлова и „Разрушеніе Коперниковой системы“ съ брошюркою о клопахъ и тараканахъ; „Борисъ Годуновъ“ Пушкина и нѣкоторыя сцены изъ историческихъ драмъ со штиами и анисовкою, оды Державина и „Александроида“ г. Свѣчина, и пр. Если такъ, то у насъ есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менѣе того громкими сочиненіями.

Другіе подъ словомъ литература понимаютъ собраніе извѣстнаго числа изящныхъ произведеній, то есть, какъ говорятъ французы, *chef-d'oeuvres de littérature*. И въ этомъ смыслѣ у насъ есть литература, ибо мы можемъ похвалиться болѣшимъ или меньшимъ числомъ сочиненій Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоѣдова, Батюшкова, Жуковскаго, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинскаго, кн. Одоевскаго и еще нѣкоторыхъ другихъ. Но есть ли хотя одинъ языкъ на свѣтѣ, на коемъ бы не было сколькихъ нибудь образцовыхъ художественныхъ произведеній, хотя народныхъ пѣсень? Удивительно ли, что въ Россіи, которая обширностію

своею превосходить всю Европу, а народонаселеніемъ каждое европейское государство, отдѣльно взятое,—удивительно ли, что въ этой новой Римской Имперіи явилось людей съ талантами болѣе, нежели, напримѣръ, въ какойнибудь Сербіи, Швеціи, Даніи и другихъ крохотныхъ земляхъ? Все это въ порядкѣ вещей, изъ всего этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы у насъ была литература.

Но есть еще третье мнѣніе, не похожее ни на одно изъ обоихъ предыдущихъ, — мнѣніе, вслѣдствіе котораго литературою называется собраніе такого рода художественно-словесныхъ произведеній, которыя суть плодъ свободнаго вдохновенія и дружныхъ (хотя и не условленныхъ) усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся вѣтъ его, вполне выражающихъ и воспроизводящихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди котораго они рождены и воспитаны, жизнь котораго они живутъ и духомъ котораго дышатъ, выражающихъ въ своихъ творческихъ произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній. Въ исторіи такой литературы нѣтъ и не можетъ быть скачковъ; напротивъ, въ ней все послѣдовательно, все естественно, нѣтъ никакихъ насильственныхъ или принужденныхъ переломовъ, происшедшихъ отъ какогонибудь чуждаго вліянія. Такая литература не можетъ въ одно и то же время быть и французскою, и нѣмецкою, и англійскою, и итальянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу разъ. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но, увы! какъ много есть пошлыхъ истинъ, которыя у насъ должно твердить и повторять каждый день во всеуслышаніе! У насъ, у которыхъ такъ зыбки, такъ шатки литературныя мнѣнія, такъ темны и загадочны литературные вопросы; у насъ, у которыхъ одинъ недоволенъ второю частію Фауста, а другой въ восторгѣ отъ Черной Женщины, одинъ бранитъ кровавые ужасы Лукреціи Борджіа, а тысячи улаживаютъ себя романами гг. Булгарина и Орлова; у насъ, у которыхъ публика есть настоящее изображеніе людей послѣ вавилонскаго столпотворенія, гдѣ

Одинъ кричитъ арбуза,
А тотъ соленыхъ огурцовъ;

наконецъ, у насъ, у которыхъ такъ дешево продаются и покупаются лавровые вѣнки генія, у которыхъ всякая смышленность, вспомошествоваемая дерзостію и безстыдствомъ, пріобрѣтаетъ себѣ громкую извѣстность, нагло ругаясь надъ всѣмъ святымъ и великимъ челоуѣчества подъ какоюнибудь баронскою маскою; у насъ, у которыхъ купчая крѣпость на цѣлую литературу и всѣхъ ея геніевъ доставляетъ тысячи подписчиковъ на иной торговый журналъ; у насъ, у которыхъ нелѣпныя бредни, воскрешающія собою позабытую ученость Тредьяковскихъ и Эминныхъ, громогласно объявляются всемірными статьями, долженствующими произвести рѣшительный перево-

ротъ въ русской исторіи?.. Нѣтъ: пиши, говори, кричи всякій, у кого есть хоть сколько-нибудь безкорыстной любви къ отечеству, къ добру и истинѣ; не говорю—познаній, ибо многіе печальные опыты доказали намъ, что, въ дѣлѣ истины, познанія и глубокая ученость совсѣмъ не одно и то же съ безпристрастіемъ и справедливостію...

Итакъ, оправдываетъ ли наша словесность послѣднее опредѣленіе литературы, приведенное мною? Чтобъ рѣшить этотъ вопросъ, бросимъ бѣглый взглядъ на ходъ нашей литературы отъ Ломоносова, перваго ея генія, до г-на Кукольника, послѣдняго ея генія.

La vérité! la vérité! rien plus que la vérité!

— „Какъ, что такое? Неужели обзорѣніе?“ спрашиваютъ меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсѣмъ обзорѣніе, а похоже на то. Итакъ—silence!—Но что я вижу? Вы морщитесь, пожимаете плечами, вы хоромъ кричите мнѣ: „Нѣтъ, братъ, стара шутка—не надуешь... мы еще не забыли и прежнихъ обзорѣній, отъ которыхъ намъ жутко приходилось! Мы, пожалуй, напередъ прочтемъ тебѣ наизусть все то, о чемъ ты намъ будешь проповѣдывать. Все это мы и сами знаемъ не хуже тебя. Вѣдь нынѣ не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братіи, непризнаннымъ обзорѣвателямъ, морочить насъ, бѣдныхъ читателей, а теперь всякій обзавелся своимъ умишкомъ и въ состояніи толковать всось и вкривь о томъ и о семъ“...

Что мнѣ отвѣчать вамъ на это неизбежное привѣтствіе?.. Право, ума не приложу... Однакожъ... прочтите, хоть такъ, отъ скуки — вѣдь нынѣ, знаете, нечего читать, такъ оно и естати... Можетъ быть (вѣдь чѣмъ чортъ не шутить!), можетъ быть, вы найдете въ моемъ краткомъ (слышите ли краткомъ!) обзорѣ, если не слишкомъ хитрыя вещи, то и не слишкомъ нелѣпыя, если не слишкомъ новыя, то и не слишкомъ истертыя... Притомъ же, вѣдь чего-нибудь да стоятъ правда, безпристрастіе, благонамѣренность... Что, не вѣрите? — Отворачиваетесь отъ меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, Богъ съ вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нѣтъ; вѣдь и то сказать, вольному воля!.. А впрочемъ, что же я расторговался съ вами? Нѣтъ—прошу не погнѣваться: рады или не рады, а прочесть должны; зачѣмъ же грамотѣ учились? Итакъ, благословясь, къ дѣлу!

Французы называютъ литературу выраженіемъ общества; это опредѣленіе не ново: оно давно намъ знакомо. Но справедливо ли оно? Это другой вопросъ. Если подъ словомъ общество должно разумѣть избранный кругъ, образованнѣйшихъ людей, или, короче сказать, большой свѣтъ, beau monde, тогда это опредѣленіе будетъ имѣть свое значеніе, свой смыслъ, и смыслъ глубокий, но только у однихъ французовъ. Каждый народъ, сообразно съ

своимъ характеромъ, происходящимъ отъ мѣстности, отъ единства или разнообразія элементовъ, изъ коихъ образовалась его жизнь, и историческихъ обстоятельствъ, при коихъ она развилась, играетъ въ великомъ семействѣ чловѣческаго рода свою особенную, назначенную ему провидѣніемъ роль и вноситъ въ общую сокровищницу его успѣховъ на поприщѣ самосовершенствованія свою долю, свой вкладъ; другими словами: каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни чловѣчества. Такимъ образомъ, нѣмцы завладѣли безпредѣльною областю умоврѣнія и анализа, англичане отличаются практическою дѣятельностью, итальянцы—художественнымъ направленіемъ. Нѣмецъ все подводитъ подъ общій взглядъ, все выводитъ изъ одного начала; англичанинъ переплываетъ моря, прокладываетъ дороги, проводитъ каналы, торгуетъ со всѣмъ свѣтомъ, заводитъ колоніи и во всемъ опирается на опытъ, на расчетъ; жизнь итальянца прежнихъ временъ была любовь и творчество, творчество и любовь. Направленіе французовъ есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вѣчно движущаяся. Нѣмецъ творить мысль, открываетъ новую истину; французъ ею пользуется, проживаетъ, издерживаетъ ее, такъ сказать. Нѣмцы обогащаютъ чловѣчество идеями, англичане изобрѣтеніями, служащими къ удобствамъ жизни; французы даютъ намъ законы моды, предписываютъ правила обхожденія, вѣжливости, хорошаго тона. Словомъ, жизнь французъ есть жизнь общественная, паркетная; паркетъ есть еще поприще, на которомъ онъ блистаетъ блескомъ своего ума, познаній, талантовъ, остроумія, образованности. Для французовъ балъ, собраніе—то же, что для грековъ была площадь или игры Олимпійскія; это битва, турниръ, гдѣ, вмѣсто оружія, сражаются умомъ, острою, образованностію, просвѣщеніемъ, гдѣ честолюбіе отражается честолюбіемъ, гдѣ много ломается копій, много выигрывается и проигрывается побѣдъ. Вотъ отчего ни одинъ народъ не можетъ сравняться съ французами въ этой обходительности, въ этой изящной ловкости и любезности, для выраженія которыхъ словами опять-таки способенъ только одинъ французскій языкъ; вотъ отчего всѣ усилія европейскихъ народовъ сравняться въ семъ отношеніи съ французами всегда оставались тщетными; вотъ отчего всѣ другія общества всегда были, суть и будутъ смѣшными карикатурами, жалкими пародіями, злыми эпиграммами на французское общество; вотъ почему, говорю я, это опредѣленіе словесности, вслѣдствіе котораго она должна быть выраженіемъ общества, такъ глубоко и вѣрно у французовъ. Ихъ литература всегда была вѣрнымъ отраженіемъ, зеркаломъ общества, всегда шла съ нимъ рука объ руку, забывая о массѣ народа, ибо ихъ общество есть высочайшее проявленіе ихъ народнаго духа, ихъ народной жизни. Для писателей французскихъ общество есть школа, въ которой они учатся языку, заимствуютъ образъ мыслей и которое они изображаютъ въ своихъ твореніяхъ. Совѣмъ не такъ у другихъ народовъ. Въ Германіи, напримѣръ, не тотъ ученъ, кто богатъ или вхожъ въ лучшіе дома и блистательнѣйшія об-

щества; напротивъ, геній Германіи любитъ чердаки бѣдняковъ, скромные углы студентовъ, убогія жилища пасторовъ. Тамъ все нишетъ или читаетъ, тамъ публика считается милліонами, а писатели тысячами: словомъ, тамъ литература есть выраженіе не общества, но народа. Такимъ же образомъ, хотя и не вслѣдствіе такихъ же причинъ, литературы и другихъ народовъ не суть выраженіе общества, но выраженіе духа народнаго; ибо нѣтъ ни одного народа, жизнь котораго преимущественно проявлялась бы въ обществѣ, и можно сказать утвердительно, что Франція составляетъ въ семъ случаѣ единственное исключеніе. Итакъ, литература непремѣнно должна быть выраженіемъ—символомъ внутренней жизни народа. Впрочемъ, это совѣтъ не есть ея опредѣленіе, но одно изъ необходимѣйшихъ ея принадлежностей и условій. Прежде, нежели я буду говорить о Россіи въ семъ отношеніи, почитаю необходимымъ изложить здѣсь мои понятія объ искусствѣ вообще. Я хочу, чтобы читатели видѣли, съ какой точки зрѣнія смотрю я на предметъ, о которомъ вызвался судить, и вслѣдствіе какихъ причинъ я понимаю то или другое такъ, а не этакъ.

Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единого, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи. Только пламенное чувство смертнаго можетъ постигать въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечныя, а кровь—чистый эфиръ. Для этой идеи нѣтъ покоя: она живетъ безпрестанно, то есть безпрестанно творить, чтобы разрушать, и разрушаетъ, чтобы творить. Она воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, въ блудящую комету; она живетъ и дышитъ — и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей, и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь, и въ шелестѣ листьевъ, и въ журчаньи ручья, и въ рыканіи льва, и въ слезѣ младенца, и въ улыбкѣ красоты, и въ волѣ человѣка, и въ стройныхъ созданіяхъ генія... Кружится колесо времени съ быстротою непостижимую, въ безбрежныхъ равнинахъ неба потухаютъ свѣтила, какъ истощившіеся вулканы, и зажигаются новыя; на землѣ проходятъ роды и поколѣнія и замѣняются новыми, смерть истребляетъ жизнь, жизнь уничтожаетъ смерть; силы природы борются, враждуютъ и умиротворяются силами посредствующими, и гармонія царствуетъ въ этомъ вѣчномъ броженіи, въ этой борьбѣ началъ и веществъ. Такъ—идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи; за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительною грозой чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного сѣвера поселила оленя. Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да приобщается

къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной зяждущей любви! Итакъ, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высокимъ назначеніемъ, но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба; не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего я въ чувствѣ любви. Итакъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья другихъ, жертвуй воимъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего я, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!.. Что? Ты не рѣшаешься? Этотъ подвигъ тебя страшитъ, кажется тебѣ не по силамъ?... Ну, такъ вотъ тебѣ другой путь,—онъ шире, спокойнѣе, легче: люби самого себя больше всего на свѣтѣ; плачь, дѣлай добро лишь изъ выгоды, не бойся зла, когда оно приноситъ тебѣ пользу. Помни это правило: съ нимъ тебѣ вездѣ будетъ тепло! Если ты рожденъ сильнымъ земли, гни твой хребетъ, ползи змѣею между тиграми, бросайся тигромъ между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми вѣнцами, рамена согни подъ грузомъ незаслуженныхъ почестей и титлъ. Весела и блестяща будетъ жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холодъ или голодъ, что такое угнетеніе и оскорбленіе,—все будетъ трепетать тебя, вездѣ покорность и услужливость, отовсюду лестъ и хваленія, и поэтъ напишетъ тебѣ посланіе и оду, гдѣ сравнитъ тебя съ полубогами, и журналистъ прокричитъ во всеуслышаніе, что ты покровитель слабыхъ и сирыхъ, столпъ и опора отечества, правая рука государя! Какая тебѣ нужда, что въ душѣ твоей каждую минуту будетъ разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь въ безпрестанномъ раздорѣ съ самимъ собою, что въ душѣ твоей будетъ слишкомъ жарко, а въ сердцѣ слишкомъ холодно, что вопли угнетенныхъ тобою будутъ преслѣдовать тебя и на свѣтломъ пиру, и на мягкомъ ложѣ сна, что тѣни погубленныхъ тобою окружаютъ твой болѣзненный одръ, составляютъ около него адскую пляску и съ яростнымъ хохотомъ будутъ веселиться твоими послѣдними, предсмертными страданіями, что передъ твоими взорами откроется ужасная картина нравственнаго уничтоженія за гробомъ, мукъ вѣчныхъ!.. Э, любезный мой, ты правъ: жизнь сонъ, и не увидишь, какъ пройдетъ. Зато весело поживешь, сладко поѣшь, мягко поспишь, повластвуешь надъ своими ближними, а вѣдь это чего-нибудь да стоитъ! Если же, при твоёмъ рожденіи, природа возложила на твое чело печать генія, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта, если міродержавныя судьбы обрекли тебя быть двигателемъ человѣчества, апостоломъ истины и знанія, вотъ опять передъ то-

бою два неизбежные пути. Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отвергай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай пороки и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ, смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, роднаго тебѣ неба. Трудно? тяжело?... Ну, такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое вѣщее слово, которое ниспосылаетъ тебѣ Богъ въ святія минуты вдохновенія; покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты лишь умѣй кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о безсмертіи, о потомствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласитъ о тебѣ, что ты великій поэтъ, гений, Байронъ, Гёте!...

Вотъ нравственная жизнь вѣчной идеи. Проявленіе ея — борьба между добромъ и зломъ, любовію и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, а безъ дѣйствованія нѣтъ жизни! Чтѣ представляютъ собою индивидуумы, то же представляетъ человѣчество: оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потомки варваровъ, нахлынувшихъ изъ Азіи въ Европу, вмѣсто того, чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлѣющій міръ; изъ гнилого трупа Римской Имперіи возникли мощные народы, сдѣлавшіеся сосудомъ благодати... Чтѣ означаютъ походы Александровъ, безпокойная дѣятельность Цезарей, Карловъ? Движеніе вѣчной идеи, которой жизнь состоитъ въ непрерывной дѣятельности...

Какое же назначеніе и какая цѣль искусства?... Изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства! Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Посему поэтъ болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; болѣе, нежели кто-либо другой, долженъ быть чистъ и дѣвственъ душою; ибо въ ея святилище можно входить только съ ногами обнаженными, съ руками омовенными, съ умомъ мужа и сердцемъ младенца; ибо только сіи наследуютъ царствіе небесное, ибо только въ гармоніи ума и чувства заключается высочайше совершенство человѣка!.. Чѣмъ выше гений поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу и тѣмъ съ большимъ успѣхомъ представляетъ намъ ее въ ея высшей связи и жизни. Если Байронъ взвѣсилъ ужасъ и страданье, если онъ постигъ и выразилъ только муки сердца, адъ души, это значитъ, что онъ постигъ только одну сторону бытія вселенной, что онъ вырвалъ и показалъ намъ только одну страницу онаго. Шиллеръ передалъ намъ тайны неба, показалъ одно прекрасное жизни, такъ какъ онъ понималъ его самъ, пропѣлъ намъ только свои завѣтные думы и мечтанія; злое жизни у него или невѣрно или искажено преувеличеніемъ; Шиллеръ въ семъ отношеніи равенъ Байрону. Но Шекспиръ, божественный, великій, недостижимый Шек-

спирь, постигъ и адъ, и землю, и небо: царь природы, онъ взялъ равную дань и съ добра, и съ зла и подсмотрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясно-видѣніи біеніе пульса вселенной! Каждая его драма есть міръ въ миниатюрѣ; у него нѣтъ, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ. Посмотрите, какъ безчеловѣчно смѣется онъ надъ этимъ бѣднымъ Гамлетомъ, съ замысломъ гиганта и волею ребенка, который на каждомъ шагѣ падаетъ подъ тяжестью подвига, предпринятаго не по силамъ! Спросите у Шекспира, спросите у этого царя чародѣевъ: для чего онъ сдѣлалъ изъ Лира слабого, полоумнаго старичишку, а не идеальнаго отца, какъ Дюсисъ, или Гнѣдичъ; для чего онъ представилъ въ Макбетѣ человѣка, сдѣлавшагося злодѣемъ по слабости характера, а не по влеченію ко злу, а въ леди Макбетъ злодѣйку по чувству; для чего онъ сдѣлалъ изъ Корделии нѣжную, любящую дочь, съ мягкимъ женскимъ сердцемъ, а на ея сестеръ наслалъ фурій зависти, честолюбія и неблагодарности? Онъ сказалъ бы вамъ въ отвѣтъ, что такъ бываетъ въ мірѣ, что иначе быть не можетъ! Да, это безпристрастіе, эта холодность поэта, который какъ будто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ, мнѣ какое дѣло! есть высочайшій зенитъ художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, о коихъ говорятъ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ;
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье,
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Въ самомъ дѣлѣ, развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ безъ отношеній?.. Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаднаго тигра, статную лошадь и безобразнаго кита, красавицу-черкешенку и урода негра? Развѣ онъ больше любитъ голубя, чѣмъ ястреба; соловья, чѣмъ лягушку; газель, чѣмъ удава? Для чего же поэтъ долженъ изображать вамъ одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Ганъ Исландецъ можетъ существовать въ природѣ, то я, право, не понимаю, чѣмъ онъ хуже какого-нибудь Карла Моора, или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, какъ человѣка, обожаю Позу, какъ героя, и ненавижу Гана Исландца, какъ чудовище; но какъ созданія фантазіи, какъ частныя явленія общей жизни, они для меня всѣ равно прекрасны. Если поэтъ изображаетъ вамъ, подобно какому-нибудь Сю, одно ужасное, одно злое природы, это доказываетъ, что кругозоръ его ума тѣсенъ, что его творческій геній ограниченъ, а ничуть не обнаруживаетъ въ немъ дурного, безнравственнаго человѣка. Вотъ, когда онъ своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть

на жизнь съ его точки зрѣнія, въ такомъ случаѣ онъ уже и не поэтъ, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамѣренный, достойный проклятія, ибо поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя. Доколѣ поэтъ слѣдуетъ безочетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, дотолѣ онъ нравственъ, дотолѣ онъ и поэтъ; но какъ скоро онъ предположилъ себѣ цѣль, задалъ тему, онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе и заставляетъ меня сожалѣть о себѣ, если, при истинномъ талантѣ, имѣетъ похвальную цѣль, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредныхъ мыслей. Вамъ нравится ода „Богъ“ Державина? Но этотъ же Державинъ написалъ „Мельника“. Вы осуждаете Пушкина за многія вольности въ „Русланъ и Людмилъ“? Но этотъ же Пушкинъ создалъ вамъ „Бориса Годунова“. Отчего же такія противорѣчія въ ихъ художественномъ направленіи? Оттого, что они хорошо помнятъ правило:

Теперь гонись за жизнью дивной,
И каждый мигъ въ ней воскрешай,
На каждый звукъ ея привычный
Отзывной пѣснью отвѣчай!

Да—искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ! Прекрасно было гдѣ-то сказано, что повѣсть есть краткій эпизодъ изъ безконечной поэмы судебъ человѣческихъ! Подъ это опредѣленіе повѣсти подходятъ всѣ роды художественныхъ созданій. Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой бы ему видна была вся природа въ сокращеніи, въ миниатюрѣ, какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать ему почувствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ вселенную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согрѣваетъ ее. Наслажденіе же изящнымъ должно состоять въ минутномъ забвеніи нашего я, въ живомъ сочувствіи съ общою жизнію природы, и поэтъ всегда достигнетъ этой прекрасной цѣли, если его произведеніе есть плодъ возвышеннаго ума и горячаго чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось изъ его души...

Ахъ! если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцевъ бы намъ нѣсколько занять
Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ!
Воскреснемъ ли когда отъ чужезластья моль,
Чтобъ умный, добрый нашъ народъ
Хотя по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ!
„Горе отъ ума“.

Итакъ, теперь должно рѣшить слѣдующій вопросъ: чтó такое наша литература—выраженіе общества или выраженіе духа народа? Рѣшеніе этого

вопроса будетъ исторіею нашей литературы и вмѣстѣ исторіею постепеннаго хода нашего общества со временъ Петра Великаго. Вѣрный моему слову, я не буду говорить, съ чего начинались литературы всѣхъ народовъ и какъ онѣ развивались, ибо это должно быть общимъ мѣстомъ для всякаго читающаго человѣка.

Каждый народъ, вслѣдствіе непреложнаго закона провидѣнія, долженъ выражать своею жизнію одну какую нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества; въ противномъ случаѣ, этотъ народъ не живетъ, а только прозябаетъ, и его существованіе ни къ чему не служитъ. Односторонность вредна для всякаго человѣка въ частности, вредна для всего человѣчества. Когда весь міръ сдѣлался Римомъ, когда всѣ народы начали мыслить и чувствовать по-римски, тогда прервался ходъ человѣческаго ума, ибо для него уже не стало болѣе цѣли, ибо ему казалось, что онъ уже дошелъ до геркулесовскихъ столбовъ своего поприща. Утомленный властелинъ міра опочилъ на своихъ лаврахъ; жизнь его кончилась, ибо кончилась его дѣятельность, стремленіе къ которой появлялось у него только въ однихъ безпутныхъ оргіяхъ. Онъ сдѣлалъ ужасную ошибку, думая что вѣтъ Рима, наслѣдовавшаго, по праву завоеванія, сокровища греческаго образованія, нѣтъ міра, нѣтъ свѣта, нѣтъ просвѣщенія! Бѣдственное заблужденіе! Оно было одною изъ важнѣйшихъ причинъ нравственной смерти сего великаго колосса. Для обновленія человѣчества надобно было, чтобы этотъ хаосъ смерти и тлѣнія огласился благодатнымъ словомъ Сына Человѣческаго: *„Придите ко Мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы!“* Надобно было, чтобы толпы варваровъ разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своимъ мечомъ на множество могуществъ, приняли Слово и пошли каждый своимъ особеннымъ путемъ къ единой цѣли.

Да—только идя по разнымъ дорогамъ, человѣчество можетъ достигнуть своей единой цѣли; только живя самобытною жизнію, можетъ каждый народъ принести свою долю въ общую сокровищницу. Въ чемъ же состоитъ эта самобытность каждаго народа? Въ особенномъ, одному ему принадлежащемъ образѣ мыслей и взглядѣ на предметы; въ религіи, языкѣ и болѣе всего въ обычаяхъ. Всѣ эти обстоятельства чрезвычайно важны, тѣсно соединены между собою и условливаютъ другъ друга, и всѣ проистекаютъ изъ одного общаго источника—причины всѣхъ причинъ—климата и мѣстности. Между сими отличіями каждаго народа обычаи играютъ едва ли не самую важную роль, составляютъ едва ли не самую характеристическую черту оныхъ. Невозможно представить себѣ народа безъ религіозныхъ понятій, облеченныхъ въ формы богослуженія; невозможно представить себѣ народа, не имѣющаго одного общаго для всѣхъ сословій языка; но еще менѣе возможно представить себѣ народъ, не имѣющій особенныхъ, одному ему свойственныхъ обычаевъ. Эти обычаи состоятъ въ образѣ одежды, прототипъ которой находится въ климатѣ страны, въ формахъ домашней и об-

щественной жизни, причина коихъ скрывается въ вѣрованіяхъ, повѣрьяхъ и понятіяхъ народа, въ формахъ обращенія между недѣлимыми государствами, оттѣнки которыхъ проистекають отъ гражданскихъ постановленій и различія сословій. Всѣ эти обычаи укрѣпляются давностію, освящаются временемъ и переходятъ изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, какъ наслѣдіе потомковъ отъ предковъ. Они составляютъ фзіономію народа, и безъ нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта небывалая и несбыточная. Чѣмъ младенченственнѣе народъ, тѣмъ рѣзче и цвѣтнѣе его обычаи, тѣмъ большую полагаетъ онъ въ нихъ важность; время и просвѣщеніе подводятъ ихъ подъ общій уровень; но они могутъ измѣняться не иначе, какъ тихо, незамѣтно, и притомъ одинъ по одному. Надобно, чтобы самъ народъ добровольно отказывался отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ и принималъ новые; но и тутъ своя борьба, свои битвы на смерть, свои старовѣры и раскольники, классики и романтики. Народъ крѣпко дорожитъ обычаями, какъ своимъ священнѣйшимъ достояніемъ, и посягательство на внезапную и рѣшительную реформу оныхъ безъ своего согласія почитаетъ посягательствомъ на свое бытіе. Посмотрите на Китай: тамъ масса народа исповѣдуетъ нѣсколько различныхъ вѣръ; высшее сословіе, мандарины, не знаютъ никакой и только изъ приличія исполняютъ религіозные обряды; но какое у нихъ единство и общность обычаевъ, какая самостоятельность, особность и характерность! какъ упорно они ихъ держатся! Да, обычаи—дѣло святое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кромѣ силы обстоятельствъ и успѣховъ въ просвѣщеніи! Человѣкъ, самый развратный, закоренѣлый въ порокахъ, смѣющійся надъ всѣмъ святымъ, покоряется обычаямъ, даже внутренно смѣясь надъ ними. Разрушьте ихъ внезапно, не замѣнивъ тотчасъ же новыми, и вы разрушите всѣ опоры, разорвете всѣ связи общества, словомъ, уничтожите народъ. Почему это такъ? Потому же самому, почему рыба привольно въ водѣ, птица въ воздухѣ, звѣрю на землѣ, гадинѣ подъ землею. Народъ, насильственно введенный въ чуждую ему сферу, похожъ на связаннаго человѣка, котораго бичомъ понуждаютъ къ бѣгу. Всякій народъ можетъ перенимать у другого, но онъ необходимо налагаетъ печать собственнаго генія на эти займы, которые у него принимаютъ характеръ подражаній. Въ этомъ-то стремленіи къ самостоятельности и оригинальности, проявляющемся въ любви къ роднымъ обычаямъ, заключается причина взаимной ненависти у народовъ младенчествующихъ. Вслѣдствіе сей-то причины, русскій называлъ бывало нѣмца нехристью, а турокъ еще и теперь, почитаетъ поганымъ всякаго франка и не хочетъ ѣсть съ нимъ изъ одного блюда: религія въ семъ случаѣ играетъ не исключительно главную роль.

На востокъ Европы, на рубежѣ двухъ частей міра, провидѣніе поселило народъ, рѣзко отличающійся отъ своихъ западныхъ сосѣдей. Его колыбелью былъ свѣтлый югъ; мечъ азіатца-руссѣ далъ ему имя; издыхающая Византія завѣщала ему благодатное Слово спасенія; оковы татарина связали

крѣпкими узами его разъединенныя части, рука хановъ спаяла ихъ его же кровью; Іоаннъ III научилъ его бояться, любить и слушаться своего царя, заставилъ его смотрѣть на царя, какъ на провидѣніе, какъ на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей волѣ и признающую надъ собою единую Божию волю. И этотъ народъ сталъ хладенъ и спокоенъ, какъ снѣга его родины, когда мирно жилъ въ своей хижинѣ; быстръ и грозенъ, какъ небесный громъ его краткаго, но палящаго лѣта, когда рука царя показывала ему врага; удалъ и разгуленъ, какъ вьюги и непогоды его зимы, когда пировалъ на своей волѣ; неповоротливъ и лѣнивъ, какъ медвѣдь его непроходимыхъ дебрей, когда у него было много хлѣба и браги; смысленъ, смѣтливъ и лукавъ, какъ кошка, его домашній пенатъ, когда нужда учила его ѣсть калачи. Крѣпко стоялъ онъ за церковь Божию, за вѣру протцевъ, непоколебимо былъ вѣренъ батюшкѣ-царю православному; его любимая поговорка была: „мы всѣ Божіи да цареви“; Богъ и царь, воля Божія и воля царева слились въ его понятіи воедино. Свято хранилъ онъ простые и грубые нравы праѣдовъ и отъ чистаго сердца почиталъ иноземные обычаи дьявольскимъ навожденіемъ. Но этимъ не ограничивалась вся поэзія его жизни, ибо умъ его былъ погруженъ въ тихую дремоту и никогда не выступалъ изъ своихъ завѣтныхъ рубежей; ибо онъ не преклонялъ колѣнъ передъ женщиною, и его гордая и дикая сила требовала отъ нея рабской покорности, а не сладкой взаимности; ибо быть его былъ однообразенъ, ибо только буйныя игры и удалая охота оцвѣтляли этотъ бытъ; ибо только одна война возбуждала всю мощь его хладной, желѣзной души, ибо только на кровавомъ раздолѣ битвы она бушевала и веселилась на всей своей волѣ. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная. Въ то время, когда дѣятельная, кипучая жизнь старѣйшихъ представителей человѣческаго рода двигалась впередъ съ пестротою неимоверною, они ни однимъ колесомъ не зацѣплялись за пружины ея хода. Итакъ, этому народу надобно было приобщиться къ общей жизни человѣчества, составить часть великаго семейства человѣческаго рода. И вотъ у этого народа явился царь мудрый и великій, кроткій безъ слабости, грозный безъ тиранства; онъ первый замѣтилъ, что нѣмецкіе люди не басурманы, что у нихъ есть много такого, что пригодилось бы и его подданнымъ, есть много такого, что имъ совершенно ни къ чему негодится. И вотъ онъ началъ ласкать людей нѣмецкихъ и прикармливать ихъ своимъ хлѣбомъ-солью, указалъ своимъ людямъ перенимать у нихъ ихъ хитрыя художества. Онъ построилъ ботикъ и хотѣлъ пуститься въ море, доселѣ для его народа страшное и невѣдомое; онъ приказалъ заморскимъ комедіантамъ тѣшить свое царское величество, крѣпко-накрѣпко заказавъ между тѣмъ православному русскому человѣку, подъ опасеніемъ лишенія носа, нюхать табакъ, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что въ его время Русь впервые почувала у себя заморскій духъ, котораго дотолѣ было видомъ не

видать, слыхомъ не слыхать. И вотъ умеръ этотъ добрый царь, а на престолъ взошелъ юный сынъ его, который, подобно богатырямъ Владиміровыхъ временъ, еще въ дѣтствѣ бросалъ за облака стопудовыя палицы, гнулъ ихъ руками, ломалъ ихъ о колѣнки. Это была олицетворенная мощь, олицетворенный идеалъ русскаго народа въ дѣятельныя мгновенія его жизни; это былъ одинъ изъ тѣхъ исполиновъ, которые поднимали на рамена свои шаръ земной. Для его желѣзной воли, не знавшей препонъ, была только одна цѣль—благо народа. Задумалъ онъ думу крѣпкую, а задумать для него значило—исполнить. Увидѣлъ чудеса и дива заморскія и захотѣлъ пересадить ихъ на родную почву, не думая о томъ, что эта почва была слишкомъ еще жестка для иноземныхъ растений, что не по нимъ была и зима русская; увидѣлъ онъ вѣковые плоды просвѣщенія и захотѣлъ въ одну минуту присвоить ихъ своему народу.

Подумано—сказано, сказано—сдѣлано: русскій не любитъ ждать. Ну—русскій человѣкъ, снаряжайся „по царскому наказу, боярскому приказу, по нѣмецкому маниру“... Прочь, достопочтенныя окладистыя бороды! прости и ты, простая и благородная стрижка волосъ въ кружало, ты, которая такъ хорошо шла къ этимъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замѣнили огромныя парики, осыпанные мукою! Простите, долгополые охабни нашихъ бояръ, выложенныя, обшитыя серебромъ и золотомъ! Васъ замѣнили кафтаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный поэтический сарафанъ нашихъ барынь и боярышенъ, и ты, кисейная рубашка съ пышными рукавами, и ты, высокій, униженный жемчугомъ повойникъ—простой чародѣйскій нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянцу нашихъ бѣлоликихъ и голубоокихъ красавицъ! Тебя замѣнили робы съ фижмами, роброндами съ длинными-предлинными хвостами! Бѣлила и румяна, потѣснились немножко, дайте мѣсто чернымъ мушкамъ! Простите и вы, заунывные русскія пѣсни, и ты, благородная и граціозная пляска; не ворковать ужъ нашимъ красавицамъ-голубкамъ, не заливаться соловьемъ, не плавать по полу павами! Нѣтъ! Пошли аріи и романсы съ выводомъ верхнихъ нотокъ:

... Богъ мой!

Приди въ чертогъ ко мнѣ влатой!

пошла живописная ломка въ минуэтахъ, сладострастное круженъе въ вальсахъ...

И все завертѣлось, все закружилось, все помчалось стремглавъ. Каза-лось, что Русь въ тридцать лѣтъ хотѣла вознаградить себя за цѣлыя столѣтія неподвижности. Будто по магію волшебнаго жезла, маленькій ботинокъ царя Алексѣя превратился въ грозный флотъ императора Петра, непокорныя дружины стрѣльцовъ въ стройные полки. На стѣнахъ Азова была брошена перчатка Портѣ: горе тебѣ, луна двурога! На поляхъ Лѣсного и берегахъ

Ворсклы былъ жестоко отомщенъ позоръ нарвской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорѣзывать дѣвственную почву земли русской: зашевелилась торговля; застучали молоты, захлопали станы: зашевелилась промышленность!

Да—много было сдѣлано великаго, полезнаго и славнаго! Петръ былъ совершенно правъ: ему некогда было ждать. Онъ зналъ, что ему не два вѣка жить, и потому спѣшилъ жить, а жить для него значило—творить. Но народъ смотрѣлъ иначе. Долго онъ спалъ, и вдругъ могучая рука прервала его богатырскій сонъ: съ трудомъ раскрылъ онъ свои отяжелѣвшія вѣжды и съ удивленіемъ увидѣлъ, что къ нему ворвались чужеземные обычаи, какъ незваные гости, не снявши сапогъ, не помолясь святымъ иконамъ, не поклонившись хозяину; что они вцѣпились ему въ бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали съ него величественную одежду и надѣли шутовскую, исказили и испестрили его дѣвственный языкъ и нагло нарутались надъ святыми обычаями его праотцевъ, надъ его задушевными вѣрованіями и привычками; увидѣлъ—и ужаснулся... Неловко, непривычно и неподручно было русскому человѣку ходить, заложа руки въ карманы; онъ спотыкался, подходя къ ручкамъ дамъ, падалъ, стараясь хорошенько распаркнуться. Занявъ формы европеизма, онъ сдѣлался только пародіею европейца. Просвѣщеніе, подобно завѣтному слову искупленія, должно приниматься съ благоразумною постепенностью, по сердечному убѣжденію, безъ оскорбленія святыхъ праотческихъ нравовъ: таковъ законъ провидѣнія!.. Повѣрьте, что русскій народъ никогда не былъ заклятымъ врагомъ просвѣщенія, онъ всегда готовъ былъ учиться; только ему нужно было начать свое ученіе съ азбуки, а не съ философіи, съ училища, а не съ академіи. Борода не мѣшаетъ считать звѣзды: это извѣстно въ Курскѣ!

Какое же слѣдствіе вышло изъ всего этого? Масса народа упорно осталась тѣмъ, чтó и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука генія. Что жъ это за общество! Я не хочу вамъ много говорить объ немъ: прочтите „Недоросля“, „Горе отъ ума“, „Евгенія Онегина“, „Дворянскіе Выборы“ и новый романъ Лажечникова, когда онъ выйдетъ; прочтите и вы узнаете его сами лучше меня...

Такъ, по крайней мѣрѣ, давайте же намъ ваше обозрѣніе русской литературы, которое вы сулите въ каждомъ нумерѣ „Молвы“ и котораго мы еще по сію пору не видали! Судя по такимъ огромнымъ приступамъ, мы страхъ боимся, чтобы оно не было длиннѣе и скучнѣе „Фантастическаго Путешествія“ барона Брамбеуса.

Я и самъ не знаю, любезные читатели, какъ оно будетъ длинно. Можетъ быть, изъ него выйдетъ и преуморительный уродецъ: избушка на курьихъ ножкахъ, царь съ ноготокъ, борода съ локотокъ, а голова съ пивной котелъ. Чтó дѣлать: не я первый, не я послѣдній; у насъ это такъ въ модѣ. Впрочемъ, если мои приступы не отбили у васъ охоты увидѣть заключеніе,

если вы имѣете столько терпѣнія читать, сколько я писать, то увидите начало, а можетъ быть и конецъ моего обозрѣнія.

Впередъ, впередъ, моя исторія!

Пушкинъ.

Итакъ, народъ или, лучше сказать, масса народа и общество пошли у насъ врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своихъ заунывныхъ пѣсняхъ, въ коихъ изливалась его душа въ горѣ и въ радости; второе же видимо измѣнялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже говорить *русскій языкъ*, забыло поэтическия преданія и вымыслы своей родины, эти прекрасныя пѣсни, полныя глубокой грусти, сладкой тоски и разгуля молодцаго, и создало себѣ литературу, которая была вѣрнымъ его зеркаломъ. Надобно замѣтить, что какъ масса народа, такъ и общество подраздѣлились, особливо послѣднее, на множество видовъ, на множество степеней. Первая показала нѣкоторые признаки жизни и движенія въ сословіяхъ, находившихся въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ обществомъ, въ сословіяхъ людей городскихъ, ремесленниковъ, мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ. Нужда и соперничество иноземцевъ, поселившихся въ Россіи, сдѣлали ихъ дѣятельными и оборотливыми, когда дѣло шло о выгодѣ; заставили ихъ покинуть старинную лѣнь и запечную недвижимость и пробудили стремленіе къ улучшеніямъ и нововведеніямъ, дотолѣ для нихъ столь ненавистнымъ; ихъ фанатическая ненависть къ нѣмецкимъ людямъ ослабѣвала со дня на день и, наконецъ, теперь совсѣмъ исчезла; они кое-какъ понаучились даже грамотѣ и крѣпче прежняго уцѣпились обѣими руками за мудрое правило, завѣщанное имъ отъ праотцевъ: ученіе свѣтъ, а неученіе тьма. Это общааетъ много хорошаго въ будущемъ, тѣмъ болѣе, что сіи сословія ни на волосъ не утратили своей народной фizioноміи. Что касается до нижняго слоя общества, т.-е. *средняго состоянія*, оно раздѣлилось, въ свою очередь, на множество родовъ и видовъ, между коими по своему большинству занимаютъ самое видное мѣсто такъ называемые разночинцы. Это сословіе наиболѣе обмануло надежды Петра Великаго: грамотѣ оно всегда училось на мѣдные гроши, свою русскую смышленность и смѣтливость обратило на предосудительное ремесло толковать указы; выучившись кланяться и подходить къ ручкѣ дамъ, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородныя экзекуціи. Высшее же сословіе общества изъ всѣхъ силъ ударилося въ подражаніе или, лучше сказать, передразниванье иностранцевъ...

Но не о томъ дѣло. Говорятъ, что музы любятъ тишину и боятся грома оружія: мысль совершенна ложная! Однако, какъ бы то ни было, а царствованіе Петра оглашалось одиными проповѣдями, которыя остались только въ памяти ученыхъ, а не народа; ибо это пестрое мозаическое краснорѣчіе или,

скорѣе, разнорѣчіе было не что иное, какъ дурной прививокъ отъ гнилого дерева католическаго схоластицизма западнаго духовенства, а не живой убѣдительный голосъ святыхъ истинъ религіи. Оно у насъ еще не было разсмотрѣно и оцѣнено настоящимъ образомъ. Если вѣрить возгласамъ нашихъ литературныхъ учителей, то въ духовномъ краснорѣчьи мы едва ли не превосходимъ всѣхъ европейскихъ народовъ. Не берусь рѣшать этого вопроса, ибо говорю о немъ мимоходомъ, а ргоровъ, какъ о дѣлѣ, не прямо относящемся къ предмету моего обзора, да и сверхъ того, я мало знакомъ съ памятниками нашего духовнаго краснорѣчія, которое, конечно, не безъ удачныхъ опытовъ.

Не стану также распространяться о Кантемирѣ: скажу только, что я очень сомнѣваюсь въ его поэтическомъ призваніи. Мнѣ кажется, что его прославленные сатиры были скорѣе плодомъ ума и холодной наблюдательности, чѣмъ живого и горячаго чувства. И диво ли, что онъ началъ съ сатиръ—плода осенняго, а не съ одъ—плода весенняго? Онъ былъ иностранецъ, слѣдовательно не могъ сочувствовать народу и раздѣлять его надежды и опасеній; ему было сполагорія смѣяться. Что онъ былъ не поэтъ, этому доказательствомъ служить то, что онъ забытъ. Старинный слогъ!—пустое! Шекспира сами англичане читаютъ съ комментаріями.

Тредьяковский не имѣлъ ни ума, ни чувства, ни таланта. Этотъ чловѣкъ былъ рожденъ для плуга или для топора; но судьба, какъ бы въ насмѣшку, нарядила его во фракъ: удивительно ли, что онъ былъ такъ смѣшонъ и уродливъ?

Да—первыя попытки были слишкомъ слабы и неудачны. Но вдругъ, по прекрасному выраженію одного нашего соотечественника, на берегахъ Ледовитаго моря, подобно сѣверному сіянію, блеснулъ Ломоносовъ. Ослѣпительно и прекрасно было это явленіе! Оно доказало собой, что чловѣкъ есть чловѣкъ во всякомъ состояніи и во всякомъ климатѣ, что геній умѣетъ торжествовать надъ всѣми препятствіями, какія ни противопоставляетъ ему враждебная судьба, что, наконецъ, русскій способенъ ко всему великому и прекрасному не менѣе всякаго европейца; но вмѣстѣ съ тѣмъ, говорю, это утѣшительное явленіе подтвердило, къ нашему несчастію, и ту неопровержимую истину, что ученикъ никогда не превзойдетъ учителя, если видитъ въ немъ образецъ, а не соперника, что геній народа всегда робокъ и связанъ, когда дѣйствуетъ не своеобразно, не самостоятельно, что его произведенія въ такомъ случаѣ всегда будутъ походить на поддѣльные цвѣты: ярки, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. Съ Ломоносова начинается наша литература; онъ былъ ея отцомъ и пѣстуномъ; онъ былъ ея Петромъ Великимъ. Нужно ли говорить, что это былъ чловѣкъ великій и ознаменованный печатію генія? Все это истина несомнѣнная. Нужно ли доказывать, что онъ далъ направленіе, хотя и временное, нашему языку и нашей литературѣ? Это еще несомнѣннѣе. Но какое на-

правление? Это другой вопрос. Я не скажу ничего новаго о семъ предметѣ и только, можетъ быть, повторю болѣе или менѣе извѣстныя мысли.

Но прежде всего почитаю нужнымъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. У насъ, какъ я уже и говорилъ, еще и по сію пору царствуетъ въ литературѣ какое-то жалкое, дѣтское благоговѣніе къ авторамъ; мы въ литературѣ высоко чтимъ табель о рангахъ и боимся говорить вслухъ правду о высокіхъ персонахъ. Говоря о знаменитомъ писателѣ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о немъ рѣзкую правду—у насъ святотатство. Сколько разъ, напримѣръ, слышали мы, что „Вечернее“ и „Утреннее размышленіе о величествѣ Божіемъ“ Ломоносова прекрасны, что строфы его одъ звучны и величественны, что періоды его прозы полны, круглы и живописны; но опредѣлена ли мѣра его заслугъ, показаны ли вмѣстѣ съ свѣтлыми его сторонами и темныя пятна? Нѣтъ—какъ можно! грѣшно, дерзко, неблагодарно!.. Гдѣ же критика, имѣющая предметомъ образованіе вкуса, гдѣ истина, долженствующая быть дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ?..

Много свѣдѣній, опытности, труда и времени нужно для достойной оцѣнки такого человѣка, каковъ былъ Ломоносовъ. Недостатокъ времени и мѣста, а можетъ быть, и силъ, не позволяютъ входить мнѣ въ слишкомъ подробныя изслѣдованія: ограничусь однимъ общимъ взглядомъ. Ломоносовъ—это Петръ нашей литературы: вотъ, кажется мнѣ, самый вѣрный взглядъ на него. Въ самомъ дѣлѣ, не замѣчаете ли вы поразительнаго сходства въ образѣ дѣйствованія сихъ великихъ людей, равно какъ и въ слѣдствіяхъ сего образа дѣйствованія? На берегахъ Сѣвернаго океана, въ царствѣ зимы и смерти, родился у бѣднаго рыбака сынъ. [Ребенка мучить какой-то невѣдомый демонъ, не даетъ ему покоя ни днемъ, ни ночью, шепчетъ ему на ухо какія-то дивныя рѣчи, отъ которыхъ сильнѣе трепещетъ его сердце, жарче кипитъ его кровь; на что ни взглянетъ этотъ ребенокъ, ему хочется знать: откуда это, почему и какъ; безконечные вопросы давятъ и тяготятъ его юную душу—и нѣтъ отвѣтовъ! Онъ выучивается кое-какъ грамотѣ, тайныя внушенія его докучнаго демона раздаются въ его душѣ, какъ обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манятъ его въ туманную даль... И вотъ онъ оставляетъ отца своего и бѣжитъ въ Москву бѣлокаменную. Бѣги, бѣги, юноша! Тамъ узнаешь ты все, тамъ утолишь въ источникѣ знанія свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнѣе—ты только пуще раздражилъ ее. Дальше, дальше, смѣлый юноша! Туда, въ ученую Германію, тамъ сады райскіе, а въ тѣхъ садахъ древо жизни, древо познанія, древо добра и зла... Сладки плоды его—спѣвши вкусить ихъ... И онъ бѣжитъ, онъ вступаетъ въ очаровательные сады, и видитъ искусительное древо, и жадно пожираетъ плоды его. Сколько чудесъ, сколько очарованій! Какъ жалѣетъ онъ, что не можетъ разомъ всего захватить съ собою и перенести въ другое отечество, въ святую родину!..

Однакожь... нельзя ли какъ попытаться?.. Вѣдь онъ русскій, стало быть, ему все подѣ силу, все возможно; вѣдь его ожидаетъ Шуваловъ: стало быть ему нечего страшиться предрассудковъ, враговъ и завистниковъ!.. И вотъ Русь оглашается одами, смотритъ на трагедіи, восхищается эпопеею, смѣется надъ побасенками, слушаетъ Цицерона и Демосеена и важно разсуждаетъ объ электричествѣ и громовыхъ отводахъ: чего же медлить? Не правда ли, что и самъ Петръ воскликнулъ бы съ удовольствіемъ: это по нашему! Но и съ Ломоносовымъ сбылось то же, что съ Петромъ. Прельщенный блескомъ иноземнаго просвѣщенія, онъ закрылъ глаза для родного. Правда, онъ выучилъ въ дѣтствѣ наизусть варварскіе вирши Симеона Полоцкаго, но оставилъ безъ вниманія народныя пѣсни и сказки. Онъ какъ будто и не слыхалъ объ нихъ. Замѣчаете ли вы въ его сочиненіяхъ хотя слабыя слѣды вліянія лѣтописей и вообще народныхъ преданій земли русской? Нѣтъ—ничего этого не бывало. Говорятъ, что онъ глубоко постигъ свойства языка русскаго! Не спорю—его грамматика дивное, великое дѣло. Но для чего же онъ палилъ и корчилъ русскій языкъ на образецъ латинскаго и нѣмецкаго? Почему каждый періодъ его рѣчей набить безъ всякой нужды такимъ множествомъ вставочныхъ предложеній и заостренъ на концѣ глаголомъ? Развѣ этого требовалъ геній языка русскаго, разгаданный симъ великимъ человекомъ? Создать языкъ невозможно, ибо его творитъ народъ; филологи только открываютъ его законы и приводятъ ихъ въ систему, а писатели только творятъ на немъ сообразно съ сими законами. И въ семъ послѣднемъ случаѣ нельзя довольно надивиться генію Ломоносова: у него есть строфы и цѣлыя стихотворенія, которыя по чистотѣ и правильности языка весьма приближаются къ нынѣшнему времени. Слѣдовательно, его погубила слѣпая подражательность; слѣдовательно, она одна виною, что его никто не читаетъ, что онъ не признанъ и забытъ народомъ, и что о немъ помнятъ одни записные литераторы.

Нѣкоторые говорятъ, что онъ былъ великій ученый и великій ораторъ, но совсѣмъ не поэтъ: напротивъ, онъ былъ больше поэтъ, чѣмъ ораторъ; скажу больше; онъ былъ великій поэтъ и плохой ораторъ. Ибо что такое его похвальные слова? Наборъ громкихъ словъ и общихъ мѣстъ, частію взятыхъ на прокатъ изъ древнихъ витій, частію принадлежащихъ ему; плоды заказной работы, гдѣ одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выраженіе горячаго, живого и неподдѣльнаго чувства, которое одно бываетъ источникомъ истиннаго краснорѣчія. Нѣкоторыя мѣста, прекрасныя по слогу, ничего не доказываютъ: дѣло въ томъ, каково цѣлое. И удивительно ли, что такъ случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся въ краснорѣчій, а тѣмъ меньше тогда нуждались въ немъ; слѣдовательно, оно родилось безъ всякой нужды, изъ одной подражательности, и потому не могло быть удачнымъ. Но стихотворенія Ломоносова носятъ на себѣ отпечатокъ генія. Правда, у него и въ нихъ умъ преобладаетъ надъ чувствомъ, но это происходило не

отчего иного, какъ оттого, что жажда къ знанію поглощала все существо его, была его господствующею страстью. Онъ всегда держалъ свою энергическую фантазію въ крѣпкой уздѣ холоднаго ума и не давалъ ей слишкомъ разыгрываться. Вольтеръ сказалъ, помнится, о Корнельѣ, что онъ въ сочиненіи своихъ трагедій похожъ на великаго Конде, который хладнокровно обдумывалъ планы сраженій и горячо сражался: вотъ Ломоносовъ! Онъ этого-то его стихотворенія имѣють характеръ ораторскій, отъ этого-то сквозь призму ихъ радужныхъ цвѣтовъ часто виденъ сухой остовъ силлогизма. Это происходило отъ системы, а отнюдь не отъ недостатка поэтическаго генія. Система и рабская подражательность заставили его написать прозаическое „Письмо о пользѣ стекла“, двѣ холодныя и надутыя трагедіи и, наконецъ, эту неуклюжую „Петріаду“, которая была самымъ жалкимъ заблужденіемъ его мощнаго генія. Онъ былъ рожденъ лирикомъ, и звуки его лиры, тамъ, гдѣ онъ не стѣснялъ себя системою, были стройны, высоки и величественны...

Что сказать о его соперникѣ, Сумароковѣ? Онъ писалъ во всѣхъ родахъ, въ стихахъ и прозѣ, и думалъ быть русскимъ Вольтеромъ. Но, при рабской подражательности Ломоносову, онъ не имѣлъ ни искры его таланта. Вся его художническая дѣятельность была не что иное, какъ жалкая и смѣшная натяжка. Онъ не только не былъ поэтъ, но даже не имѣлъ никакой идеи, никакого понятія объ искусствѣ, и всего лучше опровергъ собою странную мысль Бюффона, что будто геній есть терпѣніе въ высшей степени. А между тѣмъ этотъ жалкій писака пользовался такою народностію! Наши словесники не знаютъ, какъ и благодарить его за то, что онъ былъ отцомъ російскаго театра. Почему же они отказываютъ въ благодарности Третьяковскому за то, что онъ былъ отцомъ російской эпопеи? Право, одно отъ другого недалеко ушло. Мы не должны слишкомъ нападать на Сумарокова за то, что онъ былъ хвастунъ: онъ обманывался въ себѣ такъ же, какъ обманывались въ немъ его современники; на безрыбьи и ракъ рыба, слѣдовательно это извинительно, тѣмъ болѣе, что онъ былъ не художникъ. Вотъ другое дѣло нынѣ... Конечно, смѣшно и жалко видѣть, какъ иные мальчики заставляють въ плохихъ драмахъ пророчествовать великихъ поэтовъ о своемъ пришествіи въ міръ...

Была пора: Екатерининъ вѣкъ.
 Въ немъ ожила всей древней Руси слава,
 Тѣ дни, когда громилъ Царьградъ Олегъ,
 И выль Дунай подъ лодкой Святослава;
 Рымникъ, Чесма Кагульскій бой,
 Орлы во градъ Леонида;
 Возобновленная Таврида,
 День Имаила роковой,
 И въ Прагѣ, кровью залитой,
 Москвы отомщенная обида!

Жуковскій.

Воцарилась Екатерина Вторая, и для русскаго народа наступила эра новой, лучшей жизни. Ея царствованіе—это эпопея, эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величественная и смѣлая по созданію, обширная и полная по плану, блестящая и великолѣпная по изложенію,—эпопея, достойная Гомера или Тасса! Ея царствованіе—это драма, драма многосложная и запутанная по завязкѣ, живая и быстрая по ходу дѣйствія, пестрая и яркая по разнообразію характеровъ, греческая трагедія по царственному величію и исполненной силѣ героевъ, созданія Шекспира по оригинальности и самоцвѣтности персонажей, по разнообразности картинъ и ихъ калейдоскопической подвижности, наконецъ, драма, зрѣлище которой исторгнетъ у васъ невольно крики восторга и радости! Съ удивленіемъ и даже съ какою-то недоувѣрчивостію смотримъ мы на это время, которое такъ близко къ намъ, что еще живы нѣкоторые изъ его представителей; которое такъ далеко отъ насъ, что мы не можемъ видѣть его ясно, безъ помощи телескопа исторіи; которое такъ чудно и дивно въ лѣтописяхъ міра, что мы готовы почтеть его какимъ-то баснословнымъ вѣкомъ. Тогда въ первый еще разъ послѣ царя Алексѣя проявился духъ русскій во всей своей богатырской силѣ, во всемъ своемъ удачомъ разгульѣ, и, какъ говорится, пошелъ писать. Тогда-то народъ русскій, наконецъ освоившійся кое-какъ съ тѣсными и несвоиственными ему формами новой жизни, притерпѣвшійся къ нимъ и почти помирившійся съ ними, какъ бы покорясь приговору судьбы неизбежной и непреоборимой—волѣ Петра, въ первый разъ вздохнулъ свободно, улыбнулся весело, взглянулъ гордо—ибо его уже не гнали къ великой пѣли, а великъ съ его спросу и согласія, ибо умолкло грозное „слово и дѣло“, и вмѣсто него раздается съ трона голосъ, говорившій: „лучше прошу десять виновныхъ, нежели накажу одного невиннаго; мы думаемъ и за славу себѣ вмѣняемъ сказать, что мы живемъ для нашего народа; сохрани Боже, чтобы какой-нибудь народъ былъ счастливѣе російскаго“, ибо съ Уставомъ о Рангахъ и Дворянскою Грамотою соединялась неприкосновенность правъ благо-

родства; ибо, наконецъ, слухъ Руси делѣтся безпрестанными громами побѣдъ и завоеваній. Тогда-то проснулся русскій умъ, и вотъ заводятся школы, издаются всѣ необходимыя для первоначальнаго обученія книги, переводятся все хорошее со всѣхъ европейскихъ языковъ; разыгрался русскій мечъ, и вотъ потрясаются монархіи въ своемъ основаніи, сокрушаются царства и сливаются съ Русью!..

Знаете ли вы, въ чемъ состоялъ отличительный характеръ вѣка Екатерины II, этой великой эпохи, этого свѣтлаго момента жизни русскаго народа? Мнѣ кажется, въ народности. Да—въ народности, ибо тогда Русь, стараясь попрежнему поддѣлываться подъ чужой ладъ, какъ будто на зло самой себѣ, оставалась Русью. Вспомните этихъ важныхъ, радушныхъ бояръ, дома которыхъ походили на всемірныя гостиницы, куда приходилъ званый и незваный и, не кланяясь хлѣбосольному хозяину, садился за столы дубовые, за скатерти бранныя, за яства сахарныя, за питья медовыя; этихъ величавыхъ и гордыхъ вельможъ, которые любили жить на распашку, жилища которыхъ походили на царскія палаты русскихъ сказокъ, которые имѣли свой штатъ царедворцевъ, поклонниковъ и ласкателей, которые сожигали фейерверки изъ облигацій правительства; которые умѣли попить и повеселиться по старинному дѣдовскому обычаю, отъ всей русской души, но умѣли и постоять за свою Матушку и мечомъ, и перомъ: не скажете ли вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригинальное? Вспомните этого Суворова, который не зналъ войны, но котораго война знала; Потемкина, который грызъ ногти на пирахъ и между шутокъ рѣшалъ въ умѣ судьбы народовъ; этого Безбородко, который, говорятъ, съ похмелья читалъ Матушкѣ на бѣлыхъ листахъ дипломатическія бумаги своего сочиненія; этого Державина, который въ самыхъ отчаянныхъ своихъ подражаніяхъ Горацию противъ воли оставался Державиннымъ и столько же походилъ на Августа поэта, сколько походить могучая русская зима на роскошное лѣто Италіи, не скажете ли вы, что cadaго изъ нихъ природа отлила въ особенную форму и, отливши, разбила вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальнымъ и самостоятельнымъ, не будучи народнымъ?.. Отчего же это было такъ? Оттого, повторяю, что уму русскому былъ данъ просторъ, оттого, что гений русскій началъ ходить съ развязанными руками, оттого, что великая жена умѣла сродниться съ духомъ своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всѣмъ русскимъ до того, что сама писала разныя сочиненія на русскомъ языкѣ, дирижировала журналомъ и за презрѣніе къ родному языку казнила подданныхъ ужасною казнію—Телемахиною!.. Да—чудно, дивно было это время, но еще чуднѣе и дивнѣе было это общество! Какая смѣсь, пестрота, разнообразіе! Сколько элементовъ разнородныхъ, но связанныхъ, но одушевленныхъ единымъ духомъ! Безбожіе и изуверство, грубость и утонченность, матеріализмъ и набожность, страсть къ новизнѣ и упорный фанатизмъ къ старинѣ, пиры и побѣды, роскошь и

довольство, забавы и геркулесовскіе подвиги, великіе умы, великіе характеры всѣхъ цвѣтовъ и образовъ и между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французскій дворъ своею свѣтскою образованностію, и дворянство, выходившее съ холопами на разбой!..

И это общество отразилось въ литературѣ; два поэта, впрочемъ весьма неравные геніемъ, преимущественно были выраженіемъ онаго; громозвучныя пѣсни Державина были символомъ могущества, славы и счастья Руси; ѣдкія и остроумныя карикатуры Фонъ-Визина были органомъ понятій и образа мыслей образованнѣйшаго класса людей тогдашняго времени.

Державинъ—какое имя!.. Да—онъ былъ правъ: только Навинъ могло быть ему подъ риему! Какъ идетъ къ нему этотъ полурусскій и полутатарскій нарядъ, въ которомъ изображаютъ его на портретахъ; дайте ему въ руки лилейный скипетръ Оберона, придайте къ этой собольей шубѣ и брововой шапкѣ длинную сѣдую бороду: и вотъ вамъ русскій чародѣй, отъ дыханія котораго тахутъ снѣга и ледяные покровы рѣкъ и распѣваютъ розы, чуднымъ словамъ котораго повинуются послушная природа и принимаетъ всѣ виды и образы, какихъ ни пожелаетъ онъ! Дивное явленіе! Бѣдный дворянинъ, почти безграмотный, дитя по своимъ понятіямъ, неразгаданная загадка для самого себя, откуда получилъ онъ этотъ вѣщій пророческій глаголъ, потрясающій сердца и восторгающій души, этотъ глубокій и обширный взглядъ, обхватывающій природу во всей ея безконечности, какъ обхватывалъ молодой орелъ мощными когтями трепещущую добычу? Или и въ самомъ дѣлѣ онъ повстрѣчалъ на перепутьи какого-нибудь „шестикрылаго Херувима“? Или и въ самомъ дѣлѣ „огненное чувство“ ставитъ въ инныя минуты смертнаго, безъ всякихъ со стороны его усилій, наравнѣ съ природою, и, послушная, она открываетъ ему свои таинственныя нѣдра, даетъ ему подсмотреть біеніе своего сердца и почерпнуть въ лонѣ источника жизни эту живую воду, которая влагаетъ дыханіе жизни и въ металлъ, и въ мраморъ? Или и въ самомъ дѣлѣ огненное чувство даетъ смертному всезрящія очи и уничтожаетъ его въ природѣ, а природу уничтожаетъ въ немъ, и, ея всемогущій властелинъ, онъ повелѣваетъ ея самовластно и, вмѣстѣ съ нею раскидывается, по своей волѣ, подобно Протею, на тысячи прекрасныхъ явленій, воплощается въ тысячи волшебныхъ образовъ и тѣ образы называетъ потомъ своими созданіями? Державинъ?—это полное выраженіе, живая лѣтопись, торжественный гимнъ, пламенный дифирамбъ вѣка Екатерины, съ его лирическимъ одушевленіемъ, съ его гордостію настоящимъ и надеждами на будущее, его просвѣщеніемъ и невѣжествомъ, его эпикуреизмомъ и жаждою великихъ дѣлъ, его пиршественною праздностію и неистощимою практическою дѣятельностію! Не ищите въ звукахъ его пѣсенъ, то смѣлыхъ и торжественныхъ, какъ громъ побѣды, то веселыхъ и шутивыхъ, какъ застольный говоръ нашихъ прадедовъ, то нѣжныхъ и сладостныхъ, какъ голосъ

русскихъ дѣвъ,—не ищите въ нихъ тонкаго анализа человѣка со всѣми изгибами его души и сердца, какъ у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенныхъ мечтаній о святомъ и великомъ жизни, какъ у Шиллера, или бѣшенныхъ воплей души пресыщенной и все еще несытой, какъ у Байрона; нѣтъ—намъ тогда некогда было анатомировать природу человѣческую, некогда было углубляться въ тайны неба и жизни, ибо мы тогда были оглушены громомъ побѣды, ослѣплены блескомъ славы, заняты новыми постановленіями и преобразованіями; ибо тогда намъ еще некогда было пресытиться жизнію, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь; итакъ, не ищите ничего этого у Державина! Пойщите лучше у него поэтической вѣсти о томъ, какъ велика была несравненная, „богоподобная Фелица киргизъ-кайсаяцкія орды“, какъ этотъ „ангелъ во плоти“ разливалъ и сѣялъ повсюду жизнь и счастье, и, подобно Богу, творилъ все изъ ничего, какъ были мудры ея слуги вѣрные, ея совѣтники усердные; какъ герой полуночи, „чудо-богатырь“, бросалъ за облака башни, какъ бѣжала тьма отъ его чела и пылъ отъ его молодецкаго посвисту, какъ подъ его ногами трещали горы и кипѣли бездны, какъ предъ нимъ падали города и рушились царства, какъ онъ, при громахъ и молніяхъ, при ужасной борьбѣ разъяренныхъ стихій сокрушилъ твердыни Измаила или перешелъ чрезъ пропасти Сень-Готарда; какъ жили и были вельможи русскіе съ своимъ неистощимымъ хлѣбомъ-солью, съ своимъ русскимъ сибаритствомъ и русскимъ умомъ; какъ русскія дѣвы своими пламенными взорами и соболиными бровями разятъ души львовъ и сердца орловъ, какъ блестятъ ихъ бѣлыя чела золотыми лентами, какъ дышатъ ихъ нѣжныя груди подъ драгими жемчугами, какъ сквозъ ихъ голубыя жилки переливается розовая кровь, а на ланитахъ любовъ врѣзала огневныя ямки!

Невозможно исчислить неисчислимыя красоты созданій Державина. Онѣ разнообразны, какъ русская природа, но всѣ отличаются однимъ общимъ колоритомъ; во всѣхъ нихъ воображеніе преобладаетъ надъ чувствомъ и все представляетъ въ преувеличенныхъ, гиперболическихъ размѣрахъ. Онъ не взволнуетъ вашей груди сильнымъ чувствомъ, не выдавитъ слезы изъ вашихъ глазъ, но, какъ орелъ добычу, схватываетъ васъ внезапно и неожиданно и на крыльяхъ своихъ могучихъ строфъ мчитъ прямо къ солнцу, и, не давая вамъ опомниться, носить по безпредѣльнымъ равнинамъ неба; земля исчезаетъ у васъ изъ виду, сердце сжимается отъ какого-то пріятнаго изумленія, смѣшаннаго со страхомъ, и вы видите себя какъ бы ринутыми порывомъ урагана въ неизмѣримый океанъ; волна то увлекаетъ васъ въ бездны, то выбрасываетъ къ небу, и душѣ вашей отрадно и привольно въ этой безбрежности. Какъ громка и величественна его пѣснь Богу! Какъ глубоко подсмотрѣлъ онъ внѣшнее благолѣпіе природы и какъ вѣрно воспроизвелъ его въ своемъ дивномъ созданіи! И однакожъ, онъ прославилъ въ немъ одну мудрость и могущество Божіе и только намекнулъ о любви Божіей, о той

любви, которая воззвала къ человѣкамъ: „приндите ко Мнѣ вси труждающіеся и обремененніи, и Азъ упокою вы!“ о той любви, которая съ позорнаго креста мученія зывала къ Отцу: „Отче, отпусти имъ: не вѣдять бо, что творять!“ Но не осуждайте его за это: тогда было не то время, что нынѣ, тогда былъ осьмнадцатый вѣкъ. Притомъ же не забудьте, что умъ Державина былъ умъ русскій, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихіею и торжествомъ была природа внѣшняя, а господствующимъ чувствомъ—патріотизмъ, что въ семъ случаѣ онъ былъ только вѣренъ своему безсознательному направленію, и слѣдовательно былъ истиненъ. Какъ страшна его ода на смерть Мещерскаго: кровь стынетъ въ жилахъ, волосы, по выраженію Шекспира, встаютъ на головѣ встревоженною ратью, когда въ ухахъ вашихъ раздается вѣщій бой „глагола время“, когда въ глазахъ мерещится ужасный остовъ смерти съ косою въ рукахъ! Какою энергическою и дикою красотою дышитъ его „Водопадъ“: это пѣснь угрюмаго Сѣвера, пропѣтая сребровласымъ скальдомъ во глубинѣ священнаго лѣса, среди мрачной ночи, у пылающаго дуба, зажженнаго молніею, при оглушающемъ ревѣ водопада! Его посланія и сатиры представляютъ совсѣмъ другой міръ, не менѣе прекрасный и очаровательный. Въ нихъ видна практическая философія ума русскаго: посему главное, отличительное ихъ свойство есть народность,—народность, состоящая не въ подборѣ мужицкихъ словъ или насильственной поддѣлкѣ подъ ладъ пѣсенъ и сказокъ, но въ стиби ума русскаго, въ русскомъ образѣ взгляда на вещи. Въ семъ отношеніи Державинъ народенъ въ высочайшей степени. Какъ смѣшны тѣ, которые величаютъ его русскимъ Пиндаромъ, Гораціемъ, Анакреономъ; ибо самая эта тройственность показываетъ, что онъ былъ ни то, ни другое, ни третье, но все это вмѣстѣ взятое и, слѣдовательно, выше всего этого, отдѣльно взятаго! Не такъ же ли неумно было бы назвать Пиндара или Анакреона греческимъ или Горація латинскимъ Державинымъ, ибо если онъ самъ не былъ ни для кого образцомъ, то и для себя не имѣлъ никого образцомъ? Вообще надобно замѣтить, что его невѣжество было причиною его народности, которой, впрочемъ, онъ не зналъ цѣны; оно спасло его отъ подражательности, и онъ былъ оригиналенъ и народенъ, самъ не зная того. Обладая онъ всеобъемлющею ученостію Ломоносова—и тогда прости поэтъ! Ибо, чего добраго, онъ пустился бы, пожалуй, въ трагедіи и, всего вѣрнѣе, въ эпопею: его неудачные опыты въ драмѣ доказываютъ справедливость такого предположенія. Но судьба спасла его—и мы имѣемъ въ Державинѣ великаго, гениальнаго русскаго поэта, который былъ вѣрнымъ эхомъ жизни русскаго народа, вѣрнымъ отголоскомъ вѣка Екатерины II.

Фонвизинъ былъ человѣкъ съ необыкновеннымъ умомъ и дарованіемъ, но былъ ли онъ рожденъ комикомъ—на это трудно отвѣчать утвердительно. Въ самомъ дѣлѣ, видите ли вы въ его драматическихъ созданіяхъ присутствіе идеи вѣчной жизни? Вѣдь смѣшной анекдотъ, переложенный на разговоры, гдѣ участвуетъ извѣстное число скотовъ—еще комедія. Предметъ

комедіи не есть исправленіе нравовъ или осмѣяніе какихъ-нибудь пороковъ общества; нѣтъ: комедія должна живописать несообразность жизни съ цѣлю, должна быть плодомъ горькаго негодованія, возбуждаемаго униженіемъ человѣческаго достоинства, должна быть сарказмомъ, а не эпиграммою, судорожнымъ хохотомъ, а не веселою усмѣшкою, должна быть писана желчью, а не разведенною солью, словомъ, должна обнимать жизнь въ ея высшемъ значеніи, то есть въ ея вѣчной борьбѣ между добромъ и зломъ, любовію и эгоизмомъ. Такъ ли у Фонвизина? Его дураки очень смѣшны и отвратительны, но это потому, что они не созданія фантазіи, а слишкомъ вѣрные списки съ натуры; его умные суть не иное что, какъ выпускныя куклы, говорящія заученныя правила благонравія; и все это потому, что авторъ хотѣлъ учить и исправлять. Этотъ человѣкъ былъ очень смѣшливъ отъ природы: онъ чуть не задохнулся отъ смѣху, слыша въ театрѣ звуки польскаго языка; онъ былъ во Франціи и Германіи и нашелъ въ нихъ одно смѣшное: вотъ вамъ и комизмъ его. Да—его комедіи суть не больше, какъ плодъ добродушной веселости, надъ всѣмъ издѣвавшейся, плодъ остроумія, но не созданія фантазіи и горячаго чувства. Онъ явились въ пору и потому имѣли необыкновенный успѣхъ; были выраженіемъ господствующаго образа мыслей образованныхъ людей, и потому нравились. Впрочемъ, не будучи художественными созданіями въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ все-таки несравненно выше всего, что ни написано у насъ по сію пору въ семъ родѣ, кромѣ „Горе отъ ума“, о которомъ рѣчь впереди. Одно уже это доказываетъ дарованіе сего писателя. Прочія его сочиненія имѣютъ цѣну еще, можетъ быть, ббльшую, но и въ нихъ онъ является умнымъ наблюдателемъ и остроумнымъ писателемъ, а не художникомъ. Насмѣшка и шутливость составляютъ ихъ отличительный характеръ. Кромѣ неподдѣльнаго дарованія, они замѣчательны еще и по слогу, который очень близко подходитъ къ Карамзинскому; особенно же драгоценны они тѣмъ, что заключаютъ въ себѣ многія рѣзкія черты духа того любопытнаго времени.

Какъ забыть о Богдановичѣ? Какою славою пользовался онъ при жизни, какъ восхищаются имъ современники и какъ еще восхищаются имъ и теперь нѣкоторые читатели? Какая причина этого успѣха? Представьте себѣ, что вы оглушены громомъ, трескотнею пышныхъ словъ и фразъ, что всѣ окружающіе васъ говорятъ монологами о самыхъ обыкновенныхъ предметахъ, и вы вдругъ встрѣчаете человѣка съ простою и умною рѣчью: не правда ли, что вы бы очень восхитились этимъ человѣкомъ? Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всѣхъ громкимъ одобрѣніемъ; уже начали думать, что русскій языкъ неспособенъ къ такъ называемой легкой поэзіи, которая такъ цвѣла у французовъ, и вотъ въ это-то время является человѣкъ съ сказкою, написанною языкомъ простымъ, естественнымъ и шутливымъ, слогомъ, по тогдашнему времени, удивительно легкимъ и плавнымъ: всѣ были изумлены и обрадованы. Вотъ

причина необыкновеннаго успѣха „Душеньки“, которая, впрочемъ, не безъ достоинствъ, не безъ таланта. Скромный Хемницеръ былъ не понятъ современниками; имъ по справедливости гордится теперь потомство и ставить его наравнѣ съ Дмитриевымъ. Херасковъ былъ человѣкъ добрый, умный, благонамѣренный и, по своему времени, отличный версификаторъ, но рѣшительно не поэтъ. Его дюжинныя „Россіяда“ и „Владимиръ“ долго составляли предметъ удивленія для современниковъ и потомковъ, которые величали его русскимъ Гомеромъ и Виргиліемъ и проводили во храмъ безсмертія подъ щитомъ его длинныхъ и скучныхъ поэмъ; передъ нимъ благоговѣлъ самъ Державинъ; но, — увы! — ничто не спасло его отъ всепоглощающихъ волнъ Леты! Петровъ недостатокъ истиннаго чувства замѣнялъ напыщенностью и совершенно доканалъ себя своимъ варварскимъ языкомъ. Княжнинъ былъ трудолюбивый писатель и, въ отношеніи къ языку и формѣ, не безъ таланта, который особенно замѣтенъ въ комедіяхъ. Хотя онъ цѣликомъ бралъ изъ французскихъ писателей, но ему и то уже дѣлаетъ большую честь, что онъ умѣлъ изъ этихъ похищеній составлять нѣчто цѣлое и далеко превзошелъ своего родича Сумарокова. Костровъ и Бобровъ были въ свое время хорошіе версификаторы.

Вотъ всѣ гении Екатерины Великой; всѣ они пользовались громкою славой и всѣ, за исключеніемъ Державина, Фонвизина и Хемницера, забыты. Но всѣ они замѣчательны, какъ первые дѣйствователи на поприщѣ русской словесности; судя по времени и средствамъ, ихъ успѣхи были важны и преимущественно происходили отъ вниманія и одобренія монархини, которая всюду искала талантовъ и всюду умѣла находить ихъ. Но между ними только одинъ Державинъ былъ такимъ поэтомъ, имя котораго мы съ гордостью можемъ поставить подлѣ великихъ именъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ, ибо онъ одинъ былъ свободнымъ и торжественнымъ выраженіемъ своего великаго народа и своего дивнаго времени.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Вѣкъ Александра Благословеннаго, какъ и вѣкъ Екатерины Великой, принадлежитъ къ свѣтлымъ мгновеніямъ жизни русскаго народа и, въ нѣкоторомъ отношеніи былъ его продолженіемъ. Это была жизнь безпечная и веселая, гордая настоящимъ, полная надеждъ на будущее. Мудрыя узаконенія и нововведенія Екатерины укоренились и, такъ сказать, окрѣпли; новыя благотѣльные учрежденія царя юнаго и кроткаго упрочивали благосостояніе Руси и быстро двигали ее впередъ на поприщѣ преуспѣянія. Въ самомъ дѣлѣ, сколько было сдѣлано для просвѣщенія! Сколько основано университетовъ, лицеевъ, гимназій, уѣздныхъ и приходскихъ училищъ! И образованіе начало разливаться по всѣмъ классамъ народа, ибо оно сдѣлалось болѣе или менѣе доступнымъ для всѣхъ классовъ народа. Покровительство просвѣщеннаго и образованнаго монарха, достойнаго внука Ека-

терины, отыскивало повсюду людей съ талантами и давало имъ дорогу и средства дѣйствовать на избранномъ ими поприщѣ. Въ это время еще впервые появилась мысль о необходимости имѣть свою литературу. Въ царствованіе Екатерины литература существовала только при дворѣ; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его „Посланіе къ Фелицѣ“ и „Вельможа“; плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она не смѣялась до слезъ надъ его „Бригадиромъ“ и „Недорослемъ“; мало бы оказывалось уваженія къ пѣвцу „Бога“ и „Водопада“, если бы онъ не былъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ и разныхъ орденовъ кавалеромъ. При Александрѣ всѣ начали заниматься литературою, и титулъ сталъ отдѣляться отъ таланта. Явилось явленіе новое и доселѣ неслыханное: писатели сдѣлались двигателями, руководителями и образователями общества; явились попытки создать языкъ и литературу. Но, увы! не было прочности и основательности въ этихъ попыткахъ; ибо попытка всегда предполагаетъ расчетъ, а расчетъ предполагаетъ волю, а воля часто идетъ наперекоръ обстоятельствамъ и разногласитъ съ законами здраваго смысла. Много было талантовъ и ни одного генія, и всѣ литературныя явленія рождались не вслѣдствіе необходимости, произвольно и безсознательно, не вытекали изъ событій и духа народнаго. Не спрашивали: что и какъ намъ должно было дѣлать? Говорили: дѣлайте такъ, какъ дѣлаютъ иностранцы, и вы будете хорошо дѣлать. Удивительно ли послѣ того, что, несмотря на всѣ усилія создать языкъ и литературу, у насъ не только тогда не было ни того, ни другого, но даже нѣтъ и теперь! Удивительно ли, что при самомъ началѣ литературнаго движенія у насъ было такъ много литературныхъ школъ и не было ни одной истинной и основательной; что всѣ онѣ рождались, какъ грибы послѣ дождя, и исчезали, подобно мыльнымъ пузырямъ, и что мы, еще не имѣя никакой литературы въ полномъ смыслѣ сего слова, уже успѣли быть и классиками и романтиками, и греками и римлянами, и французами и итальянцами, и нѣмцами и англичанами?..

Два писателя встрѣтили вѣкъ Александра и справедливо почитались лучшимъ украшеніемъ начала онаго: Карамзинъ и Дмитріевъ. Карамзинъ — вотъ актеръ нашей литературы, который еще при первомъ своемъ дебютѣ, при первомъ своемъ появленіи на сцену, былъ встрѣченъ и громкими рукоплесканіями, и громкимъ свистомъ! Вотъ имя, за которое было дано столько кровавыхъ битвъ, произошло столько отчаянныхъ схватокъ, переломлено столько копій! И давно ли еще умоляли эти бранные вопли, этотъ звукъ оружія, давно ли враждующія партіи вложили мечи въ ножны и теперь силятся объяснить себѣ, изъ-за чего онѣ воевали? Кто изъ читающихъ строки сіи не былъ свидѣтелемъ этихъ литературныхъ побоищъ, не слышалъ этого оглушающаго рева похвалъ, преувеличенныхъ и бессмысленныхъ, этихъ порицаній, частію справедливыхъ, частію нелѣпыхъ? И теперь, на могилѣ незабвеннаго мужа, развѣ уже рѣшена побѣда, развѣ восторжествовала та или

другая сторона? Увы! еще нѣтъ! Съ одной стороны, насъ, „какъ вѣрныхъ сыновъ отчизны“, призываютъ „молиться на могилѣ Карамзина“ и „шептать его святое имя“, а съ другой—слушаютъ это воззваніе съ недовѣрчивой и насмѣшливою улыбкой. Любопытное зрѣлище! Борьба двухъ поколѣній, не понимающихъ одно другого! И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли думать, что побѣда останется на сторонѣ гг. Иванчиныхъ-Писаревыхъ, Сомовыхъ и т. п.? Еще нелѣпѣе воображать, что ее упрочитъ за собою г. Ардыбышевъ съ братіею.

Карамзинъ отмѣтилъ своимъ именемъ эпоху въ нашей словесности; его вліяніе на современниковъ было такъ велико и сильно, что цѣлый періодъ нашей литературы девяностыхъ до двадцатыхъ годовъ по справедливости называется періодомъ Карамзинскимъ. Одно уже это достаточно доказываетъ, что Карамзинъ, по своему образованію, цѣлою головою превышалъ своихъ современниковъ. За нимъ еще и по сію пору, хотя нетвердо и неопредѣленно, кромѣ имени историка, остаются имена писателя, поэта, художника, стихотворца. Разсмотримъ его права на эти титулы. Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто изъ насъ не утѣшался въ дѣтствѣ его повѣстями, не мечталъ и не плакалъ съ его сочиненіями? А вѣдь воспоминанія дѣтства такъ сладостны, такъ обольстительны: можно ли тутъ быть безпристрастными? Однакожъ попытаемся.

Представьте себѣ общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала, говорила, мыслила и молилась Богу на французскомъ языкѣ, другая знала наизусть Державина и ставила его наравнѣ не только съ Ломоносовымъ, но и съ Петровымъ, Сумароковымъ и Херасковымъ; первая очень плохо знала русскій языкъ, вторая была приучена къ напыщенному схоластическому языку автора „Россіады“ и „Кадма и Гармоніи“; общій же характеръ обѣихъ состоялъ изъ полудикости и полуобразованности; словомъ, общество съ охотою къ чтенію, но безъ всякихъ свѣтлыхъ идей объ литературѣ. И вотъ является юноша, душа котораго была отверста для всего благого и прекраснаго, но который, при счастливыхъ дарованіяхъ и большомъ умѣ, былъ обдѣленъ просвѣщеніемъ и ученою образованностію, какъ увидимъ ниже. Не ставши наравнѣ со своимъ вѣкомъ, онъ былъ несравненно выше своего общества. Этотъ юноша смотрѣлъ на жизнь, какъ на подвигъ, и, полный силъ юности, алкалъ славы авторства, алкалъ чести быть споспѣшествователемъ успѣховъ отечества на пути къ просвѣщенію, и вся его жизнь была этимъ святымъ и прекраснымъ подвижничествомъ. Не правда ли, что Карамзинъ былъ человѣкъ необыкновенный, что онъ достоинъ высокаго уваженія, если не благоговѣнія? Но не забывайте, что не должно смѣшивать человѣка съ писателемъ и художникомъ. Будь сказано, впрочемъ, безъ всякаго примѣненія къ Карамзину, этакъ, чего добраго, и Роленъ попадетъ во святые. Намѣреніе и исполненіе двѣ вещи различныя. Теперь посмотримъ, какъ выполнялъ Карамзинъ свою высокую миссію.

Онъ видѣлъ, какъ мало было у насъ сдѣлано, какъ дурно понимали его собратія по ремеслу, что должно было дѣлать; видѣлъ, что высшее сословіе имѣло причину презирать роднымъ языкомъ, ибо языкъ письменный былъ въ раздорѣ съ языкомъ разговорнымъ. Тогда былъ вѣкъ фразеологій, гнались за словами и мысли подбирали къ словамъ только для смысла. Карамзинъ былъ одаренъ отъ природы вѣрнымъ музыкальнымъ ухомъ для языка и способностію объясняться плавно и красноречиво, слѣдовательно ему не трудно было преобразовать языкъ. Говорятъ, что онъ сдѣлалъ нашъ языкъ сколкою съ французскаго, какъ Ломоносовъ сдѣлалъ его сколкою съ латинскаго: это справедливо только отчасти. Вѣроятно, Карамзинъ старался писать, какъ говорится. Погрѣшность его въ семъ случаѣ та, что онъ презрѣлъ идиомами русскаго языка, не прислушивался къ языку простолюдиновъ и не изучалъ вообще родныхъ источниковъ. Но онъ исправилъ эту ошибку въ своей исторіи. Карамзинъ предложилъ себѣ цѣлю—пріучить, пріохотить русскую публику къ чтенію. Спрашиваю васъ: можетъ ли призваніе художника согласиться съ какою-нибудь заранѣе предложенною цѣлю, какъ бы ни была прекрасна эта цѣль? Этого мало: можетъ ли художникъ унизиться, нагнуться, такъ сказать, къ публикѣ, которая была бы ему по колѣна и потому не могла бы его понимать! Положимъ, что и можетъ; тогда другой вопросъ: можетъ ли онъ въ такомъ случаѣ остаться художникомъ въ своихъ созданіяхъ? Безъ всякаго сомнѣнія, нѣтъ. Кто объясняется съ ребенкомъ, тотъ самъ дѣлается на это время ребенкомъ. Карамзинъ писалъ для дѣтей и писалъ по-дѣтски; удивительно ли, что эти дѣти, сдѣлавшись взрослыми, забыли его и, въ свою очередь, передали его сочиненія своимъ дѣтямъ? Это въ порядкѣ вещей: дѣти съ довѣрчивостію и съ горячею вѣрою слушаютъ рассказы своей старой няни, водившей его на помочахъ, о мертвецахъ и привидѣніяхъ, а выросши, смѣются надъ ея разсказами. Вамъ порученъ ребенокъ: помните жъ, что этотъ ребенокъ будетъ отрокомъ, потомъ юношей, а тамъ и мужемъ, и потому слѣдите за развитіемъ его дарованій и, сообразно съ нимъ, перемѣняйте методу вашего ученія, будьте всегда выше его; иначе вамъ худо будетъ: этотъ ребенокъ станетъ въ глаза смѣяться надъ вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то онъ перегонитъ васъ: дѣти растутъ быстро. Теперь скажите, по совѣсти, *sine ira et studio*, какъ говорятъ наши записные ученые: кто виноватъ, что какъ прежде плакали надъ „Бѣдною Лизою“, такъ нынѣ смѣются надъ нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорѣе соглашусь читать повѣсти барона Брамбеуса, чѣмъ „Бѣдную Лизу“ или „Наталию Боярскую Дочь“! Другія времена, другіе нравы! Повѣсти Карамзина пріучили публику къ чтенію, многіе выучились по нимъ читать,—будемъ же благодарны ихъ автору, но оставимъ ихъ въ покоѣ, даже вырвемъ ихъ изъ рукъ нашихъ дѣтей, ибо они сдѣлаютъ имъ много вреда: растлятъ ихъ чувство приторною чувствительностію.

Кромѣ сего, сочиненія Карамзина теряютъ въ наше время много достоинства еще и оттого, что онъ рѣдко былъ въ нихъ искрененъ и естественъ. Вѣкъ фразеологій для насъ проходить; по нашимъ понятіямъ, фраза должна прибираться для выраженія мысли или чувства; прежде мысль и чувство приискивались для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрѣшны въ этомъ отношеніи; по крайней мѣрѣ, теперь, если легко выставить мишуру за золото, ходули ума и потуги чувства за игру ума и пламень чувства, то не надолго, и тѣмъ живѣе обольщеніе, тѣмъ бываетъ мстительнѣе разочарованіе, тѣмъ больше благоговѣнія къ ложному божеству, тѣмъ жесточайшее поношеніе наказываетъ самозванца. Вообще нынѣ какъ-то стали откровеннѣе; всякій истинно образованный человѣкъ скорѣе сознается, что онъ не понимаетъ той или другой красоты автора, но не станетъ обнаруживать насильственного восхищенія. Посему нынѣ едва ли найдется такой добренькій простачокъ, который бы повѣрилъ, что обильные потоки слезъ Карамзина изливались отъ души и сердца, а не были любимымъ кокетствомъ его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная ложность и натянутость чувства тѣмъ жалостнѣе, когда авторъ—человѣкъ съ дарованіемъ. Никто не подумаетъ осуждать за подобный недостатокъ, напримѣръ, чувствительнаго князя Шаликова, потому что никто не подумаетъ читать его чувствительныхъ твореній. Итакъ, здѣсь авторитетъ не только не оправданіе, но еще двойная вина. Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли видѣть взрослого человѣка, хотя бы этотъ человѣкъ былъ самъ Карамзинъ,—не странно ли видѣть взрослого человѣка, который проливаетъ обильные источники слезъ и при взглядѣ на кривой глазъ „Великаго Мужа Грамматики“, и при видѣ необозримыхъ песковъ, окружающихъ Кале, и надъ травками, и надъ муравками, и надъ букашками и таракашками?.. Вѣдь и то сказать:

... Не все намъ рѣки слезныя
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!

Эта слезливость или, лучше сказать, плаксивость нерѣдко портитъ лучшія страницы его исторіи. Скажутъ: тогда былъ такой вѣкъ. Неправда: характеръ осмнадцатаго столѣтія отнюдь не состоитъ въ одной плаксивости; притомъ же здравый смыслъ старше вѣхъ столѣтій, а онъ запрещаетъ плакать, когда хочется смѣяться, и смѣяться, когда хочется плакать. Это просто было дѣтство—смѣшное и жалкое, манія—странная и неизъяснимая.

Теперь другой вопросъ; столько ли онъ сдѣлалъ, сколько могъ, или меньше? Отвѣчаю утвердительно: *меньше*. Онъ отправился путешествовать: какой прекрасный случай предстоялъ ему развернуть предъ глазами своихъ соотечественниковъ великую и обольстительную картину вѣковыхъ плодовъ просвѣщенія, успѣховъ цивилизаціи и общественнаго образованія благородныхъ представителей человѣческаго рода!.. Ему такъ легко было это сдѣ-

лать! Его перо было такъ краснорѣчиво! Его кредитъ у современниковъ былъ такъ великъ! И что жъ онъ сдѣлалъ вмѣсто всего этого? Чѣмъ наполнены его „Письма Русскаго Путешественника“? Мы узнаемъ изъ нихъ по большей части, гдѣ онъ обѣдалъ, гдѣ ужиналъ, какое кушанье подавали ему, и сколько взялъ съ него трактирщикъ; узнаемъ, какъ г. Б*** волочился за госпожею N, и какъ бѣлка оцарапала ему носъ; какъ восходило солнце надъ какою-нибудь швейцарскою деревушкою, изъ которой шла па-стуха съ букетомъ розъ на груди и гнала передъ собою корову... Стоило ли изъ-за этого ѣздить такъ далеко?.. Сравните въ семъ отношеніи „Письма Русскаго Путешественника“ съ „Письмами къ Вельможѣ“ Фонвизина, письмами, написанными прежде: какая разница! Карамзинъ видѣлся со многими знаменитыми людьми Германіи, и что же онъ узналъ изъ разговоровъ съ ними? То, что всѣ они люди добрые, наслаждающіеся спокойствіемъ совѣсти и ясностію духа. И какъ скромны, какъ обыкновенны его разговоры съ ними! Во Франціи онъ былъ счастливѣе въ семъ случаѣ, по извѣстной причинѣ: вспомните свиданіе русскаго Скиа съ французскимъ Платономъ. Отчего же это произошло? Оттого, что онъ не приготовился надлежащимъ образомъ къ путешествію, что не былъ ученъ основательно. Но, несмотря на это, ничтожность его „Писемъ Русскаго Путешественника“ происходитъ больше отъ его личнаго характера, чѣмъ отъ недостатка въ свѣдѣніяхъ. Онъ не совсѣмъ хорошо зналъ нужды Россіи въ умственномъ отношеніи. О стихахъ его нечего много говорить: это тѣ же фразы, только съ приемами. Въ нихъ Карамзинъ, какъ и вездѣ, является преобразователемъ языка, а отнюдь не поэтомъ.

Вотъ недостатки сочиненій Карамзина, вотъ причина, что онъ такъ скоро былъ забытъ, что онъ едва не пережилъ своей славы. Справедливость требуетъ замѣтить, что его сочиненія, тамъ, гдѣ онъ не увлекается сентиментальностію и говорить отъ души, дышать какою-то сердечною теплотою; это особенно замѣтно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ говоритъ о Россіи. Да, онъ любилъ добро, любилъ отечество, служилъ ему, сколько могъ; имя его бессмертно, но сочиненія его, исключая „Исторіи“, умерли, и не воскреснутъ имъ, несмотря на возгласы людей, подобныхъ гг. Иванчину-Писареву и Оресту Сомову!..

„Исторія Государства Россійскаго“ есть важнѣйшій подвигъ Карамзина; онъ отразился въ ней весь, со всѣми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить о семъ произведеніи ученымъ образомъ, ибо, признаюсь откровенно, этотъ трудъ былъ бы далеко не подъ силу мнѣ. Мое мнѣніе (весьма не новое) будетъ мнѣніемъ любителя, а не знатока. Сообразивъ все, что было сдѣлано для систематической исторіи до Карамзина, нельзя не признать его труда подвигомъ исполинскимъ. Главный недостатокъ онаго состоитъ въ его взглядѣ на вещи и событія, часто дѣтскомъ и всегда, по крайней мѣрѣ, не мужескомъ; въ ораторской шумихѣ и неумѣстномъ жела-

ни бытъ наставительнымъ, поучать тамъ, гдѣ сами факты говорятъ за себя; въ пристрастіи къ героямъ повѣствованія, дѣлающимъ честь сердцу автора, но не его уму. Главное достоинство его состоитъ въ занимательности разсказа и искусномъ изложеніи событій, нерѣдко въ художественной обрисовкѣ характеровъ, а болѣе всего въ слогѣ, въ которомъ Карамзинъ рѣшительно торжествуетъ здѣсь. Въ семъ послѣднемъ отношеніи у насъ и по сію пору не написано еще ничего подобнаго. Въ „Исторіи Г. Р.“ слогъ Карамзина есть слогъ русскій по преимуществу; ему можно поставить въ параллель, только въ стихахъ, „Бориса Годунова“ Пушкина. Это совсѣмъ не то, что слогъ его мелкихъ сочиненій; ибо здѣсь авторъ черпалъ изъ родныхъ источниковъ, упитанъ духомъ историческихъ памятниковъ; здѣсь его слогъ, за исключеніемъ первыхъ четырехъ томовъ, гдѣ по большей части одна риторическая шумиха, но гдѣ всетаки языкъ удивительно обработанъ, имѣетъ характеръ важности, величавости и энергіи и часто переходитъ въ истинное краснорѣчіе. Словомъ, по выраженію одного нашего критика, въ „Исторіи Г. Р.“ языку нашему воздвигнуть такой памятникъ, о который время изломаетъ свою косу. Повторяю: имя Карамзина безсмертно, но сочиненія его, исключая „Исторію“, уже умерли и никогда не воскреснутъ!

Появленіе Жуковскаго изумило Россію, и не безъ причины. Онъ былъ Колумбомъ нашего отечества: указалъ ему на нѣмецкую и англійскую литературы, которыхъ существованія оно даже и не подозрѣвало. Кромѣ сего, онъ совершенно преобразовалъ стихотворный языкъ, а въ прозѣ шагнулъ далѣе Карамзина ¹⁾; вотъ главныя его заслуги. Собственныхъ его сочиненій немного; труды его—или переводы, или передѣлки, или подражанія иностраннымъ. Языкъ смѣлый, энергическій, хотя и не всегда согласный съ чувствомъ, односторонняя мечтательность, бывшая, какъ говорятъ, слѣдствіемъ обстоятельствъ его жизни—вотъ характеристика сочиненій Жуковскаго. Ошибаются тѣ, которые почитаютъ его подражателемъ нѣмцевъ и англичанъ: онъ не сталъ бы иначе писать и тогда, когда бъ былъ незнакомъ съ ними, если бъ только захотѣлъ быть вѣрнымъ самому себѣ. Онъ не былъ сыномъ XIX вѣка, но былъ, такъ сказать, прозелитомъ; присовокупите къ сему еще то, что его творенія, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ проистекали изъ обстоятельствъ его жизни, и вы поймете, отчего въ нихъ нѣтъ идей міровыхъ, идей человѣчества, отчего у него часто подъ самыми роскошными формами скрываются какъ будто Карамзинскія идеи (напр., „Мой другъ, хранитель ангелъ мой!“ и т. п.), отчего въ самыхъ лучшихъ его созданіяхъ (какъ, напр., въ „Пѣвцѣ во станѣ русскихъ воиновъ“) встрѣчаются мѣста совершенно риторическія. Онъ былъ заключенъ въ себѣ, и вотъ причина его односторонности, которая въ немъ есть оригинальность въ высочайшей степени. По множеству своихъ переводовъ Жуковскій относится къ нашей литературѣ, какъ Фоссъ или Авг. Шлегель къ нѣмецкой литературѣ. Знаюки

¹⁾ Я разумѣю здѣсь мелкія сочиненія Карамзина.

утверждаютъ, что онъ не переводилъ, а усвоивалъ русской словесности созданія Шиллеровъ, Байроновъ и проч.; въ этомъ, кажется, нѣтъ причины сомнѣваться. Словомъ, Жуковский есть поэтъ съ необыкновеннымъ энергическимъ талантомъ, поэтъ, оказавшій русской литературѣ неоцѣненные услуги, поэтъ, который никогда не забудется, котораго никогда не перестанутъ читать; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и не такой поэтъ, котораго бы можно было называть поэтомъ собственно русскимъ: имя котораго можно бы было провозгласить на европейскомъ турнирѣ, гдѣ соперничаютъ народными славами.

Много изъ сказаннаго о Жуковскомъ можно сказать и о Батюшковѣ. Сей послѣдній рѣшительно стоялъ на рубежѣ двухъ вѣковъ, поочередно плѣнялся и гнушался прошедшимъ, не призналъ и не былъ признанъ наступившимъ. Это былъ человекъ не гениальный, но съ большимъ талантомъ. Какъ жаль, что онъ не зналъ нѣмецкой литературѣ: ему немного недоставало для совершеннаго литературнаго обращенія. Прочтите его статью „о морали, основанной на религiи“, и вы поймете эту тоску души и ея порывы къ безконечному послѣ упоенія сладострастiемъ, которыми дышать его гармоническія созданія. Онъ писалъ „о жизни и впечатлѣніяхъ поэта“, гдѣ, между дѣтскими мыслями, проискиваются мысли какъ будто нашего времени, и тогда же писалъ о какой-то „Легкой Поэзiи“, какъ будто бы была поэзія тяжелая. Не правда ли, что онъ не принадлежалъ вполнѣ ни тому, ни другому вѣку?... Батюшковъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, былъ преобразователемъ стихотворнаго языка, т.-е. писалъ чистымъ, гармоническимъ языкомъ; проза его тоже лучше прозы мелкихъ сочиненій Карамзина. По таланту Батюшковъ принадлежитъ къ нашимъ второкласснымъ писателямъ и, по моему мнѣнію, ниже Жуковского; о равенствѣ же его съ Пушкинымъ смѣшно и думать. Триумvirату, составленному нашими словесниками изъ Жуковского, Батюшкова и Пушкина, могли вѣрить только въ двадцатыхъ годахъ...

Было время!...

Народная поговорка.

Въ прошедшей статьѣ я обозрѣлъ Карамзинскій періодъ нашей словесности, періодъ, продолжавшійся цѣлую четверть столѣтія. Цѣлый періодъ словесности, цѣлая четверть вѣка ознаменованы вліяніемъ одного таланта, одного человека, а вѣдь четверть вѣка много, слишкомъ много значить для такой литературы, которая не дожила еще пяти лѣтъ до своего второго столѣтія ¹⁾. И что же произвелъ великаго и прочнаго этотъ періодъ? Гдѣ те-

¹⁾ Литература наша, безъ всякаго сомнѣнія, началась въ 1739 году, когда Ломоносовъ прислалъ изъ-за границы свою первую оду на взятіе Хотина. Нужно ли повторять, что не съ Кантемира и не съ Тредьяковского, а тѣмъ болѣе не съ Симеона Полоцкого, началась наша литература? Нужно ли доказывать, что „Слово о Полку Игоревѣ“, „Сказаніе о Донскомъ Побойцѣ“, краснорѣчивое „Посланіе

перъ генія, которыми онъ, бывало, такъ красовался и величался? Изъ всѣхъ нихъ одинъ только великъ и безсмертенъ безъ всякихъ отношеній, и этотъ одинъ не заплатилъ дани Карамзину, который бралъ свою обычную дань даже и съ такихъ людей, кои были выше его и по таланту, и по образованію: говорю о Крыловѣ. Повторяю: что сдѣлано въ этотъ періодъ для безсмертія? Одинъ познакомилъ насъ нѣсколько, и притомъ одностороннимъ образомъ, съ нѣмецкою и англійскою литературой, другой съ французскимъ театромъ, третій съ французскою критикою XVIII столѣтія, четвертый... Но гдѣ же литература? Не ищите ея: напрасенъ будетъ вашъ трудъ; пересаженные цвѣты недолговѣчны: это истина неоспоримая. Я сказалъ, что въ началѣ этого періода впервые родилась у насъ мысль о литературѣ: вслѣдствіе того появились у насъ и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровожденіе времени, дѣло отъ бездѣлья, а иногда и средство нажить денежку. Ни одинъ изъ нихъ не слѣдилъ за ходомъ просвѣщенія, ни одинъ не передавалъ своимъ соотечественникамъ успѣховъ челоуѣчества на поприщѣ самосовершенствованія. Помню, что въ какомъ-то чувствительномъ журналѣ, кажется въ 1813 году, было напечатано, что въ Англіи явился новый поэтъ, Биронъ, который пишетъ въ какомъ-то романическомъ родѣ и особенно прославился своею поэмой „Шильдъ Гарольдъ“; вотъ вамъ и все тутъ. Конечно, тогда не только въ Россіи, но отчасти и въ Европѣ смотрѣли на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французскаго классицизма; но движеніе тамъ уже было начато и сами французы, умиротворенные реставраціей, много поумнѣли противъ [прежняго и даже совершенно переродились. Между тѣмъ наши литературные наблюдатели дремали, и только тогда проснулись, когда непріятель ворвался въ ихъ дома и началъ въ нихъ своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласомъ великимъ: караулъ! рѣжутъ! разбой! романтизмъ!...

За Карамзинскимъ періодомъ нашей словесности послѣдовалъ періодъ Пушкинскій, продолжавшійся почти ровно десять лѣтъ. Говорю Пушкинскій, ибо кто не согласится, что Пушкинъ былъ главою этого десятилѣтія, что все тогда шло отъ него и къ нему? Впрочемъ, я не то здѣсь думаю, чтобы Пушкинъ былъ для своего времени совершенно то же, что Карамзинъ для своего. Однако ужъ то, что его дѣятельность была безсознательною дѣятельностію художника, а не практическою и преднамѣренною дѣятельностію писателя, полагаетъ большую разницу между имъ и Карамзинымъ. Пушкинъ властвовалъ единственно силою своего таланта и тѣмъ, что онъ былъ

Вассіана къ Іоанну III“ и другіе историческіе памятники, народныя пѣсни и схоластическое духовное краснорѣчіе имѣютъ точно такое же отношеніе къ нашей словесности, какъ и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, въ санскритской, греческой или латинской литературѣ? Такія истины надобно доказывать только гг. Гречу и Пласину, съ коими я не намѣренъ вступать въ ученыя состязанія.

сыномъ своего вѣка; владычество же Карамзина въ послѣднее время основывалось на слѣпомъ уваженіи къ его авторитету. Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это; нѣтъ, онъ своими со-зданіями далъ мѣрило для первой и до нѣкоторой степени показалъ современное значеніе другой. Въ то время, то есть въ двадцатыхъ годахъ (1814—1824), у насъ глухо отдалось эхо умственного переворота, совершившагося въ Европѣ; тогда, хотя еще робко и неопредѣленно, начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспиръ неизмѣримо выше накрахмаленнаго Расина, что Шлегель будто бы знаетъ объ искусствѣ побольше Лагарпа, что нѣмецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные гг. Буало, Баттѣ, Лагарпъ и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили въ немъ толку. Конечно, теперь въ этомъ никто не сомнѣвается, и доказывать подобныя истины значило бы навлечь на себя всеобщее посмѣяніе; но тогда, право, было не до смѣху: ибо тогда даже и въ Европѣ за подобныя безбожныя мысли угрожало инквизиторское ауто-да-фе; на что же рѣшались въ Россіи люди, которые дерзали утверждать, что Сумароковъ не поэтъ, что Херасковъ тяжеловатъ, и пр.? Изъ сего ясно, что чрезмѣрное вліяніе Пушкина происходило оттого, что, въ отношеніи къ Россіи, онъ былъ сыномъ своего времени въ полномъ смыслѣ сего слова, что онъ шелъ наравнѣ съ своимъ отечествомъ, былъ представителемъ развитія его умственной жизни: слѣдовательно его владычество было законное. Карамзинъ, напротивъ, какъ мы видѣли выше, въ девятнадцатомъ вѣкѣ былъ сыномъ осьмнадцатаго и даже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, не вполнѣ его выразилъ, ибо, по своимъ идеямъ, не возвысился даже и до него, слѣдовательно его вліяніе было законно только развѣ до появленія Жуковского и Батюшкова, начиная съ конхъ его могущественное вліяніе только задерживало успѣхи нашей словесности. Появленіе Пушкина было зрѣлищемъ умиленнымъ; поэтъ-юноша, благословенный помазаннымъ старцемъ Державинымъ, стоявшимъ на краю гроба и готовившимся склонить въ него свою лавровѣнчанную главу; поэтъ-мужъ, подающій ему руку чрезъ неизмѣримую пропасть цѣлаго столѣтія, раздѣлявшаго, въ нравственномъ смыслѣ, два поколѣнія; наконецъ, ставшій подлѣ него и вмѣстѣ съ нимъ образующій двойственное лучезарное созвѣздіе на пустынномъ небосклонѣ нашей литературы!...

Классицизмъ и романтизмъ—вотъ два слова, коимъ огласился Пушкинскій періодъ нашей словесности; вотъ два слова, на кои были написаны книги, разсужденія, журнальныя статьи и даже стихотворенія, съ коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались на-смерть, о коихъ спорили до слезъ и въ классахъ, и въ гостиныхъ, и на площадяхъ, и на улицахъ! Теперь эти два слова сдѣлались какъ-то пошлыми и смѣшными; какъ-то странно и дико встрѣтить ихъ въ печатной книгѣ или услышать въ разговорѣ. А давно ли кончилось это „тогда“ и началось это „теперь“? Какъ же

послѣ сего не скажешь, что все летитъ впередъ на крыльяхъ вѣтра? Только развѣ въ какомъ-нибудь „Дагестанѣ“ можно еще съ важностію разсуждать объ этихъ почившихъ страдальцахъ—классицизмъ и романтизмъ, и выдавать намъ за новостъ, что Расинъ немножко приторенъ, что энциклопедисты немножко ввали, что Шекспиръ, Гете и Шиллеръ велики, а Шлегель говорилъ правду, и пр. И это нисколько не удивительно: вѣдь Дагестанъ въ Азіи!..

Въ Европѣ классицизмъ былъ литературнымъ католицизмомъ. Въ папы онаго былъ выбранъ, безъ его вѣдома и согласія, покойникъ Аристотель какимъ-то непризнаннымъ конклавомъ; инквизиціею этого католицизма была французская критика; великими инквизиторами: Буало, Баттѣ и Лагарпъ съ братіею; предметами обожанія: Корнель, Расинъ, Вольтеръ и другіе. Волею или неволею, гг. инквизиторы завербовали въ свой календаръ и древнихъ, а въ числѣ ихъ и вѣчнаго старца Гомера (вмѣстѣ съ Виргиліемъ), Тасса, Аріоста, Мильтона, кои (за исключеніемъ, можетъ быть, вставочнаго) не виноваты въ классицизмѣ ни душою, ни тѣломъ, ибо были естественны въ своихъ твореніяхъ. Такъ дѣла шли до XVIII столѣтія. Наконецъ, все перевернулось: бѣлое стало чернымъ, а черное бѣлымъ. Лицемерный, развратный, приторный осьмнадцатый вѣкъ испустилъ свое послѣднее дыханіе, и съ девятнадцатымъ столѣтіемъ умъ и вкусъ возродились для новой, лучшей жизни. Подобно страшному метеору, въ началѣ его, возникъ сынъ судьбы, облеченный всею ея ужасающею мощію или, лучше сказать, сама судьба явилась въ образѣ Наполеона, того Наполеона, который сдѣлался „властителемъ нашихъ думъ“, говоря о которомъ и самая посредственность возвышалась до поэзіи. Вѣкъ принялъ гигантскіе размѣры и облекся въ исполинское величіе; Франція устыдилась самой себя и съ ругательнымъ смѣхомъ начала указывать пальцемъ на жалкія развалины минувшаго времени, которыя, какъ бы не замѣчая великихъ переворотовъ, совершившихся передъ ихъ глазами, даже при роковомъ переходѣ черезъ Березину, взмостившихъ на сукъ дерева, окостенѣлою рукою завивали свои буки и посыпали ихъ завѣтною пудрою, тогда какъ вокругъ нихъ бушевала зимняя вьюга мстительнаго сѣвера и люди падали тысячами, оцѣпененные страхомъ и холодомъ... Итакъ, французы, слишкомъ пораженные этими великими событіями, сдѣлались постепеннѣе и посолондѣе, перестали прыгать на одной ногѣ; это было первымъ шагомъ къ ихъ обращенію къ истинѣ. Потомъ они узнали, что у ихъ сосѣдей, у неповоротливыхъ нѣмцевъ, коихъ они всегда выставляли за образецъ эстетическаго безвкусія, есть литература,—литература, достойная глубокаго и основательнаго изученія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, узнали, что ихъ препрославленные поэты и философы совсѣмъ не поставили Геркулесовскихъ столбовъ генію человѣческому. Всѣмъ извѣстно, какъ все это сдѣлалось, и потому не хочу распространяться о томъ, что Шатобріанъ былъ крестнымъ отцомъ, а г-жа Сталь повивальною бабкою юнаго романтизма во Франціи. Скажу только, что этотъ романтизмъ былъ не иное что, какъ возвращеніе

къ естественности, а слѣдственно самобытности и народности въ искусствѣ, предпочтеніе, оказанное идеѣ надъ формою, и сверженіе чуждыхъ и тѣсныхъ формъ древности, которыя къ произведеніямъ новѣйшаго искусства шли точно такъ же, какъ идетъ къ напудренному парикю, шитому камзолу и выбритой бородѣ греческій хитонъ или римская тога. Отсюда слѣдуетъ, что этотъ такъ называемый романтизмъ былъ очень старая новостъ, а отнюдь не чадъ XIX вѣка; былъ, такъ сказать, народностью новаго христіанскаго міра Европы. Германія была искони вѣковъ романтическойею страной по преимуществу, какъ по феодальнымъ формамъ своего правленія, такъ и по идеальному направленію своей умственной дѣятельности. Реформація убила въ ней католицизмъ, а вмѣстѣ съ нимъ и классицизмъ. Эта же самая реформація, хотя нѣсколько въ другомъ видѣ, развязала руки и Англіи. Шекспиръ былъ романтикъ. Очевидно, что романтизмъ былъ новостію только для одной Франціи и еще для тѣхъ государствъ, гдѣ совсѣмъ не было литературъ, т.-е. Швеціи, Даніи и т. п. И Франція бросилась на эту старую новинку со всею своею живостію и увлекла за собою безлитературныя государства. Юная словесность есть не иное что, какъ реакція старой; и какъ во Франціи общественная жизнь и литература идутъ объ руку, то и нимаго не удивительно, что нынѣшняя ихъ литература отличается излишествомъ: реакціи никогда не бываютъ умѣренны. Теперь во Франціи изъ одной моды всякій хочетъ быть глубокимъ и энергическимъ, подобно кому-нибудь Феррагусу, такъ какъ прежде всякій изъ моды не хотѣлъ быть вѣтраннымъ, безпечнымъ, легковѣрнымъ и ничтожнымъ.

И однакожъ,—странное дѣло!—никогда не проявлялось въ Европѣ такого дружнаго и сильнаго стремленія сбросить съ себя оковы классицизма, схоластизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же). Байронъ, другой „властитель нашихъ думъ“, и Вальтеръ-Скоттъ раздавили своими твореніями школу Попа и Блера и возвратили Англіи романтизмъ. Во Франціи явился Викторъ Гюго съ толпою другихъ мощныхъ талантовъ, въ Польшѣ Мицкевичъ, въ Италіи Манцони, въ Даніи Эленшлегеръ, въ Швеціи Тегнеръ. Неужели только Россіи суждено было остаться безъ своего литературнаго Лютера?

Въ Европѣ классицизмъ былъ не что иное, какъ литературный католицизмъ; что же такое былъ онъ въ Россіи? Не трудно отвѣчать на этотъ вопросъ: въ Россіи классицизмъ былъ ни больше ни меньше, какъ слабый отголосокъ европейскаго эха, для объясненія коего совсѣмъ не нужно ѣздить въ Индію на пароходѣ „Джонъ-Вуль“. Пушкинъ не натягивался, былъ всегда истиненъ и искрененъ въ своихъ чувствахъ, творилъ для своихъ идей свои формы: вотъ его романтизмъ. Въ этомъ отношеніи и Державинъ былъ почти такой же романтикъ, какъ и Пушкинъ; причина этому, повторяю, скрывается въ его невѣжествѣ. Будь этотъ человѣкъ ученъ — и у насъ было бы два Хераскова, коихъ было бы трудно отличить другъ отъ друга.

Итакъ, третье десятилѣтіе XIX вѣка было ознаменовано вліяніемъ Пушкина. Что могу сказать я новаго объ этомъ человѣкѣ? Признаюсь, еще въ первый разъ поставилъ я себя въ затруднительное положеніе, взявшись судить о русской литературѣ; еще въ первый разъ я жалѣю о томъ, что природа не дала мнѣ поэтическаго таланта, ибо въ природѣ есть такіе предметы, о коихъ грѣшно говорить смиренною прозою!

Какъ медленно и нерѣшительно шелъ или, лучше сказать, хромалъ Карамзинскій періодъ, такъ быстро и скоро шелъ періодъ Пушкинскій. Можно сказать утвердительно, что только въ прошлое десятилѣтіе проявилась въ нашей литературѣ жизнь, и какая жизнь!—тревожная, кипучая, дѣятельная! Жизнь есть дѣйствованіе, дѣйствованіе есть борьба, а тогда боролись и дрались не на животъ, а на смерть. У насъ нападаютъ иногда на полемику, въ особенности журнальную. Это очень естественно. Люди, хладнокровные къ умственной жизни, могутъ ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастіе души сказать какому-нибудь гению въ отставкѣ безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ съ своими дѣтскими претензіями на великость; растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну-журналисту обязанъ своею литературною значительностію; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ на кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки; сказать какому-нибудь выходцу Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видоку, какому-нибудь литературному торгашу, что онъ оскорбляетъ собою и эту словесность, которою занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ коихъ пользуется, что онъ нарутался и надъ святостію истины, и надъ святостію знанія, заклеить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя бы она была и баронская, и показать ее свѣту во всей его наготѣ!.. Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное! Конечно, въ литературныхъ ошибкахъ иногда нарушаются законы приличія и общежительности, но умный и образованный читатель пропуститъ безъ вниманія пошлые намеки о желткахъ, объ утиныхъ носкахъ, семинаристахъ, гарѣ, полугарѣ, купцахъ и аршинникахъ; онъ всегда сумѣетъ отличить истину отъ лжи, человѣка отъ слабости, талантъ отъ заблужденія; читатели же невѣжды не сдѣлаются оттого ни глупѣе, ни умнѣе. Будь все тихо и чинно, будь вездѣ комплименты и вѣжливости,—тогда какой просторъ для безсовѣстности, шарлатанства, невѣжества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!...

Итакъ, періодъ Пушкинскій былъ ознаменованъ движеніемъ жизни въ высочайшей степени. Въ это десятилѣтіе мы переживали, переискали и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось къ намъ

черезъ Балтійское море. Мы обо всемъ пересудили, обо всемъ переспорили, все усвоили себѣ, ничего не варостивши, не взлелѣявши, не создавши сами. За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользовались имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимовѣрной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимовѣрной непрочности. Этимъ же, кажется мнѣ, можно объяснить и то, что отъ этого десятилѣтія, столь живого и дѣятельнаго, столь обильнаго талантами и геніями, уцѣлѣлъ едва одинъ Пушкинъ, и, осиротѣлый, теперь съ грустію видить, какъ имена, вмѣстѣ съ нимъ взшедшія на горизонтъ нашей словесности, исчезаютъ одно за другимъ въ пучинѣ забвенія, какъ исчезаетъ въ воздухѣ недосказанное слово... Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же теперь эти юныя надежды, которыми мы такъ гордились? Гдѣ эти имена, о коихъ бывало только и слышно? Почему они всѣ такъ внезапно смолкнули? Воля ваша, а мнѣ сдается, что тутъ что-нибудь да есть! Или, въ самомъ дѣлѣ, время есть самый строгій, самый правдивый Аристархъ?.. Увы!.. Развѣ талантъ Озерова или Батюшкова былъ ниже таланта, напримѣръ, г. Баратынскаго и г. Подолинскаго? Явись Капнистъ, В. и А. Измайловы, В. Пушкинъ, явись эти люди вмѣстѣ съ Пушкинымъ во цвѣтѣ юности, и они, право, не были бы смѣшны и при тѣхъ скудныхъ дарованіяхъ, которыми наградила ихъ природа. Отчего же такъ? Оттого, что подобные таланты могутъ быть и не быть, смотря по обстоятельствамъ.

Подобно Карамзину, Пушкинъ былъ встрѣченъ громкими рукоплесканіями и свистомъ, которые только недавно перестали его преслѣдовать. Ни одинъ поэтъ на Руси не пользовался такою народностію, такою славой при жизни, и ни одинъ не былъ такъ жестоко оскорбляемъ. И кѣмъ же?—людьми, которые сперва пресмыкались предъ нимъ во прахѣ, а потомъ кричали *chûte complète*—людьми, которые велегласно объявляли о себѣ, что у нихъ въ мизинцахъ больше ума, чѣмъ въ головахъ всѣхъ нашихъ литераторовъ! Дивные мизинчики, любонятно бы взглянуть на нихъ! Но не о томъ дѣло. Вспомните состояніе нашей литературы до двадцатыхъ годовъ. Жуковскій уже совершилъ тогда большую часть своего поприща; Батюшковъ умолкъ навсегда; Державиннымъ восхищались вмѣстѣ съ Сумароковымъ и Херасковымъ по лекціямъ Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего новаго; все ташилось по старой колеѣ; какъ вдругъ появились „Русланъ и Людмила“,—созданіе, рѣшительно не имѣвшее себѣ образца ни по гармоніи стиха, ни по формѣ, ни по содержанію. Люди безъ претензій на ученость, люди, вѣрившіе своему чувству, а не піитикамъ, или сколько-нибудь знакомые съ современною Европою, были очарованы этимъ явленіемъ. Литературные судіи, державшіе въ рукахъ жезлъ критики, съ важностью развернули „Лицей“ (въ переводѣ г. Мартынова „Ликей“) Лагарпа и „Словарь Древнія и Новыя Поезіи“ г. Остолопова и, увидя, что новое произведеніе не подходило ни подъ одну изъ извѣстныхъ категорій, и что на греческомъ и латинскомъ языкѣ не было образца оному, торжественно объявили, что оно было неза-

бонное чадѡ поэзія, непростительное заблужденіе таланта. Не всѣ, конечно, тому и повѣрили. Вотъ и пошла потѣха. Классицизмъ и романтизмъ вѣпились другъ другу въ волосы. Но оставимъ ихъ въ покоѣ и поговоримъ о Пушкинѣ.

Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью принимать и отражать всѣ возможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; онъ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, явленіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность „вѣковыхъ правилъ, самою мудростью извлеченныхъ изъ писаній великихъ геніевъ“, и съ удивленіемъ узнавая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и новыхъ, неизвѣстныхъ ей дотолѣ взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорятъ, будто онъ подражалъ Шенъе, Байрону и другимъ: Байронъ владелъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему чело-вѣчества,—но міра русскаго, но чело-вѣчества русскаго. Что дѣлать? Мы всѣ геніи-самоучки, мы все знаемъ, ничему не учившись, все приобрѣли, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словомъ,

Мы всѣ учились понемногу
Чему-нибудь и какъ нибудь.

Пушкинъ отъ шумныхъ оргій разгульной юности переходилъ къ су-ровому труду,

Чтобъ въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ,

отъ труда опять къ младымъ пирамъ, сладкому бездѣлью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только нѣмецко-художественнаго воспитанія. Баловень природы, онъ, шая и играя, похищалъ у ней плѣнительные образы и формы, и, снисходительная къ своему любимцу, она роскошно одѣляла его тѣми цвѣтами и звуками, за которые другіе жертвуютъ ей наслажде-ніями юности, которые покупаютъ у ней цѣною отреченія отъ жизни... Какъ чародѣй, онъ въ одно и то же время исторгалъ у насъ и смѣхъ, и слезы, игралъ по волѣ нашими чувствами... Онъ плѣлъ, и какъ изумлена была Русь звуками его пѣсенъ: и не диво, она еще никогда не слыхала подобныхъ; какъ жадно прислушивалась она къ нимъ: и не диво, въ нихъ трепетали всѣ нервы ея жизни! Я помню это время, счастливое время, когда въ глуши провинціи, въ глуши уѣзднаго городка, въ лѣтніе дни, изъ растворенныхъ оконъ, носились по воздуху эти звуки, „подобные шуму волнъ“ или „жур-чанію ручья“...

Невозможно обозрѣть всѣхъ его созданій и опредѣлить характеръ каждаго: это значило бы перечестъ и описать всѣ деревья и цвѣты Арמידина сада. У Пушкина мало, очень мало мелкихъ стихотвореній; у него по большей части все поэмы: его поэтическія тризны надъ урнами великихъ, то есть его „Андрей Шенье“, его могучая бесѣда съ моремъ, его вѣщая дума о Наполеонѣ—поэмы. Но самые драгоцѣнные алмазы его поэтического вѣнка, безъ сомнѣнія, суть „Евгеній Онѣгинъ“ и „Борисъ Годуновъ“. Я никогда не кончилъ бы, если бы началъ говорить о сихъ произведеніяхъ.

Пушкинъ царствовалъ десять лѣтъ: „Борисъ Годуновъ“ былъ послѣднимъ великимъ его подвигомъ; въ третьей части полного собранія его стихотвореній замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время. Можетъ быть, его уже нѣтъ, а можетъ быть онъ и воскреснетъ; этотъ вопросъ, это Гамлетовское „быть или не быть“ скрывается во мглѣ будущаго. По крайней мѣрѣ, судя по его сказкамъ, по его poemѣ „Анжело“ и по другимъ произведеніямъ, обрѣтающимся въ „Новосельѣ“ и „Библіотекѣ для Чтенія“, мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Гдѣ теперь эти звуки, въ коихъ слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, гдѣ эти вспышки пламениаго и глубокаго чувства, потрясавшаго сердца, сжимавшаго и волновавшаго груди—эти вспышки остроумія тонкаго и язвительнаго, этой ироніи, вмѣстѣ злой и тоскливой, которыя поражали умъ своею игрою; гдѣ теперь эти картины жизни и природы, передъ которыми была блѣдна жизнь и природа?.. Увы! вмѣсто ихъ мы читаемъ теперь стихи съ правильною цезурою, съ богатыми и полубогатыми приемами, съ пѣстическими вольностями, о коихъ такъ пространно, такъ удовлетворительно и такъ глубоко-мысленно разсуждали архимандритъ Аполлосъ и г. Остолоповъ!.. Странная вещь, непонятная вещь! Неужели Пушкина, котораго не могли убить ни изступленныя похвалы энтузіастовъ, ни хвалебныя гимны торгашей, ни сильныя, нерѣдко справедливыя нападки и порицанія его антагонистовъ, неужели, говорю я, этого Пушкина убило „Новоселье“ г. Смирдина? И однакожь не будемъ слишкомъ поспѣшны и опрометчивы въ нашихъ заключеніяхъ; предоставимъ времени рѣшить этотъ запутанный вопросъ. О Пушкинѣ судить не легко. Вы, вѣрно, читали его „Элегію“ въ октябрьской книжкѣ „Библіотеки для Чтенія“? Вы, вѣрно, были потрясены глубокимъ чувствомъ, которымъ дышитъ это созданіе? Упомянутая „Элегія“, кромѣ утѣшительныхъ надеждъ, подаваемыхъ ею о Пушкинѣ, еще замѣчательна и въ томъ отношеніи, что заключаетъ въ себѣ самую вѣрную характеристику Пушкина, какъ художника:

Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь.

Да, я свято вѣрю, что онъ вполне раздѣлялъ безотрадную муку отвержен-

ной любви черноокой черкешенки, или своей плѣнительной Татьяны, этого лучшаго и любимѣйшаго идеала его фантазіи; что онъ, вмѣстѣ съ своимъ мрачнымъ Гиреемъ, томился этою тоскою души, пресыщенной наслажденіями и все еще не вѣдавшей наслажденія; что онъ горѣлъ неистовымъ огнемъ ревности, вмѣстѣ съ Зарекою и Алеко, и упивался дикою любовію Земфиры; что онъ скорбѣлъ и радовался за свои идеалы, что журчаніе его стиховъ согласовалось съ его рыданіями и смѣхомъ... Пусть скажутъ, что это страстіе, идолопоклонство, дѣтство, глупость, но я лучше хочу вѣрить тому, что Пушкинъ мистифицируетъ „Библиотеку для Чтенія“, чѣмъ тому, что его талантъ погасъ. Я вѣрю, думаю, и мнѣ отрадно вѣрить и думать, что Пушкинъ подаритъ насъ новыми созданіями, которые будутъ выше прежнихъ...

Вмѣстѣ съ Пушкинымъ появилось множество талантовъ, теперь болѣею частію забытыхъ или готовящихся быть забытыми, но нѣкогда имѣвшихъ алтари и поклонниковъ; теперь изъ нихъ

Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказалъ!

Г. Баратынского ставили на одну доску съ Пушкинымъ; ихъ имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочиненія сихъ поэтовъ явились въ одной книжкѣ, подъ однимъ переплетомъ. Говоря о Пушкинѣ, я забылъ замѣтить, что только нынѣ его начинаютъ цѣнить по достоинству, ибо уже реакція кончилась, партіи поохолодѣли. Итакъ, теперь даже и въ шутку никто не поставитъ имени Баратынского подлѣ имени Пушкина. Это значило бы жестоко издѣваться надъ первымъ и не знать цѣны второму. Поэтическое дарованіе г. Баратынского не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію. Правда, онъ написалъ плохую поэмѣ „Пирѣ“, плохую поэмѣ „Эдда“ (Бѣдную Лизу въ стихахъ), плохую поэмѣ „Наложницу“, но вмѣстѣ написалъ и нѣсколько прекрасныхъ элегій, дышащихъ неподдѣльнымъ чувствомъ, изъ коихъ „На смерть Гете“ можетъ назваться образцовою, — нѣсколько посланий, отличающихся остроуміемъ. Прежде его возвышали не по заслугамъ; теперь, кажется, унижаютъ неосновательно. Замѣчу еще, что г. Баратынскій обнаруживалъ во времена оны претензіи на критическій талантъ, теперь, я думаю, онъ и самъ разувѣрился въ немъ.

Козловъ принадлежитъ къ замѣчательнѣйшимъ талантамъ Пушкинскаго періода. По формѣ своихъ сочиненій онъ всегда былъ подражателемъ Пушкина, по господствующему же чувству оныхъ, кажется, находился подъ влияніемъ Жуковскаго. Всѣмъ извѣстно, что несчастіе пробудило поэтический талантъ Козлова: посему какое-то грустное чувство, покорность волѣ providѣнія и упованіе на мздовоздаяніе за гробомъ составляютъ отличительный характеръ его созданій. Его „Чернецъ“, надъ коимъ пролито столько слезъ прекрасными читательницами и который былъ сколкомъ съ Байронова „Джаура“, особенно отличается этимъ одностороннимъ характеромъ; послѣ-

довавшія за нимъ поэмы были постепенно слабѣе. Мелкія сочиненія Козлова отличаются неподдѣльнымъ чувствомъ, роскошною живописностью картинъ, звучнымъ и гармоническимъ языкомъ. Какъ жаль, что онъ писалъ баллады! Баллада безъ народности есть родъ ложный и не можетъ возбуждать участія. Притомъ же онъ силился создать какую-то славянскую балладу. Славяне жили давно и мало извѣстны намъ; такъ для чего же выводить на сцену онѣмеченныхъ Всемиля и Остановъ? Козловъ много повредилъ своей художнической знаменитости еще и тѣмъ, что иногда писалъ какъ будто отъ скуки: это въ особенности можно сказать о его нынѣшнихъ произведеніяхъ.

Теперь мнѣ остается сказать объ одномъ поэтѣ, не похожемъ ни на одного изъ всѣхъ упомянутыхъ мною, поэтѣ оригинальномъ и самобытномъ, не признавшемъ надъ собою вліянія Пушкина, и едва ли не равномъ ему: говорю о Грибоѣдовѣ. Этотъ человѣкъ слишкомъ много надеждъ унесъ съ собою въ гробъ. Онъ былъ назначенъ быть творцомъ русской комедіи, творцомъ русскаго театра.

Театра!.. Любите ли вы театръ такъ, какъ я люблю его, то есть всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазомъ, со всѣмъ изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свѣтѣ, кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточиваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія изящныхъ искусствъ? Не есть ли онъ исключительно самовластный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое время и при всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волновать ихъ, какъ воздымаетъ ураганъ песчаная метель въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи?.. Какое изъ всѣхъ искусствъ владѣетъ такими могущественными средствами поражать душу впечатлѣніями и играть ею самовластно... Лиризмъ, эпопея, драма—отдаете ли вы чему-нибудь изъ нихъ рѣшительное предпочтеніе или все это любите одинаково? Трудный выборъ, не правда ли? Вѣдь въ мощныхъ строфахъ богатыря Державина и въ разнообразныхъ напѣвахъ протѣя Пушкина предображается та же самая природа, что и въ поэмахъ Байрона или романахъ Вольтеръ-Скотта, а въ сихъ послѣднихъ та же самая, что и въ драмахъ Шекспира и Шиллера! И однакоже я люблю драму предпочтительно, и, кажется, это общій вкусъ. Лиризмъ выражаетъ природу неопредѣленно и, такъ сказать, музыкально; его предметъ — вся природа во всей ея безконечности; предметъ же драмы есть исключительно человѣкъ и его жизнь, въ которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной. Между искусствами драма есть то же, что исторія между науками. Человѣкъ всегда былъ и будетъ самымъ любопытнѣйшимъ явленіемъ для человѣка, а драма представляетъ этого человѣка въ его вѣчной борьбѣ съ своимъ я и съ своимъ назначеніемъ, въ его вѣчной дѣятельности, источникъ которой есть стремленіе къ какому-то темному идеалу блаженства, рѣдко

имъ постигаемаго и еще рѣже достигаемаго. Сама эпопея отъ драмы заимаетъ свое достоинство: романъ безъ драматизма вялъ и скученъ. Въ которомъ смыслѣ эпопея есть только особенная форма драмы. Итакъ положимъ, что драма есть если не лучший, то ближайшій къ намъ родъ поэзіи. Что же такое театръ, гдѣ эта могущественная драма облекается съ головы до ногъ въ новое могущество, гдѣ она вступаетъ въ союзъ со всѣми искусствами, призываетъ ихъ на свою помощь и беретъ у нихъ всѣ средства, всѣ оружія, изъ коихъ каждое, отдѣльно взятое, слишкомъ сильно для того, чтобы вырвать васъ изъ тѣснаго міра суетъ и ринуть въ безбрежный міръ высокаго и прекраснаго? Что же такое, спрашиваю васъ, этотъ театръ?.. О, это истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгновенно отдѣляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ житейскихъ отношеній! Эти звуки настраиваемыхъ въ оркестрѣ инструментовъ томятъ вашу душу ожиданіемъ чего-то чудеснаго, сжимаютъ ваше сердце предчувствіемъ какого-то неизъяснимо-сладостнаго блаженства; этотъ народъ, наполняющій огромный амфитеатръ, раздѣляетъ ваше нетерпѣливое ожиданіе, вы сливаетесь съ нимъ въ одномъ чувствѣ; этотъ роскошный и великолѣпный занавѣсъ, это море огней намекаетъ вамъ о чудесахъ и дивахъ, разсѣянныхъ по прекрасному Божію творенію и сосредоточенныхъ на тѣсномъ пространствѣ сцены! И вотъ грянулъ оркестръ—и душа ваша предощущаетъ въ его звукахъ тѣ впечатлѣнія, которыя готовятся поразить ее; и вотъ поднялся занавѣсъ—и передъ взорами вашими разливается безконечный міръ страстей и судебъ человѣческихъ! Вотъ умоляющіе вопли кроткой и любящей Дездемоны мѣшаются съ бѣшенными воплями ревниваго Отелло; вотъ, среди глубокой полночи, появляется леди Макбетъ, съ обнаженною грудью, съ растрепанными волосами, и тщетно старается стереть съ своей руки кровавыя пятна, которыя мерещатся ей въ мукахъ мстительной совѣсти; вотъ выходитъ бѣдный Гамлетъ съ его завѣтнымъ вопросомъ „быть или не быть“; вотъ проходятъ передъ вами и божественный мечтатель Пова, и два райскіе цвѣтка—Макъ и Текла, съ ихъ небесною любовію, словомъ, весь роскошный и безграничный міръ, созданный плодотворною фантазіею Шекспировъ, Шиллеровъ, Гёте, Вернеровъ... Вы здѣсь живете не своею жизнію, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете не за свою опасность; здѣсь ваше холодное я исчезаетъ въ пламенномъ эфирѣ любви. Если васъ мучитъ тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому видѣнію ночи, какой-то плѣнительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта несбыточная,—здѣсь эта жажда вспыхнетъ въ васъ съ новою, неукротимою силою, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ, и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоскою и любовію, упьетесь его обаятельнымъ дыханіемъ, содрогнетесь отъ огненнаго прикосновенія его руки... Но

возможно ли описать всё очарованіе театра, всю его магическую силу надъ душою человѣческою?.. О, какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой, народный, русскій театр!.. Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокимъ и смѣшнымъ, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть біеніе пульса ея могучей жизни... О, ступайте, ступайте въ театръ, живите и умрите въ немъ, если можете!..

Но,—увы!—все это поэзія, а не проза, мечты, а не существенность! Тамъ, то есть въ томъ большомъ домѣ, который называютъ русскимъ театромъ, тамъ, говорю я, вы увидите пародіи на Шекспира и Шиллера, пародіи смѣшныя и безобразныя; тамъ выдаютъ вамъ за трагедію корчи воображенія; тамъ васъ потчуютъ жизнію, вывороченною наизнанку, словомъ, тамъ

... Мельпомены бурной
Протяжно раздается вой,
Тамъ машетъ мантией мишурной
Она предъ хладною толпою!

Говорю вамъ, не ходите туда; это очень скучная забава!.. Но не будемъ слишкомъ строги къ театру: не его вина, что онъ такъ плохъ. Гдѣ у насъ драматическая литература, гдѣ драматическіе таланты? Гдѣ наши трагики, наши комики? Ихъ много, очень много; ихъ имена всѣмъ извѣстны, и потому не хочу перебирать ихъ, ибо мои похвалы ничего не прибавятъ къ той громкой славѣ, которою они по справедливости пользуются. Итакъ, обращаюсь къ Грибоѣдову.

Грибоѣдова комедія или драма (я не совсѣмъ хорошо понимаю различіе между этими двумя словами; значенія же слова трагедія совсѣмъ не понимаю) давно ходила въ рукописи. О Грибоѣдовѣ, какъ и о всѣхъ примѣчательныхъ людяхъ, было много толковъ и споровъ; ему завидовали нѣкоторые наши гениі, въ то же время удивлявшіеся „Ябедѣ“ Капниста; ему не хотѣли отдавать справедливости тѣ люди, кои удивлялись, гг. АВ., ЕД., ЕФ. и пр. Но публика разсудила иначе: еще до печати и представленія рукописная комедія Грибоѣдова разлилась по Россіи бурнымъ потокомъ.

Комедія, по моему мнѣнію, есть такая же драма, какъ и то, что обыкновенно называется трагедіей; ея предметъ есть представленіе жизни въ противорѣчій съ идеей жизни; ея элементъ есть не то невинное остроуміе, которое добродушно издѣвается надъ всѣмъ изъ одного желанія позубоскалить; нѣтъ, ея элементъ есть этотъ желчный юморъ, это грозное негодованіе, которые не улыбаются шутливо, а хохочетъ яростно, которое преслѣдуетъ ничтожество и эгоизмъ не эпиграммами, а сарказмами.

Комедія Грибоѣдова есть истинная *divina comedia*! Это совсѣмъ не смѣшной анекдотецъ, переложенный на разговоры, не такая комедія, гдѣ дѣйствующія лица нарицаются Добряковыми, Плутоватыными, Обираловыми

и пр.; ея персонажи давно были вамъ извѣстны въ натурѣ, вы видѣли, знали ихъ еще до прочтенія „Горя отъ ума“, и однакожь вы удивляетесь имъ, какъ явленіямъ, совершенно новымъ для васъ: вотъ высочайшая истина поэтическаго вымысла! Лица, созданныя Грибоѣдовымъ, не выдуманы, а сняты съ натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни; у нихъ не написано на лбахъ ихъ добродѣтелей и пороковъ, но они заклеены печатію своего ничтожества, заклеены мстительною рукою палача-художника. Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ пылу негодованія; его слогъ есть раг excellence разговорный. Недавно одинъ изъ нашихъ примѣчательнѣйшихъ писателей, слишкомъ хорошо знающій общество, замѣтилъ, что только одинъ Грибоѣдовъ умѣлъ переложить на стихи разговоръ нашего общества: безъ всякаго сомнѣнія, это не стоило ему ни малѣйшаго труда, но, тѣмъ не менѣе, это все-таки великая заслуга съ его стороны, ибо разговорный языкъ нашихъ комиковъ... Но я уже обѣщался не говорить о нашихъ комикахъ... Конечно, это произведеніе не безъ недостатковъ въ отношеніи къ своей цѣлости, но оно было первымъ опытомъ таланта Грибоѣдова, первую русскую комедію; да и, сверхъ того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помѣшаютъ ему быть образцовымъ, геніальнымъ произведеніемъ и не въ русской литературѣ, которая въ Грибоѣдовѣ лишилась Шекспира комедіи...

Довольно о поэтахъ-стихотворцахъ, поговоримъ о поэтахъ-прозаикахъ.

Почти вмѣстѣ съ Пушкинымъ вышелъ на литературное цоприще и г. Марлинскій. Это одинъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ нашихъ литераторовъ. Онъ теперь безусловно пользуется самымъ огромнымъ авторитетомъ: теперь передъ нимъ все на колѣнахъ: если еще не всѣ въ одинъ голосъ называютъ его русскимъ Бальзакомъ, то потому только, что боятся унижить его этимъ и ожидаютъ, чтобы французы назвали Бальзака французскимъ Марлинскимъ. Въ ожиданіи, пока совершится это чудо, мы похладнокровнѣе рассмотримъ его права на такой громадный авторитетъ. Конечно, страшно выходить на бой съ общественнымъ мнѣніемъ и возставать явно противъ его идоловъ; но я рѣшаюсь на это не столько по смѣлости, сколько по безкорыстной любви къ истинѣ. Впрочемъ, меня ободряетъ въ семъ случаѣ и то, что это страшное общественное мнѣніе начинаетъ мало-по-малу приходить въ память отъ оглушительнаго удара, произведеннаго на него полнымъ изданіемъ „Русскихъ Повѣстей и Разсказовъ“ г. Марлинскаго; начинаютъ ходить темные толки о какихъ-то натяжкахъ, о скучномъ однообразіи и тому подобномъ. Итакъ, я рѣшаюсь быть органомъ новаго общественнаго мнѣнія. Знаю, что это новое мнѣніе найдетъ еще слишкомъ много противниковъ, но какъ бы то ни было, а истина дороже всѣхъ на свѣтѣ авторитетовъ.

На безлюдьи истинныхъ талантовъ въ нашей литературѣ талантъ г. Марлинскаго, конечно, явленіе очень примѣчательное. Онъ одаренъ остро-

уміем неподдѣльнымъ, владѣть способностью разсказа, нерѣдко живого и увлекательнаго, умѣетъ иногда снимать съ природы картинки-загляденье. Но вмѣстѣ съ этимъ нельзя не сознаться, что его талантъ чрезвычайно одностороненъ, что его претензіи на пламень чувства весьма подозрительны, что въ его созданіяхъ нѣтъ никакой глубины, никакой философіи, никакого драматизма; что, вслѣдствіе этого, всѣ герои его повѣстей обиты на одну колодку и отличаются другъ отъ друга только именами; что онъ повторяетъ себя въ каждомъ новомъ произведеніи; что у него болѣе фразъ, чѣмъ мыслей, болѣе риторическихъ возгласовъ, чѣмъ выраженій чувства. У насъ мало писателей, которые бы писали столько, какъ г. Марлинскій, но это обиліе происходитъ не отъ огромности дарованія, не отъ избытка творческой дѣятельности, а отъ навыка, отъ привычки писать. Если вы имѣете хотя нѣсколько дарованія, если образовали себя чтеніемъ, если запаслись извѣстнымъ числомъ идей и сообщили имъ нѣкоторый отпечатокъ своего характера, своей личности, то берите и смѣло пишите съ утра до ночи. Вы дойдете наконецъ до искусства, во всякую пору, во всякомъ расположеніи духа, писать о чѣмъ вамъ угодно; если у васъ придумано нѣсколько пышныхъ монологовъ, то вамъ не трудно будетъ придѣлать къ нимъ романъ, драму, повѣсть, только позаботьтесь о формѣ и слогѣ: они должны быть оригинальныя.

Вещи всего лучше познаются сравненіемъ. Если два писателя пишутъ въ одномъ родѣ и имѣютъ между собою какое-нибудь сходство, то ихъ не иначе можно оцѣнить въ отношеніи другъ къ другу, какъ выставивъ параллельныя мѣста; это самый лучший пробный камень. Посмотрите на Бальзака: какъ много писалъ этотъ человѣкъ и, несмотря на то, есть ли въ его повѣстяхъ хотя одинъ характеръ, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всѣми оттѣнками ихъ индивидуальности! Не преслѣдовалъ ли васъ этотъ грозный и холодный обликъ Феррагуса, не мерещился ли онъ вамъ и во снѣ, и на яву, не бродилъ ли за вами неотступно тѣнью? О, вы узнали бы его между тысячами, и между тѣмъ въ повѣсти Бальзака онъ стоитъ въ тѣни, обрисованъ слегка, мимоходомъ и застановленъ лицами, на коихъ сосредоточивается главный интересъ поэмы. Отчего же „это лицо возбуждаетъ въ читателѣ столько участія и такъ глубоко врѣзывается въ его воображеніе? Оттого, что Бальзакъ не выдумалъ, а создалъ его, оттого, что онъ мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повѣсти, что онъ мучилъ художника до тѣхъ поръ, пока онъ не извелъ его изъ міра души своей въ явленіе, для всѣхъ доступное. Вотъ мы видимъ теперь на сценѣ и „Другого изъ Тринадцати“: Феррагусъ и Монриво видимо одного покроя, люди съ душою глубокою, какъ морское дно, съ силою воли непреодолимою, какъ воля судьбы; и однакожь, спрашиваю васъ, похожи ли они хотя сколько-нибудь другъ на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женскихъ портретовъ вышло изъ-подъ плодотворной кисти Бальзака,

и между тѣмъ повторилъ ли онъ себя хотя въ одномъ изъ нихъ?.. Таковы ли въ семъ отношеніи созданія г. Марлинскаго? Его Амаллатъ-Бекъ, его полковникъ В***, его герой „Страшнаго Гаданья“, его капитанъ Правинъ, — всѣ они родные братья, которыхъ различить трудно самому ихъ родителю. Только развѣ первый изъ нихъ немного отличается отъ прочихъ своимъ азіатскимъ колоритомъ. Гдѣ же творчество? Притомъ, сколько натяжекъ! Можно сказать, что натяжка у г. Марлинскаго такой конекъ, съ котораго онъ рѣдко слѣзаетъ. Ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ его повѣстей не скажетъ ни слова просто, но вѣчно съ ужимкой, вѣчно съ эпиграммою или съ каламбуромъ или съ подобіемъ, словомъ, у г. Марлинскаго каждая копейка ребромъ, каждое слово завиткомъ. Надо сказать правду: природа съ избыткомъ наградила его этимъ остроуміемъ, веселымъ и добродушнымъ, которое колетъ, но не язвитъ, щекочетъ, но не кусаетъ; но и здѣсь онъ часто пересаливается. У него есть цѣлыя огромныя повѣсти, какъ, напр., „Наѣзды“, которыя суть не иное чтò, какъ огромныя натяжки. У него есть талантъ, но талантъ не огромный, талантъ, безсильный вѣчнымъ принужденіемъ, избившійся и растрясшійся о пни и колоды выисканнаго остроумія.

Мнѣ кажется, что романъ не его дѣло, ибо у него нѣтъ никакого знанія человѣческаго сердца, никакого драматическаго такта. Для чего, напримѣръ, заставилъ онъ князя, для котораго всѣ радости земли и неба заключались въ устрицахъ, для котораго вкусный столъ всегда былъ дороже жены и ея чести, для чего заставилъ онъ его проговорить патетическій монологъ осквернителю его брачнаго ложа, — монологъ, который сдѣлать бы честь и самому Правину? Это просто натяжка, закулисная подставочка; автору хотѣлось быть нравственнымъ на манеръ г. Булгарина. Вообще онъ не мастеръ скрывать закулисныя машины, на коихъ вертится зданіе его повѣстей: онѣ у него всегда на виду. Впрочемъ, въ его повѣстяхъ встрѣчаются иногда мѣста истинно прекрасныя, очерки истинно мастерскіе; таково, напримѣръ, описаніе русскаго простонароднаго Мефистофеля и вообще всѣ сцены деревенскаго быта въ „Страшномъ Гаданіи“; таковы многія картины, снятыя съ природы, исключая, впрочемъ, кавказскихъ очерковъ, которые натянуты до тошноты, до *pes plus ultra*. По мнѣ, лучшія его повѣсти суть „Испытаніе“ и „Лейтенантъ Бѣловзоръ“; въ нихъ можно отъ души полюбоваться его талантомъ, ибо онъ въ нихъ въ своей тарелкѣ. Онъ смѣется надъ своимъ стихотворствомъ, но мнѣ переводъ его пѣсень горцевъ въ „Амаллатъ-Бекѣ“ кажется лучше всей повѣсти; въ нихъ такъ много чувства, такъ много оригинальности, что и Пушкинъ не постыдился бы назвать ихъ своими. Равнымъ образомъ и въ его „Андрѣй Переяславскомъ“, особенно во второй главѣ, встрѣчаются мѣста истинно поэтическія, хотя цѣлое произведеніе слишкомъ отзывается дѣтствомъ. Всего страннѣе въ г. Марлинскомъ, что онъ съ удивительною скромностію недавно сознался въ такомъ грѣхѣ, въ которомъ онъ не виноватъ ни душою, ни тѣломъ, — въ томъ, что будто онъ

своими повѣстями отворилъ двери для народности въ русскую литературу: вотъ что, такъ ужъ неправда! Эти повѣсти принадлежать къ числу самыхъ неудачныхъ его попытокъ, въ нихъ онъ народенъ не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его завѣтною, его любимую Ливонію. Время и мѣсто не позволяютъ мнѣ подерѣпить выписками изъ сочиненій г. Марлинскаго мое мнѣніе о его талантѣ; впрочемъ, это очень легко сдѣлать.

О слогѣ его не говорю. Нынѣ слово „слогъ“ начало терять прежнее свое обширное значеніе, ибо его перестаютъ уже отдѣлять отъ мысли. Словомъ, г. Марлинскій—писатель не безъ таланта, и былъ бы гораздо выше, если бы былъ естественнѣе и менѣе натягивался.

Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвѣтушимъ временемъ нашей словесности. Его надобно бы было обозрѣть исторически и въ хронологическомъ порядкѣ; я не сдѣлалъ этого, потому что не то имѣлъ цѣлью. Можно сказать утвердительно, что тогда мы имѣли если не литературу, то, по крайней мѣрѣ, призракъ литературы; ибо тогда было въ ней движеніе, жизнь и даже какая-то постепенность въ развитіи. Сколько новыхъ явленій, сколько талантовъ, сколько попытокъ на то и другое! Мы было уже и въ самомъ дѣлѣ отъ души стали вѣрить, что имѣемъ литературу, имѣемъ своихъ Байроновъ, Шиллеровъ, Гёте, Вальтеръ-Скоттовъ, Томасовъ Муровъ; мы были веселы и горды, какъ дѣти праздничными обновами. И кто же былъ нашимъ разочарователемъ, нашихъ Мефистофелемъ? Кто явился сильною, грозною реакціей и гораздо поохладилъ наши восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоумка; помните ли, какъ, выступивъ на сцену на своихъ скудельныхъ ножкахъ, онъ разсѣялъ наши сладкія мечты своимъ добродушно-лукавымъ: хе! хе! хе! Помните ли, какъ мы всѣ уцѣпились за наши авторитеты и авторитетики и руками, и ногами отстаивали ихъ отъ нападеній грознаго аристарха? Не знаю, какъ вы, а я очень хорошо помню, какъ всѣ сердились на него; помню, какъ я самъ сердился на него. И что же? Уже сбылась большая часть его зловѣщихъ предсказаній, и теперь уже никто не сердится на покойника!.. Да! Никодимъ Аристарховичъ былъ замѣчательное лицо въ нашей литературѣ; сколько надѣлалъ онъ тревоги, сколько произвелъ кровопролитныхъ войнъ, какъ храбро сражался, какъ жестоко поражалъ своихъ противниковъ и этимъ слогомъ, иногда оригинальнымъ до тривіальности, но всегда рѣзкимъ и мѣткимъ, и этимъ твердымъ силлогизмомъ, и этою насмѣшкою, простодушною и убійственною вмѣстѣ...

И гдѣ же твой, о витязь, прахъ?
Какою взять могилой?

Еще одно, послѣднее сказанье,
И лѣтопись окончена моя!

Пушкинъ.

Тридцатый холерный годъ былъ для нашей литературы истиннымъ чернымъ годомъ, истинно роковою эпохою, съ коей начался совершенно новый періодъ ея существованія, въ самомъ началѣ своемъ рѣзко отличившійся отъ предыдущаго. Но не было никакого перехода между этими двумя періодами; вмѣсто его былъ какой-то насильственный перерывъ. Подобные противоестественные скачки, по моему мнѣнію, всего лучше доказываютъ, что у насъ нѣтъ литературы, а слѣдовательно нѣтъ и исторіи литературы; ибо ни одно явленіе въ ней не было слѣдствіемъ другого явленія, ни одно событіе не вытекало изъ другого событія. Исторія нашей словесности есть ни больше, ни меньше какъ исторія неудачныхъ попытокъ, посредствомъ слѣпого подражанія иностраннымъ литературамъ, создать свою литературу. Но литературу не создаютъ; она создается такъ, какъ создаются, безъ воли и вѣдома народа, языкъ и обычаи. Итакъ тридцатымъ годомъ кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался періодъ Пушкинскій, такъ какъ кончился и самъ Пушкинъ, а вмѣстѣ съ нимъ и его вліяніе; съ тѣхъ поръ почти ни одного бывалаго звука не сорвалось съ его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной дѣятельности, допѣвали свои старыя пѣсенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушалъ ихъ.

Итакъ насталъ новый періодъ словесности. Кто же явился главою этого новаго, этого четвертаго періода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладѣлъ общественнымъ вниманіемъ и мнѣніемъ, самодержавно правилъ послѣднимъ, наложилъ печать своего генія на произведенія своего времени, сообщилъ ему жизнь и далъ направленіе современнымъ талантамъ? Кто, говоря я, явился солнцемъ этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя многіе и претендовали на это высокое титуло. Еще въ первый разъ литература явилась безъ верховной главы и изъ огромной монархіи распалась на множество мелкихъ, независимыхъ одно отъ другого государствъ, завистливыхъ и враждебныхъ одно другому. Головъ было много, но онѣ такъ же скоро падали, какъ скоро и возвышались; словомъ, этотъ періодъ есть періодъ нашей литературной исторіи въ темную годину междуцарствія и самозванцевъ.

Какъ противоположенъ былъ Пушкинскій періодъ Карамзинскому, такъ настоящій періодъ противоположенъ Пушкинскому. Дѣятельность и жизнь кончились; громы оружія затихли, и утомленные бойцы вложили мечи въ ножны на лаврахъ, каждый приписывая себѣ побѣду и ни одинъ не выигравъ ея въ полномъ смыслѣ сего слова. Правда, въ началѣ, особенно первыхъ двухъ лѣтъ, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а

окончаніе старой: это была тридцатилѣтняя война послѣ смерти Густава-Адольфа и гибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но безъ Вестфальскаго мира, безъ удовлетворительныхъ результатовъ для литературы. Періодъ Пушкинскій отличался какою-то бѣшеною маніей къ стихотворству; періодъ новый, еще въ самомъ своемъ началѣ, оказалъ рѣшительную наклонность къ прозѣ. Но,—увы!—это былъ не шагъ впередъ, не обновленіе, а оскуднѣніе, истощеніе творческой дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорятъ, будто въ наше время самые превосходные стихи не могутъ имѣть никакого успѣха. Нелѣпое мнѣніе! Очевидно, что оно, какъ и всё, принадлежитъ не намъ, а есть вольное подражаніе мнѣніямъ нашихъ европейскихъ сосѣдей. У нихъ часто повторяли, что въ нашъ вѣкъ эпопея не можетъ существовать, а теперь, кажется, сбиваются на то, что въ наше время и драма кончилась. Подобныя мнѣнія весьма странны и неосновательны. Поезія у всѣхъ народовъ и во всѣ времена была одно и то же въ своемъ существѣ: перемѣнялись только формы, сообразно съ духомъ, направленіемъ и успѣхомъ какъ всего человѣчества вообще, такъ и каждаго народа въ частности. Раздѣленіе поэзіи на роды не есть произвольное; причина и необходимость онаго скрываются въ самой сущности искусства. Родовъ поэзіи только три и больше быть не можетъ. Всякое произведеніе, въ какомъ бы то ни было родѣ, хорошо во всѣ вѣка и въ каждую минуту, когда оно, по своему духу и формѣ, носитъ на себѣ печать своего времени и удовлетворяетъ всѣ его требованія. Гдѣ-то было сказано: что „Фаустъ“ Гёте есть Илиада нашего времени: вотъ мнѣніе, съ которымъ нельзя не согласиться! И въ самомъ дѣлѣ, развѣ Вальтеръ-Скоттъ также не есть нашъ Гомеръ, въ смыслѣ эпика, если не выразителя полного духа времени? Такъ и у насъ теперь: явился новый Пушкинъ, но не Пушкинъ 1834, а Пушкинъ 1829 года, и Россія снова начала бы твердить стихи; но кто, кромѣ несчастныхъ читателей ех офіціо, даже подумаетъ и взглянуть на издѣлія новыхъ нашихъ стиходѣевъ — гг. Ершовыхъ, Струговщиковыхъ, Марковыхъ, Снегиревыхъ и пр?..

Романтизмъ—вотъ первое слово, огласившее Пушкинскій періодъ; народность—вотъ альфа и омега новаго періода. Какъ тогда всякій бумаго-маратель изъ кожи лѣзъ, чтобы прослыть романтикомъ, такъ теперь всякій литературный шутъ претендуетъ на титулъ народнаго писателя. Народность—чудное словечко! Чтò передъ нимъ вашъ романтизмъ! Въ самомъ дѣлѣ, это стремленіе къ народности—весьма замѣчательное явленіе. Не говоря уже о нашихъ романистахъ и вообще новыхъ писателяхъ, взгляните, чтò дѣлаютъ заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этотъ поэтъ, гекій котораго всегда былъ прикованъ къ туманному Альбіону и фантастической Германіи, вдругъ забылъ своихъ паладиновъ, съ ногъ до головы закованныхъ въ сталь, своихъ прекрасныхъ и вѣрныхъ принцессъ, своихъ колдуновъ и свои очарованные замки и пустился писать русскія сказки... Нужно

ли доказывать, что эти русскія сказки также не въ ладу съ русскимъ духомъ, котораго въ нихъ слыхомъ не слышать и видомъ не видать, какъ не въ ладу съ русскими сказками греческій или нѣмецкій гекзаметръ?.. Но не будемъ слишкомъ строги къ этому заблужденію могущественнаго таланта, увлекавшагося духомъ времени; Жуковский вполнѣ совершилъ свое поприще и свой подвигъ, — мы больше не въ правѣ ничего ожидать отъ него. Вотъ другое дѣло Пушкинъ: странно видѣть, какъ этотъ необыкновенный человѣкъ, которому ничего не стоило быть народнымъ, когда онъ не старался быть народнымъ, теперь такъ мало народенъ, когда рѣшительно хочетъ быть народнымъ; странно видѣть, что онъ теперь выдаетъ намъ за нѣчто важное то, что прежде бросалъ мимоходомъ, какъ избытокъ или роскошь. Мнѣ кажется, что это стремленіе къ народности произошло оттого, что всѣ живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотѣли создать народную, какъ прежде силились создать подражательную. Итакъ опять цѣль, опять усилія, опять старая погудка на новый ладъ? Но развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ? Нѣтъ, онъ объ этомъ нисколько не думалъ; онъ былъ народенъ, потому что не могъ не быть народнымъ: былъ народенъ безсознательно и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда и усилія. По крайней мѣрѣ, его современники мало умѣли цѣнить въ немъ это достоинство: они часто упрекали его за „низкую природу“ и ставили на одну съ нимъ доску прочихъ баснописцевъ, которые были несравненно ниже его. Слѣдовательно, наши литераторы, съ такою ревностію заботящіеся о народности, хлопочутъ попустому. И въ самомъ дѣлѣ, какое понятіе имѣютъ у насъ вообще о народности? Всѣ, рѣшительно всѣ, смѣшиваютъ ее съ простонародностію и отчасти съ тривіальностію. Но это заблужденіе имѣетъ свою причину, свое основаніе, и на него отнюдь не должно нападать съ ожесточеніемъ. Скажу болѣе: въ отношеніи къ русской литературѣ нельзя иначе понимать народности. Что такое народность въ литературѣ?—отпечатокъ народнои фizioноміи, типъ народнаго духа и народной жизни. Но имѣемъ ли мы свою народную фizioномію?—вотъ вопросъ, трудный для рѣшенія. Наша національная фizioномія всего больше сохранилась въ низшихъ слояхъ народа; посему наши писатели, разумѣется, владѣющіе талантомъ, бываютъ народны, когда изображаютъ, въ романѣ или драмѣ, нравы, обычаи, понятія и чувствованія черни. Но развѣ одна чернь составляетъ народъ? Ничуть не бывало. Какъ голова есть важнѣйшая часть человѣческаго тѣла, такъ среднее и высшее сословіе составляютъ народъ по преимуществу. Знаю, что человѣкъ во всякомъ состояніи есть человѣкъ, что простолюдинъ имѣетъ такіе же страсти, умъ и чувство, какъ и вельможа, и посему такъ же, какъ и онъ, достоинъ поэтическаго анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ или, вѣрнѣе всего, въ цѣлой идеѣ народа. Посему, избравъ предме-

томъ своихъ вдохновеній одну часть онаго, вы непременно впадете въ одно-сторонность. Равнымъ образомъ, вы не избѣжите этой крайности и отмеже-вавъ для своей творческой дѣятельности нашу исторію до Петра Великаго. Высшіе же слои народа у насъ еще не получили опредѣленнаго образа и характера; ихъ жизнь мало представляетъ для поэзіи. Не правда ли, что прекрасная повѣсть Безгласнаго „Княжна Мими“ немножко мелка и вяла? Помните ли вы ея эпиграфъ? — „Краски мои блѣдны, сказалъ живописецъ; что жъ дѣлать? въ нашемъ городѣ нѣтъ лучшихъ!“ — Вотъ вамъ самое лучшее оправданіе со стороны поэта и вмѣстѣ самое лучшее доказательство, что въ сей повѣсти онъ народенъ въ высочайшей степени. Такъ неужели наша народность въ литературѣ есть мечта? Почти такъ, хотя и не совсѣмъ. Какой главный элементъ нашихъ произведеній, отличающихся народностію? Очерки изъ древне-русской жизни (до Петра Великаго), или простонародной жизни и отсюда неизбежныя поддѣлки подъ тонъ лѣтописей и народныхъ пѣсенъ или подъ ладъ языка нашихъ простолюдиновъ. Но вѣдь въ этихъ лѣтописяхъ, въ этой жизни, давно прошедшей, вѣтъ дыханіе общей чело-вѣческой жизни, являющейся подъ одной изъ тысячи ея формъ; умѣйте же уловить его вашимъ умомъ и чувствомъ и воспроизвести вашу фантазію въ своемъ художественномъ созданіи. Въ этомъ вся сила и важность. Но вамъ надо быть гениемъ, чтобы въ вашихъ твореніяхъ трепетала идея рус-ской жизни: это путь самый скользкій. Мы такъ отдѣлены или, лучше ска-зать, оторваны эрою Петра Великаго отъ быта нашихъ праотцевъ, что ва-шему произведенію непременно должно предшествовать глубокое изученіе этого быта. Итакъ соразмѣряйте ваши силы съ цѣлью и не слишкомъ само-надѣянно пишите: „Русскіе въ такомъ-то“ или „въ такомъ-то году“. При-томъ еще надо замѣтить и то, что русская жизнь до Петра Великаго была слишкомъ спокойна и односторонна, или, лучше сказать, она проявлялась своимъ оригинальнымъ образомъ: вамъ легко будетъ оклеветать ее, придержи-ваясь Вальтеръ-Скотта. Писатель, который на любви оснуетъ планъ своего романа и цѣлю усилій героя поставить руку и сердце вѣрной кра-савицы, покажетъ явно, что онъ не понимаетъ Руси. Я знаю, что наши бояре лазили черезъ тыны къ своимъ прелестницамъ, но это было оскорбле-ніе и искаженіе величавой, чинной и степенной русской жизни, а не про-явленіе оной; такихъ рыцарей ночи наказывали ревнивыя плетью и кольями, а не раздѣлывались съ ними на благородномъ поединкѣ; такіа красавицы почитались безпутными бабами, а не жертвами страсти, достойными состра-данія и участія. Наши дѣды занимались любовію съ законнаго дозволенія или мимоходомъ, изъ шалости, и не сердце клали къ ногамъ своихъ очаро-вательницъ, а показывали имъ заранѣе шелковую плетку и неуклонно слѣ-довали мудрому правилу: „люби жену, какъ душу, а трясй ее, какъ грушу“, или „бей ее, какъ шубу“. Вообще сказать, мы еще и теперь любимъ не совсѣмъ по-рыцарски, а исключенія ничего не доказываютъ.

Что же касается до живого и сходнаго съ натурою изображенія сценъ простонародной жизни, то не слишкомъ обольщайтесь ими. Мнѣ очень нравится въ „Рославлевѣ“ сцена на постояломъ дворѣ, но это потому, что въ ней удачно обрисованъ характеръ одного изъ классовъ нашего народа, — характеръ, проявляющійся въ рѣшительную минуту для отечества; пословицы, поговорки и ломаный языкъ, сами по себѣ, не имѣютъ ничего занимательнаго. Изъ всего сказаннаго мною выходитъ, что наша народность покуда состоитъ въ вѣрности изображенія картинъ русской жизни, но не въ особенномъ духѣ и направленіи русской дѣятельности, которые бы проявлялись равно во всѣхъ твореніяхъ, независимо отъ предмета и содержанія оныхъ. Всѣмъ извѣстно, что французскіе классики офранцуживали въ своихъ трагедіяхъ греческихъ и римскихъ героевъ: вотъ истинная народность, всегда вѣрная самой себѣ и въ искаженіи творчества! Она состоитъ въ образѣ мыслей и чувствованій, свойственныхъ тому или другому народу. Я свято вѣрю въ гениальность Гёте, хотя, по незнанію нѣмецкаго языка, чрезвычайно мало знакомъ съ нимъ, но, признаюсь, плохо вѣрю эллинизму его „Ифигеніи“: чѣмъ выше геній, тѣмъ болѣе онъ сынъ своего вѣка и гражданинъ своего міра, и подобныя попытки съ его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагаютъ поддѣлку болѣе или менѣе неудачную. Итакъ, есть ли у насъ народность литературы въ этомъ смыслѣ? Нѣтъ, да покуда, при всѣхъ благородныхъ желаніяхъ просвѣщенныхъ патріотовъ, и быть не можетъ. Наше общество еще слишкомъ юно, еще не установилось, еще не освободилось отъ европейской опеки; его фізіономія еще не выяснилась и не выформировалась. „Кавказскаго Плѣнника“, „Бахчисарайскій Фонтанъ“, „Цыганъ“ могъ написать всякій европейскій поэтъ, но „Евгенія Онѣгина“ и „Бориса Годунова“ могъ написать только поэтъ русскій. Безотносительная народность доступна только для людей, свободныхъ отъ чуждыхъ, иновѣрныхъ вліяній, и вотъ почему народенъ Державинъ. Итакъ наша народность состоитъ въ вѣрности изображенія картинъ русской жизни.

„Юрій Милославскій“ былъ первымъ хорошимъ русскимъ романомъ. Не имѣя художественной полноты и цѣлости, онъ отличается необыкновеннымъ искусствомъ въ изображеніи быта нашихъ предковъ, когда этотъ былъ сходенъ съ нынѣшнимъ, и проникнутъ необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите къ этому увлекательность разсказа, новостъ избраннаго поприща, на которомъ онъ не имѣлъ себѣ ни образца, ни предшественника, и вы поймете причину его необычайнаго успѣха. „Рославлевъ“ отличается тѣми же красотою и тѣми же недостатками: отсутствіемъ полноты и цѣлостн и живыми картинами простонароднаго быта.

Г. Гоголь, такъ мило прикинувшійся пасичникомъ, принадлежитъ къ числу необыкновенныхъ талантовъ. Кому неизвѣстны его „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“? Сколько въ нихъ остроумія, веселости, поэзіи и на-

родности! Дай Богъ, чтобы онъ вполне оправдалъ поданныя имъ о себѣ надежды!..

Итакъ, вотъ я рассказалъ вамъ всю исторію нашей литературы, перечелъ всѣ ея знаменитости, отъ Ломоносова, перваго ея генія, до г. Кукольника, послѣдняго ея генія. Я началъ мою статью съ того, что у насъ нѣтъ литературы: не знаю, убѣдило ли васъ въ этой истинѣ мое обобщеніе; только знаю, что если нѣтъ, то въ томъ виновато мое неумѣнье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положеніе было ложно. Въ самомъ дѣлѣ, Державинъ, Пушкинъ, Крыловъ и Грибоѣдовъ—вотъ всѣ ея представители; другихъ покуда нѣтъ, и не ищите ихъ. Но могутъ ли составить цѣлую литературу четыре человѣка, явившіеся не въ одно время? И притомъ, развѣ они были не случайными явленіями? Посмотрите на исторію иностранныхъ литературъ. Во Франціи вскорѣ послѣ Корнеля явились Расинъ, Мольеръ, Лафонтенъ и многіе другіе; потомъ въ эпоху Вольтера сколько было знаменитостей литературныхъ! Теперь: Гюго, Ламартинъ, Делавинъ, Барбье, Бальзакъ, Дюма, Жавенъ, Евгеній Сю, Жакобъ-Вибліофилъ и сколько другихъ. Въ Германіи: Лессингъ, Клопштокъ, Гердеръ, Шиллеръ, Гёте были современниками. Въ Англіи, въ послѣднее время, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Томасъ Муръ, Кольриджъ, Сутей, Вордсвортъ и сколько другихъ явились почти въ одно время. Такъ ли у насъ? Увы!.. „Библіотека для Чтенія“ доказала великую и плачевную истину. Кромѣ двухъ или трехъ статей г. О., что мы прочли въ ней заслуживающаго хотя какое-нибудь вниманіе? Ровно ничего. Итакъ соединенные труды всѣхъ нашихъ литераторовъ не произвели ничего выше золотой посредственности! Гдѣ же, спрашиваю васъ, литература? У насъ было много талантовъ и талантиковъ, но мало, слишкомъ мало художниковъ по призванію, то есть такихъ людей, для которыхъ писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются въ искусства, которымъ не нужно протекцій, не нужно меценатовъ, или, лучше сказать, которые гибнутъ отъ меценатовъ, которыхъ не убиваютъ ни деньги, ни отличія, ни несправедливости, которые до послѣдняго вздоха остаются вѣрными своему святому призванію. У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы, видимо, проходить; теперь терзаемъ драму. И все это безъ причины, все это изъ подражательности; когда же наступитъ у насъ истинная эпоха искусства?

Она наступитъ, будьте въ томъ увѣрены! Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась фizioномія могучаго русскаго народа, надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ. У насъ нѣтъ литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ сей истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ. Присмотритесь хорошенько

къ ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ гениальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностію предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Вѣкъ ребячества проходитъ видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе! Но еще болѣе дай Богъ, чтобы поскорѣе всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время, просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная фязіономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье! Скажите, Бога ради, можетъ ли въ наше время обратить на себя вниманіе какой-нибудь недоучившійся мальчикъ, хотя бы онъ былъ надѣленъ отъ природы и умомъ, и чувствомъ, и талантомъ? Этотъ вѣчный старецъ Гомеръ, если онъ точно существовалъ на свѣтѣ, конечно, не учился ни въ Академіи, ни въ Портикѣ; но это потому, что тогда ихъ и не было, это потому, что тогда учились изъ великой книги природы и жизни; а Гомеръ, если вѣрить преданіямъ, ревностно изучалъ природу и жизнь, обошелъ почти весь извѣстный тогда свѣтъ и сосредоточилъ въ лицѣ своемъ всю современную мудрость. Гёте—вотъ Гомеръ, вотъ прототипъ поэта нынѣшняго времени!

Итакъ, намъ нужна не литература, которая безъ всякихъ съ нашей стороны усилій явится въ свое время, а просвѣщеніе! И это просвѣщеніе не закоснѣть, благодаря неусыпнымъ попеченіямъ мудраго правительства. Русскій народъ смысленъ и понятливъ, усерденъ и горячъ ко всему благому и прекрасному, когда рука царя отца указываетъ ему на цѣль, когда его державный голосъ призываетъ его къ ней! И намъ ли не достигнуть этой цѣли, когда правительство являетъ собою такой единственный, такой безпримѣрный образецъ попечительности о распространеніи просвѣщенія, когда оно издерживаетъ такія громадныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободряетъ блестящими наградами труды учащихся и учащихся, открывая образованному уму и таланту путь къ достиженію всѣхъ отличій и выгодъ? Проходитъ ли хотя одинъ годъ безъ того, чтобы со стороны неусыпнаго правительства не было совершено новыхъ подвиговъ во благо просвѣщенія или новыхъ благодѣяній, новыхъ щедротъ въ пользу ученаго сословія? Одно учрежденіе сословія домашнихъ наставниковъ и учителей должно повлечь за собой неисчислимыя блага для Россіи, ибо избавляетъ ее отъ вредныхъ слѣдствій иноземнаго воспитанія. Да, у насъ скоро будетъ свое русское, народное просвѣщеніе; мы скоро докажемъ, что не имѣемъ нужды въ чуждой умственной опецѣ. Намъ легко это сдѣлать, когда знаменитые сановники, сподвижники царя на трудномъ поприщѣ народоправленія, являются посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмѣ рус-

скаго просвѣщенія возвѣщать ему священную волю монарха, указывать путь къ просвѣщенію въ духѣ „православія, самодержавія и народности“...

Наше общество также близко къ своему окончательному образованію. Благородное дворянство наконецъ вполне увѣрилось въ необходимости давать своимъ дѣтямъ образованіе прочное, основательное, въ духѣ вѣры, вѣрности и національности. Наши молодчики, наши денди, не имѣющіе никакихъ познаній, кромѣ навыка легко болтать всякій вздоръ по-французски, становятся смѣшными и жалкими анахронизмами. Съ другой стороны, не видите ли вы, какъ, въ свою очередь, быстро образуется купеческое сословіе и сближается въ семъ отношеніи съ высшимъ? О, повѣрьте, не напрасно держались они такъ крѣпко за свои почтенныя, оладистыя бороды, за свои долгополые кафтаны и за обычаи праотцевъ! Въ нихъ наиболѣе сохранилась русская фizioномія, и, принявши просвѣщеніе, они не утратятъ ея, сдѣлаются типомъ народности. Равно взгляните, какое дѣятельное участіе начинаетъ принимать въ святомъ дѣлѣ отечественнаго просвѣщенія и наше духовенство... Да, въ настоящемъ времени зрѣютъ сѣмена для будущаго! И они взойдутъ и расцвѣтутъ, расцвѣтутъ нынѣ и великолѣпно, по гласу чадолюбивыхъ монарховъ! И тогда будемъ мы имѣть свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцевъ...

И вотъ я не только у берега, а уже на самомъ берегу, и, стоя на немъ, съ гордостію и удовольствіемъ озираю пройденное мною пространство. Нечего сказать, не близкій путь! Зато ужъ какъ и усталъ, какъ утомился! Дѣло не привычное, а дорога трудная. Но, любезный читатель, прежде нежели я совсѣмъ раскланяюсь съ вами, хочу сказать вамъ еще словечка два. Кто берется судить о другихъ, тотъ подвергается и самого себя еще строжайшему суду. Къ тому же авторское самолюбіе щеотливѣе и вмѣстительнѣе всѣхъ другихъ родовъ самолюбія. Начавъ писать эту статью, я имѣлъ въ предметѣ позубоскалить надъ современною нашею литературою, и самъ не знаю, какъ зашелъ въ такую даль. Началъ за здравіе, а свелъ за упокой. Это нерѣдко случается въ дѣлахъ жизни. Итакъ, признаюсь откровенно, не ищите въ моей „Элегіи въ прозѣ“ строгаго логическаго порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышленія. Я имѣлъ цѣлю высказать нѣсколько истинъ, частію уже сказанныхъ, частію мною самимъ замѣченныхъ, но не имѣлъ времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь къ истинѣ и желаніе общаго блага, но, можетъ быть, нѣтъ основательныхъ познаній. Что жъ дѣлать? Эти два качества рѣдко сходятся въ одномъ лицѣ. Впрочемъ, я не говорилъ ни слова о томъ, что было выше моего понятія, и поэтому не коснулся до нашей ученой литературы. Думаю и вѣрю, что для споспѣшествованія успѣхамъ

наукъ и словесности всякій можетъ смѣло и откровенно высказать свои мнѣнія, тѣмъ болѣе, если они, справедливыя или ложныя, суть слѣдствіе его убѣжденія, а не какихъ-нибудь корыстныхъ видовъ. Итакъ, если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнѣніе и уличите меня въ ложномъ взглядѣ на вещи; я прошу этого, какъ доказательства вашей любви къ истинѣ и уваженія лично ко мнѣ, какъ къ человѣку; но не сердитесь на меня, если думаете не такъ. Засимъ, любезный читатель, поздравляю васъ съ новымъ годомъ и съ новымъ счастьемъ... Простите!

Менцель, критикъ Гёте.

Главный недостатокъ критики Менцеля, какъ мнѣ кажется, состоитъ въ подчиненіи поэзіи и вообще словесности политикѣ или даже понятіямъ и духу политической партіи. Менцель—депутатъ оппозиціонной стороны. Этимъ объясняются его строгіе приговоры Іоанну Мюллеру, Гегелю, Гёте и др.; отъ этого же происходитъ оппозиціонный духъ его книги и пр.

В. К., переводчикъ книги Менцеля.

Менцель есть собственное имя одного человѣка, сдѣлавшееся нарицательнымъ, каковы, напримѣръ, имена Ира, Ойрисиса, Креза, Зояла и т. п. Это обстоятельство придаетъ большую и важную значительность Менцелю, какъ представителю цѣлаго разряда людей, которые были и до него, есть еще и теперь и, къ сожалѣнію, будутъ всегда. Такъ, напримѣръ, какое-нибудь пошлое, ничтожное, пустое лицо дѣлается многозначительнымъ и реальнымъ въ художественномъ произведеніи, какъ выражающее собою цѣлую сторону дѣйствительной жизни, представляющее свою индивидуальностію цѣлый разрядъ, цѣлую толпу индивидуумовъ одной и той же идеи. Это подало намъ поводъ поговорить о Менцелѣ, какъ о представителѣ критиковъ извѣстнаго рода, не обращая вниманія на частности и подробности, относящіяся къ его лицу или исключительно къ нѣмецкой литературѣ. Года съ полтора назадъ тому, сочиненіе Менцеля о нѣмецкой литературѣ явилось въ прекрасномъ русскомъ переводѣ съ выпускомъ всего, собственно не относящагося къ литературѣ. Такъ какъ, говоря о Менцелѣ, мы хотимъ говорить о критикѣ, имѣя въ виду собственно русскую публику,—то и возьмемъ этотъ переводъ за фактъ, за данное для сужденія, чтобы каждый изъ нашихъ читателей самъ могъ быть судьей въ этомъ дѣлѣ. Во всякомъ слу-

чай, предлагаемая статья отнюдь не есть разборъ книги Менцеля, но скорѣе разсужденіе или трактатъ объ отношеніяхъ критики вообще къ искусству, по поводу извѣстнаго рода критическаго направленія, котораго представитель Менцель.

Слава—вещь обольстительная, и къ ней одинъ путь. Но многіе смѣшиваютъ славу съ извѣстностію, и съ этой точки зрѣнія пути къ ней умножаются до безконечности. По-настоящему, слава есть видовое понятіе извѣстности, а извѣстность относится къ славѣ, какъ родъ къ виду. Гомеръ извѣстенъ чело-вѣчеству своимъ творческимъ гениемъ, Зоилъ—ограниченностію и низкостію своего духа въ дѣлѣ творчества, Крезъ — богатствомъ, Иръ — бѣдностію, Парисъ—красотою, Оприсъ—безобразіемъ. Можно сдѣлаться всѣмъ извѣстнымъ всему свѣту—умомъ и глупостію, благородствомъ и подлостію, храбростію и трусостію. Чтобъ обезсмертить себя въ потомствѣ, великій художникъ, на-диво міру, создалъ въ Эфесѣ великолѣпный храмъ „златолунной“ Артемидѣ; чтобъ обезсмертить себя въ потомствѣ, Геростратъ сжегъ его. И оба достигли своей цѣли: имена обоихъ безсмертны, но съ тою только разницею, что одно извѣстно и славно, а другое только извѣстно. Слава есть патентъ на величіе, выдаваемый цѣлымъ чело-вѣчествомъ одному чело-вѣку, великимъ подвигомъ доказавшему свое величіе; извѣстность есть внесеніе имени въ полицейскій реестръ, въ которомъ записываются всѣдневныя событія, выходящія изъ порядка обыкновенности и ежедневности. Слава всегда есть награда и счастье; извѣстность часто бываетъ наказаніемъ и бѣдствіемъ.

Къ числу извѣстныхъ людей, претендующихъ на славу, принадлежитъ нѣмецъ Менцель. Имя его извѣстно въ Германіи, Англіи, Франціи, Россіи, и еще недавно почитался онъ главою партіи, одинъ изъ представителей Германіи, имѣлъ послѣдователей, хвалителей, даже враговъ, безъ которыхъ слава—не слава, и извѣстность — не извѣстность. Конечно, теперь этотъ славный господинъ Менцель не больше, какъ жалкій представитель устарѣвшихъ мнѣній, который на ихъ развалинахъ, съ ожесточенною дерзостію, отстаиваетъ свое эфемерное и мишурное величіе, символъ эстетическаго безвкусія, чело-вѣкъ, имя котораго—литературное порицаніе, какъ имя ка-кого-нибудь Зоила, но тѣмъ не менѣе у него все-таки была своя апогея славы. Какимъ же образомъ приобрѣлъ онъ эту славу? Видите ли: онъ издавалъ журналъ, а журналъ есть вѣрное средство прославиться для чело-вѣка дерзкаго, безстыднаго и ловкаго. Представься только ему случай захватить въ свои руки журналъ, — и слава его сдѣлана. Путей и средствъ много, и они разнообразны до безконечности; но главное тутъ—хорошо начертанный планъ и неукоснительная вѣрность ему во всѣхъ дѣйствіяхъ, до малѣйшихъ подробностей. Основою же непременно должна быть посредственность, которая всѣмъ по плечу, всѣмъ нравится, всѣмъ льститъ и, слѣдовательно, овладѣваетъ массами и толпами, возбуждая негодованіе

только въ нѣкоторыхъ—не званыхъ, а избранныхъ. Но какъ этихъ „избранныхъ“ можетъ удовлетворить только сила, основывающаяся на талантѣ, гениі, умѣ, знаніи, и какъ число этихъ „избранныхъ“ такъ ограничено, что не можетъ принести обильную жатву подписки,—то о нихъ нечего и думать; толпа любить посредственность, и посредственность должна угождать толпѣ.

Къ числу такихъ-то маленькихъ великихъ людей принадлежитъ и Менцель. Ему не нравится порядокъ дѣлъ въ Германіи, и онъ придумалъ на-досугъ свой планъ для ея благосостоянія; но какъ она не осуществляетъ этого благодѣтельнаго плана, не будучи въ состояніи отрѣшиться отъ своего историческаго развитія, ни отъ своей національной индивидуальности, да еще, какъ кажется, не будучи въ состояніи постичь всей премудрости г. Менцеля, и не вѣрить ей, а на самого его смотреть, какъ на журнальнаго крикуна и политическаго полишинеля, то онъ и возстаетъ на нее со всѣмъ ожесточеніемъ фанатика и представляетъ собою отвратительное и возмутительное зрѣлище сына, бьющаго по щекамъ родную мать свою. Другими словами: ему досадно, зачѣмъ Германія есть то, что она есть, а не то, чѣмъ бы ему хотѣлось ее видѣть—требованіе столь же справедливое, какъ и то, зачѣмъ у васъ волосы русые, а не черные, когда мнѣ именно хочется, чтобы у васъ были черные волосы!.. И поэтому, ему все не нравится въ Германіи, и ея книжность, и ея ученость, и ея патріархальные обычаи и нравы. Но болѣе всего онъ возстаетъ на нее въ лицѣ ея гениальныхъ представителей, которыми она гордится и которые доставили ей умственное владычество надъ всею просвѣщенною частію земного шара. Философія Гегеля признала монархизмъ высшею разумною формою государства, и монархія, съ утвержденными основаніями, изъ исторической жизни народа развившимися, была для великаго мыслителя идеаломъ государства. Менцель думаетъ объ этомъ совершенно иначе, и потому онъ объявилъ, что Гегель сумасбродъ, дикій фанатикъ, и его философія—бѣснованіе полуумнаго человѣка. Еще большому ожесточенію съ его стороны подвергся Гёте. Великій поэтъ жилъ при веймарскомъ дворѣ, пользовался благосклонностію многихъ вѣнценосныхъ особъ и даже гордился дружбою къ себѣ многихъ изъ нихъ. Вотъ первое преступленіе германскаго поэта Гёте противъ добродѣтельнаго римлянина Менцеля, который по одному этому предмету разродился двумя глупостями. Во-первыхъ, жить при дворѣ или не жить при немъ—это рѣшительно все равно, потому что въ обоихъ случаяхъ можно быть равно великимъ и равно добродѣтельнымъ человѣкомъ. Во-вторыхъ, не только несправедливо, но и справедливо нападая на человѣка, отнюдь не должно смѣшивать его съ художникомъ, равно какъ, рассматривая художника, отнюдь не слѣдуетъ касаться человѣка. У искусства есть свои законы, на основаніи которыхъ и должно рассматривать его произведенія. Мысль, выраженная потомъ въ созданіи, можетъ противорѣчить личному убѣжденію

критика, не переставая быть истинною и общою, если только созданіе дѣйствительно-художественно: ибо человѣкъ, какъ ограниченная частность, можетъ заблуждаться и питать ложныя убѣжденія, но поэтъ, какъ органъ общаго и мірового, какъ непосредственное проявленіе духа, не можетъ ошибаться и говорить ложь. Конечно, платя дань своей человѣческой натурѣ, и онъ можетъ впадать въ заблужденія, но это тогда, когда онъ измѣняетъ своей творческой натурѣ, становится невѣрнымъ самому себѣ и перестаетъ быть поэтомъ, допуская своей личности вмѣшиваться въ свободный процессъ творчества и впадая въ резонерство, символизмъ и аллегорію. Слѣдовательно, чтобы узнать, вѣрна ли мысль, выраженная поэтомъ въ его произведеніи, должно сперва узнать, дѣйствительно ли художественно его созданіе. Но этотъ вопросъ рѣшается непосредственнымъ впечатлѣніемъ созданія на непосредственное чувство критика (разумѣется, если его чувство доступно изящному, глубоко и всеобъемлюще), повѣреннымъ потомъ діалектикою мысли на непреложныхъ основаніяхъ искусства; а отнюдь не полицейскими справками о трезвости поведенія и аккуратности поэта въ платежѣ долговъ или освѣдомленіями о томъ, какъ отзывалась о немъ бабушка, довольна ли была имъ тетюшка и хорошо ли онъ жилъ съ женою, а еще менѣе произвольными убѣжденіями случайной личности критика. Основная идея критики Менцеля есть та, что искусство должно служить обществу. Если хотите, оно и служить обществу, выражая его же собственное сознаніе и питая духъ составляющихъ его индивидуумовъ возвышенными впечатлѣніями и благородными помыслами благого и истиннаго; но оно служить обществу не какъ что-нибудь для него существующее, а какъ нѣчто существующее по себѣ и для себя, въ самомъ себѣ имѣющее свою цѣль и свою причину. Когда же мы будемъ требовать отъ искусства споспѣшествованія общественнымъ цѣлямъ, а на поэта смотрѣть, какъ на подрядчика, которому можно заказывать въ одно время—воспѣвать святость брака, въ другое—счастіе жертвовать своею жизнію за отечество, въ третье—обязанность честно платить долги, то вмѣсто изящныхъ созданій наводнимъ литературу риемованными диссертациями объ отвлеченныхъ и разсудочныхъ предметахъ, сухими аллегоріями, подъ которыми будетъ скрываться не живая истина, а мертвое резонерство, или, наконецъ, угарными исчадіями мелкихъ страстей и основанія партій. То и другое было во французской литературѣ. Сперва ея произведенія были декламаторскимъ резонерствомъ, которое, въ звучныхъ и гладкихъ стихахъ, то расплывалось пошлыми сентенціями, какъ въ сочиненіяхъ Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Фенелона (автора „Телемака“), то рассыпалось мелкимъ бѣсомъ въ пошлыхъ остротахъ и нагломъ кощунствѣ надъ всѣмъ святымъ и заветнымъ для человѣчества, какъ въ сочиненіяхъ Вольтера; теперь ея произведенія—буйное безуміе, которое, обоготворивъ неистовство животныхъ страстей, выдаетъ, подобно Гюго, Дюма, Евгенію Сю, мясничество за трагедію и романъ, а клеветы на человѣческую натуру за

изображеніе настоящего вѣка и современнаго общества. Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ нынѣшняя французская литература? Отраженіе мелкихъ сектъ, ничтожныхъ системъ, эфемерныхъ партій, дневныхъ вопросовъ: г-жа д'Юдеванъ, или извѣстный, но отнюдь не славный Жоржъ Зандъ, пишетъ цѣлый рядъ романовъ, одинъ другого нелѣпѣе и возмутительнѣе, чтобы приложить къ практикѣ идеи сенъ-симонизма объ обществѣ. Какія же это идеи? О, безподобныя!—именно: индустріальное направленіе должно взять верхъ надъ идеальнымъ и духовнымъ; должно распространиться равенство не въ смыслѣ христіанскаго братства, которое и безъ того существуетъ въ мірѣ со времени первыхъ двѣнадцати учениковъ Спасителя, а въ смыслѣ какого-то масонскаго или квакерскаго сектантства; должно уничтожить всякое различіе между полами, разрѣшивъ женщину на вся тяжкая и допустивъ ее, наравнѣ съ мужчиною, къ отправленію гражданскихъ должностей, а главное—предоставить ей завидное право мѣнять мужей по состоянію своего здоровья... Необходимый результатъ этихъ глубокихъ и превосходныхъ идей есть уничтоженіе священныхъ узъ брака, родства, семейственности, словомъ, совершенное превращеніе государства сперва въ животную и безчинную оргію, а потомъ—въ призракъ, построенный изъ словъ на воздухѣ. Альфредъ де Виньи, другой маленькій великій человѣчекъ, ударился въ другую крайность: онъ изъ всѣхъ силъ хлопочетъ о возстановленіи французской монархіи въ томъ видѣ, въ какомъ она была до кардинала Ришелье—Франціи феодально-монархической. Для этого онъ поправляетъ исторію, выдумывая никогда не существовавшіе факты, клеветаетъ на Наполеона, заставляя какого-то глупаго пажа подслушивать его небывалый разговоръ съ папою Піемъ VII, а чтобы унижить кардинала Ришелье, ненавидимаго имъ, какъ врага выродившейся феодальной аристократіи, противопоставляетъ ему, въ своемъ романѣ, пустого и ничтожнаго Сенъ-Мара, дѣлая его героемъ и великимъ человѣкомъ. А, между тѣмъ, „идеальный“ Ламартинъ хлопочетъ, въ водяныхъ медитаціяхъ, приторно-чувствительныхъ элегіяхъ и надуториторическихъ поэмахъ, воскресить католицизмъ среднихъ вѣковъ, котораго онъ не понимаетъ. Вышелъ во Франціи новый уголовный законъ, а завтра является сотня дюжиновыхъ романовъ, въ которыхъ примѣромъ рѣшается справедливость или несправедливость закона; вышло новое постановление хоть о налогахъ, рекрутствѣ, акціяхъ—опять завтра же длинная вереница романовъ, которая нынче читается съ жадностію, а завтра забывается. Не такова истинная поэзія: ея содержаніе не вопросы дня, а вопросы вѣковъ, не интересы страны, а интересы міра, не участь партій, а судьбы человечества. Не таковъ художникъ: въ дивныхъ образахъ осуществляетъ онъ божественную идею для нея самой, а не для какой-либо вѣшной и чуждой ей цѣли. Толпа Менцелей не смутитъ его дикими воплями и укорами въ безполезности его существованія—онъ гордо отвѣтитъ ей:

Подите прочь; какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратъ каменѣйте смѣло;
Не оживите васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы, какъ гробы,
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?
*Не для житейскаго волеенья,
Не для корысти, не для битвы!—
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ!*

Вдохновеніе художника такъ свободно, что самъ онъ не можетъ повелѣвать имъ, но повинуется ему, ибо онъ въ немъ, но не отъ него. Онъ не можетъ выбирать темъ для своихъ созданій, ибо безъ его вѣдома возникаютъ въ душѣ его таинственныя явленія, которыя показываетъ онъ потомъ на диво міру. Онъ творитъ не когда хочетъ, но когда можетъ; онъ ждетъ минуты вдохновенія, но не приводитъ ея по волѣ своей, о потому-то:

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполловъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира;
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется—
Душа поэта встрепетается,
Какъ пробудившійся орелъ;
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы,
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы;
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Менцель поставляетъ Гёте въ великую вину и тяжкое преступленіе, что онъ молчалъ во время французской революціи и ни однимъ стихомъ не

выразилъ своего мнѣнія объ этомъ событіи, потрясемъ весь міръ. Въ самомъ дѣлѣ, великое преступленіе! Такъ точно, въ одномъ русскомъ журналѣ, кто-то ставилъ Пушкину въ вину, что онъ, воротясь изъ-за Кавказа, гдѣ былъ свидѣтелемъ славы русскаго оружія, напечаталъ VII-ю главу „Онѣгина“, а не собраніе „торжественныхъ одъ“, подлинно — *les beaux esprits se rencontrent!*.. И какая легкая, удобопонятная пѣнтика: во время революціи поэтъ непременно долженъ или хвалить, или хулить ее въ своихъ стихахъ, а во время войны—прославлять подвиги соотечественниковъ!. И какъ для Менцелей понятно, что Пушкинъ, возвратясь съ Кавказа, привезъ съ собою „Кавказскаго Плѣнника“, и какъ непонятно для нихъ, что Грибоѣдовъ съ того же Кавказа привезъ „Горе отъ Ума“—злую сатиру на современное московское (а не кавказское) общество... Бѣдные люди!...

„Каждое слово Гёте принималось какъ изреченіе оракула; но онъ никогда не начиналъ рѣчи, чтобы напомнить германцамъ о народной ихъ чести, либо чтобы одушевить ихъ на какой-нибудь благородный помыслъ или подвигъ. Равнодушно пропускалъ онъ мимо себя событія всемірной исторіи или только сердился, что военныя тревоги подчасъ нарушали сладкія минуты поэтическихъ его наслажденій. До французской революціи дремала Германія. Это грозное событіе пробудило наше отечество ужаснымъ образомъ. Какія чувствованія должно было породить въ сердцѣ перваго нашего поэта? Новая эра возбудила восторгъ въ Шиллерѣ; сгорая стыдомъ отъ измѣны отчизнѣ и отъ глубокаго ея униженія, онъ напоминалъ соотечественникамъ про прежнюю честь и прошлое величіе Германіи. Чтò же сдѣлалъ Гёте? Написалъ нѣсколько легкомысленныхъ комедій. Потомъ явился Наполеонъ. Чтò долженъ былъ думать о немъ, сказать про него первый германскій поэтъ? Онъ долженъ былъ, какъ Аридь и Кернеръ, проклинать губителя своей отчизны и сдѣлаться главою союза добродѣтели, или, ежели по призывкѣ нѣмцевъ онъ былъ больше космополитъ, чѣмъ патриотъ, то, по крайней мѣрѣ, какъ Байронъ, долженъ бы уразумѣть глубоко трагическое значеніе великаго героя и его дивной судьбы“ (Ч. II, стр. 408—409).

Сколько лжей и пошлостей въ немногихъ словахъ этой ограниченной нѣмецкой головы! У каждаго народа необходимы двѣ стороны: дѣйствительная, сущная и, какъ конечное ея отраженіе, пошлая и смѣшная; поэтому и нѣмцевъ можно раздѣлить на германцевъ, каковы: Лессингъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель, Шиллеръ и Гёте, и на нѣмцевъ, каковы: Клауренъ, Коцебу, Августъ Лафонтенъ, Фанъ-деръ Фельде, Баумейстеръ, Кругъ, Бахманъ и пр. Къ этимъ-то достопочтеннымъ и достополезнымъ нѣмцамъ-филлистерамъ, отъ которыхъ попахиваетъ кнастеромъ и пивомъ, принадлежитъ и нашъ сердитый господинъ Менцель. Спросите его, съ чего онъ взялъ, что Гёте равнодушно пропускалъ событія всемірной исторіи? Неужели какая-нибудь кумушка-старушка, которая съ своими сосѣдками день и ночь колотила языкомъ по зубамъ, толкуя о реляціяхъ наполеоновскихъ походовъ и побѣдъ, или какой-нибудь фельетонистъ, по копейкѣ со строки надсаживавшій себѣ

грудь громкими фразами о томъ же предметѣ,—неужели они больше интересовались и глубже понимали эти великія событія, нежели великій поэтъ, который, по словамъ самого Менцеля, былъ полнѣйшимъ отраженіемъ, вѣрнѣйшимъ зеркаломъ своего великаго вѣка? Кто сказалъ ему, что Гёте не останавливался въ безмолвномъ созерцаніи, полномъ любви, мысли и благоговѣнія, передъ таинственными судьбами, въ такомъ величій совершившимися въ его глазахъ,—онъ, въ которомъ все жило и который во всемъ жилъ, который все въ себѣ ощущалъ и на все отзывался струнами своего духа, этой звучной арфы вселенной, этого гармоническаго органа мировой жизни?..

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ,
И чувствовалъ травъ прозябанье;
Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна!

Неужели изъ того, что Гёте не воспѣвалъ великихъ современныхъ событій, слѣдуетъ, чтобы они не касались его, что онъ не чувствовалъ ихъ? Развѣ Гомеръ въ своей „Иліадѣ“ воспѣлъ современное ему событіе, а не за два столѣтія до него совершившееся? Развѣ Шекспиръ, въ своихъ драмахъ, представилъ тоже современный ему міръ? Помилуйте, господа Менцеля, только какой-нибудь школьникъ съ тетрадкой въ рукѣ, какойнибудь Сень-Жюстъ могъ расписать по мѣсяцеслову вдохновеніе поэта, заставивъ его въ апрѣлѣ воспѣвать дружбу, въ маѣ любовь, въ іюнѣ бракъ, а въ іюлѣ добродѣтель!.. Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобы поэту нельзя было отзываться пѣснію на современные событія; нѣтъ, это значило бы впасть въ противоположную крайность, а каждая крайность есть нелѣпость, плодъ ограниченности ума и мелкости духа. Вдохновеніе не справляется съ календаремъ. Оно часто молчитъ, когда всѣ ожидаютъ его. Но мы, однако, думаемъ, что поэтъ всего менѣе способенъ отзываться на современность, которая для него есть начало безъ середины и конца, явленіе безъ полноты и цѣлости, закрытое туманомъ страстей, предубѣжденій и пристрастія партій, и потому его вдохновеніе больше любить жить въ вѣкахъ минувшихъ и пробуждать исполинскія тѣни Ахилловъ и Гекторовъ, Ричардовъ и Генриховъ или изъ нѣдръ собственнаго духа воспроизводить свои гигантскіе образы, каковы: Гамлетъ, Макбетъ, Отелло. Менцель говоритъ, что новая эра, начатая французскою революціею, пробудила восторгъ въ Шиллерѣ: зачѣмъ же онъ такъ безсозвѣстно умолчалъ, что если Шиллеръ съ восторгомъ привѣтствовалъ начало французской революціи, то съ отвращеніемъ смотрѣлъ на ея продолженіе и

конецъ и съ негодованіемъ отвергнувъ дипломъ на гражданина французской республики, который предлагалъ ему конвентъ за его трагедію „Фіеско“—очень плохенькое твореньице въ художественномъ отношеніи?.. Или разсказать фактъ въ половину иногда необходимо, чтобы поддержать ложь?.. И какъ понятно, что Гёте не могъ поступить подобно Шиллеру, ибо Гёте былъ геній несравненно высшій, геній чисто художническій, а потому неспособный увлекаться никакими односторонностями, но обнимавшій все въ оконченной цѣлости, на все смотрѣвшій не снизу вверхъ, а сверху внизъ. Вся цѣль стремленій самого Шиллера была—достигнуть мірообъемлющей объективности Гёте; только при концѣ своего поприща онъ болѣе или мѣнѣе достигъ этого, и оттого послѣднія его произведенія и выше и глубже, чѣмъ произведенія его юности, полной пожирающаго пламени, а вмѣстѣ съ нимъ и дыма, и чада, и угара.. Чтò могло дѣлать честь Шиллеру, то унизило бы Гёте. Съ чего взялъ господинъ Менцель, что Гёте долженъ былъ, подобно господамъ Арндту и Кёрнеру, проклинать Наполеона, какъ губителя своей отчизны?.. Это еще чтò за новость?.. Когда Менцель заставляеть Гёте подражать Шиллеру — въ этомъ еще есть немножко смысла, потому что Шиллеръ все-таки былъ великій духъ, если не такой же художникъ; но заставляеть орла дѣлать то, чтò дѣлали комары?.. Для выполненія временныхъ требованій и цѣлей какой-нибудь ограниченной эпохи, есть маленькіе великіе люди, есть Арндты и Кёрнеры, а у истинно великихъ людей, исполиновъ человѣчества—другое время и другія цѣли—міръ и вѣчность... Съ чего взялъ Менцель, что Гёте долженъ былъ сдѣлаться главою Тугендбуида, состоявшагося изъ школьниковъ и духовно-малолѣтнихъ дѣтей и смѣшного для людей взрослыхъ и возмужавшихъ духомъ...

Все это показываетъ только, что Менцель не понимаетъ ни значенія, ни сущности искусства, а, взявшись говорить о томъ, чего не смыслишь, невольно будешь говорить вздоръ; если же къ этому присоединится духъ партіи и оскорбленное самолюбіе, то, вмѣсто истины, будешь изрыгать ругательства и проклятія... Изъ всего этого видно одно: Менцель золъ на Гёте за то, что тотъ не хотѣлъ быть ни крикуномъ, ни начальникомъ какой-либо политической партіи, что онъ не требовалъ невозможнаго сплоченія раздробленной Германіи въ одно политическое тѣло. У генія всегда есть инстинктъ истины и дѣйствительности; чтò есть, то для него разумно, необходимо и дѣйствительно, а чтò разумно, необходимо и дѣйствительно, то только и есть. Поэтому Гёте не требовалъ и не желалъ невозможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ. Для него необходимость раздробленности Германіи была такимъ же убѣжденіемъ и такою же вѣрою, какъ у Пушкина было убѣжденіе и вѣра, что не русское море изсякнетъ, а „славянскіе ручьи сольются въ русское морѣ“. Только какой-нибудь Мицкевичъ можетъ заключаться въ ограниченное чувство

политической ненависти и оставить поэтическія созданія для риемованных памфлетовъ; но это-то и достаточно намекаетъ на „міровое величіе“ его. поэтическаго генія: Менцель, вѣрно, на колыньяхъ передъ нимъ, а это самая злая и ругательная критика для поэта. Наконецъ, Менцель положительно и окончательно обнаруживаетъ свой взглядъ на Гёте, переводя противъ него слѣдующія слова Платона о Гомерѣ:

„Мнѣ должно, наконецъ, высказать мою мысль, хотя *по какой-то тяжести къ Гомеру и застенчивости передъ нимъ, которая нитая съ самой молодости*, мнѣ трудно рѣшиться говорить объ этомъ поэтѣ: ибо онъ, кажется, глава и предводитель всѣхъ хорошихъ трагическихъ стихотворцевъ. Но какъ не должно человѣка ставить выше истины, то и принужденъ высказать, что думаю. Итакъ, любезный Главконъ, если ты встрѣтишь людей, превозносящихъ Гомера, которые говорятъ, что этотъ поэтъ былъ наставникомъ цѣлой Греціи, и что онъ стоитъ тщательнаго изученія, потому что отъ него можно научиться хорошо управлять дѣлами человѣческаго рода и хорошо обращаться съ ближними, что, по этой причинѣ, должно располагать и вести свою жизнь сообразно съ его предписаніями, то на такихъ людей, конечно, нельзя сердиться; имъ, безъ сомнѣнія, должно оказывать всякую любовь и дружбу. Они, сколько могутъ, стараются всемѣрно быть людьми честными; нельзя также не согласиться съ ними, что Гомеръ есть геній, въ высшей степени поэтической и глава трагическихъ поетовъ. При этомъ надлежитъ однако замѣтить, что въ государствѣ не должно допускать никакихъ твореній поэзіи, кромѣ пѣснопѣній въ похвалу боговъ и въ славу доблестныхъ подвиговъ. Коль скоро ты допустишь туда нѣжную и сладостную лиру какого бы ни было рода, лирическаго и эпическаго: то произвольныя волненія веселія или печали станутъ тамъ царствовать вмѣсто закона и ума“ (Ч. II, стр. 442—443).

Итакъ—долой Гомера, долой Шекспира, долой искусство: они вредятъ обществу! Давно бы такъ! Въ такомъ случаѣ не для чего было нападать на Гёте и писать цѣлую вздорную книгу; сказать бы прямо, коротко и ясно: долой искусство! Тогда всякій понялъ бы, что бѣдному Гёте нечего дѣлать на бѣломъ свѣтѣ. Менцель, въ простотѣ ума и сердца, думаетъ, что онъ сошелся съ Платономъ, не видя въ словахъ величайшаго философа-поэта древности противорѣчія съ самимъ собою и не понимая причины этого противорѣчія. Платонъ первый открылъ своимъ геніемъ причину красоты въ самой красотѣ, назвавъ все сущее воплощеніемъ божественныхъ идей, отъ вѣка въ себѣ пребывавшихъ и въ себѣ заключающихъ свою причину,—и тотъ же Платонъ уничтожаетъ міръ искусства, который есть міръ красоты!.. Отчего это противорѣчіе?—Оттого, что въ древнемъ мірѣ общество уничтожало въ себѣ людей и частнаго человѣка признавало не какъ существующаго самого по себѣ и для себя, а какъ только своего члена, свою часть и своего слугу. Тогда гражданинъ былъ выше человѣка; а какъ поэзія есть удовлетвореніе внутренней потребности духа, сознающаго и себя, и міръ,—то Платонъ, при всемъ своемъ геніи, и не могъ примирить этого противорѣчія, которое было примирено христіанствомъ и дальнѣйшимъ раз-

вѣтѣмъ человѣчества въ исторіи. Всякая философія, въ своемъ началѣ, есть противорѣчіе, и только свершивъ свой полный кругъ, дѣлается примиреніемъ, какъ философія нашего времени, философія Гегеля. Хотя Платонъ понималъ существующее больше какъ поэтъ, нежели какъ философъ, т.-е. не диалектикою мысли, а полнотою внутренняго созерцанія, но онъ уже мыслилъ, а не творилъ, и потому разрушающая сила разсудка необходимо вошла въ его мірообъемлющія воззрѣнія какъ начало разрушенія полой и гармонической жизни грековъ. Это разрушеніе въ Сократѣ проявилось уже рѣзко, какъ философія разсудка, противоположная поэтическому взгляду народа-художника, за что великій мудрецъ и погибъ жертвою оскорбленнаго имъ національнаго духа, еще не могшаго сознать въ Сократѣ начало новой для себя жизни. И посмотрите, съ какимъ уваженіемъ, съ какою любовію и какою благородною скромностію вооружается противъ Гомера этотъ великій духъ! Смотрите, какъ боится онъ обаятельной силы, нѣжной и сладостной лиры: о, онъ знаетъ, что не устоялъ бы противъ ея чародѣйственнаго обольщенія, онъ въ самомъ себѣ чувствовалъ своего предателя, ежеминутно готоваго измѣнить ему! Такъ противорѣчатъ себѣ умы гениальные: только посредственность и ограниченность способны фанатически предаться какой-нибудь односторонности и упрямо закрывать глаза на весь остальной Божій міръ, противорѣчащій исключительности ихъ тѣснаго убѣжденія...

Нашъ Менцель не Платонъ: что не подходитъ подъ его маленькую идею—онъ подгибаетъ подъ нее; а не гнется—онъ ломаетъ. Искусство не далось ему, не подошло подъ тѣсныя рамки его идеальнаго построенія—долой искусство—оно грѣхъ, преступленіе, безнравственность!.. Вотъ такъ-то: что долго думать! А другой какой-нибудь чудакъ готовъ уничтожить общество, разрушить промышленность, торговлю, словомъ, всю практическую сторону жизни, чтобы обратить людей къ исключительному служенію искусству и подѣлать изъ нихъ художниковъ и аматѣровъ. Дайте имъ только возможность и силу приложить къ жизни свою теорію.—Одинъ завопитъ: „общество! все погибай, чтобъ не служить къ пользѣ общества!“, а другой зарычитъ: „искусство! все погибай, чтобъ не живетъ въ искусствѣ!“... Но истинно-мудрый кротко и безъ крика говоритъ: „Да живетъ общество и да процвѣтаетъ искусство: то и другое есть явленіе одного и того же разума, единого и вѣчнаго, и то, и другое въ самомъ себѣ заключаетъ свою необходимость, свою причину и свою цѣль!“

Да! общество не должно жертвовать искусству своими существенными выгодами или уклоняться для него отъ своей цѣли. Искусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себѣ. Пусть каждое идетъ своею дорогою, не мѣшая другъ другу.

Дѣло Питтовъ, Фоксовъ, О'Коннелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Меттерниховъ—участвовать въ судьбѣ народовъ и испытывать свое вліяніе въ

политической сферѣ человѣчества. Дѣло художниковъ—созерцать „полное славы творенье“ и быть его органами, а не вмѣшиваться въ дѣла политическія и правительственныя. Иначе придется воскликнуть:

Вѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ!

Все велико на своемъ мѣстѣ и въ своей сферѣ, и всякій имѣетъ значеніе, силу и дѣйствительность только въ своей сферѣ, а заходя въ чуждую, дѣлается призракомъ, иногда только смѣшнымъ, иногда отвратительнымъ, а иногда смѣшнымъ и отвратительнымъ вмѣстѣ, подобно Менцелю. Можетъ быть, Менцель былъ бы хорошимъ чиновникомъ при посольствѣ или даже депутатомъ города или сословія, потому что, можетъ быть, онъ въ этомъ и знаетъ что-нибудь и способенъ на что-нибудь; но онъ не можетъ быть даже и посредственнымъ критикомъ, потому что ровно ничего не смыслить въ искусствѣ, не имѣетъ никакого органа для принятія впечатлѣній изящнаго. Онъ судитъ объ искусствѣ, какъ слѣпой о цвѣтахъ, глухой о музыкѣ. Воду нельзя мѣрять саженими, а дорогу ведрами: нельзя по политикѣ судить объ искусствѣ, ни по искусству о политикѣ, но каждое должно судиться на основаніи своихъ собственныхъ законовъ.

Есть еще и другая фальшивая мѣрка для искусства—тоже принятая Менцелемъ, который, въ отношеніи къ ней, имѣлъ, имѣетъ и всегда будетъ имѣть еще болѣе подражателей. Мы говоримъ о нравственной точкѣ зрѣнія на искусство.

Это вопросъ глубокой и важный. Сколько позволяютъ предѣлы статьи, напомнимъ на его безконечное значеніе.

Нравственность принадлежитъ къ сферѣ человѣческихъ дѣйствій и въ отношеніи къ волѣ человѣка есть то же самое, что истина въ мышленіи, что красота въ искусствѣ. Основаніе нравственности лежитъ въ глубинѣ духа—источника всего сущаго. Все, что выходитъ изъ одного начала, изъ одного общаго источника,—все то родственно, единокровно и нераздѣльно въ своей сущности, хотя и различается средствомъ, путемъ и формою своего проявленія. Слѣдовательно, отдѣлить вопросъ о нравственности отъ вопроса объ искусствѣ такъ же невозможно, какъ и разложить огонь на свѣтъ, теплоту и силу горѣнія. Но поэтому-то самому и должно раздѣлить эти два вопроса. Когда вамъ сказали, что въ каминѣ разведенъ огонь—вы, вѣрно, не спросите, обожжетъ ли этотъ огонь ваши руки, если вы положите ихъ на него,—и будутъ ли вамъ видны предметы, освѣщенные имъ. Такой вопросъ приличенъ только или ребенку, едва начинающему говорить, или человѣку сумасшедшему. Когда вамъ говорятъ, что женщина родила дитя—вы, вѣрно, не спросите, есть ли у этого дитяти тѣло, или есть ли у него душа; когда онъ живъ, у него есть и душа, и тѣло, ибо онъ самъ есть не

что иное, какъ явившійся или воплотившійся духъ. Но вы можете сдѣлать вопросъ объ огнѣ—разведенъ ли онъ въ каминѣ, чтобы могъ и грѣть, и освѣщать или еще только разводиться; а о младенцѣ—живъ ли онъ, или родился мертвымъ, или умеръ, родившись. Итакъ, видите ли: вы раздѣляете два вопроса именно потому, что они нераздѣлимы, что отвѣтъ на одинъ есть уже необходимо и отвѣтъ на другой, хотя бы вы другого и не дѣлали. Такъ и въ искусствѣ: чтó художественно, то уже и нравственно; чтó нехудожественно, то можетъ быть не безнравственно, но не можетъ быть нравственно. Вслѣдствіе этого, вопросъ о нравственности поэтического произведенія долженъ быть вопросомъ вторымъ и вытекать изъ отвѣта на вопросъ—дѣйствительно ли оно художественно. Произведеніе искусства, художественность котораго не выдержитъ высшей пробы вкуса и критики, можетъ быть положительно-безнравственно, какъ оскорбляющее нравственность, и можетъ быть отрицательно-безнравственно, какъ только неоскорбляющее нравственности; но всякое истинно или дѣйствительно-художественное произведеніе не можетъ не быть положительно-нравственнымъ. Доказать, что произведеніе искусства положительно-безнравственно—значитъ доказать, что оно положительно-нехудожественно, а для этого сперва должно разсмотрѣть его въ его собственной сферѣ, т.-е. въ сферѣ искусства, и доказать изъ него же самого, что оно нехудожественно, или, по крайней мѣрѣ, прежде вопроса о нравственности, принять это за утвержденное и очевидное. Единосущное не противорѣчить единодушному, и истина не раздѣляется на самое же себя, чтобы уничтожить самое же себя.

Намъ возражать, что наше воззрѣніе противорѣчитъ опыту, ибо есть множество произведеній искусства, которыя цѣлыми вѣками и народами признаны за художественныя, но которыя тѣмъ не менѣе безнравственны, и наоборотъ, есть множество произведеній, слабыхъ съ художественной стороны, но въ высшей степени нравственныхъ.

Для отвѣта на подобное возраженіе, имѣющее всю силу внѣшней очевидности, должно условливаться въ значеніи словъ „художественное“ и „нравственное“. Но какъ рѣшеніе подобнаго важнаго и глубокаго вопроса повело бы насъ слишкомъ далеко, то и ограничимся только тѣмъ, что слегка поговоримъ о значеніи „нравственнаго“, оставляя безъ разрѣшенія „художественное“, какъ будто определенное и всѣмъ извѣстное.

Не все то принадлежитъ къ сферѣ „нравственнаго“, чтó называютъ „нравственнымъ“ (Sittlichkeit), смѣшивая съ нимъ понятіе „моральнаго“ (Moralität). Нравственность относится къ моральности, какъ разумный опытъ жизни къ житейской опытности, какъ высокое къ обыкновенному, трагическое къ повседневному, какъ разумъ къ разсудку, мудрость къ хитрости, искусство къ ремеслу. Жизнь человѣческая раздѣляется на будни, которыхъ въ ней много, и праздники, которыхъ въ ней мало. Въ жизни человѣка бываютъ тор-

жественныя минуты, въ которыя все—побѣда, или все—паденіе, и нѣтъ середины. Это минуты борьбы его индивидуальной личности, требующей личнаго счастья или личнаго спасенія, съ долгомъ, говорящимъ ему, что онъ въ правѣ стремиться къ счастью или спасенію, но не насчетъ несчастія или гибели ближняго, имѣющаго равное съ нимъ право и на счастье, если оно ему представляется, и на спасеніе, если ему грозитъ бѣда. Воля человѣка свободна: онъ въ правѣ выбрать тотъ или другой путь, но онъ долженъ выбрать тотъ, на который указываетъ ему разумъ. Если онъ послушается голоса своей личности, требующей всего себѣ, и останется спокоенъ въ духѣ своемъ—онъ будетъ правъ въ отношеніи къ самому себѣ, хотя и виноватъ въ отношеніи къ разуму, котораго законовъ онъ не въ состояніи постигать: тогда не будетъ осуществленія нравственнаго закона, за нарушеніе котораго кара внутри человѣка, но тогда, можетъ быть, осуществится только моральный законъ, за нарушеніе котораго наказаніе внѣ человѣка, какъ возмездіе гражданскаго закона или какъ личное мщеніе со стороны оскорбленнаго. Объяснимъ это примѣромъ, который сдѣлалъ бы нашу мысль осязаемою очевидною. Молодой человѣкъ увлеченъ мимолетнымъ и скоропреходящимъ чувствомъ любви къ дѣвушкѣ, которая могла только доставить ему нѣсколько минутъ блаженнаго упоенія, но не удовлетворить вполнѣ всѣхъ потребностей его духа, но не быть половиною души его, жизнью сердца,—словомъ, которая могла быть только его любовницею, но не женою. Теперь положимъ, что эта дѣвушка, не имѣя такой глубокой натуры, какъ онъ, и будучи ниже его и своими понятіями, чувствованіями, потребностями и образованіемъ, тѣмъ не менѣе была бы существомъ, достойнымъ всякаго уваженія, могла бы составить счастье цѣлой жизни равнаго себѣ по натурѣ и образованію человѣка, быть вѣрною, любящею женою и матерью, уважаемою въ обществѣ женщинъ. Дѣвушка эта, не видя и не понимая своего духовнаго неравенства съ этимъ молодымъ человѣкомъ, однакожъ любить его страстно, предана ему до самоотверженія, до безумія, и уже мать его дитяти. Она не подозрѣваетъ и возможности конца своему счастью, ея любовь все сильнѣе и сильнѣе; а онъ уже просыпается отъ сладкаго упоенія страсти, онъ уже съ ужасомъ не находитъ въ себѣ прежней любви, онъ уже не въ силахъ отвѣчать на ея горячія лобзанія, на ея ласки, прежде столь обаятельныя, столь могучія для него... Она вся любовь, упоеніе, нѣга; онъ весь тяжелая дума, тревожное безпокойство. Наконецъ, ему нѣтъ больше силъ притвориться, тяжело ее видѣть, страшно о ней вспомнить. А между тѣмъ, какъ бы на-зло самому себѣ, какъ бы для усугубленія своихъ страданій, онъ понимаетъ всѣ ея достоинства, цѣнитъ всю ея любовь и преданность къ нему, даже видитъ въ ней больше, нежели чтó она есть въ самомъ дѣлѣ. Онъ проклинаятъ и презираетъ себя, не видитъ въ мірѣ никого гнуснѣе и преступнѣе себя; онъ называетъ себя обманщикомъ, вѣдомъ, подло укравшимъ любовь и честь женщины; о прошлыхъ своихъ увѣ-

реніяхъ и клятвахъ любви онъ вспоминаетъ какъ объ умышенномъ, обдуманномъ вѣроломствѣ, забывъ, что, въ то время восторговъ и упоеній, онъ говорилъ и клялся искренно, горячо вѣрилъ дѣйствительности своего чувства. Отчего же этотъ внутренній раздоръ, отчего это раздвоеніе съ самимъ собою, этотъ жгучій огонь въ груди, эта мука, эта пытка души?.. Вѣдь эта дѣвушка только тихо плачетъ, безмолвно изнываетъ въ безотраднѣйшей тоскѣ отвергнутаго и оскорбленнаго чувства! Вѣдь она не грозитъ ему законами, не преслѣдуетъ его упреками, не беспокоитъ его требованіями, и потому страшная тайна останется между ними, ему нечего страшиться ни мщенія гражданскаго закона, ни даже суда общественнаго мнѣнія!— Но отъ всѣхъ этихъ утѣшеній его страданія только глубже и мучительнѣе: безропотное страданіе жертвы возбуждаетъ въ немъ только большее уваженіе къ ней и большее презрѣніе къ себѣ; а безопасность внѣшняго наказанія только больше увеличиваетъ въ его глазахъ собственное преступленіе. Отчего же это?—Оттого, что сердце этого молодого человѣка есть почва, въ которую законъ нравственнаго духа такъ глубоко пустилъ свои корни, что онъ можетъ ихъ вырвать только съ кровію и тѣломъ, а слѣдовательно, и съ потерей собственной жизни. Онъ оскорбилъ не ходячія нравственныя сентенціи: онъ оскорбилъ достоинство собственнаго духа, нарушилъ незримо, но ощутительно пребывающіе въ его сущности законы его же собственнаго разума. Что же ему останется дѣлать? Жениться на ней—скажете вы? Но для такихъ людей чувствовать подлѣ себя бѣшеніе сердца, трепещущаго любовію, чувствовать сжатіе чьихъ-то горячихъ объятій, и оставаться холоднымъ, мертвымъ... ужасно!.. Для трупа объятія живого существа то же, что для живого существа объятія трупа... Когда мы не связаны съ существомъ, на любовь котораго не можемъ отвѣчать, мы уважаемъ его, сострадаемъ ему, плачемъ и молимся о немъ; но когда мы связаны съ нимъ неразрывными узами брака, и его страстная любовь вызываетъ нашу, которой въ насъ нѣтъ, мы отвѣчаемъ ему на нее ненавистію... Что же тутъ дѣлать?.. Иногда подобныя трагическія столкновенія разрѣшаются просто, во вкусъ мѣщанской драмы: красавица пострадаетъ, а потомъ допустить утѣшить себя другому, который заставитъ ее забыть горе для радости; но что, ежели въ то время, какъ онъ борется съ собою и носитъ въ душѣ своей адъ, въ самомъ разгарѣ этой безвыходной борьбы, до слуха его дойдетъ страшная вѣсть, что она умерла, благословляя его, и его имя было ея послѣднимъ словомъ?.. Неужели послѣ этого для него возможно счастье на землѣ? А если и возможно, неужели на немъ не будетъ какого-то мрачнаго отбѣнка? Неужели въ часы упоенія любви, изъ-за того юнаго, прекраснаго и полнаго жизни существа, которое такъ роскошно осынило лицо его волнами длинныхъ локоновъ, ему не будетъ иногда являться какой-то блѣдный, страдальческій призракъ, съ любовію въ очахъ, съ благословеніемъ на устахъ?.. Изъ той

же возможности могла родиться и другая действительность: онъ могъ, идя по улицѣ, увидѣть толпу народа около какого-то трупа женщины, сейчасъ вытащенного изъ рѣки... Страшно!.. Человѣческая природа содрогается передъ такимъ бѣдствіемъ... Чтѣ же значить это бѣдствіе? Вѣдь онъ могъ не признать трупа, могъ пройти мимо, не боясь мщенія закона?.. Нѣтъ, есть другой законъ, еще ужаснѣе закона гражданскаго,—законъ внутренній, въ немъ самомъ пребывающій, законъ нравственности,—и этотъ-то законъ караетъ его. Бывали примѣры, что преступники, убійцы являлись въ судъ и признавались въ преступленіяхъ, давно совершенныхъ, давно забытыхъ, въ которыхъ ихъ и тогда никто не подозрѣвалъ, и, какъ облегченія своихъ страданій, просили казни. Видите ли, какой страшный законъ этотъ нравственный законъ, и какъ страшно его наказаніе: самая казнь, въ сравненіи съ нимъ, есть облегченіе, милость!.. Но, повторяемъ, онъ не для всѣхъ существуетъ, потому что онъ въ духѣ человѣка, а не внѣ его, и въ духѣ только въ глубокомъ и могучемъ... Обратимся къ нашей исторіи. Она могла бы кончиться и не такъ эффектно, но не менѣе ужасно. Молодой человѣкъ могъ бы рѣшиться пожертвовать собою для искупленія своей вины,—страшная рѣшимость! Но чтѣ, если бы онъ услышалъ такой отвѣтъ на свое великодушное предложеніе: „я хочу любви, а не жертвы: я лучше умру, нежели быть въ тягость тому, кого люблю!..“ Вотъ тутъ уже совершенно нѣтъ выхода изъ двухъ крайностей: и себя погубилъ, и ее погубилъ... А между тѣмъ, эта погибель совсѣмъ не внѣшняя, не случайная, но есть осуществленіе возможности, которую онъ самъ же родилъ своимъ поступкомъ. Мы выше сказали, что дѣло точно такъ же могло кончиться очень хорошо для обѣихъ сторонъ, какъ кончилось худо: изъ этого видно, что сущность дѣла не въ совершеніи, а въ возможности совершенія. Проступокъ оскорблялъ нравственный законъ, слѣдовательно, необходимо условливалъ возможность наказанія, хотя оно могло бы и миновать. Итакъ, въ „возможности“ лежить внутренняя, дѣйствительная сторона событія, потому что только внутреннее дѣйствительно, и только дѣйствительное велико. Отсюда важность и трагическое величіе осуществленія нравственнаго закона. Кончилась эта исторія хорошо—и молодой человѣкъ счастливъ, и никто бы не осудилъ его; кончилось оно дурно—и всѣ голоса противъ него...

Но есть люди, которыхъ совѣсть сговорчивѣе, которые боятся суда уголовнаго, но не боятся суда духовнаго...

Главное и существенное различіе нравственности отъ моральности состоитъ въ томъ, что первая есть законъ разума, въ таинственной глубинѣ духа пребывающій, а послѣдняя всегда бываетъ разсудочнымъ понятіемъ о нравственности же, но только людей не глубокихъ, внѣшнихъ, не носящихъ въ нѣдрахъ своего духа закона нравственности, а между тѣмъ чувствующихъ его необходимость. Поэтому нравственность есть понятіе обще-міровое, непреходящее, безусловное (абсолютное), а моральность часто бываетъ по-

нятіемъ условнымъ, измѣняющимся. Было время, когда воинъ, пролившій за отечество лучшую часть своей крови, покрытый ранами и честными знаками отличій, обнаружилъ бы себя въ глазахъ общества безчестнымъ чело-вѣкомъ, если бы отказался отъ дуэли съ какимъ-нибудь мальчишкою-негод-деемъ, и особенно, если бы, по христіанскому чувству, простилъ ему оскор-бленіе. И такъ думали во имя нравственности, которую, по счастью, очень удачно замѣнили французскимъ словомъ *moralité*!.. Моральность относится къ низшей или практической сторонѣ жизни, равно какъ и вытекающее изъ нея понятіе о чести; но, тѣмъ не менѣе, и она есть истина, когда не про-тиворѣчитъ нравственности,—и кто нравственъ, тотъ необходимо и мора-ленъ и честенъ, но не наоборотъ, ибо иногда самые моральные, и честные, и благородные, въ силу общественнаго мнѣнія, люди бываютъ самыми без-нравственными людьми.

Тѣ, которые смотрятъ на искусство съ нравственной точки зрѣнія, обыкновенно смѣшиваютъ нравственность съ моральностію, а какъ мораль-ныя понятія зависятъ отъ ограниченной личности, случайнаго произвола ка-даго, то каждый и судить по своему о произведеніяхъ искусства, требуя отъ нихъ то того, то другого, но никогда не требуя именно того, чего должно отъ нихъ требовать. Исключительность и односторонность господствуютъ въ этомъ взглядѣ. Чего не понимаетъ господинъ моралистъ или господинъ резонеръ, то и объявляетъ безнравственнымъ. Эти моралисты-резонеры хо-тятъ видѣть въ искусствѣ не зеркало дѣйствительности, а какой-то идеаль-ный, никогда не существовавшій міръ, чуждый всякой возможности, всякаго зла, всякихъ страстей, всякой борьбы, но полный усыпительнаго блаженства и резонерскаго правоученія; требуютъ не живыхъ людей и характеровъ, а ходячихъ аллегорій съ ярлычками на лбу, на которыхъ было бы написано: умѣренность, аккуратность, скромность и т. п. Вслѣдствіе такого прекраснаго взгляда на сущность жизни, романъ, поэма, драма непременно должны кон-читься счастливо для „добродѣтельныхъ“, дабы всѣ видѣли, что „добродѣ-тель награждается“, и несчастно для порочныхъ, дабы всѣ видѣли, что „порокъ наказывается“. Близорукіе и косые, они не понимаютъ, что добро-дѣтель всегда награждается и зло всегда наказывается, но только внутренно; а внѣшнимъ образомъ торжество чаще остается за зломъ, нежели за доб-ромъ. Они не понимаютъ, что добро есть лучшая награда за добро, и зло жесточайшее наказаніе за зло. Въ душѣ чело-вѣка и его небо, и его адъ. Прочтите, напр., высоко-художественное созданіе Вальтеръ-Скотта „Ламмер-мурскую Невѣсту“—эту великую трагедію, достойную генія самого Шек-спира, эту высоко-поразительную картину, въ формѣ романа, осуществив-шую трагическую борьбу, разрѣшившуюся въ торжество нравственнаго за-кона. Мать губитъ собственную дочь для удовлетворенія своей суетности и грѣховныхъ побужденій холодной и искаженной души; обманомъ и хитро-стію разрываетъ она святой духовный союзъ юнаго дѣвственнаго существа

съ избраннымъ ея сердца, съ родною ей душою. Бѣдную, кроткую дѣвушку увѣрили, что милый измѣнилъ ей, что жданный и желанный не придетъ уже къ ней, и указали безотвѣтной жертвѣ на чуждаго ей человѣка, какъ на жениха, а молчаніе ея умышленно приняли за согласіе. И вотъ коварство и злоба восторжествовали: брачный контрактъ уже подписанъ безотвѣтною жертвою, священникъ уже тутъ, а милый сердца далеко, далеко, за синимъ моремъ, на чужой землѣ, подъ чуждымъ небомъ... Резонеры готовы вопіять противъ поэта, говоря, что онъ сдѣлалъ зло сильнымъ и торжествующимъ, а добро немощнымъ и погибающимъ... Но вотъ раздается на дворѣ замка топотъ коня—и въ залу входитъ человѣкъ, закрытый плащомъ и шляпою... Вотъ онъ открываетъ лицо—и мать въ бѣшенствѣ бросается къ нему съ вопросомъ: какъ онъ осмѣлился нанести ихъ дому это новое оскорбленіе?.. Видите ли: зло покарало зло—нравственный законъ осуществился; коварство, такъ глубоко обдуманное, такъ легко и непредвидѣнно разрушилось... Братъ Люсіа вызываетъ его на дуэль, женихъ тоже; онъ не отказывается, но спокойно проситъ у матери позволенія объясниться съ дочерью... „Ваша ли рука это, Люсіа? безъ принужденія ли вы подписали этотъ контрактъ?“—Люсіа блѣднѣетъ и умирающимъ голосомъ отвѣчаетъ: „Безъ принужденія“... Отчего же она поблѣднѣла? Оттого, что и на ней совершилось осуществленіе нравственнаго закона, и она наказана за вину собственною виною, ибо въ миломъ сердца своего увидѣла своего грознаго судію. Она не имѣла права подписывать контракта и нести чуждому ей человѣку холодную душу, мертвое сердце, блѣдное лицо и потухшія очи, ибо и церковь, освящающая своимъ благословеніемъ союзъ сердецъ, изрекаетъ его только на условіи свободнаго выбора сердца; повиновеніе волѣ родительской не есть причина для нарушенія воли Божіей: Богъ выше родителей!.. „Такъ возвратите же мнѣ половину моего кольца, Люсіа“... Она тщетно силилась дрожащею рукою вынуть шнурокъ, на которомъ хранилось на груди кольцо; мать помогаетъ ей, и Равенсвудъ бросаетъ обѣ половинки переломленнаго кольца въ каминъ и тихо выходитъ... Долго ѣхалъ онъ шагомъ, но лишь исчезъ изъ глазъ смотрѣвшихъ на него враговъ, какъ молніею помчался на своемъ конѣ. Леди Астонъ снова восторжествовала; вотъ конченъ и обрядъ; вотъ тянется отъ церкви къ замку блестящій поѣздъ, и три вѣдьмы, три ниціи толкуютъ между собою о событіи, а одна пророчитъ близкія похороны. Вотъ начался и балъ; онъ уже во всемъ разгарѣ; но вдругъ въ спальнѣ новобрачныхъ раздается вопль... выламываютъ дверь: новобрачный лежитъ на постели съ перерѣзаннымъ горломъ, а сумасшедшую новобрачную едва нашли въ каминѣ, и черезъ два дня новый поѣздъ отъ замка къ церкви, и отъ церкви къ замку... Поздравляемъ васъ, гордая и благородная леди Астонъ! вы побѣдили, вы торжествуете, вы поставили на своемъ; вы даже пережили и мужа, и всѣхъ дѣтей, и того, кто одинъ могъ сдѣлать счастливою дочь вашу, вы остались одинъ въ цѣломъ свѣтѣ, какъ

надгробный памятникъ нѣсколькихъ вырытыхъ вами могилъ; говорятъ, что вы держали себя все такою же гордою, такою же непреклонною, какъ и прежде, что никто не слышалъ отъ васъ ни стога, ни жалобы, ни раскаянія; но къ этому прибавляютъ, что на вашемъ благородномъ и гордомъ лицѣ читали что-то другое, нежели что хотѣли вы показать, и что ваше присутствіе оледеняло улыбку на лицѣ младенца, умерщвляло всякую радость, всякое чувство человѣческое, и оцѣпняло души людей, какъ появленіе мертвеца или страшнаго призрака... И вотъ въ чемъ торжество нравственности, а не въ счастливой развязкѣ!.. Поэту нужно было показать, а не доказать,—въ искусствѣ что показано, то уже и доказано. Поэту не нужно было излагать своего мнѣнія, которое читатель и безъ того чувствуетъ въ себѣ по впечатлѣнію, которое произвелъ на него рассказъ поэта. Моральные сентенціи и нравоученія со стороны поэта только ослабили бы силу впечатлѣнія, которое одно тутъ и нужно и дѣйствительно. Да! въ дѣйствительности зло часто торжествуетъ надъ добромъ, но вѣчная Любовь никогда не оставляетъ чадъ своихъ: когда страданіе переполняетъ чашу ихъ терпѣнія, является успокоительный ангелъ смерти, и братскимъ поцѣлуемъ освобождаетъ „добрыхъ“ отъ бурной жизни, и кроткою рукою смежаетъ ихъ очи, и мы читаемъ на просіявшемъ лицѣ страдальцевъ тихую улыбку, какъ будто уста ихъ, договаривая свою теплую молитву прощенія врагамъ, привѣтствуютъ уже тотъ новый міръ блаженства, предощущеніе котораго они всегда носили въ себѣ... И надъ ихъ могилою совершается торжество примиренія: человѣчество благословляетъ ихъ память и повѣстію о ихъ страданіяхъ не возмущается противъ жизни, а мирится съ нею въ умиленномъ сердцѣ и укрѣпляется въ силѣ великодушно бороться съ бурями бѣдствій. А злые? Страшно ихъ торжество, и только бессмысленные могутъ завидовать ему... Но резонеры говорятъ свое—ихъ ничѣмъ не увѣришь, потому что они чужды духа и духъ чуждъ ихъ; они понимаютъ одно внѣшнее и бессильны заглянуть въ таинственную лабораторію чувствъ и ощущеній; они готовы любить добро, но за вѣрную мзду въ здѣшней жизни, и мзду земными благами. Они громче всѣхъ кричатъ о Богѣ,—но потребуй отъ нихъ Богъ жертвы, пошли на нихъ тяжкое испытаніе—они перейдутъ на сторону Ваала и поклонятся до земли тельцу златому...

Все, что есть, то необходимо, разумно и дѣйствительно. Посмотрите на природу, прикиньте съ любовію къ ея материнской груди, прислушайтесь къ біенію ея сердца—и увидите ея въ безконечномъ разнообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противорѣчій удивительную гармонію. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи предвѣчнаго художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка не нужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный, столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно-дѣйствителенъ, то неужели высшій его—міръ исторіи есть не такое же разумно-

дѣйствительное развитіе божественной идеи, а какая-то безсвязная сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновѣній между обстоятельствомъ?.. И, однакожь, есть люди, которые твердо убѣждены, что все идетъ въ мірѣ не такъ, какъ должно. Мы выше сего указывали на этихъ людей, представителемъ которыхъ можетъ служить Менцель. Отчего они заблуждаются? Оттого, что свою ограниченную личность противопоставляютъ личности Божіей; оттого, что безконечное царство духа мѣряютъ маленькимъ масштабомъ своихъ моральныхъ положеній, которые они ошибочно принимаютъ за нравственныя. Посмотрите, какъ они судятъ историческія лица: забывая въ нихъ историческихъ дѣятелей, представителей человечества, они впадаютъ, подобно півкамъ, въ частную жизнь и ею силятся опровергнуть ихъ историческое величіе. Какое имъ дѣло до личнаго характера какого-нибудь Талейрана? можетъ быть, этого человѣка и во многомъ осудить его духовникъ—единственный призванный и признанный судія его совѣсти; но они-то, эти моральные-то люди, развѣ они сами свободны отъ этого суда? Не лучше ли имъ было бы судить Талейрана, какъ государственнаго человѣка, по мѣрѣ его вліянія на судьбу Франціи, оставивъ частнаго человѣка, не имѣющаго права на мѣсто въ исторіи? Удивительно ли послѣ этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшимъ, то смиреннымъ домомъ, то темницею, наполненною преступниками, а не пантеономъ славы и безсмертія, полнымъ ликовъ представителей человечества, исполнителей судебъ Божіихъ. Хороша исторія!.. Такіе кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходятъ отъ разсудочнаго пониманія дѣйствительности, необходимо соединеннаго съ отвлеченностію и односторонностію. Разсудокъ умѣетъ только отвлекать идею отъ явленія и видѣть одну какую-нибудь сторону предмета; только разумъ постигаетъ идею нераздѣльно съ явленіемъ и явленіе нераздѣльно съ идеею и схватываетъ предметъ со всѣхъ его сторонъ, повидимому, одна другой противорѣчащихъ и другъ съ другомъ несомѣстныхъ,—схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, чтѣ есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа или человѣка хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся. Для него возникновеніе и паденіе царствъ и народовъ не случайно, а внутренне-необходимо, и самая эпоха римскаго разврата есть не предметъ осужденія, а предметъ изслѣдованія. Онъ не скажетъ съ какимъ-нибудь Вольтеромъ, что крестовые походы были плодомъ невѣжества и предпріятіемъ нелѣпымъ и смѣшнымъ, но увидитъ въ нихъ разумно-необходимое, великое и поэтическое событіе, совершившееся въ свою пору и свое время и выразившее моментъ юности человѣ-

чества, какъ всякой юности, исполненной благородныхъ порывовъ, безкорыстныхъ стремлений и идеальной мечтательности. Такъ же точно смотритъ разумъ и на всѣ явленія дѣйствительности, видя въ нихъ необходимые явленія духа. Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, вѣра и сомнѣніе, дѣятельность и бездѣйствіе, побѣда и паденіе, борьба, раздоръ и примиреніе, торжество страстей и торжество духа, самыя преступленія, какъ бы они ни были ужасны, все это для него явленія одной и той же дѣйствительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его отъ нормальности, вслѣдствіе внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ. Но разумъ не остается только въ этомъ объективномъ безпристрастіи: признавая всѣ явленія духа равно необходимыми, онъ видитъ въ нихъ бесполезную лѣстницу, не лежащую горизонтально, а стоящую перпендикулярно, отъ земли къ небу, и въ которой ступени прогрессивно возвышаются одна надъ другою.

Искусство есть воспроизведеніе дѣйствительности; слѣдовательно, его задача не поправлять и не прикрашивать жизнь, а показывать ее такъ, какъ она есть на самомъ дѣлѣ. Только при этомъ условіи поэзія и нравственность тождественны. Произведенія неистовой французской литературы не потому безнравственны, что представляютъ отвратительныя картины прелюбодѣнія, кровосмѣшенія, отцеубійства и сыноубійства, но потому, что они съ особенною любовію останавливаются на этихъ картинахъ и, отвлекая отъ полноты и цѣлости жизни только эти ея стороны, дѣйствительно ей принадлежащія, исключительно выбираютъ ихъ. Но такъ какъ въ этомъ выборѣ, уже ложномъ по своей односторонности, литературные санктолоты руководствуются не требованіями искусства, которое само для себя существуетъ, а для подтвержденія своихъ личныхъ убѣжденій, то ихъ изображенія и не имѣютъ никакого достоинства вѣроятности и истины, тѣмъ болѣе, что они съ умысломъ клеветаютъ на человѣческое сердце. И въ Шекспирѣ есть тѣ же стороны жизни, за которыя неистовая литература такъ исключительно хватается, но въ немъ онѣ не оскорбляютъ ни эстетическаго, ни нравственнаго чувства, потому что, вмѣстѣ съ ними, у него являются и противоположныя имъ, а главное, потому, что онъ не думаетъ ничего развивать и доказывать, а изображаетъ жизнь, какъ она есть.

Искусство издавна навлекало на себя нападки и ненависть моралистовъ, этихъ вампировъ, которые мертвятъ жизнь холодомъ своего прикосновенія и селятся заковать ея безконечность въ тѣсныя рамки и клѣтки своихъ разсудочныхъ, а не разумныхъ опредѣленій. Но изъ всѣхъ поэтовъ Гёте наиболѣе возбуждалъ ихъ ожесточеніе. Гений и безнравственность—его неотъемлемыя качества въ ихъ глазахъ. Въ Менцелѣ эта моральная точка зрѣнія на искусство нашла полнѣйшаго своего выразителя и представителя. Причина очевидна: Гёте былъ духъ, во всемъ жившій и все въ себѣ ощущавшій своимъ поэтическимъ ясновидѣніемъ, слѣдовательно—не-

способный предаться никакой односторонности, ни пристать ни къ какому исключительному ученію, системѣ, партіи. Онъ многостороненъ, какъ природа, которой такъ страстно сочувствовалъ, которую такъ горячо любилъ и которую такъ глубоко понималъ онъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите, какъ природа противорѣчива, а слѣдовательно и безнравственна, по воззрѣнію резонеровъ: у полюсовъ она дышитъ хладомъ и смертію зимы, а подъ экваторомъ сожигаетъ изнурительною теплою; на сѣверѣ она скупа на свои дары и заставляетъ человѣка все брать трудомъ, кровавымъ потомъ и вѣчною борьбой съ собою, а на югѣ щедро дарами, но богата и смертоносными варазами, ядовитыми гадами и свирѣпыми звѣрями; въ срединѣ Африки она разметнулась безбрежною степью—цѣлымъ океаномъ песка, гибельнаго для путешественниковъ; а въ Голландіи явилась топкимъ болотомъ... Слѣдовательно, въ одномъ мѣстѣ она говоритъ одно, а въ другомъ утверждаетъ совсѣмъ противное: какая, право, безнравственная! Таковъ и Гёте—ея вѣрное зеркало. Во дни своей кипучей юности, обвѣянный духомъ художественной древности и обаянный роскошью природы и жизни поэтической Италіи, онъ писалъ „Римскія элегіи“, этотъ дивный апоэозъ древней жизни и древняго искусства, и въ то же время воскресилъ въ своемъ „Гёцѣ“ жизнь рыцарской Германіи, свелъ съ ума всю Европу повѣстію о „Страданіяхъ Вертера“ и создалъ въ „Вильгельмѣ Мейстерѣ“ апоэозъ человѣка, который ничего полезнаго не дѣлаетъ на бѣломъ свѣтѣ и живетъ только для того, чтобы наслаждаться жизнію и искусствомъ, любить, страдать и мыслить. Потомъ, въ лѣта болѣе зрѣлыя, онъ въ „Прометей“ воспроизвелъ художнически моментъ возстанія сознающаго духа противъ непосредственности на вѣру признанныхъ положеній и авторитетовъ, а въ „Фаустѣ“—жизнь субъективнаго духа, стремящагося къ примиренію съ разумною дѣйствительностію путемъ сомнѣнія, страданій, борьбы, отрицаній, паденія и возстанія, но подлѣ него помѣстилъ Маргариту, идеалъ женственной любви и преданности, покорную и безропотную жертву страданія, смерть которой была для нея спасеніемъ и искупленіемъ ея вины, въ христіанскомъ значеніи этого слова... Уловить Гёте въ какое-нибудь коротенькое опредѣленіе трудно и не для Менцеля, Менцель и осердился на него и назвалъ его чѣмъ-то въ родѣ безнравственной безличности.

Нашлось много людей, которые, въ простотѣ ума и сердца, воскликнули:

Ай, моська! Знать она сильна,
Коль лаетъ на слона!

и промѣняли слона на моську...

Чтобы унизить Гёте, Менцель противопоставляетъ ему Шиллера, не какъ художника, а какъ человѣка „отличнѣйшаго поведенія“. Не поздоровится отъ такихъ похвалъ!.. Чтобы сдѣлать Гёте образцомъ безнравственности, Менцель призналъ въ Шиллерѣ образецъ нравственности. И Шиллеръ

въ самомъ дѣлѣ былъ духъ столь же великій, сколько и нравственный: величіе и нравственность нераздѣльны, какъ теплота и свѣтъ въ огнѣ. Кто грѣшилъ противъ нравственности, стремясь къ нравственности—тотъ нравственный же того, который родился и умеръ нравственнымъ; точно такъ же, кто заблуждался въ истинѣ, стремясь къ истинѣ, больше любитъ истину, нежели тотъ, который родился и умеръ правымъ противъ нея. Какъ благородные порывы пламенной, неистощимой любви къ человечеству, первыя произведенія Шиллера, каковы: „Разбойники“ и „Коварство и Любовь“, нравственны; но въ отношеніи къ безусловной истинѣ и высшей нравственности они рѣшительно безнравственны. Въ нихъ онъ хотѣлъ осуществить вѣчныя истины,—и осуществилъ свои личныя и ограниченныя убѣжденія, отъ которыхъ потомъ самъ отказался. Такъ какъ онъ въ нихъ задалъ себѣ задачу и назначилъ цѣль внѣ искусства, то изъ нихъ и вышли поэтическіе недоноски и уроды, явленія, совершенно ничтожныя въ области искусства, хотя и великія въ сферѣ феноменологии духа. Истинно-художественное произведеніе возвышаетъ и расширяетъ духъ человѣка до созерцанія безконечнаго, примиряетъ его съ дѣйствительностію, а не возста новляетъ противъ нея,—и укрѣпляетъ его на великодушную борьбу съ невзгодами и бурями жизни. Искусство достигаетъ этого тогда только, когда въ частныхъ явленіяхъ показываетъ общее и разумно-необходимое и когда представляетъ ихъ въ объективной полнотѣ, цѣлости и оконченности, замкнутыми въ самихъ себѣ. Если въ трагедіи гибель и смерть ея героевъ явилась, какъ внутренняя необходимость изъ ихъ характеровъ и дѣйствій, какъ разрѣшеніе ими же произведенной дисгармоніи въ гармонической сферѣ духа, для осуществленія нравственнаго закона—мы примираемся съ нею и умиленною душою предаемся тихой и глубокой думѣ о поразительномъ урокъ; но когда гибель и смерть героевъ трагедіи является вслѣдствіе страсти поэта къ ужаснымъ и поражающимъ эффектамъ, какъ у какого-нибудь Гюго, или по другой, внѣшней, случайной, а слѣдовательно, бессмысленной причинѣ,—это возбуждаетъ въ насъ отвращеніе и омерзѣніе, какъ зрѣлище казни или пытки. Такъ точно и страданія субъективнаго духа могутъ быть предметомъ искусства, а слѣдовательно, и не оскорблять нравственности, если они изображены объективно, просвѣтлены мыслию, свидѣтельствующею о разумной необходимости ихъ явленія. Но когда они суть вопли самого поэта, то и не могутъ быть художественны, ибо кто вопить отъ страданія, тотъ не выше своего страданія,—слѣдовательно, и не можетъ видѣть его разумной необходимости, но видитъ въ немъ случайность, а всякая случайность оскорбляетъ духъ и приводитъ его въ раздоръ съ самимъ собою, слѣдовательно, и не можетъ быть предметомъ искусства. Гёте, въ своемъ „Вертерѣ“, по собственному признанію, выразилъ моментальное состояніе своего духа, тяжко страдавшаго; „Вертеромъ“, по собственному же его признанію, онъ и вышелъ изъ своего мучительнаго состоянія. И вотъ

истинная причина, почему чтеніе „Вертера“ производит на душу то же тяжкое, дисгармоническое впечатлѣніе, не улаждая, а только терзая ее; вотъ почему „Вертеръ“ и представляется чѣмъ-то неполнымъ, какъ бы неоконченнымъ. Это не художественное произведеніе, а рѣжущій, скрипучій диссонансъ духа. Поэтому, если онъ не есть безнравственное произведеніе, то и нисколько не есть нравственное произведеніе; Гёте измѣнилъ въ немъ самому себѣ, явился невѣрнымъ своей художнической натурѣ. Но кто же поставить ему въ вину то, что онъ на мнуту не понялъ самого себя и изъ художника явился человѣкомъ?.. И неужели одинъ неудачный опытъ можетъ затмить такую богатую и обширную художническую дѣятельность?..

Никакой человѣкъ въ мірѣ не родится готовымъ, т.-е. вполне сформировавшимся; но вся жизнь его есть не что иное, какъ непрерывно-движущееся развитіе, безпрестанное формированіе. Истина не дается ему вдругъ: чтобы достигъ ея, онъ будетъ сомнѣваться, впадать въ ложь и противорѣчіе, страдать и падать. „Дорого да мило, дешево да гнило!“ говоритъ мудрая русская пословица. Чѣмъ глубже натура человѣка, тѣмъ глубже и его паденіе и его заблужденіе, его противорѣчія и отрицанія, тѣмъ рѣзче его переходы отъ одного убѣжденія къ другому. Но есть люди, какъ бы рождающиеся съ готовыми понятіями, люди, которые въ старости думаютъ и понимаютъ точно такъ же, какъ думали и понимали въ дѣтствѣ. Это натуры бѣдныя и жалкія, равнодушныя къ истинѣ и чуждыя всякаго духовнаго движенія, умы мелкіе и ограниченные. Вотъ отъ этихъ-то духовномалолѣтнихъ вы всегда и слышите забавно-самолюбивое возраженіе: „какъ, не вы ли тогда-то думали совершенно иначе, а теперь говорите совсѣмъ другое?—стало быть, вы ошибаетесь“. Къ такимъ-то натурамъ принадлежитъ и Менцель; онъ родился совершенно готовымъ и въ одномъ мѣстѣ своей книги съ препотѣшною гордостью ставитъ себѣ въ великую заслугу, что никогда не измѣнялъ своихъ убѣжденій. Для поэта другой ходъ въ движеніи истины, чѣмъ для людей обыкновенныхъ: безъ борьбы и противорѣчій, руководимый полнотою своей ясновидящей натуры, переходитъ онъ съ лѣтами отъ низшихъ явленій жизни къ высшимъ, отъ „Руслана и Людмилы“ доходитъ до „Бориса Годунова“ или „Каменнаго Гостя“. Менцель этого не понимаетъ,—и, посмотрите, какъ растолковано это дивно-поэтическое признаніе великаго художника:

Die Feinde, sie bedrohen dich,
Das mehrt von Tag zu Tage sich,
Wie dir doch gar nicht graut!
Das seh ich alles unbewegt,
Sie zerren an der Schlangenhaut
Die jüngst ich abgelegt;
Und ist die nächste relif genug,
Abstreif' ich die sogleich

Und wandle neu belebt und jung
Im frischen Götterreich *).

Менцель это объясняетъ тѣмъ, что для Гёте не было ничего святаго и завѣтнаго, что онъ всѣмъ забавлялся... Угадалъ!.. Менцель, впрочемъ, не до конца прогнѣвался на Гёте: онъ не отнимаетъ у него огромнаго таланта — внѣшней поэтической формы безъ всякаго содержанія... О, почтенный нѣмецкій филистеръ! какъ пристала бы къ нему мандаринская шапка съ тремя желтенькими шариками, при его собственныхъ ушахъ!.. Чтобъ быть критикомъ, надо родиться критикомъ, надо получить отъ природы обширное и глубокое созерцаніе или внутреннее ясновидѣніе всего, что составляетъ содержаніе искусства; надо получить инстинктъ и тактъ для пониманія изящнаго. Мы не можемъ понимать и знать ничего такого, что не лежитъ, какъ возможность, въ сокровенныхъ тайникахъ нашего духа. Наука развиваетъ только данное намъ природою, и внѣ себя мы только узнаемъ находящееся въ насъ. Нѣсколько друзей пошло въ картинную галерею, и всѣ остановились передъ „Мадонною“ Рафаэля, какъ вдругъ одинъ вскричалъ съ восхищеніемъ: „славная рама! я думаю, рублей пятьсотъ стѣтъ!“ Рас толкуйте же ему, что какъ бы ни хороша была эта рама, хотя бы она стоила милліоновъ, хотя бъ была сдѣлана изъ цѣльнаго алмаза — и тогда была бы грошевою вещію въ сравненіи съ картиною, которая въ нее вставлена... Рас толкуйте Менцелю или Менцелямъ, что, какъ въ природѣ, такъ и въ искусствѣ, нѣтъ прекрасныхъ формъ безъ прекраснаго содержанія, т.-е. мысли, которая есть духъ жизни, ставшій въ нихъ видимою, очевидною дѣйствительностію, и что ей-то и одолжены эти прекрасныя формы и своею обаятельною красотою, и своею вѣчно-юною жизнію, и своимъ неотразимымъ и сладостнымъ могуществомъ надъ душою людей!..

Очерки Бородинскаго сраженія.

Соч. Ө. Глинки. Москва. 1839.

Народъ не есть отвлеченное понятіе: народъ есть живая особность, духовная организація, которой разнообразныя жизненныя отправленія служатъ къ единой цѣли. Народъ есть личность, какъ отдѣльный человѣкъ. Какимъ образомъ люди стали народами, частныя индивидуальности сли-

*) Тебѣ грозятъ твои враги, и съ каждымъ днемъ число ихъ увеличивается. Какъ ты не боишься! Я смотрю на все это хладнокровно; они терзаютъ ту кожу, которую я недавно сбросилъ съ себя; коль скоро замѣнившая ее достаточно созрѣетъ — я и эту сброшу немедленно; обновленный, помолодѣвъ опять, явлюсь въ вѣчно-цвѣтущемъ царствѣ боговъ.

лись въ общія массы и, такъ сказать, исчезли въ нихъ?.. Вотъ одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, рѣшенія которыхъ не подлежатъ ни историческимъ разысканіямъ, ни изслѣдованіямъ разсудка, опирающимся на опытѣ. Спросите человѣка, какъ онъ явился на свѣтъ: можетъ ли онъ вамъ отвѣтить на этотъ вопросъ? Онъ существовалъ еще во чревѣ своей матери, но не зная о своемъ существованіи; онъ существовалъ еще безсмысленнымъ и безсловеснымъ ребенкомъ, но не зная о своемъ существованіи; онъ даже не помнитъ своего младенчества, когда уже языкъ его лепеталъ несвязныя рѣчи, а юная душа принимала уже разнообразныя впечатлѣнія бытія; онъ едва-едва помнитъ себя даже выходящимъ изъ младенчества, уже развивающимся своими духовными способностями; его сознательное существованіе начинается съ черты, разграничивающей отрочество и юношество. Вотъ почему каждый человѣкъ всегда начинаетъ свою исторію словами: „съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить“, и вотъ почему самая эпоха его сознанія еще такъ неопредѣленна, представляя собою какой-то утренній полусумракъ, и только въ періодѣ юношества дѣлается яснымъ и свѣтлымъ утромъ. Такъ точно и народъ не въ состояніи отвѣчать самому себѣ на вопросъ: откуда онъ произошелъ, какъ онъ явился? Намъ скажутъ, что людей свели взаимныя нужды, заставившія ихъ взаимными уступками, для обоюдной выгоды, ограничить свою свободу и принять общественную форму. Прекрасно, но вѣдь и дитя не бѣжитъ отъ своихъ родителей, отъ своего семейства, безсознательно чувствуя свою нужду въ нихъ, хотя и отвращаясь лозы и власти ихъ, а между тѣмъ оно все-таки не помнитъ, какъ это сдѣлалось, что оно стало членомъ своего семейства, а чрезъ него и членомъ своего государства. Другіе намъ скажутъ—и это будетъ еще справедливѣе—что исходнымъ пунктомъ соединенія людей въ общество было безсознательное влеченіе человѣка къ человѣку, врожденное ему отъ природы, а взаимная нужда другъ въ другѣ только укрѣпила и довершила это соединеніе. Прекрасно, но вѣдь и младенецъ, прежде нежели онъ почувствовалъ нужду въ своей матери или нянькѣ, влекся къ нимъ безсознательнымъ чувствомъ, а между тѣмъ, ставши полнымъ человѣкомъ, онъ все-таки не помнитъ, какъ это сдѣлалось, и даже не помнитъ черты, раздѣляющей конецъ его безсознательности съ началомъ его сознательности. Очевидно, что народъ рождается безсознательно, проходитъ всѣ возрасты человѣка, т.-е. сперва бываетъ зародышемъ или возможностью, изъ которой, какъ растеніе изъ сѣмени, организуется младенецъ, лелѣемый матерью-природою, изъ младенца дѣлается отрокомъ и, наконецъ, доживаетъ до того момента своего существованія, съ котораго начинается говорить: „съ тѣхъ поръ, какъ я началъ себя помнить“. Вотъ почему начало, или, лучше сказать, зачатіе всѣхъ народовъ рѣшительно ускользаетъ отъ взоровъ исторіи, и всѣ усилія разсудочныхъ мыслителей схватить его остаются тщетными; вотъ почему въ исторіи каждаго народа есть періодъ баснословный и полубаснословный,

или доисторическій и полуйсторическій, который такъ незамѣтно сливается съ историческимъ, что невозможно уловить черты, раздѣляющей ихъ.

Много было теорій о происхожденіи политическихъ обществъ, особенно много ихъ было у французовъ, въ ихъ „философскомъ“ XVIII вѣкѣ. Эти теоріи принесли великую пользу, доказавъ бесполезность и нелѣпость стремленія объяснить опытомъ неподлежащее опыту, сдѣлать яснымъ разсудку недоступное для разсудка.

Слово человеческое есть одно изъ тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя въ самихъ себѣ скрываютъ причину своего явленія, которыя органически возникаютъ и развиваются изъ себя, и внѣ себя не имѣютъ причины, и которыхъ рожденіе есть, поэтому, тайна. Дѣйствительность, какъ явившійся, отѣлесившійся разумъ, всегда предшествуетъ сознанию, потому что прежде, нежели сознавать, надо имѣть предметъ для сознанія. Вотъ почему естествознаніе, или ученіе о природѣ, явилось гораздо послѣ самой природы, грамматика послѣ языка, исторія послѣ пережитой народами жизни. Все, что нѣсть—есть или являющійся разумъ (разумъ въ явленіи), или сознающій разумъ (разумъ въ сознаніи). Дѣло сознающаго разума—сознавать дѣйствительность, а не творить ее, и потому разумъ пишетъ грамматику, а не сочиняетъ языка, пишетъ трактатъ объ организаціи общества, а не создаетъ общества. Какъ невозможно сочинить языка, такъ невозможно и устроить гражданскаго общества, которое устроится само собою, безъ сознанія и вѣдома людей, изъ которыхъ оно складывается. Всякое явленіе дѣйствительности, изъ самого себя возникшее, рождается и развивается органически; всякое изобрѣтеніе дѣлается механически. Первое есть вдохновенный порывъ духа осуществиться въ дѣйствительности; второе есть расчетъ разсудка, основанный на соображеніи вѣроятностей. Матеріалисты XVIII вѣка хотѣли объяснить происхожденіе міра механическимъ сцепленіемъ атомовъ, механическимъ процессомъ взаимодѣйствія тяжести и выходящихъ изъ ея математическихъ законовъ стремленій; но это объясненіе только затемнило сущность, дѣла, потому что, отличаясь внѣшнею ясностію, отличалось внутреннимъ мракомъ. И какъ же тутъ быть свѣту, а не мраку, когда они въ мірозданіи видѣли только какіе-то блоки, веревки, гвозди и клей, а не горячую кровь и полные электричества нервы,—мертвый скелетъ, а не живой организмъ, какъ выраженіе движущагося въ немъ духа жизни? Автоматъ дѣлается механически, и потому онъ трупъ безъ жизни; организмъ человѣка развивается динамически, и потому въ немъ вѣтъ, движется духъ жизни. Въ зародышѣ, изъ котораго рождается человекъ, заключенъ духъ жизни, самодѣтельно, изъ самого себя развивающійся въ опредѣленные формы, во чревѣ матери, какъ развивается динамически, т. е. собственною самодѣтельностью, зерно, положенное въ землю, и становится деревомъ. То и другое требуетъ для своего развитія внѣшняго вещества—питанія; но это внѣшнее перерабатываютъ и претворяютъ въ

свою собственность, въ свои соки, кровь и плоть, и это внѣшнее опять развиваютъ изъ себя: такъ точно происходитъ и народъ. Его духовная организація параллельна тѣлесной организаціи младенца и дерева, примѣры которыхъ мы нарочно привели. Сущность жизни въ зернѣ жизни, а это верно—божественная идея, изъ сферы возможности переходящая въ сферу дѣйствительности, изъ небытія осуществляющаяся въ бытіе, по глаголу священнаго писанія: Богъ создалъ міръ сей изъ ничего...

Начиная отъ временъ, о которыхъ мы знаемъ только изъ исторіи, до нашего времени не было и нѣтъ ни одного народа, составившагося и образовавшагося по взаимному сознательному условію извѣстнаго числа людей, изъявившихъ желаніе войти въ его составъ, или по мысли одного какого-нибудь хотя бы и гениальнаго человѣка. Намъ, можетъ быть, укажутъ на Сѣверо-Американскіе Штаты—на этотъ народъ безъ имени и названія, на этого сына безъ отца, потомка безъ предковъ, на это политическое общество, какъ будто искусственно явившееся, механически соединенное изъ разнородныхъ началъ? Мы отвѣтимъ, что все это только кажется такимъ для поверхностнаго взгляда, но совсѣмъ не таково на самомъ дѣлѣ. Во-первыхъ, Сѣверо-Американскіе Штаты явились по условію только государствомъ, а не народомъ; между же государствомъ и народомъ большая разница: народъ можетъ не быть государствомъ, но государство не можетъ не быть народомъ; народъ можетъ сдѣлаться государствомъ, но государство не можетъ сдѣлаться народомъ, потому что оно было народомъ прежде еще, чѣмъ сдѣлалось государствомъ. Большая и главная часть народонаселенія Сѣверо-Американскихъ Штатовъ—природные англичане: господствующій языкъ—англійскій; направленіе въ религіи, политикѣ и гражданскомъ устройствѣ явно отзывается британизмомъ. Слѣдовательно Сѣверо-Американскіе Штаты не безъ родни, не безъ предковъ, не безъ отца и матери. Сначала они были англійскими колоніями, слѣдственно, имѣли уже готовыми всѣ матеріалы для государственной жизни: образованный языкъ съ богатою литературою, религію, въ высшей степени развитую гражданственность и т. д. Такъ какъ изъ колонистовъ, въ теченіе времени, образовалось изъ англичанъ какъ бы особое племя, вслѣдствіе вліянія климата и страны на духъ,—племя, отличавшееся отъ жителей Великобританіи, какъ отличаются романы гениальнаго Купера отъ романовъ гениальнаго Скотта, хотя и писанныхъ на одномъ языкѣ,—то нѣкоторымъ образомъ и образовался какъ бы особый народъ, которому уже не мудрено было стать государствомъ. Да и самый процессъ перехода народа въ государство совершился не механически, не условно, а зарождался, зрѣлъ и обнаружился исторически, такъ что причины его далеко скрываются во времени, и исторію Сѣверо-Американскихъ Штатовъ должно начинать съ эпохи религіозно-политической реформы въ самой Англій.

Исходный пунктъ жизни каждаго народа скрывается въ географиче-

скихъ, этнографическихъ, геологическихъ и климатическихъ условіяхъ. Когда человѣкъ выходитъ изъ своего естественнаго состоянія, онъ начинаетъ борьбу съ природою, покоряетъ ее себѣ и даже измѣняетъ могуществомъ своей разумности; но до тѣхъ поръ онъ—ея рабъ. Мощно дѣйствуютъ на него ея впечатлѣнія, и его темпераментъ имѣетъ кровное сродство съ материкомъ, на которомъ онъ родился, съ небомъ, подъ которымъ онъ родился, а его характеръ есть результатъ его темперамента. Законъ родства крови и плоти есть законъ самого духа!.. Сначала всякое человѣческое общество существуетъ, какъ племя, потомъ—какъ народъ; немного племенъ извѣстно исторіи: состояніе человѣческаго общества, какъ племени, есть первый и самый естественный моментъ его существованія, это какъ будто развѣтвившіеся отпрыски единого ствола, какъ будто размножившіеся члены единого семейства, давно потерявшаго память о своемъ прародителѣ, уже не только родные, но двоюродные, троюродные, и такъ далѣе, составляющіе отдѣльные круги семейства. Племена не имѣютъ не только законовъ, даже обычаевъ, освященныхъ временемъ, но живутъ какъ бы руководимы какимъ-то инстинктомъ. Имъ нужна пища—и у нихъ есть стрѣла и лукъ или сѣть для рыбъ: вотъ всѣ ихъ потребности и всѣ точки соприкосновенія между ними. Но вотъ племя сталкивается съ другимъ племенемъ, и, какъ всякой естественной индивидуальности другая индивидуальность враждебна, между ними начинается кровавая борьба; каждое племя плотнѣе соединяется, родственнѣе сжимается, яснѣе сознаетъ свою индивидуальную особность; рождаются понятія о славѣ и безславіи, о геройствѣ и малодушіи, о ненависти ко враждебному племени, какъ священномъ долгѣ; являются военачальники и нѣкоторая подчиненность. Но этимъ все и оканчивается, потому что только столкновение съ народомъ или государствомъ можетъ быть причиною развитія племени въ народъ и государство, или чрезъ подпаденіе подъ власть его и исчезновеніе въ немъ, или чрезъ перенятіе его идей. И потому у племенъ власть военачальника блѣдна, безцвѣтна и неопредѣленна, неутверждена и не освящена никакою идеею, не имѣетъ даже силы преданія (*traditio*), не только закона; жречество основано на мистическомъ страхѣ непонятнаго ихъ уму и потому пугающаго его, и развѣ еще на нѣкоторыхъ врожденныхъ человѣку слабыхъ и неопредѣленныхъ идеяхъ о божествѣ. Въ такомъ видѣ представляются намъ всѣ дикія племена Европы, Азіи и Африки и, наконецъ, дикія племена цѣлыхъ частей свѣта—Америки и Океаніи. Это какія-то инфузоріи политическихъ обществъ, безсильныя принять опредѣленную и единственно разумную форму человѣческаго общества—форму государственную. Чтò бы ни было причиною этого: низшая въ сравненіи съ нашею организаціею изолированность отъ образованнаго міра, недавность ихъ происхожденія и близость къ природѣ, или какія-нибудь чисто внѣшнія, случайныя причины, или все это вмѣстѣ взятое; но только можно съ вѣроятностію заключать, что всѣ изъ извѣстныхъ намъ государствъ,

бывшихъ и нынѣ находящихся, начали свое существованіе съ состоянія племени,—состоянія, которое, какъ безсознательное, не могли помнить, а слѣдовательно и забыть. Въ Америкѣ испанцы, кромѣ множества племенъ, застали два народа—мексиканскій и перуанскій, изъ примѣра которыхъ можно видѣть, какъ общество переходитъ во второй свой моментъ—изъ племени дѣлается народомъ. У народа же начинается исторія, которой нѣтъ у племени, хотя эта исторія еще только преданіе, изъ устъ въ уста, отъ поколѣнія къ поколѣнію переходящее. У народа уже есть зародыши всѣхъ формъ государственной жизни: утвержденная верховная власть, іерархія чиновъ, раздѣленіе на сословія и пр.; но только все это еще, какъ преданіе, какъ обычай, освященный временемъ, какъ безсознательно-существующій фактъ, а не какъ что-нибудь выговоренное, какъ законъ, и утвержденное законою формою. Народъ тогда только дѣлается государствомъ, когда законность, освященная временемъ и отъ времени получившая свою силу, приобретаетъ формальность, народная жизнь получаетъ опредѣленные, выговоренные, или на письмѣ утвержденные формы, и эти формы переходятъ въ законъ. Государство есть высшій моментъ общественной жизни и ея высшая единая разумная форма. Только ставши членомъ государства, человѣкъ перестаетъ быть рабомъ природы, но дѣлается ея повелителемъ, и только какъ членъ государства, является онъ существомъ истинно-разумнымъ. Племена близки къ животнымъ, и потому минута, когда узнаетъ о ихъ существованіи государство, есть минута ихъ истребленія, порабощенія и перерожденія въ новомъ и чуждомъ имъ духѣ, въ новыхъ и чуждыхъ имъ формахъ.

Всякая разумность, чтобъ сдѣлаться разумностію, должна явиться сперва, какъ естественность, какъ непосредственное откровеніе. Всякая разумность священна, т.-е. имѣетъ свою мистическую, таинственную сторону, и причина этой таинственности скрывается опять въ близости къ источнику всего сущаго, къ божественной идеѣ, первоначально осуществляющейся во всеобщей родовой матеріи, въ сущномъ (субстанціальномъ) началѣ. Какая глубина мысли и какая поэзія въ русскомъ выраженіи „мать сыра земля“! Въ самомъ дѣлѣ, она мать намъ, наша родная мать, ибо она есть первоначальная, первосущая форма духа, хранительница всѣхъ силъ, всей сущности (субстанции) творящей природы! Изъ ея материнскаго лона вышелъ человѣкъ, въ ея материнскихъ нѣдрахъ покоится онъ на вѣчность! Точно таково же и родство людей между собою: всѣ люди родни другъ другу по духу; но это духовное родство сперва проявляется въ нихъ, какъ родство крови и плоти, и духовное родство потому и свято, что выходитъ изъ кровно-плотскаго. Точно также, потому же самому, и государство есть разумное, а потому и священное явленіе, что его начало скрывается въ естественно-семейственномъ родствѣ людей, перешедшемъ потомъ въ родство племенное, а, наконецъ, въ народное. Какъ въ отдѣльных семействахъ мы

замѣчаемъ часто сходство чертъ лица, голоса, манеры говорить и дѣйствовать, словомъ, сходство характера, духа, даже при несходствѣ направленій,—такъ и всякій народъ отличается единствомъ языка, а слѣдовательно, и характера мысли, взгляда на вещи и способа понимать ихъ (потому что языкъ есть осуществившееся, явившееся понятіе), единствомъ религіи, образа правленія, родовымъ сходствомъ въ образѣ внѣшней жизни, наконецъ, семейственнымъ сходствомъ физіономіи составляющихъ его индивидуумовъ, такъ что трудно не узнать по одному лицу англичанина, француза, нѣмца, итальянца, татарина и т. д. Это сходство, это единство, это родство священны, потому что основаніе ихъ плоть и кровь, какъ перво-сущныя (субстанціальныя) формы духа. И вотъ почему космополитъ есть какое-то ложное, двусмысленное, странное и непонятное явленіе, какой-то блѣдный, туманный призракъ, а не яркая и живая дѣйствительность; вотъ почему, напримѣръ, русскій, случайно проведеншій въ Парижѣ свое младенчество и въ чуждой его родной сущности (субстанціи) странѣ принявшій первыя живыя впечатлѣнія бытія, представляетъ изъ себя какого-то амфибія, уродливаго и отвратительнаго, какъ всѣ амфибіи; вотъ почему человѣкъ, для котораго *ubi bene ibi patria*, есть существо безнравственное и бездушное, недостойное называться священнымъ именемъ человѣка; вотъ почему, наконецъ, измѣнникъ своему отечеству, предатель своей родины есть злодѣй, при видѣ котораго содрогается человѣческое сердце, отъ котораго съ омерзевеніемъ отвращается человѣчество, и который, если только онъ не идіотъ (не въ риторическомъ, а въ фзіологическомъ смыслѣ этого слова), скитается по землѣ, подобно Каину, съ печатью проклятія на челѣ и ненавистію къ собственному существованію!.. Если бы общественныя узы были не плоть и кровь, а только взаимный договоръ для общихъ выгодъ, тогда въ идеѣ государства не было бы ничего священнаго, и предательство отечества было бы проступкомъ противъ чести и морали (*Moralität*), а не преступленіемъ противъ нравственности (*Sittlichkeit*); промѣнять свое отечество на другое было бы не несчастіемъ, а простымъ расчетомъ перемѣны хорошаго на лучшее. Какъ не можемъ мы представить себѣ человѣка, вдругъ и Богъ вѣсть откуда явившагося полнымъ, возмужалымъ и разумнымъ человѣкомъ, такъ не можемъ себѣ представить и общества, вдругъ возникшаго по условному договору извѣстнаго числа индивидуумовъ. Какъ священно существо человѣка, потому что его рожденіе и развитіе есть тайна для него самого, такъ священно и существованіе общества, потому что его начало и развитіе есть тайна. Чтобы полнѣе и яснѣе выразить нашу мысль—укажемъ на самое важнѣйшее и самое священнѣйшее явленіе общественной жизни.

Спросите какого-нибудь французскаго говоруна, какого-нибудь либеральнаго аббата француза: откуда и какъ произошла царская власть?—и онъ непременно скажетъ вамъ, что это сдѣлалось слѣдующимъ простымъ

образомъ: „когда люди лишились своей естественной невинности, стали злы и развратны, то увидѣли себя въ горькой необходимости выбрать изъ среды себя человѣка и вручить ему неограниченную власть надъ собою“. Для поверхностнаго взгляда абстрактныхъ головъ, въ глазахъ которыхъ идеи и явленія не заключаютъ въ самихъ себѣ своей причины и необходимости, но вырастаютъ, какъ грибы послѣ дождя, но только безъ почвы и корней, а на воздухѣ,—для такихъ головъ нѣтъ ничего проще и удовлетворительнѣе такого объясненія; но для людей, духовному ясновидѣнію которыхъ открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не можетъ быть ничего нелѣпѣе, смѣшнѣе и бессмысленнѣе. Все, что не имѣетъ причины въ самомъ себѣ и является изъ какого-то чуждаго ему „внѣ“, а не „изнутри“ самого себя,—все такое лишено разумности, а слѣдовательно, и характера священности. Коренныя государственныя постановленія священны, потому что они суть основныя идеи не какого-нибудь извѣстнаго народа, но каждаго народа, и еще потому, что они, перешедши въ явленія, ставши фактомъ, діалектически развивались въ историческомъ движеніи, такъ что самыя ихъ измѣненія суть моменты ихъ же собственной идеи. И потому коренныя постановленія не бываютъ закономъ, изреченнымъ отъ человѣка, но являются, такъ сказать, доременно, и только выговариваются и сознаются человѣкомъ. Равнымъ образомъ коренныя постановленія государства никогда не измѣняются въ смыслѣ замѣны однихъ другими, но измѣняются въ смыслѣ расширенія или ограниченія, сообразно съ временными требованіями исторической жизни народа. Измѣненіе это всегда чувствуется въ государственномъ тѣлѣ, какъ сотрясеніе, и часто сопровождается судорожными потрясеніями цѣлаго его состава, ибо мысль, чтобы осуществиться, должна перейти въ дѣло, въ фактъ, въ явленіе; а всякое явленіе совершается какъ бы въ плоти и крови. Такъ, напр., реформа, произведенная въ жизни Россіи Петромъ Великимъ, совершилась въ борьбѣ и потрясеніяхъ всего государственнаго организма, но потому-то она такъ крѣпко и утвердилась и перешла въ законъ, и чѣмъ болѣе пролетитъ столѣтій отъ этого событія, тѣмъ большую законность и священность будетъ приобрѣтать дѣло Петра. Мы хотимъ этимъ сказать, что сила вѣковаго преданія и священная таинственность всего, теряющагося въ довременности, имѣютъ глубокое значеніе и только однѣ освящаютъ явленія, какъ свидѣтельство, что эти явленія—непосредственное откровеніе, а не человѣческія выдумки. Человѣческіе уставы могутъ быть полезны, а не священны; только непосредственно Богомъ явленное священно. Нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога, но всякая власть отъ Бога—говоритъ св. писаніе, и эти слова заключаютъ въ себѣ глубокую мысль и непреложную истину.

Азія есть колыбель человѣческаго рода—его отечество; въ ней начало всѣхъ вѣрованій, всѣхъ человѣческихъ обществъ; въ ней начало всего довременнаго, всего непосредственно явившагося. И св. писаніе, и исторія, и

даже сама современность указываютъ намъ на Азію, какъ на страну патріархальности. Китай—эта едва ли не первобытнѣйшая политическая форма общества, и по сю пору есть государство по преимуществу патріархальное. Всѣ мусульманскія государства носятъ въ своемъ основномъ построеніи печать древней патріархальности. Аравія и теперь еще представляетъ собою первобытный типъ племенъ, управляемыхъ патріархами. Св. писаніе говоритъ намъ о первыхъ патріархахъ, какъ о царяхъ людей, жившихъ въ законѣ естественномъ. Что такое былъ Іаковъ, переселившійся въ Египетъ, какъ не отецъ семейства, до того размножившагося, что мистическій старецъ сдѣлался и отцомъ и прапрадѣдомъ вмѣстѣ, такъ что для своихъ праправнуковъ, по закону колѣннаго отдаленія, казался столько же нравителемъ, царемъ, сколько родственникомъ и родоначальникомъ? Отсюда ясно, что мистическая и священная идея отца-родоначальника была живымъ источникомъ истекшей изъ нея идеи царя. Только безсловесныя животныя живутъ безъ властей; но человѣкъ даже въ своемъ естественномъ состояніи, даже еще не развратившись, не сдѣлавшись злымъ, признавалъ власть и жилъ въ разумныхъ формахъ повелительства и подчиненности, задолго до того, какъ созналъ ихъ значеніе или ихъ нужду; чувство, вмѣстѣ съ нимъ родившееся, сказало ему, что отецъ выше сына и что сынъ долженъ повиноваться, слѣдовательно, признавать власть отца. Вотъ почему во всѣхъ племенахъ родоначальство есть первый моментъ общественнаго сознанія, а право первородства—самое священное право. Законы чело-вѣчества ведаѣ одни и тѣ же, потому что они законы разума, а разумъ одинъ, какъ одинъ Богъ: американскіе дикари, по законамъ вѣжливости, всякаго старшаго себя называютъ „своимъ отцомъ“, а равнаго себѣ по лѣтамъ „своимъ братомъ“. Нельзя вывести изъ опыта, какимъ образомъ изъ отеческой власти явилась царская власть, отецъ сталъ царемъ; но въ умозрѣніи это очень понятно. Исторія не можетъ показать картины развитія идеи отца въ идею царя, исторія не помнитъ этого, потому что это явленіе довременное. Но тѣмъ яснѣе, что кто внушилъ человѣку чувство мистическаго, религіознаго уваженія къ виновнику дней своихъ, освятилъ санъ и званіе отца, тотъ освятилъ санъ и званіе царя, превознесъ его главу выше всѣхъ смертныхъ и земную участь его поставилъ внѣ зависимости отъ случайной воли людской, сдѣлавъ личность его священной и неприкосновенною. Человѣчество не помнитъ, когда преклонило оно колѣни передъ царскою властію, потому что эта власть была не его установленіемъ, но установленіемъ Божиимъ, не въ извѣстное и опредѣленное время совершившимся, но отъ вѣка въ божественной мысли пребывавшимъ. Поэтому царь есть намѣстникъ Божій, а царская власть, замыкающая въ себѣ всѣ частныя воли, есть преобразование единодержавія вѣчнаго и довременнаго разума.

Достоинство монарха есть священство, и въ таинствѣ помазанія совер-

шается непосредственная передача власти царю отъ Бога, и „сердце Царево въ руцѣ Божіей“, и, какъ говорить Шекспировъ Ричардъ II:

Елей съ помазаннаго короля
Не могутъ смыть всѣ воды океана!
Дыханіе земныхъ людей не можетъ
Съ избраннаго намѣстника Творца
Снять санъ его!..

Вотъ почему, отдавая подданному приказаніе идти, монархъ не оглядывается назадъ, чтобы удостовѣриться, исполняется ли его приказаніе; вотъ почему его слово—законъ, мановеніе руки его—повелѣніе, взглядъ очей—гроза или милость. Онъ творитъ, какъ „власть имѣющій“ (Ев. отъ Мате., гл. VII, ст. 29), и власть его не отъ него, но свыше. Вотъ почему, когда слѣпое своеволіе воздвигаетъ бури мятежа, онъ съ безтрепетнымъ грознымъ челомъ является, одинъ и безоружный, и въ комнатѣ Шаклови-таго, и на площади, усыпанной мятежными толпами, которыхъ и самый страхъ оружія и смерти былъ безсиленъ привести къ повиновенію,—является и, вмѣсто увѣщаній и просьбъ, однимъ словомъ властительныхъ устъ, однимъ мановеніемъ державной руки повергаетъ передъ собою во прахъ сонмище губителей, оцѣпенѣвшихъ отъ одного его появленія: ибо онъ творитъ, „какъ власть имѣющій“... Превосходно у Шекспира то мѣсто въ „Ричардъ II“, гдѣ отложившійся отъ короля герцогъ йоркскій, увидѣвъ Ричарда осажденнаго и почти побѣжденнаго безъ надежды на возстаніе, увидѣвъ его восходящимъ на стѣну замка, въ гордомъ сознаніи его царственнаго величія, возмущается духомъ въ сознаніи виновной совѣсти и восклицаетъ:

Смотрите! о смотрите! самъ король Ричардъ,
Какъ негодующее солнце, всходитъ,
Багровое на огненномъ востока прагѣ,
Замѣтивъ, что завистливыя облака
Стремятся потемнить его сіянье
И запятнать собою лучезарный путь
Къ странѣ заката. Но онъ смотритъ, какъ король;
Смотрите: очи какъ орла сверкаютъ,
И въ нихъ могучее величество горитъ!
О, Боже! ихъ ли горе потемнить!

Какая безконечная глубина мысли заключена въ этомъ невольномъ изліяніи, въ этой исповѣди виновнаго вассала, такъ молніеносно и въ такихъ немногихъ словахъ выраженной величайшимъ гениемъ, котораго все-зрящему оку доступна была сущность міровой жизни, ея основныя законы! И сколько глубины и истинны въ этомъ обращеніи короля къ вассалу:

Мы удивляемся: стоять такъ долго
И ожидать, чтобъ въ страхъ преклонились

Твои колѣни, потому что мы себя
 Твоимъ законнымъ королемъ считаемъ!
 И если такъ: какъ смѣють твои члены
 Забыть предъ нами подданнаго долгъ?
 Когда же не король я,—покажи
 Насъ развѣчавшую десницу Бога!
 Мы знаемъ, что рука изъ крови и костей
 Не можетъ захватить священный скиптръ,
 Не святотатствуи и не воруй.
 И думаешь ли ты, что всѣ британцы,
 Какъ ты, отъ насъ сердцами отвратились,
 Что мы и безъ друзей, и безъ защиты?..
 То знай: Господь мой, всемогущій Богъ
 За облаками держить ополченье явы
 Въ защиту намъ; она убьетъ дѣтей,
 Не вышедшихъ еще на свѣтъ отъ тѣхъ,
 Кто на главу мою вассала руку
 Дерзнетъ занести и вадумаетъ грозить
 Сіянью драгоцѣннаго вѣнца!
 Скажи же Болингброку (кажется, онъ там
 Что каждый шагъ его на нашей почвѣ —
 Опасная измѣна. Онъ пришелъ
 Сломать печать на пурпурномъ завѣтѣ
 Кровавыхъ войнъ. Но прежде, чѣмъ корона,
 Къ которой онъ стремится, на его челъ
 Воляжетъ мирно, десять тысячъ разъ
 Кровавое чело сыновъ заставить
 Лить слезы матерей, обезобразить
 Лицъ Англіи цвѣтущей, превратить
 Цвѣтъ мира дѣвственный и блѣдный
 Въ багровое негодованье, оросить
 Луга Британіи ея же кровью!

Президентъ Сѣверо-Американскихъ Штатовъ есть особа почтенная, но не священная: какъ представитель общества, по условію самого общества, онъ есть высшій чиновникъ его, на которомъ лежитъ большая противъ другихъ отвѣтственность, и который за то пользуется большимъ противъ другихъ жалованьемъ и почетомъ, а не царь, который выше суда человѣческаго и съ которымъ подданные связаны кровными, неразрывными узами духа и нравственного закона. Личность президента есть призракъ, дѣйствительно одно званіе его, и потому тотъ или другой—все равно. Вслѣдствіе этого, идея этого государства есть условный символъ, безъ сущности и личности, тогда какъ въ монархіяхъ образъ государя есть личность государства, и подданный, служа монарху, служить своему государству. Имя монарха для подданныхъ есть слово мистическое, таинственное, священное: оно заставляетъ, магическою силою заключенной въ немъ идеи, признавать цѣлый народъ, какъ единого человѣка, и безконечное множество индивидуальных особенностей сливается во единое тѣло, въ единую живую душу,

имѣющую въ своемъ актѣ сознанія единое я. Отсюда ясно видно, какое великое значеніе имѣеть для вѣщности древность рода и происхожденія, теряющаяся въ непроницаемости мистическаго мрака времени и вѣчности. Царь долженъ родиться царемъ, и право рожденія есть его первѣйшее и священнѣйшее право. Изъ миллионовъ людей онъ одинъ избранъ Богомъ, и миллионы не могутъ ревновать его избранію и добровольно преклоняются передъ нимъ колѣни, какъ передъ существомъ высшаго рода, и охотно повинуются ему, отказывая въ такомъ повинновеніи равнымъ себѣ, ибо власть ихъ считаютъ случайною. Это-то, видно, и было причиною паденія всѣхъ самозванцевъ и похитителей, хотя многіе изъ нихъ и были люди великаго ума, способностей и силы характера. Какъ снято съ самозванца царское имя, которымъ онъ осѣнилъ, какъ правомъ—и будь онъ геній, окажи народу великія заслуги, но уже нѣтъ на немъ багряницы, и обнаженный трупъ его лежитъ добычею небесныхъ птицъ... Другимъ образомъ, но тотъ же конецъ бываетъ и для похитителей. Благодаря своему геніальному инстинкту, свойственному всѣмъ истинно великимъ людямъ, Наполеонъ глубоко чувствовалъ эту истину. Раздаватель коронъ и скипетровъ, могущественнѣйшій монархъ въ мірѣ, по свободному признанію цѣлаго народа, великій геній, самъ создавшій себѣ и тронъ, и свое колоссальное счастье, кажется, имѣвшій полное право гордиться своимъ не царскимъ происхожденіемъ, онъ, несмотря на все это, безпокоился и о своей судьбѣ, и о судьбѣ своего рода; онъ понималъ, что для твердости и дѣйствительности его власти недостаточно и его геніальности, и его подвиговъ, и помазанія католическимъ первосвященникомъ,—и искалъ, какъ своего спасенія, вступить въ бракъ съ женою царскаго рода. И вотъ онъ разводится съ женою, которую страстно любилъ, которую короновалъ, какъ императрицу, и вступаетъ въ новый брачный союзъ съ принцессою древняго царскаго рода, съ дочерію цесарей. Свѣтскіе мудрецы, люди, которые легко разсуждаютъ о тяжелыхъ предметахъ, которымъ достаточно четверти часа, чтобы, съ сигарою во рту, пересудить всѣхъ и все и перестроить міръ на свой ладъ, такіе люди глубоко-мысленно объявляютъ, что Наполеонъ этимъ союзомъ унижалъ величіе своего генія и, увлекшись тщеславіемъ, сдѣлалъ безразсудный поступокъ, роковую ошибку, которая и погубила его. Нѣтъ! это была мысль геніальная, свойственная только великому человѣку, глубоко-понимавшему законы разумной дѣйствительности, глубоко-постигавшему таинственную и сокровенную для обыкновеннаго зрѣнія сущность вещей. Мысль Наполеона стоить всѣхъ его побѣдъ и подвиговъ: онъ въ ней такъ же великъ, какъ и въ нихъ. Не мелкое тщеславіе, не суетное желаніе украситься заимствованнымъ блескомъ и пурпуромъ чуждой ему багряницы рѣшило его на этотъ союзъ, но глубокое сознаніе, что этотъ бракъ набросить на него въ глазахъ царей и народовъ, современниковъ и потомства, тотъ религіозно-таинственный свѣтъ, который составляетъ необходимое условіе дѣйствительности царственнаго

достоинства. Онъ понималъ, что если у него будетъ сынъ, то хотя бы этотъ сынъ, наследовавъ его престолъ, не наследовалъ и слабаго отблеска его генія, словомъ, былъ бы самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, и тогда бы онъ тверже своего великаго отца сидѣлъ на оставленномъ ему тронѣ, онъ—сынъ великаго отца и вѣнценосной матери. Чтò онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ своей старой гвардіи?—любовь къ ея великому полководцу, ея маленькому капралу... Но могъ явиться и другой полководецъ, озарить новымъ блескомъ имъ же прославленныхъ орловъ и присвоить себѣ клики воинственныхъ привѣтствій. Чтò онъ слышалъ въ восторженныхъ кликахъ народа?—благодарность за оказанныя ему услуги, громкій аплодисментъ за успѣхъ, за которымъ могли раздаваться—какъ оно и случалось—оскорбительные свистки сбившемуся съ роли актеру. Не забудьте изреченія Наполеона: „я продолжатель не королевства Гуго-Капета, но имперіи Карла Великаго“. Видите ли: онъ призываетъ себѣ на помощь не одинъ союзъ брака съ вѣнценосною женою, но и союзъ исторіи, союзъ вѣковъ, союзъ преданія,—и на Марсовыхъ поляхъ силится напомнить священное и мистическое прошедшее и связать съ нимъ настоящее... О, господа глубокомысленные политики! Наполеонъ понималъ кое-что не хуже и не меньше вашего, и самые его ошибки и промахи разумнѣе и поучительнѣе вашихъ прекрасныхъ умствованій...

Все, сказанное нами, клонится къ тому, чтобы показать, что общество или народъ не есть отвлеченное понятіе, но живая личность, единое тѣло и единая душа; что оно рождается не случайно, не по человѣческому условію и произволу, но по волѣ Божіей; что оно не есть только необходимая форма развитія человѣчества и не имѣетъ причины въ нуждѣ и пользѣ людей, но есть само себѣ цѣль, въ самой себѣ носящая свою причину; что оно развивается не механически, но динамически, т. е. собственною самодѣятельностію жизненной силы, составляющей его сущность, не чрезъ налицаніе и сращеніе извнѣ, но внутренне (имманентно) изъ самого себя, органически, какъ дерево изъ зерна...

Доселѣ мы смотрѣли на общество, какъ на нѣчто единое и цѣлое; теперь взглянемъ на него, какъ на единство противоположностей, которыхъ борьба и взаимныя отношенія составляютъ его жизнь. Общество состоитъ изъ людей, изъ которыхъ каждый человѣкъ принадлежитъ и себѣ, и обществу, есть индивидуальная и самоцѣльная особность и членъ общества, часть цѣлаго, принадлежащая не себѣ, а обществу. Прежде всего, всякій человѣкъ есть особность, есть личность, индивидуальность, которая есть исходный пунктъ всѣхъ его дѣйствій и необходимое условіе его дѣятельности. Какъ особность, онъ стремится къ своему личному удовлетворенію; но лишь только сдѣлаетъ онъ шагъ къ этому удовлетворенію, какъ встрѣчаетъ себѣ препятствіе внѣ себя, гдѣ онъ видитъ множество существъ, подобныхъ ему, такъ же, какъ и онъ, стремящихся къ личному удовлетво-

ренію. Чтѣ полезно ему, то полезно и другому; а какъ иногда для многихъ полезно одно, то каждый, стараясь воспользоваться имъ одинъ, старается лишить его всѣхъ другихъ,—борьба личностей и индивидуальных особенностей. Далѣе: чтѣ полезно одному, то вредно другому, и этотъ другой старается не допустить перваго,—опять борьба личностей. Это зрѣлище представляетъ въ себѣ все твореніе, которое есть безконечное многообразие особенностей; это зрѣлище представляютъ собою бессмысленныя животныя; но въ людяхъ, какъ существахъ разумныхъ, это же самое зрѣлище, имѣющее своимъ основаніемъ сознание своей единичности каждымъ лицомъ, есть только исходный пунктъ жизни, которая есть борьба, но результаты которой представляютъ новое зрѣлище. Человѣкъ, какъ особность, естественно видитъ въ другихъ людяхъ, какъ особностяхъ же, нѣчто враждебное себѣ; но въ то же время онъ доходитъ своимъ разумомъ до сознанія, что каждая изъ этихъ враждебныхъ ему особностей имѣетъ такое же право на личное удовлетвореніе, какъ и онъ, и что, слѣдовательно, если онъ требуетъ отъ нихъ уступокъ и нуждается въ ихъ помощи, то и онъ въ правѣ требовать отъ него уступокъ и помощи. Вотъ законъ любви, которая есть чувственный, такъ сказать, разумъ или безсознательная разумность! Изъ закона любви вытекаетъ законъ нравственный, который сознается изъ столкновенія внутренняго (субъективнаго) міра человѣка съ внѣшнимъ (объективнымъ) міромъ. Всякій человѣкъ есть самъ себѣ цѣль, и жизнь дана ему, какъ удовлетвореніе, какъ счастье, какъ блаженство, къ которымъ, слѣдовательно, онъ имѣетъ полное право стремиться, сообразно съ своими личными потребностями, наклонностями и средствами. Внутри себя носить онъ таинственный и безконечный міръ, полный желаній, порывовъ, стремленій, страданій и радостей, и только чрезъ удовлетвореніе этого своего міра можетъ онъ достигнуть счастья. Это міръ внутренній, міръ субъективный человѣка, сфера, въ которой онъ самъ себѣ цѣль и, кромѣ себя и личнаго своего удовлетворенія, имѣетъ право никого и ничего не знать. Субъективная сторона человѣка истинна и, слѣдовательно, дѣйствительна; но всякая односторонняя истина, доведенная до крайности, впадаетъ въ нелѣпость. Субъективность, оставаясь субъективностію, въ сферѣ знанія превратится въ ограниченность и произвольность понятій, въ сферѣ чувства—въ сухой и безнравственный эгоизмъ, въ сферѣ дѣйствія—въ преступленіе и злодѣйство. Субъектъ есть личность; но что же такое эта личность, кого выражаетъ и опредѣляетъ она? Субъективная личность есть выраженіе и опредѣленіе духа, а духъ безконеченъ: слѣдовательно, субъективная личность не должна быть ограниченностію; духъ истиненъ, слѣдовательно, субъективная личность не должна быть эгоистическою. А между тѣмъ, ограниченность есть условіе всякой субъективности. Въ чемъ же примиреніе этого противорѣчія, гдѣ выходъ изъ него? въ столкновеніи субъективной личности человѣка съ объективнымъ (внѣ его находящимся) міромъ. Чело-

вѣкъ есть частное и случайное по своей личности, но общее и необходимое по духу, выраженіемъ котораго служитъ его личность. Откуда выходитъ двойственность его положенія и его стремленій; его борьба между своимъ я и тѣмъ, что находится внѣ его я, составляетъ его не-я. Въ отношеніи къ его индивидуальной особености міръ не-я, міръ объективный, есть враждебный ему міръ; но въ отношеніи къ его духу, какъ проблеску безконечнаго и общаго, міръ его не-я, міръ объективный, есть родной ему міръ. Чтобъ быть дѣйствительнымъ человекомъ, а не призракомъ, онъ долженъ быть частнымъ выраженіемъ общаго или конечнымъ проявленіемъ безконечнаго. Вслѣдствіе этого онъ долженъ отрѣшиться отъ своей субъективной личности, признавъ ее ложью и призракомъ, долженъ смириться передъ мировымъ, общимъ, признавъ только его истиною и дѣйствительностію. Но какъ это мировое или общее находится не въ немъ, а въ объективномъ мірѣ, онъ долженъ сродниться, слиться съ нимъ, чтобы послѣ, усвоивъ объективный міръ въ свою субъективную собственность, стать снова субъективною личностію, но уже дѣйствительною, уже выражающею собою не случайную частность, а общее, мировое, словомъ, стать духомъ во плоти. Въ сферѣ жизни, въ сферѣ дѣйствія столкновение субъективной личности съ объективнымъ міромъ совершается дѣятельно же, не какъ житейская опытность, но какъ разумный опытъ жизни. Почва, на которой вырастаютъ благотворные плоды разумаго опыта, есть нравственное чувство. Субъектъ, сознавая свою особность, свою самоцѣльность и слѣдуя инстинктивному стремленію къ личному удовлетворенію, чувствуетъ себя на каждомъ своемъ шагѣ и въ каждомъ своемъ дѣйствіи какъ бы связаннымъ какими-то внѣшними отношеніями; онъ говоритъ себѣ: „я самъ себѣ цѣль и хочу жить для жизни, жить для себя“; но внѣшній міръ говоритъ ему: „ты не для себя созданъ, ты мнѣ принадлежишь, каждую твою радость, каждое твое наслажденіе ты можешь получить только съ моего позволенія“. Съ ужасомъ и ненавистію внимаетъ юный человекъ этому страшному голосу какого-то призрака, котораго онъ не видитъ, но котораго могучія объятія охватили его со всѣхъ сторонъ и не позволяютъ ему ни одного свободнаго движенія. Въ этомъ невидимомъ сторукомъ исполнѣ онъ видитъ существо совершенно внѣшнее и враждебное себѣ; но разумный опытъ жизни, цѣною страшной борьбы, противорѣчій, страданій, перемѣшанныхъ съ торжествомъ побѣды, примиреніемъ и радостями, увѣряетъ его, наконецъ, что этотъ колоссальный и враждебный ему призракъ есть его же родное, его же внутреннее, словомъ, законы его собственного разума, его же субъективнаго духа, но только осуществившіеся во внѣ его, какъ явленія. Въ самомъ дѣлѣ, онъ видитъ, что онъ есть единичная личность, которая сама себѣ цѣль, но онъ же видитъ, что у него есть отецъ, мать, братья, сестры, родственники, друзья, знакомые, наконецъ, общество, отечество, правительство, и что со всѣми этими предметами (объектами) его субъективная лич-

ность связана не условными узами, но узами крови и плоти, а следовательно и духа. Онъ понимаетъ, что если бы они сами захотѣли отрѣшиться отъ него, сдѣлать его свободнымъ отъ нихъ, онъ потерялъ бы всякое значеніе въ собственныхъ глазахъ, очутился бы въ собственныхъ глазахъ призракомъ безъ почвы, на которую уперлась бы его нога, безъ воздуха, которымъ освѣжилась бы грудь его, безъ имени, которымъ бы онъ обозначилъ себя въ нѣмой бесѣдѣ съ самимъ собой. Въ духовномъ развитіи человѣка моментъ отрицанія необходимъ, потому что, кто никогда не ссорился съ истиною, у того и миръ съ нею не очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлою жизнію: ссора не можетъ быть цѣлю самой себѣ, но имѣетъ цѣлю примиреніе. Всякій духовный процессъ совершается съ болью и страданіемъ, и столкновение субъективной личности человѣка съ объективнымъ міромъ сперва необходимо является какъ борьба и страданіе. Но дорогое и покупается дорогою цѣною, и благо тому, что цѣною страданія приобрѣтаетъ истину, которая одна даетъ блаженство, его же ржа не тлитъ и тать не похищаетъ. Но горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дѣйствительность, а дѣйствительность или требуетъ полного мира съ собою, полного признанія себя со стороны человѣка, или сокрушаетъ его подъ свинцовою тяжестью своей исполинской длани. Кто отторгся отъ нея безъ примиренія, тотъ дѣлается призракомъ, кажущимся ничто, и погибаетъ. Алеко Пушкина поссорился съ обществомъ и думалъ навсегда избавиться отъ него, приставъ къ бродячей толпѣ дѣтей природы и вольности; но общество и тамъ нашло его и страшно отомстило ему за себя чрезъ него же самого. Такъ какъ, несмотря на всё его мудрствованія, оно жило въ немъ безсознательно и кровно, то онъ и вадумалъ, вопреки своимъ понятіямъ, наложить на полудикихъ дѣтей природы тѣ же самыя стѣснительныя условія общественности, противъ которыхъ самъ возставалъ, и два трупа лежали передъ нимъ, какъ необходимые результаты его ложнаго положенія въ отношеніи къ самому себѣ, и навсегда унесли съ собою въ могилу всякую надежду его на счастье и миръ души въ этой жизни...

Но борьба есть условіе жизни: жизнь умираетъ, когда оканчивается борьба. Субъективный человѣкъ въ вѣчной борьбѣ съ объективнымъ міромъ и, следовательно, съ обществомъ,—но въ борьбѣ не въ смыслѣ возстанія, а въ смыслѣ своего безпрестаннаго стремленія то въ ту, то въ другую сторону. Объяснимъ это примѣромъ. Петръ Великій былъ человѣкъ; следовательно, у него былъ свой субъективный міръ, въ которомъ онъ принадлежалъ только себѣ, а не государству: онъ былъ супругъ, отецъ, братъ, словомъ—семьянинъ; онъ вкушалъ въ нѣдрахъ своего семейства тѣ же радости, которыя вкушалъ и послѣдній изъ его подданныхъ. Онъ имѣлъ друзей, какъ, напримѣръ, Меншикова, котораго горячо любилъ. Это его субъек-

тивный міръ. Но онъ же не имѣлъ почти минуты времени, чтобы забыться въ милыхъ, обаятельныхъ радостяхъ семейственности и дружбы:

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Вотъ его объективный міръ. Но и этотъ объективный міръ не былъ чуждымъ и вѣшнимъ ему, не былъ однимъ суровымъ долгомъ, но былъ его задушевымъ, кровнымъ, и, дѣйствуя на его поприщѣ, онъ вкушалъ блаженство, которому нѣтъ предѣловъ, и для выраженія котораго нѣтъ словъ. Но если это было такое блаженство, котораго ему не могъ дать субъективный міръ, за то и субъективный міръ давалъ ему такое блаженство, котораго не могъ ему дать объективный міръ. Сверхъ того, субъективные радости даются легче, нежели объективные: эти дома, онѣ всегда съ нами, а для достиженія тѣхъ нужна борьба, усилія, трудъ въ потъ чела; нужно иногда на роковую ставку судьбы поставить все. При томъ же дѣйствованіе въ объективномъ мірѣ не можетъ всегда быть только наслажденіемъ, но часто должно быть однимъ долгомъ, и минуты блаженства, доставляемыя имъ, рѣдки и бываютъ большею частію результатомъ успѣха.

Пируетъ Петръ. И гордь, и ясенъ,
И полонъ славы взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
Въ пшатрѣ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Да, это торжество, незнакомое простымъ смертнымъ: это торжество, извѣстное только богамъ, царямъ, героямъ и народамъ! Но сколько огорченій, досадъ, сомнѣній, мукъ душевныхъ, тревогъ и заботъ предшествовало этому дивному торжеству!.. Чтобы лучше показать двойственность человѣка въ субъективномъ и объективномъ мірѣ, напомнимъ Петра въ другія двѣ минуты. Вспыхиваетъ стрѣлецкій бунтъ, и душа заговора—родная сестра царя-исполина: братъ о ней плачетъ, а царь ее судитъ и караетъ... Надежда великаго царя, боявшагося и трепетавшаго только одной смерти—смерти своей идеи реформы,—тотъ, кто могъ и продолжить и укрѣпить или прекратить и изгнать ее, его родной, его единственный сынъ возстаетъ на отца и царя, и возстаетъ именно, какъ на преобразователя... Всѣ суды готовы: на одной сторонѣ естественная любовь родителя, на другой—судьба народа... Народъ побѣдилъ—страшная, величественная и торжественная минута!.. Солнце должно было остановиться въ своемъ вѣчнодо временномъ те-

ченіи, природа притаить дыханіе, пульсъ міровой жизни прерваться, въ ожиданіи страшнаго рѣшенія, чтобы потомъ забиться новою, удвоенною жизнію, потечь новымъ, ускореннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигъ великаго человѣка!—восклицаете вы въ гордомъ сознаніи торжества достоинства человѣческой природы. Міръ объективный побѣдилъ міръ субъективный, общее побѣдило частное! Отчего же такъ велика эта побѣда?—оттого, что власть естественнаго влеченія сердца безгранична надъ волею человѣка, и когда торжествуетъ надъ нимъ законъ нравственный, человѣкъ является героемъ, полубогомъ, представителемъ человѣчества, осуществившимъ своею личностію все могущество цѣлаго человѣчества; оттого, что права субъективнаго человѣка безконечно сильны надъ душою и побѣждаются только самоотверженіемъ въ пользу общаго... Итакъ, у одного человѣка двѣ жизни, изъ которыхъ каждая поочередно овладѣваетъ имъ, которыя борются между собою, и въ этой борьбѣ его жизнь...

Общество слагается изъ множества людей, и у cadaго изъ нихъ свой горизонтъ понятій, своя сфера жизни, свой кругъ дѣйствія, наконецъ, свой субъективный и свой объективный міръ. Одинъ больше частное явленіе, т.-е. больше принадлежитъ себѣ; другой больше общее явленіе, т.-е. больше сливается съ интересами объективными, выходящими изъ сферы его частной жизни; но каждый раздѣленъ между собою и обществомъ и каждый соединенъ съ обществомъ, т.-е. находитъ себя въ обществѣ. Иной, по ограниченности своей натуры, даже не понимаетъ слова „отечество“, но если онъ вписанъ въ сословіе, въ цехъ—у него уже есть свой объективный міръ. Вотъ откуда истекаетъ живое единство общественной организаціи, которой безчисленные и разнообразныя нервы, проходя взадъ и впередъ и перепутываясь въ тѣлѣ, сходятся въ одномъ пунктѣ и образуютъ собою органъ сознанія—единого личнаго я. Каждый изъ членовъ общества имѣетъ свою исторію жизни, а общество имѣетъ свою и еще гораздо послѣдовательнѣйшую, гораздо полнѣйшую, разумнѣйшую и понятнѣйшую. Какъ единый человѣкъ, оно переходитъ всѣ моменты развитія: начавъ бытіе свое безсознательно и доврeменно, вдругъ пробуждается для сознанія, но для сознанія еще естественнаго, непосредственнаго *); наконецъ, наступаетъ для него эпоха выхода изъ естественной непосредственности, оно отрицаетъ родство крови и плоти во имя родства духа, чтобы потомъ чрезъ духъ снова признать родство крови и плоти, но уже просвѣтленное духомъ—свѣтомъ божественной мысли. Какъ у единого человѣка, у него бываютъ болѣзни, и

*) Здѣсь слово „непосредственный“ употреблено въ значеніи отсутствія посредства мысли въ сознаніи. Младенецъ или простолудинъ можетъ быть добръ не имѣя ни малѣйшаго понятія ни о добрѣ, ни о злѣ—доброта непосредственная; другой можетъ обнаруживать своими дѣйствіями и инстинктивно вѣрными заключеніями удивительную истинность, никогда не думавша о томъ, что такое истина—непосредственное познаніе истины.

фазы болѣзней, и переходъ въ здоровое состояніе. Словомъ, это живая, единичная личность, огромное тѣло, съ безчисленнымъ множествомъ головъ, но съ единою душою, единымъ индивидуальнымъ я. И никогда его единство не бываетъ такъ поразительно, какъ въ тѣхъ грустно или радостно торжественныхъ его положеніяхъ, когда или рѣшается вопросъ о его жизни и смерти, или общая радость заставляетъ сильно - биться его исполинское сердце. Все въ немъ усыплено въ какомъ-то дремотномъ спокойствіи, все такъ обыкновенно и ежедневно: судья ходитъ въ судъ, чтобъ брать жалованье и жить имъ, воинъ исполняетъ свои обязанности, какъ долгъ службы, составляющій условія его обезпеченія, купецъ думаетъ о барышахъ, словомъ—все занято собою: кто родится, кто умираетъ, кто женится, кто разводится, и всякій—Иванъ да Петръ, Сидоръ да Лука. Но вотъ буря иноплемennаго нашествія пронесется по усыпленному народу и разражается громомъ и молніею надъ его безпечною головою—и нѣтъ больше людей: является народъ, нѣтъ больше личныхъ и частныхъ интересовъ: все думаетъ о отечествѣ, пестрые толпы слились въ одну общую массу, во главѣ которой является царь. И тѣ, которые удивляли васъ своею мелкостію и пошлостію, оскорбляли бездушіемъ, тѣ часто поражаютъ васъ и львиною храбростію, и благородствомъ поступковъ, и великодушною готовностію принести себя на жертву за общее дѣло, даже не думая, чтобы ихъ жертва имѣла какую-нибудь цѣну. Для того-то и насылается буря, чтобы очищался воздухъ, и орошенная земля чреватѣла плодородіемъ и давала плодъ сторицею... Такое зрѣлище представляла собою Русь на мамаевскомъ побоищѣ; такое зрѣлище представляла она въ годину междоусобицы, когда умирающее сознаніе ея было пробуждено и оживлено голосомъ келаря Палицына, святаго Гермогена, мясника Минина и дѣятельнымъ участіемъ князя Пожарскаго... Отчего видна такая забота на лицахъ всѣхъ и каждого? отчего по одному направленію движутся, отъ мѣста до мѣста, густыя массы народа, отчего, говоря словами поэта:

Въ погребальный слившись ходъ,
Вся имперія идетъ?..

Умеръ Благословенный... Отчего въ первопрестольномъ градѣ, отъ заставы до стѣны священнаго кремля, таятся по обѣимъ сторонамъ густыя толпы безчисленнаго народа, едва удерживаемыя въ порядкѣ двойнымъ рядомъ солдатъ, лѣзутъ на помостахъ, покрываютъ заборы и кровли домовъ? Кто созвалъ ихъ сюда? Никто, даже тѣ, которые имѣютъ право сзывать народъ, скорѣе озабочены тѣмъ, чтобы число его не было во вредъ ему самому. Отчего лица всѣхъ свѣтлы и радостны, чужды всякой житейской заботы, всякой мысли о себѣ? отчего глаза всѣхъ, съ томленіемъ и трепетомъ ожиданія, обращены въ одну сторону? отчего вдругъ, при царственномъ гулѣ колоколовъ и громѣ пушекъ, воздухъ потрясся отъ стонущаго „ура“, какъ бы вы-

ходящаго изъ единой груди и единыхъ устъ?.. Новый Царь вступаетъ въ древнюю Москву для вѣнчанія на царство...

Много славныхъ и блестящихъ мгновеній пережила молодая Россія— молодая и юная, несмотря на свою девятивѣковую жизнь; много перетерплено было ею славныхъ бѣдъ, много перепраздновано славныхъ торжествъ; но всѣ они помрачаются 1812 годомъ. И въ самый знаменитый 1812 годъ за нее спорили и жизнь, и смерти; но тогда спасеніе казалось чудомъ, которому тогда только повѣрили, когда оно уже совершилось; но въ 1812 споръ жизни съ смертію казался еще страшнѣе, а въ спасеніи никто не отчаивался, никто не сомнѣвался даже. Бѣда была торжествомъ: что же самое торжество?.. Великое вліяніе имѣли на Россію нашествіе Наполеона и послѣдняя борьба ея съ нимъ: уже не разъ опытомъ блестящихъ побѣдъ и славныхъ торжествъ сознавала она свои исполинскія силы, но что всѣ эти опыты передъ эпохою XII и XIV годовъ?.. Народная фантазія, въ союзъ съ преданіемъ, создала могущаго богатыря, въ мнѣйшемъ образѣ котораго видится образъ самого народа и вмѣстѣ символъ его судьбы — Илью Муромца, который, лишенный ногъ, тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, а на тридцать первый погулять пошелъ. И дѣйствительно: добрый молодецъ расходился и разгулялся... Съ самой эпохи татарскаго ига Россія была оторвана отъ европейскаго міра и развивалась сама въ себѣ изолированно, формировалась изнутри и извнѣ и крѣпла въ силахъ своей исполинской корпораціи; но въ отношеніи къ общему развитію человѣчества она сидѣла сиднемъ, погруженная въ дрему непробудную. И вдругъ исполинъ, ростомъ и силою вровень съ нею, поставилъ ее на ноги, разбудилъ отъ вѣковой дремоты—и она встала и пошла. Съ самаго того мгновенія, какъ царственный младенецъ началъ тѣшиться въ селѣ Преображенскомъ съ своею потѣшною ротою и потомъ могучею дланью крѣпко ухватился за бразды правленія, Россія не имѣла минуты свободной, чтобы вздремнуть, чтобы забыться покоемъ отъ ратныхъ и гражданскихъ подвиговъ, отъ торжествъ побѣды и славы, отъ триумфовъ завоеваній и приобрѣтеній. Но что вся эта бодрственная, недреманная, полная трудовъ и дѣятельности жизнь передъ тою, для которой снова какъ бы пробудилась она страшнымъ кликомъ: „непріятель идетъ на Москву!“ Что всѣ прежнія ея возстанія отъ сна передъ тѣмъ, которое совершилось при заревѣ пылающей Москвы—этою очистительной жертвы за спасеніе цѣлаго народа, этого феникса, вновь возродившагося изъ своего священнаго пепла?.. И послѣ того, какой блистательный рядъ торжествъ!.. Дѣло шло уже не о новой приобрѣтенной провинціи, не о клочкѣ земли, отбитой у враговъ, и моря для построенія города, ни даже о завоеваніи царства и царствъ; дѣло шло сперва о собственномъ спасеніи, а потомъ о спасеніи всей Европы, слѣдовательно—всего міра. Россія тѣсно примыкается къ исторіи Европы, знакомится съ ея бытомъ и домашнею жизнію, —и Царь русскій,

Вождь вождей, царей диктаторъ,
Налиъ великій Императоръ,
Міра свѣтлая звѣзда—

является посредникомъ между царями и народами, Готфредомъ крестоваго похода новыхъ вѣковъ, изрекаетъ пощаду и милость гордой столицѣ народа, почитающаго себя первымъ народомъ въ мірѣ, и въ свѣтломъ торжествѣ и триумфѣ проходитъ по столицамъ спасенной имъ Европы!.. Явленіе безпримѣрное въ исторіи человѣчества и могшее совершиться только въ концѣ XVIII и началѣ XIX вѣковъ—въ это время чудесъ и гигантовъ!..

У всякаго человѣка есть своя исторія, а въ исторіи свои критическіе моменты; и о человѣкѣ можно безошибочно судить, только смотря по тому, какъ онъ дѣйствовалъ и какимъ онъ являлся въ эти моменты, когда на всахъ судьбы лежала его и жизнь, и честь, и счастье. И чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ исторія его грандіознѣе, критическіе моменты ужаснѣе, а выходъ изъ нихъ торжественнѣе и поразительнѣе. Такъ и у всякаго народа—своя исторія, а въ исторіи свои критическіе моменты, по которымъ можно судить о силѣ и величіи его духа, и, разумѣется, чѣмъ выше народъ, тѣмъ грандіознѣе царственное достоинство его исторіи, тѣмъ поразительнѣе трагическое величіе его критическихъ моментовъ и выхода изъ нихъ съ честью и славою побѣды. Духъ народа, какъ и духъ частнаго человѣка, выказывается вполне только въ критическіи минуты, по которымъ однимъ можно безошибочно судить не только о его силѣ, но и о молодости и свѣжести его силъ. Бородинская битва, самымъ Наполеономъ названная битвою гигантовъ, была самымъ торжественнымъ, самымъ трагическимъ актомъ великой драмы XII-го года.

Да, это было великое зрѣлище, это была картина міровой жизни, непосредственно явившая, волею Божіею, откровеніе вѣчнаго духа жизни, воочию совершившееся!.. Тутъ являлась личность народа, поглотившая въ себѣ всѣ частныя личности; всѣ умы были полны одною мыслію, сердца однимъ чувствомъ, и бились въ тактъ, какъ бы то было сердце одного человѣка... Немного подобныхъ минутъ хранить исторія на своихъ заветныхъ страницахъ, но потому-то и велики и священны такіа минуты: ихъ не можетъ произвести и устроить воля человѣческая, но они являются сами, какъ разумная необходимость... Скажите, какая была нужда цѣлому народу до одного человѣка—того семидесятилѣтняго вождя съ сѣдою головою и прострѣленнымъ глазомъ? Развѣ онъ былъ тому отецъ, другому братъ, третьему родня дальняя? развѣ онъ могъ того сдѣлать счастливымъ, другому дать денегъ, третьяго исцѣлить отъ неизлѣчимой болѣзни? Нѣтъ! эти люди были ему чужды, какъ и онъ былъ чуждъ имъ; они были для него—все незнакомыя лица, хотя его лицо и было извѣстно имъ развѣ только по портретамъ. Но почему же его лицо распалось на такое множество портретовъ? почему эти портреты всѣмъ извѣстны? Потому что этотъ человѣкъ

есть не частное явление, а одинъ изъ выразителей сущности народной жизни, одинъ изъ представителей нравственного могущества своего народа, не Михайль и не Ларіоновичъ, а просто Кутузовъ—имя символическое, изъ собственного сдѣлавшееся нарицательнымъ; потому что онъ не случайное выраженіе частной идеи, а необходимо разумное выраженіе общенародной и человѣчественно-мировой идеи, высшее явленіе высшей дѣйствительности, сынъ не случая, но судьбы... Глубоко замѣчаніе автора „Очерковъ Бородинскаго сраженія“, что нуженъ былъ русскій полководецъ, съ русскимъ именемъ: подвигъ Барклая-де-Толли великъ, участь его трагически-печальна и способна возбудить негодованіе въ великомъ поэтѣ *); но мыслитель, благословляя память Барклая-де-Толли и благоговѣя передъ его священнымъ подвигомъ, не можетъ обвинять и его современниковъ, видя въ этомъ явленіи разумную и непреложную необходимость... Отчего же, изъ всѣхъ русскихъ генераловъ, только на Кутузовъ остановилось вниманіе и довѣренность царя, безсознательно и какъ бы инстинктивно подтвержденныя упованіемъ и вѣрою народа? Здѣсь мы понимаемъ глубокий смыслъ изреченія св. писанія: „гласъ Божій—гласъ народа“—изреченія, которое только и понимается въ торжественныя минуты народной жизни, когда исчезаютъ люди и является только народъ.

Рокотъ барабановъ, рѣзкіе звуки трубъ, музыка, пѣсни и крики несвязанные (привѣтный кличъ войска Наполеону) слышались у французовъ. Священное молчаніе царствовало на нашей линіи. Я слышалъ, какъ квартиргеры громко сзывали къ порціи. „Водку привезли: кто хочетъ, ребята, ступай къ чаркѣ!“ Никто не шелъ. По мѣстамъ вырывался глубокий вздохъ и слышались слова: „Спасибо за честь! не къ тому изготавились; не такой завтра день!“ И съ этими многіе старики, освѣщенные догорающими огнями, творили крестное знаменіе и приговаривали: „Мать Пресвятая Богородица! помоги постоять намъ за землю!“

Если бы въ книгѣ г. Глинки не было ни одного изъ тѣхъ достоинствъ, о которыхъ будемъ еще говорить ниже, то за одинъ этотъ фактъ, передаваемый ею во всеобщую извѣстность, она достойна названія народной книги. Никогда явленія духа не бываютъ такъ мистически поразительны, никогда они не производятъ въ душѣ такого живого, яснаго и трепетно-священного созерцанія своей таинственной сущности, какъ отрываясь чрезъ эти массы самаго низшаго народа, лишеннаго всякаго умственнаго развитія,

*) „Полководецъ“—одно изъ величайшихъ созданій гениальнаго Пушкина, оканчивающееся слѣдующими стихами:

О родъ людской, достойный слезъ и смѣха,
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,
Но чей высокій ликъ, въ грядущемъ поколѣньи,
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

загрубѣлаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни. Солдаты наши требовали сраженія; мысль, что Москва будетъ отдана неприятелю, заставляла ихъ громко роптать—ихъ, которые, по своему національному духу и Богомъ данному имъ инстинкту истины и здраваго разсудка, всегда отличаются безпредѣльною довѣренностію къ высшей власти и молчаливымъ выполніемъ ея велѣній. Бородинская битва была дана для нихъ. Скажите: что такое Москва этому грубому солдату, ему, который никогда не видалъ ея, а только смутно носилъ, въ ограниченномъ кругѣ своихъ понятій, какую-то безсвязную мысль о ея сорока сорокахъ церквей, ея Кремлѣ и бѣлокаменныхъ палатахъ?.. Почему же мысль о занятіи ея врагомъ тяжела для него въѣхъ смертей?.. Не довольно ли было бы ему ограничиться простымъ и безмолвнымъ выполніемъ своей обязанности: стать, гдѣ велѣтъ стать, и умереть, гдѣ велѣтъ умереть, не желая и не требуя сраженія, когда „командиры“ не хотятъ его, и не называясь, можетъ быть, на вѣрную и неизбѣжную смерть?.. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что все живетъ въ духѣ и служить духу и сильно однимъ духомъ: и мудрецъ, глубоко проникшій въ сокровенныя причины вещей, и свѣтскій человѣкъ, имѣющій обо всемъ легкія понятія, и грубый поселенинъ, котораго ограниченный кругозоръ понятій не простирается далѣе низкихъ нуждъ матеріальной жизни. Вотъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что всякій человѣкъ, на какой бы ступени нравственнаго развитія ни стоялъ онъ, не есть какая-то особность, сама по себѣ существующая, но есть живая часть живого цѣлаго, которая страдаетъ, когда страдаетъ цѣлое, которая тотчасъ сознаетъ свое кровное родство съ тою общностію, которая есть альфа и омега его бытія, какъ скоро настанетъ для нея торжественная минута... Вотъ наконецъ самое поразительное и самое очевидное доказательство того, что человѣческое общество, народъ или государство есть не искусственная машина, механически движущаяся, но живое тѣло, кровь и плоть, одушевляемая духомъ. Мы попросили бы кстаті мудрыхъ вѣка сего доказать намъ, что въ мірѣ есть какая-то матеріальная сила, какой-то человѣческій произволъ, который разсчитанною хитростію побѣждаетъ силу духовную, образованность и гений... Мы попросили бы ихъ кстаті объяснить намъ, какъ слѣпая воля человѣческая производитъ явленія, въ которыхъ, по нашему мнѣнію, непосредственно является самъ Богъ; какъ она, собственною силою, творитъ возможное только Богу и насиліемъ производитъ въ грубыхъ массахъ любовь, вдохновеніе, самопожертвованіе, единство цѣлей и стремленій, словомъ то, что можетъ производить только духъ...

Изъ критическихъ отзывовъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ.

Народность, гуманность и художественность — отличительныя черты поэзіи Пушкина.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всѣ предметы были равно исполнены поэзіи. Его „Онѣгинъ“, на примѣръ, есть поэма современной, дѣйствительной жизни не только со всею ея поэзіею, но и со всею ея прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лѣто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди, и жизнь мирныхъ помѣщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сѣнокосѣ, о винѣ,
О псарнѣ, о своей роднѣ;

тутъ и мечтательный поэтъ Ленскій, и тривиальный забіяка и сплетникъ Зарѣцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлою въ рукѣ, дверь кофейной, — и всѣ они, каждый по своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно было ѣздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здѣсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея вѣчно-сѣрымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бѣдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны или лѣта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по крайней мѣрѣ, на то время, пока не увидите его же картины весны или лѣта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно;
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,
Къ себѣ меня влечетъ... и т. д.

Русская зима лучше русскаго лѣта — этою „карикатуры южныхъ зимъ“: она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декоратіонныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія де-

ревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Подъ голубыми небесами
Великолѣпными коврами,
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ.
Прозрачный лѣсъ одинъ чернѣетъ,
И ель сквозь иней зеленѣетъ,
И рѣчка подо льдомъ блеститъ... и т. д.

Поэзія Пушкина удивительно вѣрна русской дѣйствительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общій голосъ нарекъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ. Пушкинъ не могъ не отразить въ себѣ географически и физиологически народной жизни, ибо былъ не только русскій, но притомъ русский, надѣленный отъ природы геніальными силами; однакожъ въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій тактъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэмѣ „Русалка“: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэмѣ „Каменный Гость“: она, и по природѣ страны, и по нравамъ своихъ героевъ, такъ и дышитъ воздухомъ Испаніи; прочтите его „Египетскія ночи“: вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примѣровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываетъ, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истинною рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались вѣрностію природѣ? Натура Пушкина (и въ этомъ случаѣ самое вѣрное свидѣтельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бываютъ слѣдствіемъ страстно дѣятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою, могучею мыслию, въ жертву которой приносится и жизнь и талантъ. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому учению, ни къ какой доктринѣ; въ сферѣ своего поэтическаго міросозерцанія, онъ, какъ художникъ по-преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и въ природѣ, видѣлъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Еслибъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то, безъ сомнѣнія, это было

бы въ немъ больше, чѣмъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только вѣренъ своей натурѣ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждаютъ нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубину, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ человѣчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формѣ, столь художнически спокойной, столь граціозной! Что составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свѣтла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цѣлитъ раны сердца. Общій колоритъ поэзіи Пушкина, и въ особенности лирической—внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человѣческое чувство уже прекрасно потому самому, что оно человѣческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здѣсь разумѣемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нѣтъ, каждое чувство, лежащее въ основаніи каждого его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себѣ: это не просто чувство человѣка, но чувство человѣка-художника, человѣка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоого пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юншества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрочно-идеальнаго; она вся проникнута насквозь дѣйствительностью; она не кладетъ на лицо жизни бѣлилъ и румянъ, но показываетъ ее въ ея естественной, истинной красотѣ; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Поэтому, поэзія Пушкина не опасна юншеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе,—ложь, которая ставитъ человѣка во враждебныя отношенія съ дѣйствительностью при первомъ столкновеніи съ нею, и составляетъ безвременно и безплодно истощать свои силы на гибельную съ нею борьбу. И при всемъ этомъ, кромѣ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человѣческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтвержденіе нашей мысли? Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе, если не

всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ—поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болѣе, какъ чувство, или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностію, муза Пушкина умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (*resignatio*), какъ бы привывая ихъ роковую неизбѣжность и ненося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекалъ уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящною елейностію, кротостію, глубиною и возвышенностію своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но, по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго. Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзіи принадлежитъ его художническая добросовѣстность. Пушкинъ ничего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничѣмъ не эффектируетъ, никогда не вводитъ на себя великолѣпныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездѣ является такимъ, каковъ былъ дѣйствительно. Такъ, напримѣръ, онъ узнаетъ о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стонровъ, какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!.. Но сердце наше—вѣчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подѣйствовала на Пушкина роковая вѣсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной и т. д.

Да, непостижимо сердце человѣческое, и, можетъ быть, тотъ же самый предметъ внушилъ впоследствии Пушкину его дивную „Разлуку“ („Для береговъ отчизны дальней“)... Въ отношеніи въ художнической добросовѣстности Пушкина, такова же его превосходная пьеса „Воспоминаніе“: въ ней онъ не рисуется въ мантии сатанинскаго величія, какъ это дѣлаютъ часто мелкодушные талантики, но просто какъ человѣкъ оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдалъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совѣсти... Та же художническая добросовѣстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукраши-

вая ихъ небывалыми красками, и изъ русской природы смѣло дѣлая природу на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнѣйшихъ и, вѣроятно, по этой причинѣ, наименѣ замѣченныхъ и опѣненныхъ пьесъ Пушкина—„Капризъ“:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый, и т. д.

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природѣ. Онъ созерцалъ ее удивительно вѣрно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыслить о ней. И это служить новымъ доказательствомъ того, что пафосъ его поэзіи былъ чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно дѣйствовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человѣкѣ. Если съ кѣмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имѣетъ нѣкоторое сходство, такъ болѣе всего съ Гёте, и онъ еще болѣе, нежели Гёте, можетъ дѣйствовать на развитіе и образованіе чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, вѣренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны, въ этомъ же самомъ неизмѣримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ, ибо Гёте—весь мысль, и онъ не просто изображалъ природу, а заставлялъ ее раскрыть передъ нимъ ея заветныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и—

Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была—полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинскаго созерцанія природы могутъ служить пьесы: „Туча“ и „Обвалъ“. Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, обѣ онѣ—живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаетъ Шекспира. Это доказываетъ даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматическіе опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношеніи, на первыя. Превосходнѣйшія пьесы въ антологическомъ родѣ, запечатлѣнныя духомъ древне-эллинской музы, подражанія Корану, вполне передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзіи—блестящій алмазъ въ поэтическомъ вѣнцѣ Пушкина! „Въ крови горитъ огонь желанья“, „Вертоградъ моей сестры“, „Пророкъ“ и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненной глубокаго смысла и названной „Отрывкомъ“, представляютъ красоты восточной поэзіи другого характера и высшаго рода, принадлежатъ къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протея. „Женихъ“,

„Утопленникъ“, „Бѣсы“ и „Зимній вечеръ“;—пѣсмы, образующія собою отдѣльный міръ русско-народной поэзіи въ художественной формѣ. „Пѣсни Западныхъ Славянъ“ болѣе, чѣмъ что-нибудь, доказываютъ непостижимый поэтический тактъ Пушкина и гибкость его таланта. Извѣстно происхожденіе этихъ пѣсенъ и продолка даровитаго француза Мерима, вадумавшаго посмѣяться надъ колоритомъ мѣстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкѣ эти поддѣльные пѣсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онѣ дышатъ всею роскошью мѣстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе,—неизбѣжное, впрочемъ, свойство всѣхъ народныхъ произведеній.—„Подражанія Данту“ можно счесть за отрывочные переводы изъ „Божественной Комедіи“, и они дають о ней лучшее и вѣрнѣйшее понятіе, чѣмъ всѣ доселѣ сдѣланные по-русски переводы въ стихахъ и прозѣ. „Начало поэмы“ („Стамбулъ гяуры нынѣ славятъ“) какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный.

Евгеній Онѣгинъ.

Признаемся: не безъ нѣкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрѣнію такой поэмы, какъ „Евгеній Онѣгинъ“. И эта робость оправдывается многими причинами. „Онѣгинъ“ есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такою полнотою, свѣтло и ясно, какъ отразилась въ „Онѣгинѣ“ личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здѣсь его чувства, понятія, идеалы. Оцѣнить такое произведеніе, значитъ—оцѣнить самого поэта, во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствѣ „Онѣгина“, эта поэма имѣетъ для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зрѣнія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ „Онѣгинѣ“ слабымъ или устарѣлымъ,—даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И насъ приводитъ въ затрудненіе не одно только сознаніе слабости нашихъ силъ для вѣрной оцѣнки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ „Онѣгина“, съ одной стороны, видѣть недостатки, съ другой—достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаетъ въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки, или безусловныя достоинства. Вотъ почему нѣкоторые критики добродушно были убѣждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій талантъ и въ то же время не находя между

произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ „Онѣгину“ наши сужденія могутъ показаться многимъ еще болѣе противорѣчащими, потому что „Онѣгинъ“ со стороны формы есть произведеніе въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляютъ его величайшія достоинства. Вся наша статья объ „Онѣгинѣ“ будетъ развитіемъ этой мысли, какою бы ни показалаcя она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ „Онѣгинѣ“ мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, взятаго въ одномъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрѣнія „Евгеній Онѣгинъ“ есть поэма историческая въ полномъ смыслѣ слова, хотя въ числѣ ея героевъ нѣтъ ни одного историческаго лица. Историческое достоинство этой поэмы тѣмъ выше, что она была на Руси и первымъ и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родѣ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безпримѣрная! До Пушкина русская поэзія была не болѣе какъ понятливою и переимчивою ученицей европейской музы, и потому всѣ произведенія русско-поэзіи до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копіи, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ—этотъ талантъ, столько же сильный и яркій, сколько и національно-русскій, долго не имѣлъ смѣлости отказаться отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подрожателемъ Лафонтена. Въ поэзіи Державина ярко проблескиваютъ и русская рѣчь, и русскій умъ, но не больше, какъ проблескиваютъ, потопляемые водою риторически-понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написалъ русскую трагедію, даже историческую—„Дмитрія Донскаго“, но въ ней русскаго и историческаго—одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написалъ двѣ русскія баллады—„Людмилу“ и „Свѣтлану“; но первая изъ нихъ есть передѣлка нѣмецкой (и при томъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дѣйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проникнута нѣмецкою сентиментальностью и нѣмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, вѣчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ. Всѣхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нѣтъ и не можетъ быть никакой поэзіи и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на Пегасѣ въ чужіе края, даже на Востокъ, не только на Западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумѣется, это сдѣлалось не вдругъ, потому что вдругъ ничего не дѣлается. Въ поэмахъ „Русланъ и Людмила“ и „Братья Разбойники“ Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ

предшественникамъ,—но не въ поэзіи только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображеніе русской дѣйствительности. Есть у Пушкина русская баллада „Женихъ“, написанная имъ въ 1825 году, въ который появилась и первая глава „Онѣгина“. Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержанія насковозъ проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чѣмъ о „Русланѣ и Людмилѣ“, можно сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

И такова вся эта баллада, отъ перваго до послѣднаго слова! Но не въ такихъ произведеніяхъ должно видѣть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій,—и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Мірѣ, такъ вѣрно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ рѣзкой его особенности. Сверхъ того онъ такъ тѣсенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный талантъ недолго будетъ воспроизводить его, если не захочетъ, чтобъ его произведенія были односторонни, однообразны и скучны, несмотря на всѣ ихъ достоинства. Вотъ почему человѣкъ съ талантомъ дѣлаетъ обыкновенно не болѣе одной или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родѣ; для него это—дѣло между прочимъ, затѣянное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприщѣ, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу.

„Истинная національность (говоритъ Гоголь) состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можетъ быть даже и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется будто это чувствуютъ и говорятъ они сами“. Разгадать тайну народной психеи — для поэта значитъ умѣть равно быть вѣрнымъ дѣйствительности при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умѣетъ схватить рѣзкіе оттѣнки только грубой простонародной жизни, не умѣя схватывать болѣе тонкихъ и сложныхъ оттѣнковъ образованной жизни, тотъ никогда не будетъ великимъ поэтомъ, и еще менѣе имѣетъ право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэтъ равно умѣетъ заставить говорить и барина и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ названія національнаго,—значить, оно ничего не стоитъ и въ художественномъ отношеніи, потому, что невѣрно духу изображаемой имъ дѣйствительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ „Горе отъ ума“ и „Мертвыя души“, но и такія, какъ „Герой нашего времени“, суть столько же національныя, сколько превосходныя поэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ „Евгеній Онѣгинъ“ Пушкина. Въ этой рѣшимости молодого поэта предста-

вить нравственную фязіономію наиболѣ оевропейшагося въ Россіи сословія нельзя не видѣть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ-давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взялъ эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всѣмъ холодомъ, со всею ея прозой и пошлостью. И такая смѣлость была бы менѣе удивительною, еслибы романъ затѣянъ былъ въ прозѣ; но писать подобный романъ въ стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языкѣ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозѣ,—такая смѣлость, оправданная огромнымъ успѣхомъ, была несомнѣннымъ свидѣтельствомъ гениальности поэта.

Мы начали статью съ того, что „Онѣгинъ“ есть поэтически вѣрная дѣйствительности картина русскаго общества въ извѣстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т. е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее, — общество. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдѣльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положеніе еще не производитъ общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существованіе, и нужно было образованіе, которое давало бы ему не одно внѣшнее, но и внутреннее единство. Екатерина II *Жалованною грамотой* опредѣлила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству—единственному сословию, которое при Екатеринѣ II достигло высшаго своего развитія и было просвѣщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслѣдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 1785 года, за вельможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ *возникать* мы разумѣемъ слово *образовываться*. Въ царствованіе Александра Благословеннаго значеніе этого во всѣхъ отношеніяхъ лучшаго сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому что образованіе все болѣе и болѣе проникало во всѣ углы огромной провинціи, усѣянной помѣщичьими владѣніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностью, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски; музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дѣтей. Державинъ, Фонвизинъ и Богдановичъ—эти поэты, въ свое время извѣстные только одному двору, тогда сдѣлались болѣе или менѣе извѣстны и этому возникающему обществу. Но что всего важнѣе—у него явилась своя литература, уже болѣе легкая, живая, общественная и *свѣтская*, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журна-

ловъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю и черезъ это создалъ массу читателей, то Карамзинъ своею реформой языка, направлениемъ, духомъ и формою своихъ сочиненій породилъ литературный вкусъ и создалъ публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементъ, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на „Ливинъ прудъ“, чтобы „слезою чувствительности“ почтить память горестной жертвы страсти и обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлѣнные умомъ, вкусомъ, острою и граціею, имѣли такой же успѣхъ и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденная ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смѣшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедіи Озерова придали еще болѣе силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались нанизуть дѣтьми. Вскорѣ появился юноша-поэтъ, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрическаго стремленія въ область чудеснаго и невѣдомаго и который познакомилъ и породнилъ русскую музу съ музою Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важнѣе, нежели какъ у насъ объ этомъ думаютъ: литература, обличая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, *сословіе* превратило въ *общество*. Но, несмотря на то, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что классъ дворянства былъ и по преимуществу представителемъ общества и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличеніе средствъ къ народному образованію, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ, заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохою для Россіи. Мы разумѣемъ здѣсь не только внѣшнее величіе и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее преуспѣяніе въ гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудилъ ея спящія силы и открылъ въ ней новыя, дотогѣ неизвѣстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну огромную массу коснѣвшія въ чувствахъ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудилъ народное сознаніе и народную гордость и всѣмъ этимъ способствовалъ зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мнѣнія; кромѣ того, 12-й годъ нанесъ сильный ударъ коснѣющей старинѣ: вслѣдствіе его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не выѣзжая за заповѣдную черту ихъ владѣній; глушь и дичь быстро исчезали вмѣстѣ съ потрясенными остатками старины. Съ другой стороны, вся Россія, въ лицѣ своего побѣдоноснаго войска, лицомъ

къ лицу увидѣлась съ Европою, пройдя по ней путемъ побѣдъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укрѣпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ, — и въ „Онѣгинъ“ онъ рѣшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вмѣстѣ съ нимъ и общество, въ томъ видѣ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т.-е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія.

Несмотря на то, что романъ носитъ на себѣ имя своего героя, — въ романѣ не одинъ, а два героя: Онѣгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видѣть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдѣлалъ, выбравъ себѣ героя изъ высшаго круга общества. Онѣгинъ—отнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества былъ только вѣкъ Екатерины II); Онѣгинъ—свѣтскій человекъ. Когда высшій свѣтъ изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибоедовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ, — мы любимъ литературное изображеніе большого свѣта такъ же, какъ изображеніе всякаго другого свѣта и не свѣта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Высшій кругъ общества былъ въ то время уже въ апогей своего развитія; при томъ свѣтскость не помѣшала же Онѣгину сойтись съ Ленскимъ—этимъ наиболѣе страннымъ и смѣшнымъ въ глазахъ свѣта существомъ.

Правда, Онѣгину было дико въ обществѣ Лариныхъ; но образованность еще болѣе, нежели свѣтскость, была причиною этого. Не споримъ, общество Лариныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совсѣмъ не свѣтскіе люди, было бы въ немъ не совсѣмъ ловко, тѣмъ болѣе, что мы рѣшительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарнѣ, о винѣ, о сѣнокосѣ, о роднѣ. Высшій кругъ общества въ то время до того былъ отдѣленъ отъ всѣхъ другихъ круговъ, что не принадлежавшіе къ нему люди поневолѣ говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европѣ говорили объ антиподахъ и Атлантидѣ. Вслѣдствіе этого Онѣгинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принятъ за безнравственнаго человека. Это мнѣніе о немъ и теперь еще не совсѣмъ исчезло.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онѣгинѣ душу и сердце, видѣла въ немъ человека холоднаго, сухого и эгоиста по натурѣ. Нельзя ошибочнѣе и кривѣе понять человека! Этого мало: многіе добродушно вѣрили и вѣрятъ, что самъ поэтъ хотѣлъ изобразить Онѣгина холоднымъ эгоистомъ. Это уже значитъ—имѣя глаза, ничего не видѣть. Свѣтская жизнь не убила въ Онѣгинѣ чувства, а только охолодила къ безплоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспомните строфы, въ которыхъ поэтъ описываетъ свое знакомство съ Онѣгинымъ.

Онѣгинъ не былъ ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, въ душѣ его жила поэзія и вообще онъ былъ не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность при созерцаніи красотъ природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лѣтъ—все это говорить больше о чувствѣ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дѣло только въ томъ, что Онѣгинъ не любилъ расплываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ, нежели говорилъ, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человѣкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если имъ везетъ, то и всѣми. Жизнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ она все даетъ имъ, благо немногого просить они отъ нея—корма, пойма, тепла, да кой-какихъ игрушекъ, способныхъ тѣшить пошлое и мелкое самолюбие. Разочарованіе въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себѣ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства „нарядною печалью“) свойственно только людямъ, которые, желая „многого“, не удовлетворяются „ничѣмъ“. Читатели помнятъ описаніе (въ VII главѣ) кабинета Онѣгина: весь Онѣгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключеніе изъ опалы двухъ или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно,
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивый и сухой,
Мечтанью преданный безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Скажутъ: это портретъ Онѣгина. Пожалуй, и такъ; но это еще болѣе говорить въ пользу нравственного превосходства Онѣгина, потому что онъ узналъ себя въ портретѣ, который, какъ двѣ капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнаютъ себя столь немногіе, а большая часть „украдкою киваетъ на Петра“. Онѣгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ его поразительнаго сходства съ дѣтьми нынѣшняго вѣка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдѣлали Онѣгина похожимъ на этотъ портретъ, а вѣкъ.

Связь съ Ленскимъ, этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ поправился нашей публикѣ, всего громче говорить противъ мнимаго бездушія Онѣгина.

Онѣгинъ презиралъ людей,

Но (правильнѣе безъ исключеній).
Иныхъ онъ очень отличалъ,
И вчуужъ чувство уважалъ.

Онъ охладительное слово
Въ устахъ старался удержать,
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству,
И безъ меня пора придетъ;
Пускай покамѣстъ онъ живетъ
Да вѣрить міра совершенству;
Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ
И юный жаръ и юный бредъ.
Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племень минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предрассудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.

Дѣло говорить само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушіе Онѣгина, какъ человѣка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ вѣрно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчерпаемъ весь вопросъ.

Онѣгинъ—не Мельмортъ, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человѣкъ, а просто—„добрый малый, какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ“. Поэтъ справедливо называетъ „обветшалою модой“ вездѣ находить или вездѣ искать все геніевъ да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Онѣгинъ—добрый малый, но, при этомъ, недюжинный человѣкъ. Онъ не годится въ геніи, не лѣзетъ въ великіе люди, но бездѣятельность и пошлость жизни душатъ его, онъ даже не знаетъ, что ему надо, чего ему хочется; но онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его „безнравственнымъ“, но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онѣгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсѣмъ такое воспитаніе. Влестящій юноша, онъ былъ увлеченъ свѣтомъ, подобно многимъ: но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ это дѣлаютъ слишкомъ немногіе. Въ душѣ его тлѣлась искра надежды воскреснуть и освѣжиться въ тиши уединенія, на лонѣ природы; но онъ скоро увидѣлъ, что переменна мѣсть не измѣняетъ сущности нѣкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Мы доказали, что Онѣгинъ не холодный, не сухой, не бездушный человѣкъ, но мы до сихъ поръ избѣгали слова *эгоистъ*, и, такъ какъ избытокъ чувства, потребность изящнаго не исключаетъ эгоизма, то мы скажемъ

теперь, что Онѣгинъ—*страдающій эгоистъ*. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда—люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человекъ любить кого-нибудь кромѣ самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дѣла идутъ плохо—они худошавы, блѣдны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ дѣла идутъ хорошо—они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами дѣлиться ни съ кѣмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе бесполезныхъ имъ людей. Это эгоисты по натурѣ, или по причинѣ дурнаго воспитанія. Эгоисты втораго разряда почти никогда не бываютъ толсты и румяны; по большей части это народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездѣ ища то счастья, то разсѣянія, они нигдѣ не находятъ ни того ни другого съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляютъ ихъ. Эти люди часто доходятъ до страсти къ добрымъ дѣйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; но бѣда въ томъ, что они и въ добрѣ хотятъ искать то счастья, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слѣдовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живутъ въ обществѣ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своею дѣятельностью къ осуществленію идеала истины и блага,—о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдѣлали ихъ эгоистами. Но нашъ Онѣгинъ не принадлежитъ ни къ тому ни къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ поневолѣ; въ его эгоизмѣ должно видѣть то, что древніе называли *fatum*. Благая, благотворная, полезная дѣятельность! Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ?—Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачѣмъ? зачѣмъ?—Зачѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣчать...

Что-нибудь дѣлать можно только въ обществѣ, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самою дѣйствительностью, а не теоріею; но что бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужаика, конечно, много значило для мужаика, но со стороны Онѣгина тутъ еще немного было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ рассказываютъ объ этомъ всему міру; и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣгинъ былъ не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чѣмъ.

Случай свелъ Онѣгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онѣгинъ познакомился съ семействомъ Ларинныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой послѣ перваго визита, Онѣгинъ звѣдаетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну припаялъ за невѣсту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошибкѣ, удивляется его выбору, говоря, что если бы онъ самъ былъ

поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобы понять разницу между обѣими сестрами, тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совсѣмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дѣвочка, которая совсѣмъ не стояла того, чтобы за нее рисковать убить пріятеля или самому быть убитымъ. Между тѣмъ, какъ Онѣгинъ зѣвалъ „по привычкѣ“, говоря его собственнымъ выраженіемъ, и нисколько не заботясь о семействѣ Лариныхъ, въ этомъ семействѣ его пріѣздъ завязалъ страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онѣгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее,—и еще болѣе, какъ тотъ же самый Онѣгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной дѣвушки, потомъ страстно влюбился въ великолѣпную свѣтскую даму? Въ самомъ дѣлѣ, есть чему удивляться. Не беремся рѣшить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактѣ возможность психологическаго вопроса, мы тѣмъ не менѣе нисколько не находимъ удивительнымъ самаго факта. Во-первыхъ, вопросъ, почему влюбился или почему не влюбился, или почему въ то время не влюбился,—такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имѣетъ свои законы—правда, но не такіе, изъ которыхъ легко бы составить полный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могутъ и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто-непосредственный, влеченіе инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправданіе нѣсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: „полюбитъ сатана лучше яснаго сокола“,—кто отвергаетъ это, тотъ не понимаетъ любви. Если бы выборъ въ любви рѣшался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ нѣсколькихъ, равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченіи сердца. Но бываетъ и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себѣ не подѣ парю. Поэтому Онѣгинъ имѣлъ полное право безъ всякаго опасенія подпасть подѣ уголовный судѣ критики, не полюбить Татьяны-дѣвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ поступилъ равно ни нравственно ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онѣгинъ былъ такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бѣдная дѣвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дѣтски про-

стодушна, и что она нисколько не похожа на тѣхъ кокетокъ, которыя такъ надѣли ему съ ихъ чувствами, то легкими, то поддѣльными. Онъ былъ живо тронутъ письмомъ ея.

Въ письмѣ своемъ къ Татьянѣ (въ VIII главѣ) онъ говоритъ, что, замѣтя въ ней искру нѣжности, онъ не хотѣлъ ей повѣрить (т.-е. заставилъ себя не повѣрить), не далъ хода милой привычкѣ и не хотѣлъ разстаться съ своею постылою свободой. Но если онъ одѣнилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видѣлъ и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отвѣчать на нее, значило бы для Онѣгина рѣшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о послѣднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перегорѣвшій въ страстяхъ, извѣдавшій жизнь и людей, еще кипѣвшій какими-то самому ему неясными стремленіями,—онъ, котораго могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию,—онъ увлекся бы младенческою любовью дѣвочки-мечтательницы, которая смотрѣла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотрѣть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашелъ онъ потомъ въ Татьянѣ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь,—а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имѣло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнѣе, но зато еще скучнѣе. И это ли поэзія и блаженство любви!..

Разлученный съ Татьяною смертью Ленскаго, Онѣгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказѣ и смотрѣлъ на блѣдный рой тѣней, толпившійся около цѣлебныхъ струй Машука.

Какая жизнь! Вотъ оно то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ драпировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тѣмъ ужаснѣе!.. Спать ночью, зѣвать днемъ, видѣть, что всѣ изъ чего-то хлопчутъ, тѣмъ-то заняты, одинъ деньгами, другой—женитьбою, третій—болѣзнью, четвертый—нуждою и кровавымъ потомъ работы,—видѣть вокругъ себя и ве-

селье и печаль, и смѣхъ и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Рѣчному жиду, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ: это—страданіе не всѣмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модною причудой. И чѣмъ естественнѣе, проще страданіе Онѣгина, чѣмъ дальше оно отъ всякой эффектности, тѣмъ оно менѣе могло быть понято и оценено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лѣтъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдѣлавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убѣжденія: это—смерть! Но Онѣгину не суждено было умереть, не отвѣдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскѣ силы его духа. Встрѣтивъ Татьяну на балѣ въ Петербургѣ, Онѣгинъ едва могъ узнать ее, такъ перемѣнилась она! Мужъ Татьяны, такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

. . . И всѣхъ выше
И носъ и плечи поднималъ
Вошедшій съ нею генералъ,—

мужъ Татьяны представляетъ ей Онѣгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громо-звучнаго *оха* и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мнѣнію, должна повиснуть на шеѣ у Онѣгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсь мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно несогласны съ этимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толпѣ, благо пришлось ей по плечу.

Мы лучше думаемъ о достоинствѣ человѣческой натуры и убѣждены, что человѣкъ рождается не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человѣкѣ, но въ обществѣ; такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслѣ формы человѣческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ, считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждаго народа и каждаго вѣка свои

понятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человѣчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всѣ люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собою въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругъ земли, а земля вокругъ солнца обращается, и во множествѣ математическихъ аксіомъ. До тѣхъ же поръ преступленіе будетъ только по-наружности преступленіе, а внутренно, существенно—непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видѣли въ своихъ дѣтяхъ своихъ рабовъ и считали себя въ правѣ насилловать ихъ чувства и склонности самыя священныя. Теперь, если дѣвушка, чувствуя отвращеніе къ господину благонамѣренной наружности, за котораго ее хотятъ насильно выдать, и любя страстно человѣка, съ которымъ ее насильно разлучаютъ,—послѣдуетъ влеченію своего сердца и будетъ любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ, или въ чей чинъ влюблены ея дрожайшіе родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости внѣшнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви,—что оно такое, если оно согласовано съ внѣшними условіями?—Пѣсня соловья, или жаворонка въ золотой клѣткѣ. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца?—Торжественная пѣсня соловья на закатѣ солнца, въ таинственной сѣни склонившихся надъ рѣкою ивъ; вольная пѣсня жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрѣлою, то падаетъ съ неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь съ мѣста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эфирѣ... Птица любить волю; страсть есть поэзія и цвѣтъ жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будетъ воли?..

Письмо Онѣгина къ Татьянѣ горитъ страстью; въ немъ уже нѣтъ ироніи, нѣтъ свѣтской умѣренности, свѣтской маски. Онѣгинъ знаетъ, что онъ, можетъ быть, подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смѣшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяна можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты—и въ такомъ случаѣ, конечно, роль Онѣгина была бы очень смѣшна и жалка. Но въ свѣтѣ наружность никогда и ни въ чемъ не убѣждаетъ: тамъ всѣ слишкомъ хорошо владѣютъ искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онѣгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свѣтъ научилъ ее только искусству владѣть собою и серьезнѣе смотрѣть на жизнь. Благодатная натура не гибнетъ отъ свѣта, вопреки мнѣнію мѣщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свѣтъ представляетъ точно столько же средствъ, сколько и большой.

Вся разница въ формахъ; а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свѣтѣ должна была казаться Онѣгину Татьяна,—уже не мечтательная дѣвушка, повѣрившая лунѣ и звѣздамъ свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книгѣ Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цѣну всему, что дано ей, которая много потребуетъ, но много и дастъ. Ореолъ свѣтскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онѣгина: въ свѣтѣ, какъ и вездѣ, люди бываютъ двухъ родовъ—одни привыкаются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видятъ назначеніе жизни,—это чернь; другіе отъ свѣта заимствуютъ знаніе людей и жизни, такъ дѣйствительности и способность вполне владѣть всѣмъ, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу послѣднихъ, и значеніе свѣтской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же, въ глазахъ Онѣгина любовь безъ борьбы не имѣла никакой прелести, а Татьяна не общала ему легкой побѣды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побѣду, безъ расчета, со всѣмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышитъ въ каждомъ словѣ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатлѣнія. Послѣ нѣсколькихъ посланій, встрѣтившись съ нею, Онѣгинъ не замѣтилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лицѣ—на немъ отражался лишь слѣдъ гнѣва. Онѣгинъ на цѣлую зиму заперся дома и принялся читать.

Мы не будемъ распространяться теперь о сценѣ свиданія и объясненія Онѣгина съ Татьяною, потому что главная роль въ этой сценѣ принадлежитъ Татьянѣ, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отвѣдомъ Татьяны, и читатель навсегда расстаётся съ Онѣгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Гдѣ же романъ? Какая его мысль? И что за романъ безъ конца?—Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ нѣтъ конца, потому что въ самой дѣйствительности бываютъ событія безъ развязки, существованія безъ цѣли, существа неопредѣленные, никому непонятныя, даже самимъ себѣ, словомъ то, что по-французски называется *les êtres manqués, les existences avortées*. И эти существа часто бываютъ одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; общаются много, исполняютъ мало, или ничего не исполняютъ. Это зависитъ не отъ нихъ самихъ; тутъ есть *fatum*, заключающійся въ дѣйствительности, которою окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человѣка освободиться. Другой поэтъ представилъ намъ другого Онѣгина подъ именемъ Печорина: Пушкинскій Онѣгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зѣвотѣ; Лермонтовскій Печоринъ бьется на-смерть съ жизнію и насильно хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ—разница, а результатъ одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь и дѣятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталося съ Онѣгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для

новаго, болѣе сообразнаго съ человѣческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всѣ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію?—Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотѣть больше ничего знать...

Онѣгинъ—характеръ дѣйствительный, въ томъ смыслѣ, что въ немъ нѣтъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дѣйствительности и черезъ дѣйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно противоположный характеру Онѣгина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дѣйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дѣйствительно начали появляться въ русскомъ обществѣ.

Ленскій былъ романтикъ и по натурѣ и по духу времени. Нѣтъ нужды говорить, что это было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время „онъ сердцемъ милый былъ невѣжда“, вѣчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Дѣйствительность на него не имѣла вліянія: его радости и печали были созданіемъ его фантазіи. Онъ полюбилъ Ольгу,—и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужъ, она сдѣлалась бы вторымъ исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти—и за поэта, товарища ея дѣтскихъ игръ, и за довольнаго собою и своею лошадыю улана?—Ленскій украсилъ ее достоинствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое,—Ольга была очаровательна, какъ и всѣ „барышни“, пока онѣ еще не сдѣлались „барынями“; а Ленскій видѣлъ въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ни мало не подозревая будущей барыни. Онъ написалъ „надгробный мадригалъ“ старику Ларину, въ которомъ, вѣрный себѣ, безъ всякой ироніи, умѣлъ найти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Онѣгина подшутить надъ нимъ онъ увидѣлъ и измѣну, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранѣе воспѣтая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говоритъ поэтъ,

Былъ долженъ оказать себя
Не мячикомъ предразсужденій,
Не пылкимъ мальчикомъ, бойцомъ,
Но мужемъ съ честью и съ умомъ,—

но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакивалъ его паденіе.

Мы убѣждены, что съ Ленскимъ случилось бы непременно послѣднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ тѣхъ натуръ, для которыхъ жить—значить развиваться и идти впередъ. Это, повторяемъ,—былъ романтикъ, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дѣлать, кромѣ какъ распространить на цѣлую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфѣ. Люди, подобные Ленскому, при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохраняютъ навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются этими устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ же непріятны, какъ и старыя идеальныя дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, что дѣлается въ мірѣ, и твердятъ о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые носносные, самые пустые и пошлые люди...

Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ слѣдующей статьѣ.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романѣ, поэтически воспроизвелъ русское общество того времени, и въ лицѣ Онѣгина и Ленскаго показалъ его главную, т. е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвигъ нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ, въ лицѣ Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ слояхъ русскаго общества, играетъ первую роль; но мы не скажемъ, чтобы женщина играла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играетъ. Исключеніе остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычаи, несмотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяніе славянолюбовъ, что мы совсѣмъ переродились въ нѣмцевъ,—несмотря на все это, пора намъ, наконецъ, признаться, что еще и до сихъ поръ мы—плохіе рыцари, что наше вниманіе къ женщинамъ, наша готовность жить и умереть для нея до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свѣтскою фразой, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрѣтенія, а заимствованною. Чего добраго! теперь и „поштенное купечество“ съ бородою, отъ которой попахиваетъ „маненько“ капустою и лучкомъ.—даже и оно,

идя по улицѣ съ „хозяйкою“, ведетъ ее подъ-руку, а не толкаетъ въ спину колѣномъ, указывая дорогу и заказывая звать по сторонамъ; но дома... Однако, зачѣмъ говорить, что бываетъ дома? зачѣмъ выносить соръ изъ избы?.. Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ и въ прозѣ: „женщина—парица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество“ и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свѣтскаго): вездѣ мужчины—сами по себѣ, женщины—сами по себѣ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами, какъ-будто жертвуетъ собою изъ вѣжливости, потомъ встаетъ, и съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжелой работы, идетъ въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно вздохнуть и освѣжиться. Въ Европѣ женщина дѣйствительно парица общества: веселъ и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говоритъ, чѣмъ съ другими. У насъ наоборотъ: у насъ женщина ждетъ, какъ милости, чтобъ мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ замѣнено жеманствомъ, если у насъ всѣ любятъ поэзію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дѣвушкѣ, если она не смѣетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее, или даже и огласятъ ея женихомъ? Это значило бы окомпрометтировать ее и самому попасть въ бѣду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будетъ дѣваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмѣшекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключать, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видѣть въ васъ выгодной партіи для своей дочери, они откажутъ вамъ отъ дома и строго запретятъ дочери быть любезною съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію,—новая бѣда, страшнѣе прежней: раскинуть сѣти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успѣете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человѣкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете „исторію“, которую долго будете помнить. Отчего все это происходитъ?—Оттого, что у насъ не понимаютъ и не хотятъ понимать, что такое женщина, не чувствуютъ въ ней никакой потребности, не желаютъ и не ищутъ ея, словомъ, оттого, что у насъ нѣтъ женщины. У насъ „прекрасный полъ“ существуетъ только въ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дѣйствительности онъ раздѣляется на четыре разряда: на дѣвочекъ, на невѣстъ, на замужнихъ женщинъ и, наконецъ, на старыхъ дѣвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дѣтьми, никто не интересуется; послѣднихъ всѣ боятся и ненавидятъ (и часто по-дѣлбмъ); слѣдовательно, нашъ прекрасный полъ состоитъ изъ

двухъ отдѣловъ: изъ дѣвицъ, которыя должны выйти замужъ, и изъ женщинъ, которыя уже замужемъ. Русская дѣвушка—не женщина въ европейскомъ смыслѣ этого слова, не человекъ: она не что другое, какъ не вѣста. Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всѣхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ домѣ, и часто общается выйти замужъ за своего папашу, или за своего брата; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она—невѣста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двѣнадцать лѣтъ, и мать, упрекая ее въ лѣности, въ неумѣннн держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей: „не стыдно ли вамъ, сударыня: вѣдь вы уже не вѣста!“ Удивительно ли послѣ этого, что она не умѣетъ, не можетъ смотрѣть сама на себя какъ на женственное существо, какъ на человека, и видитъ въ себѣ только не вѣсту? Удивительно ли, что, съ раннихъ лѣтъ до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, всѣ думы, всѣ мечты, всѣ стремленія, всѣ молитвы ея сосредоточены на одной идее фикс: на замужествѣ,—что выйти замужъ—ея единственное, страстное желаніе, цѣль и смыслъ ея существованія, что видъ этого она ничего не понимаетъ, ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотритъ опять не какъ на человека, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ?—Съ восемнадцати лѣтъ она начинаетъ уже чувствовать, что она—дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшеніе своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишняя мебель, которая того и гляди спадетъ съ цѣны и не сойдетъ съ рукъ. Чтѣ же остается ей дѣлать, если не сосредоточить всѣхъ своихъ способностей на искусствѣ ловить жениховъ? И тѣмъ болѣе, что только въ одномъ этомъ отношеніи и развиваются ея способности, благодаря урокамъ „дражайшихъ родителей“, милыхъ тетусекъ, кузинъ и т. д. За чтѣ болѣе всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительница-маменька?—За то, что она не умѣетъ держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодною партіей. Чему она болѣе всего учитъ ее?—кокетничать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать подъ мягкою, лоснящеюся шерсткою кошачьи лапки, кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натурѣ бѣдная дочь,—она невольно входитъ въ роль, которую дала ей жизнь и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходитъ она неграхоу, съ непричесанною головою, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платьишкѣ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулакахъ: въ деревнѣ, вѣдь, кто же насъ видитъ, кромѣ дворянъ,—а для нея стоитъ ли ридиться? Но лишь вдоль дороги завидѣлся экипажъ, общающій неожиданныхъ гостей,—наша не вѣста поднимаетъ руки и долго дер-

жить ихъ надъ головою, крича въ попыхахъ: гости ѣдутъ, гости ѣдутъ! Отъ этого руки изъ красныхъ дѣлаются бѣлыми: „затѣй сельской остроты!“ Затѣмъ, весь домъ въ смятеніи: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное бѣлье надѣваютъ шерстяныя или шолковыя платья, пять лѣтъ назадъ тому спитыя. О чистотѣ бѣлья заботиться смѣшно: вѣдь бѣлье подъ платьемъ, и его никто не видитъ, а рядиться—извѣстное дѣло—надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ, тайныя стремленія и жаркіе обѣты готовы свершиться: кандидатъ-невѣста уже дѣйствительная невѣста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имѣетъ на нее виды. И ей кажется, что она дѣйствительно влюблена въ него. Болѣзненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцѣ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракѣ. Притомъ же, когда дѣло къ спѣху и торопять, то поневолѣ влюбитеcь сразу, не имѣя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но „дражайшіе родители“ учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдѣлать ее способною къ выполненію этой обязанности,—они не подумали. И хорошо сдѣлали: нѣтъ ничего бесполезнѣе и даже вреднѣе, какъ наставленія, хотя бы и самыя лучшія, если они не поддерживаются примѣрами, не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностію окружающей его дѣйствительности. Я вамъ примѣръ, сударыня!—безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь препокорно копируетъ свою мать, готова въ своей особѣ свѣту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ея мужъ—человѣкъ богатый, онъ будетъ доволенъ своею женою: дома у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелѣпо, грязно, пыльно, въ беспорядкѣ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домѣ подымается возня, дѣлается вавилонское столпотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугъ бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вамъ чашку чаю... А недавняя невѣста, теперь молодая дама?—О, она живетъ въ „полномъ удовольствіи!“ она, наконецъ, достигла цѣли своей жизни, она уже не сирота, не приемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домѣ; она хозяйка у себя дома, сама себѣ госпожа, пользуется полною свободой, ѣздитъ куда и когда хочетъ, принимаетъ у себя кого ей угодно; ей уже ненужно болѣе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелѣвать, мучить мужа, дѣтей, слугъ. У ней бездна затѣй: карета—не карета, шаль—не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаетъ, но всѣхъ превосходить, и мужъ ея едва успѣваетъ закладывать и перезакладывать имѣніе... Дети

новаго поколѣнія, она убрала по-возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ даже какую-то полу-чистоту, полу-опрятность: вѣдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты на-показъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальной и дѣтской, въ кабинетѣ мужа,—словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у нея безпрестанно гости, возлѣ нея безпрестанно кружокъ; но она плѣняетъ гостей своихъ не свѣтскимъ умомъ, не граціею своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора,—нѣтъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у нея все лучше—и убранство комнатъ, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, немного... Содержаніе разговоровъ составляютъ сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богъ благословилъ ея замужество—что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будетъ воспитывать дѣтей своихъ?—Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябаютъ въ дѣтской, среди мамокъ и нянекъ, среди горничныхъ, на лонѣ холоцтва, которое должно внушить имъ первыя правила нравственности, развитъ въ нихъ благородныя инстинкты, объяснить имъ различіе домового отъ лѣшаго, вѣдьмы отъ русалки, растолковать разныя примѣты, рассказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснѣя, приучить безпрестанно ѣсть, никогда не наѣдаясь. И милыя дѣти очень довольны сферою, въ которой живутъ: у нихъ есть фавориты между прислугою, и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругаютъ и колотятъ послѣднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дѣлай что хочетъ съ мальчиками, а дѣвочекъ поучать прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски—и воспитаніе кончено; тогда имъ одна наука, одна забота—ловить жениховъ.

Но если наша невѣста выйдетъ за человѣка небогатаго, хотя и не бѣднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умѣнія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревнѣ никогда ничего не дѣлала (потому что барышня вѣдь не холопка какая-нибудь, чтобы стала что-нибудь дѣлать), ничѣмъ не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ,—этого она нигдѣ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужъ—значить сдѣлаться барынею; стать хозяйкою, значить—повелѣвать всѣми въ домѣ и быть полною госпожею своихъ поступковъ. Ея дѣло—не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имѣете вы право требовать отъ нея, чтобы она была не тѣмъ, чѣмъ сами же вы ее сдѣлали? Можете ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невѣсту и жену, и ничего болѣе? Развѣ когда-нибудь

подходили въ ней безкорыстно, просто безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этою гармоніею женственнаго существа, этимъ повитическимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которыя такъ кротко, успокоительно и обаятельно дѣйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь имѣть друга въ женщинѣ, въ которую вы совсѣмъ не влюблены, сестру въ женщинѣ вамъ посторонней?—Нѣтъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами—ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческій; она для васъ—капиталь съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ: если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много-много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоитъ изъ общихъ правилъ, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бываютъ болѣзненными наростами на тѣлѣ общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждаютъ собою наши такъ называемыя „идеальныя дѣвы“. Онѣ, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читаютъ много и скоро, ѣдятъ книги. Но какъ и что читаютъ онѣ, Боже великій!.. Всего достолюбезнѣе въ идеальныхъ дѣвахъ увѣренность ихъ, что онѣ понимаютъ то, что читаютъ, и что чтеніе приноситъ имъ большую пользу. Всѣ онѣ—обожательницы Пушкина, что однако жъ не мѣшаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; инныя изъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя, что, однакожъ, нисколько не мѣшаетъ имъ восхищаться повѣстями гг. Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чемъ пишутъ и говорятъ въ настоящее время, все это сводитъ ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онѣ видятъ свою любимую мысль, оправданіе своей настроенности, т.-е. идеальность,—видятъ ее даже и тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ, или гдѣ она осмѣивается. У всѣхъ у нихъ есть заветныя тетрадки, куда онѣ списываютъ стишки, которые имъ понравятся, мысли, которыя поразятъ ихъ въ книгѣ. Онѣ любятъ гулять при лунѣ, смотрѣть на звѣзды, слѣдить за теченіемъ ручейка. Онѣ очень склонны къ дружбѣ, и каждая ведетъ дѣятельную переписку съ своей пріятельницею, которая живетъ съ нею въ одной деревнѣ, а иногда и въ одномъ домѣ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискѣ (огромными тетрадищами) сообщаютъ онѣ другъ другу свои чувства, мысли, впечатлѣнія. Сверхъ того, каждая изъ нихъ ведетъ свой дневникъ, весь наполненный „выписными чувствами“, въ которыхъ (какъ во всѣхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужеска и женска пола) нѣтъ ничего живого, истиннаго, только претензія и идеальничанье. Онѣ презируютъ толпу и землю, питаютъ непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія

вовсе отрѣшиться отъ матеріи. Для этого онѣ морятъ себя голодомъ, не ѣдятъ иногда по цѣлой недѣлѣ, жгутъ на свѣчкѣ пальцы, кладутъ себя на грудь подѣ платье снѣгу, пьютъ уксусъ и чернила, отучаютъ себя отъ сна,—и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того успѣваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... Вѣдь крайности сходятся! Всѣ простыя человѣческія, и особенно, женскія чувства, какъ, напр., страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчине, въ которомъ нѣтъ ничего необыкновеннаго, гениальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не боленъ, не бѣденъ,—всѣ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смѣшными и презрѣнными. Особенно интересны понятія „идеальныхъ дѣвъ“ о любви. Всѣ онѣ—жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Но онѣ признаютъ только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанация любви въ ихъ глазахъ; счастье—опошленіе любви. Имъ непремѣнно надо любить въ разлукѣ, и ихъ высочайшее блаженство—мечтать при лунѣ о предметѣ своей любви и думать: „можетъ быть, въ эту минуту, и онъ смотритъ на луну и мечтаетъ обо мнѣ; такъ, для любви нѣтъ разлуки!“ Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальныя дѣвы считаютъ себя птицами; плавая въ мутной водѣ искусственной нервической экзальтаци, онѣ думаютъ, что парятъ въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все „высокое и прекрасное“, онѣ любятъ только себя; онѣ и не подозреваютъ, что только тѣшатъ свое мелкое самолюбіе трескучими путями фантазіи, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія, и изъ идеальныхъ дѣвъ скоро дѣлаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя привраками фантазіи доходитъ до того, что онѣ на всю жизнь остаются восторженными дѣвственницами, и такимъ образомъ до семидесяти лѣтъ сохраняютъ способность къ сантиментальной экзальтаци, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщины рано или поздно образумливаются; но прежнее ихъ ложное направленіе навсегда дѣлается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурно-залеченной болѣзни, отравляетъ ихъ спокойствіе и счастье. Ужаснѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеалъ брачнаго счастья,—и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымещаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными дѣвами всѣхъ родовъ бываютъ, по большей части, дѣвицы,

которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмѣсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ очень пошла, и ими невольно овладѣваетъ неотразимое убѣжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой дѣйствительности. А между тѣмъ, самобытное, не на почвѣ дѣйствительности, не въ сферѣ общества совершающееся развитіе всегда доводитъ до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двѣ крайности: или быть пошлыми на общій манеръ, быть пошлыми какъ всѣ, или быть пошлыми оригинально. Онѣ избираютъ послѣднее, но думаютъ, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустнѣе: между подобными несчастными созданіями бываютъ натуры, не лишенныя истинной потребности болѣе или менѣе человѣчески-разумнаго существованія и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно-увѣчныхъ явленій, изрѣдка удаются истинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность и дѣлаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры гениальныя, не подозревающія своей гениальности, онѣ безжалостно убиваются бессознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъ—не то, чтобы ужъ очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то, чтобы человѣкъ, да и не звѣрь, а что-то въ родѣ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы—растительному и животному.

Онъ былъ простой и добрый баринъ,
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,
Надгробный памятникъ гласить:
*„Смиренный грѣшникъ Дмитрій Ларинъ,
Господній рабъ и бригадиръ,
Подъ камнемъ симъ вкушаетъ міръ“.*

Этотъ міръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же самаго мира, которымъ „добрый баринъ“ наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свѣтѣ такіе люди, въ жизни и счастья которыхъ смерть не производитъ ровно никакой перемѣны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливицевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества, она обожала Ричардсона, не потому, чтобы прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины слышала о Грандисонѣ. Помолвленная за Ларина, она втайнѣ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вѣнцу, не спросившись ея совѣта. Въ деревнѣ мужа она сперва терзалась и рвалась, а

потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тѣхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она ѣзжала по работамъ,
Солила на зиму грибы... и т. д.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ на этомъ свѣтѣ цѣлые милліоны людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась
Сосѣдей добрая семья,
Нецеремонные друзья,—
И потужить, и пошлословить,
И посмѣяться кой о чемъ.
.....
Ихъ разговоръ благоразумный
О сѣнокошѣ, о винѣ,
О псарнѣ, о своей роднѣ,
Конечно, не блисталь ни чувствомъ,
Ни поэтическимъ огнемъ,
Ни острою, ни умомъ,
Ни общежитія искусствомъ;
Но разговоръ ихъ милыхъ женъ
Еще былъ менѣе ученъ.

И вотъ, кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, тутъ были два существа, рѣзко отдѣлявшіяся отъ этого круга—сестра Татьяны, Ольга, и женихъ послѣдней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ была понятна Татьяна. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частью по привычкѣ, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они—люди другого міра, что они не поймутъ ея. И дѣйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣвалъ, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натурѣ и могла ему казаться скорѣе странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менѣе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга—существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкѣ и которое все зависѣло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утѣшилась, вышла за улана и, изъ граціозной и милой дѣвочки, сдѣлалась дюжиною барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измѣненіями, которыхъ требовало время. Но совсѣмъ не такъ легко опредѣлить характеръ Татьяны. Натура Татьяны немногосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянѣ нѣтъ этихъ болѣзненныхъ противорѣчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложные натуры; Татьяна создана какъ-будто вся изъ одного цѣльнаго куска, безъ всякихъ придѣлокъ и примѣсей. Вся жизнь ея про-

нижнута тою цѣлостностью, тѣмъ единствомъ, которое въ мірѣ искусства составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дѣвушка, потомъ свѣтская дама,—Татьяна во всѣхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портретъ ея въ дѣтствѣ, такъ мастерски написанный потомъ впоследствии, является только разившимся, но не измѣнившимся.

Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лѣсная боязлива,
Она въ семьѣ своей родной
Казалась дѣвочкой чужой.
Она ласкаться не умѣла
Къ отцу, ни къ матери своей;
Дитя сама, въ толпѣ дѣтей
Играть и прыгать не хотѣла,
И часто цѣлый день одна
Сидѣла молча у окна.

Задумчивость была ея подругою съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дѣтскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ, и звонкій смѣхъ дѣтскихъ игръ; ей больше нравились страшные рассказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія—чтенію романовъ,—и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяною и окружающимъ ее міромъ! Татьяна—это рѣдкій прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ расщелинѣ дикой скалы,

Незнаемый въ травѣ глухой
Ни мотыльками, ни пчелою.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгѣ, гораздо больше идутъ къ Татьянѣ. Какіе мотыльки, какіе пчелы могли знать этотъ цвѣтокъ или плѣняться имъ? Развѣ безобразные слѣпни, оводы и жуки, въ родѣ господъ Пыхтина, Буянова, Пѣтушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можетъ плѣняться только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра: или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурою и которыхъ такъ мало на свѣтѣ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свѣтѣ. Этимъ послѣднимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенскою свѣжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видѣть кротость, послушливость и безотвѣтность въ отношеніи къ будущему мужу—качества, драгоцѣнныя для ихъ грубой животности; не говоря уже о расчетахъ на прида-

ное, на родство и т. п. Стоящіе же въ серединѣ между этими двумя рядами людей всего менѣе могли оцѣнить Татьяну. Надобно сказать, что всѣ это срединныя существа, занимающія мѣсто между высшими натурами и чернью человѣчества, эти таланты, служащіе связью гениальности съ толпою, по большей части—все люди „идеальные“, подстать идеальнымъ дѣвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думаютъ о себѣ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все дѣло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита на счетъ всѣхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство, но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и вѣчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умѣ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываетъ дѣльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку,—это то, что въ нихъ нѣтъ страстей, за исключеніемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ тѣмъ, что они бездѣтельно и безплодно погружены въ соверщеніе своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но также не холодныя, какъ и не горячія, онѣ дѣйствительно обладаютъ жалкою способностью вспыхивать на минуту отъ всего и не отъ чего. Поэтому они только и толкуютъ, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнѣ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, буруевающихъ ихъ сердце, не подозревая, что все это дѣйствительно буря, но только не на морѣ, а въ стаканѣ воды. И нѣтъ людей, которые бы менѣе ихъ способны были оцѣнить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человѣка, глубоко чувствующаго, неподдѣльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всѣ въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ случаѣ, она холодна, какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничѣмъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходитъ въ восторгъ, во всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ кѣмъ не дружится, никого не любитъ, не чувствуетъ потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное—не говоритъ ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ собственныхъ въ особенности?.. Если вы сосредоточены въ себѣ и на вашемъ лицѣ нельзя прочесть внутреннего пожирающаго васъ огня,—мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявятъ васъ существомъ холоднымъ, эгоистомъ, отнимутъ у васъ сердце и оставятъ при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имѣете наклонность иронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цѣломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни играть, ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ бла-

женствомъ или величайшимъ бѣдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастьи взаимности любовь такой женщины—равное, свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ—упорное пламя, которому сила воли, можетъ быть, не позволить прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тѣмъ не менѣе страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполнѣ пожертвовала бы собою дѣтямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслажденіе, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ внѣшнимъ безстрастіемъ, съ этою наружною холодною, которыя составляютъ достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главные и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тѣ особенности, которыя составляютъ ея характеръ.

Татьяна не избѣгла горестной участи подпасть подъ разрядъ идеальныхъ дѣвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ мірѣ подобныхъ явленій,—и теперь не опираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаетъ не смѣхъ, а живое сочувствіе,—но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на „идеальныхъ дѣвъ“, а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, чтѣ есть смѣшного и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дѣйствительность. Съ одной стороны—

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примѣты:
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединеніе грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки, возможно только въ русской женщинѣ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жадѣ любви; ничто другое не говорило ея душѣ; умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ раз-

будить его,—да и то для того, чтобы сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Дѣвическіе дни ея ничѣмъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было тѣхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держатъ въ равновѣсіи нравственныя силы человѣка. Дикое растеніе, вполне предоставленное самому себѣ, Татьяна создала себѣ свою собственную жизнь, въ пустотѣ которой тѣмъ мятежнѣе горѣлъ пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничѣмъ не былъ занятъ.

Давно ея воображеніе,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой; и т. д.

Здѣсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачѣмъ было воображать Онѣгина Вольмаромъ, Малекъ-Адемомъ, де-Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона?). Затѣмъ, что для Татьяны не существовалъ настоящій Онѣгинъ, котораго она не могла ни понимать, ни знать; слѣдовательно, ей необходимо было придать ему какое нибудь значеніе, на-прокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачѣмъ было ей воображать себя Кларисою, Юліею, Дельфиною? Затѣмъ, что она и самое себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онѣгина. Повторяемъ: созданіе страстное, глубоко чувствующее и въ то же время неразвитое, на-глухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуѣ, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красотѣ, но подобною египетской статуѣ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенно нѣмымъ существомъ, и ея пылающій и сохнувшій языкъ не обрѣлъ бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онѣгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія,—все же началась она нѣсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менѣе могла полюбить кого-нибудь изъ извѣстныхъ ей мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругъ является Онѣгинъ.

Онъ весь окруженъ тайною: его аристократизмъ, его свѣтскость, неоспоримое превосходство надъ всѣмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни—все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дѣйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подго-

товить ее къ рѣшительному эффекту перваго свиданія съ Олѣгнымъ. И она увидала его, и онъ предсталъ предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрѣшимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщеніе для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія имѣетъ гораздо болѣе вліянія на сердце, нежели какъ думаютъ объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоитъ только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онѣ ваши; но есть женщины, которыхъ вниманіе мужчины можетъ возбудить къ себѣ только равнодушіемъ, холодною и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь, или какъ результатомъ мятежно и полно пережитой жизни: бѣдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Разговоръ Татьяны съ няней—чудо художественнаго совершенства! Это цѣлая драма, проникнутая глубокою истиной. Въ ней удивительно вѣрно изображена *русская* барышня въ разгарѣ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце!—сестрѣ?—она не такъ бы поняла его. Няня вовсе не пойметъ; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну—или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

.... „Разскажи мнѣ, няня,
Про ваши старые года:
Выла ты влюблена тогда?“ и т. д.

Вотъ какъ пишетъ истинно-народный, истинно-національный поэтъ! Въ словахъ няни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдѣлано великимъ поэтомъ одною чертой, вскользь, мимоходомъ брошенною!.. Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

— И, полно, Таня! Въ эти лѣта
Мы не слышали про любовь;
А то бы согнала со свѣта
Меня покойница-свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопочутъ о народности—и добиваются одной плошадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Олѣгину: порывъ наивный и благородный; но его источникъ не въ сознаніи, а въ бессознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ, когда она стала знатною барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всѣхъ русскихъ

читателей, когда появилась третья глава „Онѣгина“. Мы, вмѣстѣ со всѣми, думали въ немъ видѣть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли, и писалъ и читалъ это письмо. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то дѣтскостью, чѣмъ-то „романическимъ“. Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ нравственно-нѣмотствующей Татьянѣ; она не умѣла бы ни понять, ни выразить собственныхъ своихъ ощущеній, если бы не прибѣгла къ помощи впечатлѣній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою.

Все въ письмѣ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно и просто вмѣстѣ. Сочетаніе простоты съ истинною составляетъ высшую красоту и чувства, и дѣла, и выраженія...

Если бы мы вздумали слѣдить за всѣми красотами поэмы Пушкина, указывать на всѣ черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случаѣ ни нашимъ выпискамъ, ни нашей статьѣ не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно опѣнена публикою, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себѣ другую цѣль: раскрыть по возможности отношеніе поэмы къ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ предметъ нашей статьи—характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ—объясненіе Онѣгина съ Татьяною въ отвѣтъ на ея письмо. Какъ подѣйствовало на нее это объясненіе, понятно: всѣ надежды бѣдной дѣвушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себѣ для внѣшняго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горѣть тѣмъ упорнѣе и напряженнѣе, чѣмъ глуше и безвыходнѣе. Несчастіе даетъ новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онѣ любятъ свое горе, лелѣютъ свое страданіе, дорожатъ имъ, можетъ быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы онѣ своимъ счастьемъ, если бъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лѣсу нашего общества, гдѣ бы и скоро ли бы встрѣтила Татьяна другое общество, которое, подобно Онѣгину, могло бы поразить ея воображеніе и обратить огонь ея души на другой предметъ? Вообще, несчастная, нераздѣленная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явленіе довольно болѣзненное, причина котораго, по слишкомъ рѣдкимъ и, вѣроятно, чисто фізіологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія отъ фантазіи, падаютъ тяжело на сердце и терзаютъ его иногда еще сильнѣе, нежели

страданія, корень которыхъ въ самомъ сердцѣ. Картина глухихъ, никѣмъ не раздѣленныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главѣ съ удивительной истиною и простотою. Посѣщеніе Татьяною опустѣлаго дома Онѣгина (въ седьмой главѣ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всѣхъ предметахъ котораго лежитъ такой рѣзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозяина,—принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы и драгоценнѣйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посѣщеніе.

Въ Татьянѣ, наконецъ, совершился актъ сознанія: умъ ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человѣка интересы, есть страданія и скорби, кромѣ интереса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоятъ эти другіе интересы и страданія, и если поняла, послужило ли это ей къ облегченію ея страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, головою, потому что есть идеи, которыя надо пережить и душою и тѣломъ, чтобы понять ихъ вполнѣ, и которыхъ нельзя изучить въ книгѣ. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное впечатлѣніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотрѣть на страсти, какъ на гибель жизни, убѣдило ее въ необходимости покоряться дѣйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, во глубинѣ своей души, въ тиши уединенія, во мракѣ ночи, посвященной тоскѣ и рыданіямъ. Посѣщеніе дома Онѣгина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дѣвочки въ свѣтскую даму, которое такъ удивило и поразило Онѣгина. Въ предшествовавшей статьѣ мы уже говорили о письмѣ Онѣгина къ Татьянѣ и о результатѣ всѣхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онѣгинымъ. Въ этомъ объясненіи все существо Татьяны выразилось вполнѣ. Въ этомъ объясненіи высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокою натурой, развитою обществомъ,—все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной натуры, резонерство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродѣтели, подъ которою замаскирована рабская боязнь общественнаго мнѣнія, и хитрые силлогизмы ума, свѣтскою моралью парализовавшаго великодушныя движенія сердца... Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе.

Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбилъ ея тогда, какъ она была моложе и лучше и любила его! Вѣдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нѣмая деревенская дѣвочка съ дѣтскими мечтами—и свѣтская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрѣтшая слово для выраженія своихъ

чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мнѣнію Татьяны, она болѣе способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядѣ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ, что тогда она нашла со стороны Онѣгина одну суровость? „Вамъ была не новость смиренной дѣвочки любовь?“ Да это уголовное преступленіе—не подорожить любовью нравственнаго эмбриона!... Но за этимъ упрекомъ тотчасъ слѣдуетъ и оправданіе.

. *Но васъ
Я не очию...*

Основная мысль упрековъ Татьяны состоитъ въ убѣжденіи, что Онѣгинъ потому только не полюбилъ ея тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводитъ къ ея ногамъ жажда скандальной славы...

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепетъ за свое доброе имя въ большомъ свѣтѣ, а въ слѣдующихъ затѣмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрѣнія къ большому свѣту... Какое противорѣчіе! И чтѣ всего грустнѣе, то и другое истинно въ Татьянѣ...

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искренни, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любитъ свѣта и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свѣтѣ—его мнѣніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ея добродѣтелью...

*Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду такъ ему верна".*

Послѣдніе стихи удивительны—подлинно „конецъ вѣнчаетъ дѣло“! Этотъ отвѣтъ могъ бы итти въ примѣръ классическаго „высокаго“ (sublime), наравнѣ съ отвѣтомъ Меден: moi! и стараго Горация: qu'il mourût! Вотъ истинная гордость женской добродѣтели! „Но я другому отдана“,—именно *отдана*, а не *отдалась*.

Итакъ, въ лицѣ Онѣгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его развитія, и съ какою истинною, съ какою вѣрностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествѣ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшего и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извѣстно нашей публикѣ и такъ давно опѣнено ею по достоинству... Замѣтимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмѣ, вездѣ является такою прекрасною, такою гуманною, но въ то же время по-преимуществу артистическою. Вездѣ видите вы въ немъ человѣка, душою и тѣломъ принадлежа-

щаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ класса для него—вѣчная истина... И потому, въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ, во второй главѣ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ „Онѣгина“ многое устарѣло теперь. Но безъ этого, можетъ быть, и не вышло бы изъ „Онѣгина“ такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредѣленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществѣ такъ быстро развивающейся...

„Онѣгинъ“ писанъ былъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ,—и потому самъ поэтъ росъ вмѣстѣ съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интереснѣе и зрѣлѣе. Но послѣднія двѣ главы рѣзко отдѣляются отъ первыхъ шести: онѣ явно принадлежатъ уже къ высшей, зрѣлой эпохѣ художественнаго развитія поэта. О красотѣ отдѣльныхъ мѣстъ нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежатъ: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онѣгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послѣднихъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посѣщеніе Татьяною дома Онѣгина) какъ-то особенно выдается изъ всего глубиною грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступленія, дѣлаемые поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себѣ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмѣ онъ умѣлъ коснуться такъ многого, наметнуть о столь многомъ, что принадлежитъ исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! „Онѣгина“ можно назвать энциклопедіею русской жизни и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имѣла такое огромное вліяніе и на современную ей и на послѣдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и проводить съ собою новыя потребности, новыя идеи, пусть растетъ русское общество и обгоняетъ „Онѣгина“: какъ бы далеко оно ни ушло, но всегда будетъ оно любить эту поэму, всегда будетъ останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, своимъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ на душу читателя, лучше насъ высказываютъ то, что бы хотѣлось намъ высказать.

Х.

Борисъ Годуновъ.

Совершенно новая эпоха художнической дѣятельности Пушкина началась „Полтавою“ и „Борисомъ Годуновымъ“. Хотя первая вышла въ 1829 году, а послѣдній въ 1831 году,—тѣмъ не менѣе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что „Борисъ Годуновъ“ написанъ былъ гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ и Самозванцемъ, въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. „Полтава“, со стороны художественности, относится къ „Борису Годунову“, какъ стремленіе относится къ достиженію. Публика приняла „Полтаву“ холодно, нежели прежнія поэмы Пушкина; „Борисъ Годуновъ“ былъ принятъ совершенно холодно, какъ доказательство совершеннаго паденія таланта, еще недавно столь великаго, такъ много сдѣлавшаго и еще такъ много общавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у „Бориса Годунова“ были жаркіе поклонники; но какъ тогда, такъ и теперь число этихъ поклонниковъ было очень мало-численно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые виноваты? Тѣ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что, дѣйствительно, ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигалъ Пушкинъ до такой художественной высоты,—и ни въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ „Борисѣ Годуновѣ“. Эта пьеса для него была истинно Ватерлооскою битвой, въ которой онъ развернулъ во всей широтѣ и глубинѣ свой гений, и, несмотря на то, всетаки потерпѣлъ рѣшительное пораженіе.

Прежде всего скажемъ, что „Борисъ Годуновъ“ Пушкина—совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ. Дѣйствующія лица, вообще слабо очерченныя, только говорятъ, и мѣстами говорятъ превосходно; но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненныя высокой поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій. Это одинъ изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина.

А, между тѣмъ, Борисъ Годуновъ, можетъ быть, больше, чѣмъ какое-нибудь другое лицо русской исторіи, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формѣ,—для поэмы, въ которой такой поэтъ, какъ Пушкинъ, могъ бы развернуть всю силу своего таланта и избѣжать тѣхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ и въ эстетическомъ отношеніяхъ, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго зна-

ченія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину,—и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодѣемъ, котораго мучить совѣсть и который въ своемъ злодѣйствѣ нашелъ себѣ кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сдѣлать!..

Разгадать историческое значеніе и историческую судьбу Годунова, значить объяснить причину: почему Годуновъ, повидимому, столь любившій народъ и столь много для него сдѣлавшій, не былъ любимъ народомъ? Попытаемся объяснить этотъ вопросъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и нерѣшительность мѣръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совѣсти. Это взглядъ чисто-мелодраматическій, и въ историческомъ и въ поэтическомъ отношеніи, особенно въ при-мѣненіи къ такому необыкновенному человѣку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмѣ Пушкина, самъ Годуновъ объясняетъ причину народной къ себѣ ненависти такъ:

Живая власть для черни ненавистна—
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.

Это оправданіе—не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая рѣчь великаго человѣка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніи, раздосадованнаго неудачею. Нѣтъ, народъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатіи къ живой власти: его любовь, или его нелюбовь къ ней—высшій судъ! Гласъ Божій—гласъ народа!

Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ, послѣ самолюбія, самая сильная, самая свирѣпая—властолюбіе. Можно навѣрное сказать, что ни одна страсть не стоила человѣчеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвѣщенныя и у народовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно рѣшить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человѣкѣ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія у народовъ необразованныхъ властолюбіе имѣетъ другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ самохраненія: гдѣ, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что,—тамъ всякому вдвойнѣ хочется быть первымъ, чтобы никого не бояться, но всѣхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всѣхъ, или многихъ невозможно быть первымъ,—то право перваго естественнымъ ходомъ исторіи вездѣ утвердилось потомъ ственно въ одномъ родѣ, на основаніи права въ прошедшемъ, или преданія.

Время освятило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всѣхъ и у многихъ всякую возможность губить другъ друга и цѣлый народъ притязаніями на верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго Провидѣніемъ рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надъ всѣми по праву свыше, и равные между собою охотно повинуются высшему передъ всѣми ими. Но когда царствующій родъ прекращается, послѣ наслѣдственнаго владѣчества въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, и когда право высшей власти захватываетъ человѣкъ, вчера бывший равнымъ со всѣми передъ верховною властью, а сегодня долженствующій начать собою новую династію,—тогда, естественно, разнузывается у всѣхъ страсть властолюбія. Каждый думаетъ: если онъ могъ быть избранъ, почему же я не могъ? Чѣмъ онъ лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбецъ силою и хитростью заставлятъ молчать всѣхъ и все: страсти умоляютъ, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нѣтъ, въ отношеніи приобрѣтенія верховной власти, освященнаго вѣками права законнаго наслѣдія,—тому, чтобы заставить въ себѣ видѣть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всѣми, на право гения. Только на условіи этого права толпа согласится безусловно принять владѣчество человѣка, который, въ гражданскомъ отношеніи, еще вчера стоялъ наравнѣ съ нею. Было ли за Годуновымъ это право?—Нѣтъ!—И вотъ гдѣ разгадка его историческаго значенія и исторической судьбы: онъ хотѣлъ играть роль гения, не будучи гениемъ,—и за то палъ трагически и увлекъ за собою паденіе своего рода...

Такой человѣкъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояніе трагедіи. И что бы могъ сдѣлать Пушкинъ изъ своей поэмы, если бы взглянулъ на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дѣятельности ни проявился гений, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, вѣстникъ обновленія жизни. Его назначеніе—ввести въ жизнь новые элементы и, чрезъ это, двинуть ее впередъ, на высшую ступень. Явленіе гения—эпоха въ жизни народа. Гения уже нѣтъ, а народъ долго еще живетъ въ формахъ жизни, имъ созданной, долго—до новаго гения. Такъ, Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Іоаннѣ Калитѣ и утвержденное гениемъ Іанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ не гений въ исторіи, чье твореніе умираетъ вмѣстѣ съ нимъ: гений по пути исторіи пролагаетъ глубокіе слѣды своего существованія, долго послѣ своей смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человѣкъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умѣлъ попасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умѣнье объясняется отчасти ловко рассчитанною женитьбою на дочери палача, Малюты Скуратова. Въ этой чертѣ высказывается ловкій царь-

дворецъ, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человѣкъ сумѣлъ бы расчесть выгоды такого брака въ царствованіе Грознаго; но геній, можетъ быть, и не рѣшился бы на такой расчетъ, тая въ себѣ огромные замыслы на будущее: титулъ зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому народу, владыкою котораго впослѣдствіи сдѣлался Годуновъ. Повторяемъ: расчетъ тонкій, хитрый, но не геніальный; въ немъ виденъ придворный интриганъ, а не будущій великій государь... наслѣдникъ дѣлается зятемъ Годунова, а по смерти Грознаго—членомъ верховной думы,—и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бояръ, завѣщалъ блюсти царство. Никакія вѣдъмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его головѣ было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастье онъ могъ принять за лучшее изъ всѣхъ предсказаній! Онъ уничтожилъ верховную думу и официально былъ названъ правителемъ государства: только для вида подавалъ голосъ въ царской думѣ, но рѣшалъ всѣ дѣла самовластно, принималъ пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свитѣ цѣловать свою руку... На тронѣ сидѣлъ царь по имени, молчалиникъ и молещникъ въ сущности, который вручилъ своему родственнику и любимцу всю власть свою, „избывая мірскія суеты и докуки“... Чего недоставало Годунову?—только престола... И онъ достигъ его.

Какъ и правитель, и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ много ума и много способности, но нисколько генія. Въ томъ и другомъ случаѣ это былъ не больше, какъ умный и способный министръ, который съ успѣхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колеѣ, на основаніи сохраненія *statu quo*. Насильственная смерть царевича,—кто бы ни былъ ея причиною,—уже бросала на него тѣнь подозрѣнія въ глазахъ народа, и это подозрѣніе всѣми силами возбуждали и поддерживали враги его—бояре, которые, естественно, никакъ не могли простить ему присвоеніе того, на что каждый изъ нихъ считалъ себя въ точно такомъ же, какъ и онъ, правѣ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управлялъ не отъ своего имени. Подобная попытка могла бы разстроить всѣ его планы и погубить его. Но когда онъ сдѣлался царемъ,—тогда онъ непременно долженъ былъ явиться реформаторомъ-виждителемъ, чтобы заставить и народъ, и враговъ своихъ—бояръ, забыть, что еще недавно былъ онъ такимъ же, какъ и они, подданнымъ. Но что же онъ сдѣлалъ для Россіи, сдѣлавшись ея царемъ?—и какимъ царемъ—самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божія! Чего бы нельзя было сдѣлать съ такой властью, подкрѣпляемою геніемъ! Но и сдѣлавшись царемъ, Годуновъ остался тѣмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Θεодорѣ. Надъ окружающими его боярами онъ имѣлъ личныхъ преимуществъ не больше, какъ настолько, чтобы оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и посредствен-

ность, но не настолько, чтобы покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выраженію Пушкина, „морщившись передъ короною, какъ пьяница передъ чаркою вина“; онъ заставилъ себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживалъ какой-то ужасъ къ мысли о верховной власти, и долго заставлялъ себя умолять. Но эта комедія даже чересчуръ тонко была разыграна, и въ ней проглядываетъ не образъ великаго человѣка, который всегда прямо идетъ къ своей цѣли, даже и тогда, когда идетъ къ ней не прямой дорогой, а образъ „маленькаго великаго человѣка“, смѣлаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рѣшено, и вѣнчаніе осталось уже только обрядомъ, который не опасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запѣлъ „Te Deum“: въ этой поспѣшности виденъ великій человѣкъ, достигшій своей цѣли и принимающій власть не какъ нищій копейку, съ низкими поклонами, но съ увѣренностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сикстъ не началъ разсыпаться въ обѣщаніяхъ: буду-де таковъ-то и таковъ, сдѣлаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дѣлать, никому не угождая, ни къ кому не подлаживаясь и заставляя трепетать тѣхъ, которые никого не трепетали и которыхъ всѣ трепетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вѣнчаніи на царство, онъ клянется быть отцомъ народа, показываетъ свою рубашку, говоря, что всегда будетъ готовъ раздѣлить ее съ послѣднимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требовалъ отъ него этихъ обѣщаній и клятвъ? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезмѣрная радость о достиженіи давно желанной цѣли, если не благодарность, рожденная этой радостью—благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титуло не по достоинству, за высшую власть не по заслугѣ?.. Не такъ принимаетъ подобную власть гений, великій человѣкъ: онъ беретъ ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дѣлая обѣщаній, не давая клятвъ въ порывѣ дурно скрытаго восторга. Вскорѣ послѣ Годунова въ русской исторіи снова повторилось зрѣлище обѣщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій, въ благодарность за корону, которой онъ сознавалъ себя внутренно недостойнымъ, предлагалъ боярщинѣ права, которыхъ она отъ него не просила и взять не хотѣла... Но вотъ Годуновъ—царь. Ласкамъ народу нѣтъ конца, милости на всѣхъ льются рѣкой... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низшій и, слѣдовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нѣжная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь... Народъ долженъ бы былъ боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ всѣхъ бывшихъ до него царей рус-

скихъ... Въ такомъ случаѣ, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на стражѣ его стояла лучшая и надежнѣйшая изъ всѣхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій—любовь народная... и въ самомъ дѣлѣ, народъ славилъ царя благодушнаго, ласковаго, правосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова—и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головѣ только, а не въ сердцѣ: умъ и воображеніе народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борисъ удволяетъ свои благодѣянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянеть Бориса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, тѣнь убитаго царевича начала его преслѣдовать; Борисъ дѣлаетъ счастливый отпоръ наглomu нашествію на Россію крымскаго хапа, проникшаго до стѣнъ самой Москвы, а народъ говоритъ, что самъ Борисъ призвалъ хана, чтобъ отвратить общее вниманіе отъ смерти царевича и дешевою цѣною прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою; а когда маленькая царевна умерла, прошелъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобы Ѳеодоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Борисъ казнилъ зажигателей и помогъ погорѣвшимъ: а народъ обвинялъ его самого въ зажигательствѣ и жалѣлъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преслѣдовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ онъ выдумать—это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали бояре; но народъ ловилъ ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вѣнчаніе на царство ослѣпило народъ: и Борисъ и самъ народъ приняли удивленіе за любовь... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержалъ своей роли и сорвалъ съ себя маску, не имѣя силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собою Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ, это презрѣнный, подлый рабъ его—Семенъ Годуновъ. Лаская и награждая явно, онъ мучитъ и казнить тайно, и все по поводу слуховъ, все по подозрѣнію въ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умысловъ. Бѣльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаетъ снова, выщипавъ ему всю бороду по одному волоску,—какое татарское наказаніе!.. Тюрьмы были набиты биткомъ, шпионство сдѣлалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большею частью все умирали скоростижно: этотъ челоуѣкъ не умѣлъ быть даже тираномъ открыто, какъ Грозный, и тиранствовалъ во мракѣ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россіи; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабятъ и рѣжутъ безнаказанно; Борисъ строго наказываетъ скупщиковъ хлѣба, сыплетъ на народъ

деньгами, даетъ пріютъ голоднымъ и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ; строить башню Ивана Великаго, чтобы дать народу работу; словомъ, онъ честно, вѣрно исполняетъ свою клятву—дѣлить съ народомъ послѣднюю рубашку свою... И все напрасно, все тщетно!.. Пронесется слухи о Самозванцѣ; наконецъ, Самозванецъ уже поддерживается Польшею, идетъ въ Россію, къ нему передаются русскіе толпами; а Годуновъ ничего не дѣлаетъ, ничего не предпринимаетъ, онъ только собираетъ и жжетъ манифесты Самозванца и требуетъ отъ Шуйскаго клятвы, что царевичъ точно умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца—и палъ подъ его ударами. Подозрѣваютъ, что онъ отравилъ себя ядомъ: можетъ быть; но также можетъ быть, что онъ умеръ скоропостижно отъ страшнаго напряженія силъ, вслѣдствіе внутреннихъ волненій. Въ обоихъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извѣстіе о Самозванцѣ Годуновъ принялъ даже очень холодно: это можетъ служить доказательствомъ не одному тому, что онъ былъ увѣренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служитъ доказательствомъ, какъ мало былъ онъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положеніе. Онъ бы долженъ былъ знать, что тѣнь царевича самый ужасный врагъ его во всякомъ случаѣ, былъ онъ убійцею царевича, или нѣтъ: въ первомъ случаѣ эта тѣнь была его неизбежною карой за преступленіе; во второмъ она была превосходнымъ предлогомъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова, но если народъ не любилъ его—этого было уже слишкомъ достаточно, чтобы для народа преступленіе его было яснѣ дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличѣ съ матерью,—на него никто не обращалъ вниманія: вѣдь онъ былъ плодомъ седьмого брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждалъ ни участія, ни уваженія; Грозный хотѣлъ ее отослать отъ себя, жениться въ восьмой разъ, но смерть помѣшала ему выполнить это намѣреніе. Когда же царевичъ былъ убитъ, и народная ненависть запылала,—младенецъ, святой мученикъ, сдѣлался предметомъ народнаго благоговѣнія...

На всѣхъ дѣйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихъ, лежитъ печать отверженія. Всѣ дѣла его неудачны, неблагоприятны, потому что всѣ они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а расчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народъ не обманулъ ее и отвѣтилъ на нее ненавистью. Удивительное существо—народъ! Почти всегда невѣжественный, грубый, ограниченный, слѣпой,—онъ непогрѣшительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту—не болѣе, и кто не любитъ его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его—тотъ можетъ осыпать его деньгами, умирать за него,—онъ будетъ имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любитъ его не по расчету, а по внутренней ин-

стинктуальной потребности любить, тот может идти вопреки всем его желаниям,—и за это народ будет его осуждать, будет на него роптать, и в то же время будет любить его. Как Годунов служить живым доказательством первой истины, так Петр Великий служить живым доказательством второй. Он задумал страшную реформу; пошел наперекор духу, преданиям, истории, обычаям, привычкам народа,—и не только умнейшие из людей его времени имели полное право смотреть на его реформу, как на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазию, но, вероятно, и у него самого бывали горькие минуты сомнения и разочарования, когда и сам он думал то же. Реформа его встретила сильную оппозицию—не со стороны только мятежных стрельцов и невѣжественных раскольников: эта оппозиция была слишком бессильна перед его двойным правом действовать самовластно—правом наследства и правом гения; но и со стороны всего народа, которого с теплых полатей лѣни и невѣжества стащил он на труд живой и дѣятельный. Народ, повинаясь ему безусловно, осуждал его дѣйствія и ропталъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ и любилъ его до готовности отдать за него послѣднюю каплю своей крови... Между тѣмъ Петръ никогда не дѣлалъ ему обѣщаній, не давалъ клятвъ, но шелъ гордо и прямо, требуя повиновения, а не умоляя о немъ; но зато все обѣщанное народу Годуновымъ онъ исполнялъ на дѣлѣ, и еще гораздо лучше, потому что дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ не по расчету, а по влеченію сердца... Таковъ гений: затѣявъ дѣло, которое, по всемъ расчетамъ человѣческой мудрости, не могло не казаться безуміемъ, онъ доводитъ его до конца, торжествуя надъ всеми препятствіями... Въ чемъ состоитъ тайна этого успѣха?—въ творческой силѣ, присущей организму гения, какъ инстинктъ,—больше ни въ чемъ! Гений часто дѣйствуетъ инстинктивно, безумно, и всегда успѣваетъ,—между тѣмъ какъ талантъ рассчитываетъ вѣрно, соображаетъ тонко, дѣйствуетъ мудро,—все это видятъ и все одобряютъ его цѣль и средства, никто не сомнѣвается въ успѣхѣ,—а между тѣмъ, глядь—вся эта мудрость сама собою обратилась въ безуміе, и великолѣпное зданіе, воздвигавшееся съ такимъ трудомъ, очутилось карточнымъ домикомъ: дунулъ вѣтеръ—и нѣтъ его... Вотъ талантъ, который беретъ за роль гения!...

Борисъ Годуновъ не былъ человѣкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ, напротивъ, это былъ человѣкъ ума великаго, который цѣлою головою стоялъ выше своего народа. Борисъ былъ даже выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ рѣшился онъ выдать дочь за иностраннаго и иновѣрнаго принца; говорятъ, хотѣтъ и сына женить на иностранной принцессѣ; это повлекло бы Россію въ болѣе живыя и плодотворныя отношенія съ Европою, нежели въ какихъ она была съ нею до того времени, и потому имѣло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борисъ уважалъ просвѣщеніе, тщательно, сколько было въ его средствахъ,

воспитывалъ дѣтей своихъ, особенно сына; хотѣлъ основать въ Москвѣ университетъ, и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ понялъ необходимость опереться преимущественно на любовь народа, и показываетъ, какъ уменъ былъ этотъ несчастный любимецъ счастья. Но всѣ предпріятія его не состоялись именно потому (а не почему-нибудь другому), что у него были только умъ и даровитость, но не было гениальности,—тогда какъ судьба поставила его въ такое положеніе, что гениальность была ему необходима. Будь онъ законный, наслѣдный царь—онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить *statu quo*, улучшая, но не измѣняя его,—а для этого, и безъ гениальности, достало бы у него ума и способности—и онъ много сдѣлалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ выскочка (*ragueni*), и потому долженъ былъ быть гениемъ, или пастъ—и палъ... Ведя Русь по старой колеѣ, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колеѣ, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видѣла его бояриномъ прежде, чѣмъ увидѣла царемъ своимъ. Чтобъ утвердиться самому на престолѣ и упрочить его за своимъ потомствомъ,—ему надо преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, никакого принципа. Онъ былъ только умнѣе своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь, доказательство—его тиранія и борода Бѣльскаго... А между тѣмъ онъ чувствовалъ, что по его положенію ему необходимо быть преобразователемъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человекъ не гениальный, думалъ, что для этого достаточно только прибавить кое-что новаго. И вотъ онъ учреждаетъ въ Москвѣ патріаршій престолъ и сажаетъ на него не лучшаго, а преданнѣйшаго изъ духовныхъ лицъ, который и короновалъ его впоследствии. Это нововведеніе было совершенно въ духѣ того времени: новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видѣлъ за нимъ... Другое нововведеніе было еще болѣе въ современномъ ему духѣ, и потому самому было вредно для Россіи того вѣка и для новой Россіи, и гибельно для самого Годунова: мы говоримъ о томъ законѣ Годунова, который увѣковѣченъ русскою пословицей: „Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!“ Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражилъ обѣ стороны, которыхъ оно касалось—и помѣщиковъ, и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могутъ выгнать изъ своего помѣстья лѣниваго или развратнаго холопа, и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не дѣлаетъ, или за то, что онъ воруетъ или пьетъ. Вторые—говоря языкомъ римскаго права, изъ *personae* сдѣлались *res*. Значитъ, до Годунова у насъ не было крѣпостнаго сословія, и въ этомъ отношеніи не мы у Европы, а Европа у насъ могла бы съ большою для себя пользою позаимствоваться. Вмѣсто крѣпостнаго права, у насъ было только помѣстное право—право владѣть землею и обрабатывать ее руками пролетаріевъ, на свободныхъ съ ними условіяхъ,

обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ былъ такъ въ духѣ тѣхъ временъ, что утвердился и укоренился надолго—до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово „рабъ“ и измѣнившей положеніе этого сословія. И вотъ чѣмъ пережилъ себя Годуновъ въ потомствѣ...

У великаго человѣка и сердце великое. Идя своею дорогой и опираясь на свою силу, онъ ничего не боится; онъ разитъ своихъ враговъ, но не мститъ имъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дѣла, а не удовлетвореніе обиженнаго самолюбія. Петръ Великій умѣлъ карать враговъ своего дѣла, и умѣлъ прощать личныхъ враговъ, если видѣлъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дѣломъ личнаго мщенія, и онъ каралъ открыто, среди бѣлаго дня, но не отравлялъ во мракъ; принявъ публично доносъ, публично изслѣдовалъ дѣло и публично наказывалъ, если доносъ оказывался справедливымъ. Когда бунтъ стрѣлецкій заставилъ его воротиться изъ путешествія,—кровь стрѣльцовъ лилась рѣкою въ глазахъ грознаго царя, и онъ не боялся показаться тираномъ, потому что не былъ имъ. Не такъ дѣйствовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надѣясь ласкою и милостью обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятные о себѣ толки; но, видя, что это не дѣйствуетъ,—не вытерпѣвъ, и тогда настала эпоха террора, шпіонства, доносовъ, пытокъ и скоропостижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому онъ не могъ не мучиться подозрѣніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ и, наконецъ, не сдѣлаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замѣчательный, а не великій человѣкъ, умный и талантливый администраторъ, но не геній.

Итакъ, вѣрно понять Годунова исторически и поэтически,—значитъ понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ—виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или невиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, тогда какъ его положеніе непременно требовало отъ него геніальности. Это просто и ясно.

Отчего же не понять этого Пушкинъ? Или недостало у него художнической проницательности, поэтического такта?—Нѣтъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще, надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судилъ обо всемъ рускомъ: чтобы что-нибудь вѣрно оцѣнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдѣлать отъ себя и хладнокровно посмотреть на него, какъ на что-то чуждое себѣ, внѣ себя находящееся,—а Пушкинъ не всегда могъ дѣлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напримѣръ, онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря въ своихъ запискахъ о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждалъ одного

изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтоженіи мѣстничества. Первыми своими произведеніями онъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его „стишкахъ“, которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи,—нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипить, то силъ избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его „стишковъ“ скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ, что ему надо быть только художникомъ и больше ничѣмъ, ибо такова его натура, а, слѣдовательно, таково и призваніе его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, советуя ему лучше докончить „Илью Богатыря“, нежели приниматься за исторію Россіи, а кончилъ тѣмъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написалъ подъ вліяніемъ этого историка и посвятилъ „драгоценной для Россіи нѣ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, гениемъ вдохновенный“.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрѣлъ на Годунова глазами Карамзина и столько заботился объ истинѣ и поэзіи, сколько о томъ, чтобы не погрѣшить противъ „Исторіи Государства Россійскаго“? И потому его поэтический инстинктъ виденъ не въ цѣлости (l'ensemble), а только въ частностяхъ его трагедіи. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго злодѣя, мучимаго совѣстью, лишилось своей цѣлости и полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть, оно сдѣлалось мозаическою картиною или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не изъ одного цѣльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, мѣди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого Пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ человѣкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодѣемъ, и нѣтъ другого ключа къ этимъ противорѣчіямъ, кромѣ упрековъ виновной совѣсти... Отъ этого, за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы цѣлость и полноту всей трагедіи, „Борисъ Годуновъ“ Пушкина является чѣмъ-то неопредѣленнымъ и не производитъ почти никакого рѣзкаго, сосредоточеннаго впечатлѣнія, какого въ правѣ ожидать отъ нея читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотами, безпрестанно восхищающійся ея удивительными частностями.

И дѣйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается большими недостатками, то, съ другой стороны, она же блистаетъ и необыкновенными достоинствами. Первые выходятъ изъ ложности идеи, положенной въ основаніе драмы; вторыя—изъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ

будто не умѣлъ, если бы и хотѣлъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всѣхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ русскою литературой: до Пушкинскаго „Бориса Годунова“ изъ русскихъ читателей или русскихъ поэтовъ и литераторовъ имѣлъ ли кто-нибудь какое-нибудь понятіе о языкѣ, которымъ долженъ говорить въ драмѣ русскій человѣкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послѣ „Бориса Годунова“ явилась ли на русскомъ языкѣ хотя одна драма, содержаніе которой взято изъ русской исторіи и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всѣхъ этихъ „Ляпуновыхъ“, „Скопинныхъ-Шуйскихъ“, „Баторіевъ“, „Іоанновъ Третьихъ“, „Самозванцевъ“, „Царей-Шуйскихъ“, „Еленъ Глинскихъ“, „Пожарскихъ“, которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія наводнили русскую литературу и русскую сцену,—что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появившихся до Пушкинскаго „Бориса Годунова“: чего же можно и требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всѣхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послѣ „Бориса Годунова“? И не можно ли подумать скорѣе, что это нѣмецкія пьесы, только переложенныя на русскіе нравы? Словно гигантъ между пигмеями, до сихъ поръ высится между множествомъ квази-русскихъ трагедій Пушкинскій „Борисъ Годуновъ“ въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величіи строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикомъ похвалъ и удивленія на сцену въ кельѣ Чудова монастыря между отцомъ Пименомъ и Григорьемъ... Въ самомъ дѣлѣ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналѣ года за четыре или лѣтъ за пять до появленія всей трагедіи и которая тогда же надѣлала много шума,—эта сцена, въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподдѣльной и неподражаемой простотѣ, выше всѣхъ похвалъ. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда небывалое, никѣмъ не предчувствованное. Правда, Пимень ужъ слышеомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и потому чѣмъ болѣе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тѣмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: не русскому, да и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли—

..... Недаромъ многихъ лѣтъ
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
И книжному искусству вразумилъ:
Когда-нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;
Засѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду
И, пылъ въкося отъ хартий отряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ.

На старости я сызнова живу;
 Минувшее проходить предо мною...
 Давно ль оно неслось, событий полно,
 Волнуясь, какъ море-океанъ?
 Теперь оно безмолвно и спокойно:
 Не много лицъ мнѣ память сохранила,
 Не много словъ доходить до меня,
 А прочее погребло невозвратно!..

Ничего подобного не могъ сказать русскій отшельникъ-лѣтописецъ конца XVI и начала XVII вѣка; слѣдовательно, эти прекрасныя слова—ложь, но ложь, которая стоитъ истины: такъ исполнена она поэзіи, такъ обязательно дѣйствуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родѣ сказали Корнель и Расинъ—и, однакожъ, просвѣщеннѣйшая и образованнѣйшая нація въ Европѣ до сихъ поръ рукоплещетъ этой поэтической лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мѣста и нравовъ, есть истина относительно человѣческаго сердца, человѣческой природы. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотрѣть на свое призваніе, какъ лѣтописецъ, но если бы въ его время такой взглядъ былъ возможенъ, Пименъ выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены рѣшительно все, что можно осуждать, какъ ложь въ отношеніи къ русской дѣятельности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко вѣрно исторической истинѣ, какъ только могъ это сдѣлать лишь гений Пушкина—истинно-національнаго русскаго поэта. Какая, напримѣръ, глубоко вѣрная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да вѣдаютъ потомки православныхъ
 Земли родной минувшую судьбу,
 Своихъ царей великихъ поминають
 За ихъ труды, за славу, за добро—
 А за грѣхи, за темныя дѣянья
 Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще, въ этой сценѣ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорья; одинъ—идеаль безмятежнаго спокойствія въ простотѣ ума и сердца, какъ тихій свѣтъ лампы, озаряющей въ темномъ углу икону византійской живописи, другой—весь безпокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лѣтопись,—и въ это время рисуетъ идеаль историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнѣйшую поэтическую ложь.

Затѣмъ онъ рассказываетъ старцу о „бѣсовскомъ мечтаніи“, смущающемъ сонъ его.

Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій самозванецъ... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Въ двухъ монологахъ, Пимена и Григорія¹⁾,—факты глубоко-вѣрнаго, глубоко русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ.

Слѣдующій затѣмъ длинный монологъ Пимена о суетѣ свѣта и пренемуществѣ затворнической жизни—верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ! Ничья, никакая исторія Россіи не дастъ такого, яснаго живого созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсужденіе отшельника. Картина Іоанна Грознаго, искавшаго успокоенія „въ подобіи монашескихъ трудовъ“; характеристика Θεодора и разсказъ о его смерти,—все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до-Петровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себѣ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторіи, если ужъ должны писаться,—и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературѣ, потому что скоро ли можно дожидаться такого таланта, который послѣ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщѣ?.. А при этомъ еще нельзя не подумать, не истощилъ ли Пушкинъ своею трагедіею всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ событій историческихъ значило бы только—съ другими именами и названіями повторять одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно-однообразнымъ?

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоитъ изъ отдѣльных частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто независимо отъ цѣлаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ которой созданъ Шекспиромъ. Кромѣ превосходной сцены въ Чудовомъ монастырѣ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая—въ кремлевскихъ палатахъ между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически и поэтически вѣрно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая—сцена народа и дьяка Щелканова на площади; третья—въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патриархомъ и боярами. Въ этой сценѣ превосходно обрисовано добросовѣстное лицемѣрство Годунова,—въ томъ смыслѣ добросовѣстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всѣхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдѣ характеръ послѣдняго все болѣе и болѣе развивается; его слова—

Теперь не время помнить,
Совѣтую порой и забывать,—

¹⁾ Пимена—„Младая кровь играетъ“ и Григорія—„Какъ весело провелъ свои ты младость!“

такъ оригинальны, что должны современемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родѣ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патріархомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ трагедіи.

Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о цѣлой трагедіи: въ ней Борисъ является злодѣемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ неудачъ и оскорбленій на неблагодарность народа, и послѣ разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совѣсть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно-драматическіе злодѣи никогда не разсуждаютъ сами съ собою о невыгодахъ нечистой совѣсти и о пріятности добродѣтели. Въ сто этого они дѣйствуютъ, чтобы дойти до цѣли или удержаться у ней, если уже дошли до нея.

Седьмая сцена въ корчмѣ на литовской границѣ превосходна. Жаль только, что желаніе выказать рѣзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая—въ домѣ Шуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ.

Слѣдующая затѣмъ большая сцена представляетъ собою двѣ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примѣрный семьянинъ, нѣжный отецъ; онъ утѣшаетъ дочь, овдовѣвшую невѣсту, говоритъ съ сыномъ о сладкомъ плодѣ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно,—и Борисъ является въ этой сценѣ во всемъ свѣтѣ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленіи Самозванца. Странное волненіе, обнаруженное Борисомъ при этомъ извѣстіи, основано поэтомъ на виновной совѣсти Годунова,—и его поспѣшность къ рѣшительнымъ мѣрамъ противорѣчитъ исторической истинѣ: извѣстно, что Годуновъ вначалѣ принялъ слишкомъ слабыя мѣры противъ Отрепьева, вѣроятно, не считая его за опаснаго врага. Но если смотрѣть на эту сцену съ точки зрѣнія Пушкина, въ ней много драматическаго движенія, много страсти. Борисъ въ страшномъ волненіи, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что волненіе можетъ ему стоять головы, ни на минуту не перестаетъ быть придворною лисой.

Сцена въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и іезуитомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы: „сыны Славянъ“, некстати вложенной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдѣ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ не представляютъ никакихъ особенно рѣзкихъ чертъ.

За маленькою, но прелестною сценой въ замкѣ Мишка въ Самборѣ,

слѣдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удалцомъ, который готовъ забыть все дѣло для любви, а Марина—холодною, честолюбивою женщиной. Вообще, эта сцена очень хороша, но въ ней какъ будто чего-то недостаетъ, или какъ будто проглядываютъ какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тѣмъ не менѣ производятъ на читателя не совсѣмъ выгодное для сцены впечатлѣніе. Кажется, не превеличилъ ли поэтъ любовь Самозванца къ Маринѣ, не сдѣлалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человѣка какую-то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сценѣ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты. Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариною въ самозванствѣ совершенно въ его характерѣ, пылкомъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но рѣшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманнѣйшій планъ; совершенно въ его характерѣ и мгновенныя порывы животной чувственности, но едва ли въ его характерѣ человеческое чувство любви къ женщинѣ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценѣ.

Сцена на литовской границѣ между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламации, выдаваемой за паеость, что трудно повѣрить, чтобы она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патриархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее иначе, она покажется искусственною, и потому ложною. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшія черты: это—рѣчь патриарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи стараго пастуха отъ слѣпоты. Вторая черта—ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патриарха.

Сцена на равнинѣ, близъ Новгорода-Сѣверскаго очень интересна своею живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрою смѣсю языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на Кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрѣнія на виновную совѣсть Бориса. Въ сценѣ подъ Сѣвскомъ Самозванецъ обрисованъ очень удачно.

Въ сценѣ въ царскихъ палатахъ между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свѣтѣ. Годуновъ собирается уничтожить мѣстничество (!!). Басмановъ этому, разумѣется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно рѣшаетъ:

Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ:
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо;
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его „высокимъ державнымъ духомъ“, желаетъ ему поскорѣе управиться съ Отрепьевымъ, чтобы потомъ „сломить рогъ родному боярству“. Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послѣднія наставленія своему наслѣднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?—Изъ нихъ замѣчательно только одно:

Не измѣняй теченія дѣлъ. Привычка—
Душа державъ...

Въ этомъ, какъ во всемъ остальномъ, что говоритъ умирающій Годуновъ своему сыну, виденъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если бы престолъ достался ему по праву наслѣдія,—но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобы усидѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонѣ лобнаго мѣста: „вязать Борисова щенка!“ ужасенъ; это голосъ всего народа или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремѣнно хотѣлъ тутъ выразить голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ злодѣя, царевубійцы... Можетъ быть, это было такъ, но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болѣе трагическое лицо—царевубійца, наказанный за злодѣянія, или достойный человѣкъ, падшій за недостаткомъ гениальности? Трагическое лицо непремѣнно должно возбуждать къ себѣ участіе. Самъ Ричардъ III—это чудовище злодѣйства; возбуждаетъ къ себѣ участіе исполнскою мощью духа. Какъ злодѣй, Борисъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого участія, потому что онъ злодѣй мелкій, малодушный; но какъ человѣкъ замѣчательный, такъ сказать, увлеченный судьбою взять роль не по себѣ, онъ очень и очень возбуждаетъ къ себѣ участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіи. Когда Мосальскій объявилъ народу о смерти дѣтей Годунова,--„народъ въ ужасѣ молчитъ“... Отчего же онъ молчитъ? развѣ не самъ онъ хотѣлъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ онъ кричалъ: „вязать Борисова щенка“?... Мосальскій продолжаетъ: „Что жъ вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Дмитрій Ивановичъ!“—„Народъ безмолвствуетъ“.

Это—послѣднее слово трагедіи, заключающее въ себѣ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный трагическій голосъ Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвой—надъ тѣми, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

Повѣсти Гоголя.

Задача реальной поэзіи въ томъ состоитъ, чтобы извлекать поэзію жизни изъ прозы жизни и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія г. Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“: что въ нихъ? Двѣ пародіи на человѣчество, въ продолженіе нѣсколькихъ дѣсятковъ лѣтъ, пьютъ и ѣдятъ, ѣдятъ и пьютъ, а потомъ, какъ водится изстари, умираютъ. Но отчего же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смѣетесь надъ ними, но безъ злости. И потомъ, вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который, можетъ быть, никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, слѣдовательно, очень вѣрно; оттого, что авторъ нашелъ поэзію и въ этой пошлой и нелѣпой жизни, нашелъ человѣческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героевъ: это чувство—привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о которомъ Пушкинъ сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана:
Замѣна счастья она.

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ, гробомъ своей жены, съ которою сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой вы жили много лѣтъ, къ которой вы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которою у васъ соединяются воспоминанія о простой однообразной жизни, о живомъ трудѣ и сладкомъ досугѣ и, можетъ быть, о нѣсколькихъ сценахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человѣческой. Холодному сыну земли, сыну заботъ и промысловъ житейскихъ замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный даръ Провидѣнія, единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что она для человѣка въ полномъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? И онъ платитъ ей свою дань, и онъ прилѣпляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ, и горько страдаетъ, лишаясь ихъ! И что же еще? Г. Гоголь сравниваетъ ваше глубокое, человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть съ чувствомъ привычки жалкаго полу-

человѣка и говорить, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите передъ нимъ потупя глаза и не зная, что отвѣчать, какъ ученикъ, не знающій урока передъ своимъ учителемъ!... Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣйшихъ нашихъ чувствъ! О бѣдное человѣчество! жалкая жизнь! И однакожъ вамъ все-таки жалъ Аеанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли! О, г. Гоголь истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ я сердить на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ г. Гоголя тѣсно соединяется съ простотою вымысла. Онъ не льститъ жизни, но и не клеветаетъ на нее; онъ радъ выставить наружу все, что есть въ ней прекраснаго, человѣческаго, и, въ то же время, не скрываетъ нисколько ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту, въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной фізіономіи богатыря Бульбы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, съ люлькою въ зубахъ и саблею въ рукахъ, до стоическаго философа Хомы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, даже чертей и вѣдьмъ, когда у него люлька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

Скажите, Бога ради, можно ли язвительнѣе, злобнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнѣе и любезнѣе наругаться надъ бѣднымъ человѣчествомъ?.. И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ, посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды: „Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь и т. д.

Замѣчаете ли вы здѣсь всю тонкость Аеанасія Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги. „Послѣ этого Аеанасій Ивановичъ сѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріею Ивановной“.

Какъ вы думаете объ этомъ? По моему, такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшки Аеанасія Ивановича надъ своею сожительницею касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ, или, что еще ужаснѣе, касательно еще намѣренія итти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада и, наконецъ, чувство самодовольствія, испытываемое Аеанасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось подшутить надъ своею дражайшею половиной! О, эти картины, эти черты—суть такіе драгоценные перлы поэзіи, въ сравненіи съ

которыми всё прекрасныя фразы нашихъ доморожденныхъ Бальзаковъ на-
стоящій горохъ... И все это не придумано, не списано съ разсказовъ или
съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ, въ минуту поэтическаго откро-
венія! Если бы я вздумалъ выписывать всё мѣста, доказывающія, что г.
Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно воспроизвелъ ее, то мнѣ
пришлось бы списать почти всё его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слиш-
комъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не до-
стоинство, а необходимое условіе истинно художественнаго произведенія,
если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ,
обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны.
Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ,
формахъ; слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. На-
родность, чтобы отразиться въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ та-
кого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ.
Поэту стоитъ только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она
уже усвоена имъ. Какъ малороссу, г. Гоголю съ дѣтства знакома жизнь
малороссійская, но народность его поэзіи не ограничивается одною Мало-
россіей. Въ его „Запискахъ сумасшедшаго“, въ его „Невскомъ проспектѣ“
нѣтъ ни одного хохла,—все русскіе и, вдобавокъ, еще нѣмцы; а каково изо-
бражены имъ эти русскіе и эти нѣмцы!

Оригинальность у Гоголя состоитъ въ комическомъ одушевленіи, всегда
побѣждаемомъ чувствомъ глубокой грусти. Въ этомъ отношеніи русская по-
говорка: „началь во здравіе, а свель за упокой“, можетъ быть девизомъ
его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у васъ, когда пере-
смотрите вы всё эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея на-
готѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда до-сыта нахохочетесь, на-
ругаетесь надъ нею? Я уже говорилъ о „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“—
объ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите „Записки
сумасшедшаго“, этотъ уродливый гротескъ, эту странную, прихотливую
грезу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнью и человѣкомъ,
жалкою жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту карикатуру, въ которой такая
бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни,
изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глу-
бокости, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но
уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, ко-
торого бредъ и смѣшить и возбуждаетъ состраданіе. Повѣсть о „Ссорѣ
Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, съ этой стороны, всего
удивительнѣе. Въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ вы видите людей пу-
стыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но, по крайней мѣрѣ, добрыхъ и радуш-
ныхъ; ихъ взаимная любовь основана на одной привычкѣ: но вѣдь и при-
вычка все же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привы-

занность, на чемъ бы она ни основывалась, достойна участія, слѣдовательно, еще понятно, почему вы жалѣете объ этихъ старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ существа совершенно пустыя, ничтожныя и притомъ нравственно гадкія и отвратительныя, ибо въ нихъ нѣтъ ничего человѣческаго; зачѣмъ же, спрашиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до траги-комической развязки? Вотъ она, эта тайна поэзіи! вотъ онѣ, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздыхать!..

Комизмъ или юморъ Гоголя имѣетъ свой особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простакомъ. Гоголь съ важностью говоритъ о бекахъ Ивана Ивановича, и иной простакъ не шутя подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нѣтъ такой прекрасной бекеши. Да, Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его ироніи, но эта иронія чрезвычайно какъ идетъ къ нему. Впрочемъ, это только манера, а истинный-то юморъ Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь и, прибавлю еще, нисколько не зависитъ отъ карикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіею описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить „Тарасъ Бульба“, эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлою и широкою, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчествующаго народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзною волей; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и въ то же время дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по мѣстамъ смѣшивать васъ своимъ героемъ. Вы содрагаетесь Бульбы, хладнокровно лишающаго мать дѣтей, убивающаго собственною рукой родного сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризнь надъ гробомъ дѣтей, и вы же смѣетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки съ своимъ сыномъ, пьющимъ горѣлку съ своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъясляющимъ свое удовольствіе, что ихъ добре пороли въ бурсѣ. И причина этого комизма, этой карикатурности изображеній заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если Гоголь часто и съ умысломъ подшучиваетъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердится на нее; онъ даже какъ будто любитъ ее, какъ любитъ взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которыя для него смѣшны своею наивностью, но которыхъ онъ не имѣетъ желанія раздѣлить. Но, тѣмъ не менѣе, это все-таки юморъ, ибо не щадитъ ничтожества, не скрываетъ и не скрашиваетъ его безобразія, ибо, плѣняя изображеніемъ этого ничтожества,

возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Это юморъ спокойный и, можетъ быть, тѣмъ скорѣе достигающій своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ правоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему дѣла нѣтъ до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ „Горя отъ ума“ я не знаю ничего, на русскомъ языкѣ, что бы отличалось такою чистѣйшею нравственностью и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благотѣльнѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти Гоголя. О, предъ такою нравственностью я всегда готовъ падать на колѣна! Въ самомъ дѣлѣ, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него. Однакожъ, не забудьте, что такіа изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, слѣдовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

Итакъ, юморъ Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ.

Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими „Вечерами на хуторѣ“. Это были поэтическіе очерки Малороссіи, очерки полные жизни и очарованія. Все, что можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ—обольстительнаго, все что народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типическаго,—все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ герояхъ Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упоительная, какъ поцѣлуй любви... Читайте вы его „Майскую ночь“, читайте ее въ зимній вечеръ у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ съ ея морозами и метелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословеннаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго пляшутъ вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производитъ на воображеніе „Сонъ въ лѣтнюю ночь“ Шекспира. „Ночь предъ Рождествомъ Христовымъ“ есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его жизни. „Страшная месть“ составляетъ теперь pendant къ „Тарасу Бульбѣ“, и обѣ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ Гоголя. Но я никогда

бы не кончилъ, если бы сталъ разбирать „Вечера на хуторѣ“. „Арабески“ и „Миргородъ“ носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія, и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ нравахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Мы, москальи, и не подозревали ея!.. „Невскій проспектъ“ есть созданіе столь же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о-бокъ другъ другу. На одной сторонѣ этой картины бѣдный художникъ, безпечный и просто-душный, какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которое могло производить только его художническое воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣетъ дохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ея, но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно; онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку—и „кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами и обрисованными ножницами, блестяла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ“. Задыхаясь отъ упоенія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входитъ за нею въ третій этажъ большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все такъ же прекрасная, очаровательная, она смотритъ на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: „Ну! что же ты?..“. Онъ бросается вонъ. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоценнаго перла нашей поэзіи, второго и единственнаго послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь Гоголь поетъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того въ этомъ дивномъ снѣ дѣйствительность и поэзія, реальное и фантастическое, такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, оборваннаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совѣтниковъ: онъ толкается между ними, уничтожающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, и они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрятъ на нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! и какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ, точно, не живетъ въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ, въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ принести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою.... „А я только что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна“—это говоритъ ему она, все такъ же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно ли было жить даже и въ грезахъ?.. И нѣтъ художника,

онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не зналъ, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной, страдальческой душѣ...

На другой сторонѣ этой картины вы видите Пирогова и Шиллера; того Пирогова, о которомъ я уже говорилъ, того Шиллера, который хотѣлъ отрѣзать себѣ носъ, чтобы избавиться отъ излишнихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ швабскій нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи; того Шиллера, который „еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое русскій живетъ на фѹфу, измѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ 50 тысячъ, и у котораго это было такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово“; наконецъ, того Шиллера, который „положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ“. Чего вамъ еще? Тутъ весь человѣкъ, вся исторія его жизни!..

А Пироговъ?.. О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, съ которою онъ составляетъ такую отличную пару, его ссору и отношенія съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматическаго Отелло, помните, какимъ негодованіемъ, какою жаждою мести закипѣло сердце поручика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ съѣденныхъ кондитерскихъ пирожковъ и прочтенія „Пчелы“?.. Чудные пирожки! Чудная „Пчела“! Пискаревъ и Пироговъ—какой контрастъ! Оба они начали, въ одинъ день, въ одинъ часъ, преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ нихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ! Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!.. Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ!

„Портретъ“ есть неудачная попытка Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго о живописи, потомъ эту мать, которая привела къ Чертекову свою дочь, чтобы снять съ нея портретъ, и которая бранитъ балы и восхищается природою,—и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно

ничего не стоит; въ ней совсѣмъ не видно Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается Гоголю, и мы вполне согласны съ мнѣніемъ г. Шевырева, который говоритъ, что „ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопредѣленность; если же вы въ призракѣ умѣете разглядѣть слизистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое“. Но зато картины малороссійскихъ нравовъ, описаніе бурсы (впрочемъ немного напоминающее бурсу Нарѣжнаго), портреты бурсаковъ, и особенно этого философа Хома, философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О несравненный *Dominus* Хома! какъ ты великъ въ своемъ стоицистическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты перенѣлся горя и страха; ты чуть не попался въ когти къ чертямъ, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на днѣ которой схоронена твоя храбрость и твоя философія; ты на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстяхъ машешь рукою и говоришь: „Много на свѣтѣ всякой дряни водится!“ у тебя половина головы посѣдѣла въ одну ночь, а ты оттопыриваешь трепака, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюютъ и восклицаютъ: „Вотъ это какъ долго танцуетъ человекъ!“ Пусть судить всякій, какъ хочетъ, а по мнѣ такъ философъ Хома стоитъ философа Сквороды! Потомъ, помните ли вы невольное путешествіе философа Хома, помните ли попойку въ шинкѣ, этого Дороша, который нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непременно узнать, чему учатъ въ бурсѣ (шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что „все должно оставить такъ, какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно“, и, наконецъ, этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглымъ сиротою... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ „обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка?“ А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? а портретъ пана сотника?.. и кто перечтетъ?.. Нѣтъ, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтеніе Хома въ церкви, возстаніе красавицы, явленіе Вія—безподобны.

Я еще мало говорилъ о „Тарасѣ Бульбѣ“, и не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо, въ такомъ случаѣ, у меня вышла бы еще статья, не менѣе самой повѣсти... „Тарасъ Бульба“ есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!.. Если говорятъ, что въ „Иліадѣ“ отражается вся жизнь греческая въ ея героическій періодъ, то развѣ однѣ пѣтики и реторики прошлаго вѣка за-

претать сказать то же самое и о „Тарасѣ Бульбѣ“ въ отношеніи къ Малороссіи XVI вѣка?.. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество, съ его странною цивилизаціею, его удалою, разгульною жизнію, его безпечно-стію и лѣнью, неутимимостью и дѣятельностію, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?.. Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинѣ, чего недостаетъ къ ея полнотѣ? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба съ своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцевъ, дружно отдирающая на площади трепака; этотъ казакъ, лежащій въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогому платью, которое на немъ надѣто, и какъ бы вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто бы осмѣлился дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витіеватую рѣчь о необходимости войны съ бусурманами, потому что „многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейдетъ“; эта мать, которая является какъ бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казацкой жизни... А жида и ляхи, а любовь Андрія и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа? И какая повѣсія энергическая, могучая, какъ эта Запорожская Сѣчь, „то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украину“!..

Что еще сказать вамъ? можетъ быть, вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ: что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять другихъ чувствовать и понимать его! Если одни изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: „это правда“ или, по крайней мѣрѣ, „во всемъ этомъ есть и правда“; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобранныя въ ней сочиненія—мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Что такое г. Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него,—отъ него, еще только начавшаго свое поприще, и какъ начавшаго! Не мое дѣло раздавать вѣнки безсмертія поэтамъ, осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что г. Гоголь поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово „поэтъ“ потеряло свое значеніе: его смѣшали съ словомъ „писатель“. У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. Поэтъ—высокое и святое слово, въ немъ заключается неумирающая слава! Но дарованіе имѣетъ свои степени; Козловъ, Жуковский, Пушкинъ, Шиллеръ—эти люди поэты, но равны ли они? Развѣ не спорятъ еще и теперь, кто выше: Шиллеръ или Гете? Развѣ общій голосъ не называлъ Шекспира царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, зани-

маемую художникомъ въ кругу своихъ собратій. Но г. Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно, наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ; онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени рѣшить, чѣмъ и какъ кончится поприще г. Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сіялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это—лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви—сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную красоту—сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи—это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описаніе безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! какой разгулъ чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ описаніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у г. Гоголя!..

Въ одномъ журналѣ было изъявлено странное желаніе, чтобы г. Гоголь попробовалъ своихъ силъ въ изображеніи высшихъ слоевъ общества: вотъ мысль, которая въ наше время отзывается ужаснымъ анахронизмомъ! Какъ! неужели поэтъ можетъ сказать себѣ: дай опишу то или другое, дай попробую себя въ томъ или другомъ родѣ?.. И притомъ, развѣ предметъ дѣлаетъ что-нибудь для достоинства сочиненія? Развѣ это не аксіома: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія? Но мои „развѣ“ никогда бы не кончились, если бы я захотѣлъ высказать ихъ всѣ, безъ остатка. Нѣтъ, пусть г. Гоголь описываетъ то, что велитъ ему описывать его вдохновеніе, и пусть страшится описывать то, что велятъ ему описывать или его воля, или гг. критики. Свобода художника состоитъ въ гармоніи его собственной воли съ какою-то внѣшнею, независящею отъ него волей, или, лучше сказать, его воля есть вдохновеніе!..

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая „Тараса Бульбу“; вы смѣетесь и хохочете, читая курьезную „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“: отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того же художника?—Отъ сущности дѣйствительности, воссозданной въ томъ и въ другомъ, оттого, что первая изображаетъ положеніе жизни, а другое—ея отрицаніе. Что такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политическаго общества въ извѣстную эпоху жизни. Что вы видите въ этой поэмѣ? что особенно поражаетъ васъ въ ней? Обще-

ство, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалыхъ головъ, бѣжавшихъ кто отъ нищеты, кто отъ родительскаго проклятiя, кто отъ меча закона, и между тѣмъ общество, имѣющее одинъ общій характеръ, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь?— въ православiи?—но оно такъ безтребовательно, такъ ограничено и бѣдно въ своей сущности, что мало походитъ на религiю.—„Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшiй являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: „Здравствуй. Что—во Христа вѣруешь?“—Вѣрую!—отвѣчалъ приходившiй. „И въ Троицу святую вѣруешь?“—Вѣрую!—„И въ церковь ходишь?“—Хожу.—„А ну, перекрестись“. Пришедшiй крестился. „Ну, хорошо“, отвѣчалъ кошевой: „ступай же въ который самъ знаешь курень“. Этимъ оканчивалась вся церемонiя.—Нѣтъ, тутъ была другая, сильнѣйшая связь; это удалство, которому жизнь—копейка, голова—наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ, людей, кипящихъ избыткомъ исполнскихъ силъ,—жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствiемъ и праздною; что же лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикiй духъ человѣка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полу-дикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удалство, во время войны, и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но такъ много поэтическаго; оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ размахомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской Сѣчи, „того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкiе, какъ львы“, и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ этой жизни, идеи этого народа, апофеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всѣ люди полудикой гражданственности, онъ любитъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные рыцари, и онъ не любилъ бы и презиралъ бы дочерей своихъ, если бы имѣлъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ человѣкѣ, если онъ не годится въ рыцари. Онъ былъ христiанинъ и православный по преданiю, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ: рѣдко видѣлъ церковь Божию, и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственными страстями, а не религiю—и между тѣмъ зарѣзалъ бы родного сына за малѣйшее слово противъ религiи, и фанатически ненавидѣлъ басурмановъ. Онъ любилъ свою родную Украину и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удалаго казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой настоящiй сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выпечатлѣлся на его полудикой физиономiи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ смѣшалъ съ личною ненавистью, и когда къ этому присоединился дикiй фанатизмъ отвлеченной религiозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ по-

ляковъ, представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стоновъ и зарева пылающихъ городовъ, селъ, монастырей и костеловъ... Это лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими—комизмъ чисто внѣшній. Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресерььзно совѣтуетъ ему тузить всякаго такъ, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнъ, потянувшись за грошевою люлькой; но вы содрогаетесь, только еще видя, что онъ, въ яростной битвѣ, приближается къ оторопѣвшему сыну—сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу, но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздается этотъ комическій вопросъ: „что, сынку?“; но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное умиленіе желѣзнаго характера, въ словахъ Бульбы: „Чѣмъ бы не казакъ былъ?—и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою—пропалъ, пропалъ безъ славы!“... А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы польки, по мнѣнію его, чарами погубившей его сына, и потомъ—это море крови и пожаровъ, объявшее враждебный край и, среди его, грозная фигура стараго фанатика, совершавшаго страшную тризну въ память сына; наконецъ, это омертвѣніе могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерю обоихъ сыновей: „Неподвижный сидѣлъ онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: „Останъ мой, Останъ мой!“ Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усь его серебрился и слезы капали одна за другою... А это безконечно-знаменательное: „слышу, сынку!“ и эта вторая страшная тризна мщенія за второго сына, кончившаяся смертью мстителя, и какою смертью!—привязанный желѣзною цѣпью къ стоячему бревну, съ пригвожденною рукой кричалъ онъ своимъ „хлопцамъ“, что имъ надо дѣлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъяслялъ свой восторгъ отъ ихъ удалства и проворства... Видите ли: у этого человѣка была идея, которою онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите ли: онъ не пережилъ ея, онъ умеръ вмѣстѣ съ нею... Для нея убилъ онъ собственною рукой милаго сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душѣ жила одна идея, и всѣ другія были ему недоступны, враждебны и ненавистны.

Совсѣмъ другой міръ представляетъ намъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это міръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязная дѣйствительность. Но какимъ же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественнаго произведенія, и не унижилъ ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонеры, которымъ доступна одна внѣшность, а не мысль, отвѣтятъ намъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явленій (эти

списки—суть призраки), но идеалы, для того перешедшіе въ дѣйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ былъ выраженіемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда безконечнаго множества явленій одной идеи и, будучи въ этомъ значеніи общимъ, былъ бы въ то же время единственнымъ—живою, замкнутою въ самой себѣ особностью. Всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло—она оскорбляетъ человѣческое, эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія и теряетъ свою случайность.

Изображая отрицательныя явленія жизни, поэтъ нисколько не думаетъ писать сатиры. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ дѣлаетъ это совсѣмъ не скрѣпя сердце, какъ думаютъ многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія. Поэтъ не можетъ ненавидѣть свои изображенія, каковы бы они ни были; напротивъ, скорѣе онъ ихъ любитъ, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идеєю.

Были два пріятеля-сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича—были они искренними друзьями, и вдругъ сдѣлались страшными врагами, и прожили все свое имѣніе, стараясь дохватъ другъ друга судомъ. А отчего? Стоить провести по нѣскольку чертъ характера каждого—и вы поймете причину этого страннаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человѣкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчевалъ кого-нибудь знакомаго табакомъ, то говорилъ: „Смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?“ А если незнакомаго, то: „Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имя и отчества, объ одолженіи?“ Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ въ одной рубашкѣ только послѣ обѣда, а вечеромъ надѣвалъ бекешу, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, съѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена и надписывалъ: „Сія дыня съѣдена такого-то числа“, а если при этомъ былъ гость, то: „участвовалъ такой-то“. Присовокупите къ этому портрету страшную скупость и высокую цѣну, придаваемую земнымъ благамъ,—и Иванъ Ивановичъ весь передъ вами. Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего друга толстотою и любилъ употреблять въ разговорѣ непристойныя слова, къ крайнему неудобствію достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставять на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатѣ лежать въ натурѣ, и когда потчевалъ кого изъ своей табакерки табакомъ, то просто говорилъ: „одолжайтесь“. Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведеніи

художника, но случайную, бессмысленную и глупо-животную въ дѣйствительности. Оба героя—призраки (въ томъ смыслѣ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дѣлаютъ, есть призракъ, пустота, бессмыслица. Въ ихъ характерахъ уже лежитъ, какъ необходимость, ихъ ссора. Ивану Ивановичу захотѣлось имѣть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачѣмъ?—не спрашивайте: онъ самъ этого не знаетъ. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чѣмъ-нибудь наполнить свою праздную пустоту, потому что пустота, вслѣдствіе праздности, тяжка и мучительна для всякаго человѣка, какъ бы ни былъ онъ пошлъ. Иванъ Никифоровичъ, по такой же причинѣ, не хотѣлъ уступить ему своего ружья, хотя тотъ и общалъ ему за него приличное вознагражденіе—бурю свинью и мѣшокъ гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи человѣка, назвалъ его—о, ужасъ!—гусакомъ...

Великая, безконечно великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ! Если бы поэтъ причиною ссоры сдѣлалъ дѣйствительно оскорбительныя ругательства, пощечину, драку—это испортило бы все дѣло. Нѣтъ, поэтъ понялъ, что въ мірѣ призраковъ, которому онъ давалъ объективную дѣйствительность, и забавы, и занятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорбленіе—все призрачно, бессмысленно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: нѣтъ, природа справедлива къ людямъ—она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и отъ природы были небожкіе люди, но и имъ нашлась бы своя ступенька на безконечной лѣстницѣ человѣческой и гражданской дѣятельности; они могли бы быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстечкомъ въ цѣпи явленій духа, свою благообразность формы; но воспитаніе, животная лѣнь, праздность, невѣжество—вотъ что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотятъ примирить и почти было успѣли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичъ полезъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать „одожайтесь“, но вдругъ лукавый дернулъ его замѣтить, что не стѣбитъ сердиться изъ пустого слова „гусака“. Видите ли: если бы онъ гусака замѣнилъ птицею или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями, но роковое слово было сказано, и снова прадѣдовскіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ карманы подъячихъ, и имѣніе, вѣншее и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ убѣлились сѣдиною, и поэтъ восклицаетъ: „Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“ Да! грустно думать, что человѣкъ, этотъ благороднѣйшій сосудъ духа, можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ, даже и не подозрѣвая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!..

Р е в и з о р ь.

Посмотримъ, какимъ образомъ комедія можетъ представлять собою особый замкнутый въ самомъ себѣ міръ; для чего бросимъ бѣглый взглядъ на высоко-художественное произведеніе въ этомъ родѣ,—на комедію Гоголя „Ревизоръ“.

Въ основаніи „Ревизора“ лежитъ идея отрицанія жизни, идея призрачности, получившая, подъ его художническимъ рѣзцомъ, свою объективную дѣйствительность. Въ „Ревизорѣ“ мы видимъ пустоту, наполненную дѣятельностью мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведеніе его было художественно, т.-е. представляло собою особый, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся цѣлостность ихъ жизни, ея значенія, сущность, идея, начало и конецъ: это—ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ комедію. На что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ ученъ на мѣдныя деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрѣтенія ихъ—взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностью и богатствомъ, лманье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣтите, что въ немъ это не развратъ, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно, обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно, долженъ дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ея благосостояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головою, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ пошлыхъ людей: „не я первый, не я послѣдній; всѣ такъ дѣлаютъ“. Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обратилось въ правило нравственности; онъ почелъ бы себя выскочкою, самолюбивымъ гордецомъ, если бы, хотя позабывшись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть „выскочкою“: всѣ пальцы устанутъ на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ; нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобы бороться съ обществен-

нымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ, этой магической фразой „всѣ такъ дѣлаютъ“ и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и внѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому „всѣ такъ дѣлаютъ“ было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: „жена, дѣти, казеннаго жалованья не станутъ на чай и сахаръ“. Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онѣ все тѣ же, какъ и во время комедіи. Такъ же нетрудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и до и послѣ этого момента. Конецъ „Ревизора“ сдѣланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости; онъ хотѣлъ показать намъ Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣе важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ, и только чрезъ это получать свою необходимость: почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подъ именемъ уголовного суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ ошибка естественнаго влеченія сердца къ воровству и плутнямъ съ страхомъ наказанія за воровство и плутни, страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ безпокойствомъ совѣсти. У страха глаза велики, говоритъ мудрая русская пословица: удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный ченди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дѣйствительность, а призракъ, фантомъ, или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти, должны были наказать человѣка призраковъ. Городничій Гоголя не карикатура, не комическій фарсъ, не преувеличенная дѣйствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но, по своему, очень и очень умный человѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣятеленъ, умѣетъ ловко взяться за дѣло—своровать и концы въ воду скоронить, подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему человѣка. Его приступы къ Хлестакову, во второмъ актѣ,—образецъ подьяческой дипломатіи. Итакъ конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему еще предстоитъ наказаніе со стороны дѣйствительности, или, по крайней мѣрѣ, новыя хлопоты и убытки, чтобы увернуться отъ наказанія со стороны дѣйствительности. И потому приходъ жандарма

съ извѣстіемъ о прїѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно оканчиваетъ пьесу и сообщаетъ всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то же время есть и само себѣ цѣль, живетъ своею особою жизнію.

Многіе находятъ страшною натяжкой и фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій — человѣкъ, по-своему, очень умный, т. е. плутъ перваго разряда. Странное мнѣніе, или, лучше сказать, странная слѣпота, недопускающая видѣть очевидность! Причина эта заключается въ томъ, что у каждаго человѣка есть два зрѣнія — физическое, которому доступна только внѣшняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у человѣка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжкой и фарсомъ. Представьте себѣ ворышку-чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ двѣ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ — черныя, неестественной величины — пришли, понюхали и пошли прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже кѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается цѣль призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для человѣка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сны — мистическая сторона жизни, и чѣмъ они несвязнѣе и бессмысленнѣе, тѣмъ для него имѣютъ большее и таинственнѣйшее значеніе. Если бы, послѣ этого сна, ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но, какъ нарочно, на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля увѣдомленіе, что „отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обривизовать въ губерніи все относящееся по части гражданскаго управленія“. Сонъ въ-руку! Суевѣріе еще болѣе запугиваетъ и безъ того запуганную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особое вниманіе на слова „инкогнито“ и „съ секретнымъ предписаніемъ“. Петербургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣетъ себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкой за взяточничество и казнокрадство, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ прїѣдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ прикинется и какія пули будетъ онъ отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуютъ толки у честной компаніи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки борзыми щенками, и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочелъ пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодумецъ, находитъ причину присылки ревизора, до-

стойную своего глубокомыслия и начитанности, говоря, что „Россія хочет вести войну, и потому министерія нарочно отправляетъ чиновника, чтобъ узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны“. Городничій понялъ нелѣпость этого предположенія и отвѣчаетъ: „Гдѣ нашему уѣздному городишкѣ? Еслибъ онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоитъ чортъ знаетъ гдѣ—въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь“. Засимъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожнѣе и быть готовыми къ приѣзду ревизора; вооружается противъ мысли о грѣшкахъ, т.-е. взяткахъ, говоря, что „нѣтъ человека, который бы не имѣлъ за собою какихъ-нибудь грѣховъ“, что „это уже такъ самимъ Богомъ устроено“ и что „вольтеріанцы напрасно противъ этого говорить“; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьей о значеніи взятокъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятаго инкогнито. „Вдругъ заглянетъ; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажете, здѣсь судья?—Тяпкинь-Ляпкинь. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?—Земляника.—А подать сюда Землянику! Вотъ что худо!“... Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любитъ распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разные такіе пассажи... назидательные даже... лучше, нежели въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“. Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты „немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать—не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія, или просто переписки“. Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза „или просто переписки“ бессмыслица, или фарсъ со стороны поэта: нѣтъ, это неумѣніе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходитъ изъ родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая, въ чемъ дѣло, говоритъ, что онъ и такъ это дѣлаетъ. „Я радъ, что вы это дѣлаете“, отвѣчаетъ плутъ-городничій простаку-почтмейстеру: „это въ жизни хорошо“, и видя, что съ нимъ обиняками немного возьмешь, напрямки проситъ его—всякое извѣстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуетъ его собаченкою, но онъ отвѣчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зайцевъ: „У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругъ отворятся двери и войдетъ...“

И, въ самомъ дѣлѣ, двери отворяются съ шумомъ, и вбѣгаютъ Петры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, уѣздные сплетники; ихъ всѣ знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ, и потому изъ всей мочи передъ всѣми подличаютъ, и, чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатѣ, всѣмъ подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уѣздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и кошками: надоѣдаютъ—выгоняютъ. Ихъ дни проходятъ въ

патањи и собираніи новостей и сплетней. Обогаťся подобною находкой, они вдругъ вырастають сознаниємъ своей важности и уже бѣгутъ къ знакомымъ смѣло, въ увѣренности хорошаго приема.

„Чрезвычайное происшествіе!“ кричитъ Бобчинскій. „Неожиданное извѣстіе!“ восклицаетъ Добчинскій, вбѣгая въ комнату городничаго, гдѣ всѣ настроены на одинъ ладъ, а особенно самъ городничій весь сосредоточенъ на идѣе fixe. „Что такое?“—Приходимъ въ гостиницу—восклицаетъ Добчинскій.—Приходимъ въ гостиницу—перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается разсказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачѣмъ пошли въ гостиницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всѣмъ правиламъ топиковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ реторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ друга; каждому хочется насладиться своею важностію, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнѣ всего то, что имъ самымъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжать свое торжество и разсказать все сначала и подробно. Бобчинскій овладѣваетъ разсказомъ, говоря, что у Добчинскаго „и зубъ со свистомъ и слога такого нѣту“, и Добчинскому осталось только помогать жестами разсказу счастливаго Бобчинскаго, изрѣдка оббѣгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ дошли до „молодаго человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ“. Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести, этотъ „молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ“ на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго „инкогнито“! И вотъ, наконецъ, Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: „Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга—Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы копейку заплатилъ“. Слѣдуетъ остроумная смѣтка проницательнаго Бобчинскаго: „Съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ Богъ знаетъ куда—въ Саратовскую губернію? Это вѣрно не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ“. Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можетъ быть! Да нѣтъ, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилюйте, какъ не онъ! И денегъ не платитъ, и не ѣдетъ—кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ?

Понимаете ли вы, хотя въ возможности, эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ — вотъ источникъ комическаго и смѣшнаго! Видите ли вы, какая драма, какое столк-

новеніе противоположныхъ интересовъ, проистекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ! Городничій уже вѣритъ страшному извѣстію, и, какъ утопающій, хватается за соломинку, такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ какъ бы отдалить на-время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя-бы было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такою же основательностію и очевидностію подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

Онъ, онъ!.. ей-Богу, онъ!.. Я ставлю Богъ знаетъ чтб... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и по угламъ веадѣ, и даже заглянулъ въ тарелки наши полюбопытствовать, чтб ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ бы его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго, въ его испуганномъ воображеніи, непременно должна быть наблюдательность...

Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какою поразительною очевидностію умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите—перчите комедію, или, что еще лучше,—посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите—такъ это уже вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпого безошибочно судить о пѣвцахъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобныя случаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточьтесь на идеѣ, отъ которой зависить ваша участь,—вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ, это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта—отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно высѣченной имъ унтеръ-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ—молодой человѣкъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собою, или хотя позволить „бѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ“, чтобы только посмотрѣть въ щелочку—, такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а

я ничего“; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ „не по чину беретъ“; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на кунцовъ, не догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже негодится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу „на каждого бестію-купца наложить по три пуда воска“, когда бѣда минетъ; сцену Анны Андреевны, разспрашивающей мужа за дверью о томъ, съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своею кокетливостью при туалетѣ лишала ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту пикировку съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка уѣзднаго города представляется какъ бы видящею въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался вѣренъ своей идеѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ ни чертоку; что все это больше, нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походить на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походить сама на себя, ибо все это—художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частныя явленія подобной дѣйствительности...

Передъ нами Осипъ—герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологѣ, гдѣ, между прочимъ, читаетъ онъ нравоученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину и, наконецъ, самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который пожилъ въ Петербургѣ: постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, но, по пословицѣ „сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ“, предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь тревоженіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣшся, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ грубиянъ столько же по натурѣ, сколько и по презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по-своему. Этотъ баринъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель; глупцы скорѣе всего перенимаютъ внѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынокъ до новой присылки денегъ. „Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія; не въ состояніи остановить постоянного вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрыв-

виста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно“. Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературою, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названій журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, „Библіотека для Чтенія“ и „Сумбека“, „Юрій Милославскій“ и „Фенелла“. Онъ денди не по одному модному платью, но и по манерамъ, денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на вывѣскахъ московскихъ трактировъ, цырюленъ и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ на-чистую пѣхотный капитанъ: онъ за это досадуетъ на случай и несчастіе, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣетъ, какъ дилетантъ къ художнику, потому что, „что ни говори, а удивительно бестія штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ и все обобралъ—славно играетъ!“ Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ при-служникомъ, справляясь о его здоровьи и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести ему обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ послушалъ поэтъ сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ быть, потому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ, какъ и всѣ, то есть, не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ—тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что „тамъ чего-то пріѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ“; новое комическое столкновение! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобахъ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслью, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офицерахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе... Можете представить, въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе!... Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену—она говорить сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ немного помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о „проклятомъ инкогнито“, онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія шуточки, а съ другой, преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія шуточки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своею дочерью—въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство

пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она кокетка, если не больше... Дочь говорить, что кто-то идетъ—мать сердится: „Гдѣ идетъ? у тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну да, идетъ“. Потомъ вопросъ: кто идетъ: дочь говорить, что это Добчинскій—мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: „Какой Добчинскій? тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! совсѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!“ Наконецъ обѣ разглядываютъ; дочь говоритъ:—„А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!“ Мать отвѣчаетъ: „Ну да, Добчинскій, теперь я вижу—изъ чего же ты споришь?“ Можно ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правою передъ дочерью и не дѣлая всегда дочь виноватою предъ собою? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценѣ: уѣздная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ что значитъ проникать въ таинственную глубину организациі предмета, и во внѣшность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организациі! Поэтъ заставляетъ насквозь видѣть эти характеры и внутри находить причины всего внѣшняго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой являются тутъ во всей своей призрачности. Она спрашиваетъ его, тотъ ли это ревизоръ, о которомъ увѣдомляли ея мужа.—„Настоящій; я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ“. Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаетъ, что онъ тоже „перетрухнулъ немножко“. „Да вамъ-то чего бояться—вѣдь вы не служите?“—спрашиваетъ она его. „Да такъ, знаете, когда вельможа говорить, то чувствуешь страхъ“,—отвѣчаетъ простакъ. На вопросъ городничихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ: „Молодой, молодой человѣкъ: лѣтъ двадцати-трехъ; а говорить совершенно какъ старикъ. Извольте, говорить, я поѣду: и туда, и туда... (размахиваетъ руками) такъ это все славно“. Видите ли въ этихъ бессмысленныхъ словахъ немножко идиотское неумѣнье отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить его словомъ? Далѣе: „Я, говорить, и написать и почитать люблю, но мѣшаетъ, что въ комнатѣ, говорить, немножко темно“. Видите ли изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ пошлѣе, безсвязнѣе въ своихъ фразахъ, трактирнѣе въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго. Есть люди, которые почитаютъ въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ: приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки, чѣмъ нелѣпѣе онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрою книгой, потому уже только, что онъ ревизоръ—съ этой точки зрѣнія его трудно было сдвинуть,

и потому все, что Хлестаковъ ни вралъ послѣ къ явной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того, чтобы вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осмѣяла какая-нибудь „столичная штучка“, и споръ о палевомъ платьѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у нея самые темные глаза, потому что „она и гадаетъ всегда на трѣфовую даму“, и возраженіе дочери, „что къ ней не идетъ цвѣтное платье, потому что она больше червоная дама“—эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываютъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, выпуская всѣ случайныя, которыя не способствуютъ къ отбѣненію ихъ индивидуальности. Но онъ выбираетъ не по сортировкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ, не заботится объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемыя имъ на бумагѣ лица прежде всего изобразились у него въ фантазій и изобразились во всей полнотѣ своей и цѣлости, со всѣми родовыми примѣтами, отъ цвѣта волосъ до родимаго пятнышка на лицѣ, отъ звука голоса до покроя платья. Положить ихъ на бумагу—для него уже актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротенькой, какъ бы слегка и небрежно наброшенной, сценѣ вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тѣмъ она вся состоитъ изъ спора о платьѣ, и вся какъ бы мимоходомъ и нечаянно вырвалась изъ-подъ пера поэта!..

Сцена явленія Хлестакова въ домѣ городничаго, въ сопровожденіи свиты изъ городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановскаго; представленіе Анны Андреевны и Марьи Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова—каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всего этого—торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда нежданное, никѣмъ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видѣннаго, всѣмъ знакомаго и, несмотря на то, всѣхъ удивившаго и поразившаго своею новостью и небывалостью!.. Здѣсь характеръ Хлестакова—этого второго лица комедіи—развертывается вполне, раскрывается до послѣдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожалѣнію, это лицо понято меньше прочихъ лицъ и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется рѣзокъ, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня, напоминающая „не люблю, не слушаю—врать не мѣшай“,—изысканно неправдоподобною. Но это потому, что всякій хочетъ

видѣть и, слѣдовательно, видѣть въ Хлестаковѣ свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной перемѣны его судьбы: не забудьте, что онъ готовился итти въ тюрьму, а между тѣмъ нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся до-сыта, отчего и безъ вина можно прійти въ какое-то полупьяное расслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемѣна въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоятъ всѣ навывтяжку—ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо подумать, а онъ не умѣетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полупьяной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все передвоилось; все перемѣсилось—и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и „Библіотека“ съ „Сумбекою“, и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнитъ ея перваго слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками,—онъ не зналъ, что онъ вретъ, и нисколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ какъ бы противъ воли, какъ камень, толенутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственною тяжестью. „Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ бишь я говорилъ?“ Если бы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣкалъ его розгами, онъ навѣрное уцѣпился бы за эту мысль, и началъ бы не говорить, а какъ будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричалъ, но что „при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возьмешь“.

Многіе почитаютъ Хлестакова героемъ комедіи, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? страхъ городничаго,—слѣдовательно, онъ созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во второмъ дѣйствіи и исчезаетъ въ четвертомъ,—и никому нѣтъ нужды знать, куда онъ поѣхалъ и чтó съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи—городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ „Ревизорѣ“ нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя части, художественно-образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не внѣшнюю формой, и потому представляющее собою особый и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце пропускаемъ VII, VIII, IX и X явленія третьяго акта и остановимся только на оцѣпенѣнніи городничаго, какъ бы кто ударилъ его обухомъ по головѣ, „такъ совсѣмъ ошеломило! страхъ такой напалъ: еще такого важнаго человѣка никогда не видалъ: съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его

знаешь, не знаешь, что и дѣлается въ головѣ, какъ будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ, или тебя хотятъ повѣсить“... Это говорить уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по-старинному, что называлось „тянуть лямку“, а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: „А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго, выспаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ“. Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: „Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоненькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа“. Это голосъ стараго чиновника, врасплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удостовѣрился, что нынче-де уже по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣдуетъ съ самимъ собою и является все тѣмъ же, все самимъ же собою, и не называетъ себя ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть, а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановить на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самаго простаго понятія и глотаютъ, не жевавши. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу: „Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей фizioноміи точно есть что-то такое внушающее...“ и не докончилъ, сколько потому, что это фраза слышанная, а не своя, столько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... „Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ“. Видите ли: его приняли за важную особу—оттого, что „у него въ фizioноміи есть что-то внушающее“; это должная дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина; что ему надавали денегъ, это не взятки, а заемъ, и онъ на ту минуту, какъ говорить, вполне убѣжденъ, что возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ умнѣе своего барина: онъ все понимаетъ, и ласково, тоже какъ будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: „Погуляли здѣсь два денька, ну—и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровенъ часъ, какой-нибудь другой найдетъ“, и обольщаетъ его тройкою лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, что „батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшкались“, и рѣшила Хлестакова послѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ сцена съ кушцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучилось кое-какъ зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось, чтобы отъ его бородки не пахло капустою; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на „авось“, т.-е. гдѣ выторговалъ, а гдѣ надулъ, и съ которымъ, по всему

этому, городничій обходился безъ чиновъ: „схватить за бороду, говорить, ахъ ты, татаринъ“; которое, наконецъ, любить коли давать, такъ давать—возьми и подносижь, и головку сахара, и кулечикъ съ винами, и не триста,—что триста!—пятьсотъ, только дѣло сдѣлай. Языкъ неподражаемо вѣренъ. Хлестаковъ опять не измѣняетъ себѣ—беретъ взаймы, о взяткахъ слышать не хочетъ, и если гдѣ приходится въ маленькое недоумѣніе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна: она въ комнатѣ чужого молодого человѣка ищетъ маменьку... Ея приходъ *толкаетъ* Хлестакова, т.-е. заставляетъ дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ франтъ, она „барышня“: слѣдовательно, ему должно волочиться за нею. Что изъ этого выйдетъ—такая мысль не можетъ прійти въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ вѣшняго обстоятельства, подъ впечатлѣніемъ настоящей минуты. „Барышня“ глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у нея есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь этакіе новенькіе „стишки“. О, ему это ничего не стѣбитъ—онъ много знаетъ наизусть стиховъ, напр.: „О ты, что въ горести напрасно“, и проч. И вотъ, онъ на колѣняхъ передъ нею. Уйди она—онъ черезъ минуту забылъ бы объ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и *толкаетъ* его „просить руки“ Марьи Антоновны. Онъ увѣжаетъ въ полной увѣренности, что онъ женихъ и что все сдѣлалось, какъ должно; но извоицкъ крикнулъ, колокольчикъ залился—и Хлестаковъ готовъ спросить себя: „На чемъ, бишь, я остановился?“.

Первыя сцены пятого акта представляютъ намъ городничаго въ полнотѣ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человѣческой, проникаетъ въ самыя недоступныя тайники ея и выводитъ наружу все крившееся въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ пятомъ актѣ городничій является въ своемъ апопеезѣ, полнымъ опредѣленіемъ своей сущности, вполне опредѣлившееся возможностью; все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспитаніемъ и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверхъ, изнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ бы должны были ужасаться. „Что, говорить онъ женѣ, тебѣ и во снѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ, фу ты канальство! Съ какимъ дьяволомъ породнилась!“—„Какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! высокаго полета, чортъ побери!“. Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди; страхъ Сибири прошелъ—онъ уже не общается Богу пудовой свѣчи, и грозитъ еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о своемъ счастьи всему городу, „валять въ колокола; коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми!“ его дочь выходитъ замужъ за такого человѣка, „что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ го-

родѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ“. Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... „Вѣдь почему хочется быть генераломъ? потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачутъ вездѣ впередъ: лошадей! и тамъ на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усь не дуешь: объѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ: стой, городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!“

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры! Это страсть—и страсть бѣшенная: у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосѣ тонъ изступленія, движенія порывисты. Если не вѣрите—посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источники которыхъ смѣшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго, быть генераломъ значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнѣсти всѣхъ не генераловъ своимъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго, или меньшаго чиномъ, по своей подорожной имѣющаго равное на нихъ право; говорить „братецъ“ и „ты“ тому, кто говоритъ ему „ваше превосходительство“ и „вы“; и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ—и когда онъ живетъ въ уѣздномъ городѣ, горе маленькому человѣку, если онъ, считая себя „не имѣющимъ чести быть знакомымъ съ генераломъ“, не поклонится ему, или на балу не уступитъ мѣста, хотя бы этотъ маленький человѣкъ готовился быть великимъ человекомъ!.. тогда изъ комедіи могла бы выйти трагедія для „маленькаго человѣка“...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго: изъ животной радости онъ переходитъ въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, съ сосредоточенною яростью и злобною ироніей; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собою принадлежитъ только образованнымъ людямъ; онъ постепенно приходитъ въ большую и большую ярость и раздражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодѣянія, т.-е. напоминаетъ случаи, гдѣ они вмѣстѣ казну обкрадывали... Купцы являются тѣми же купцами: они низко кланяются низко подличаютъ. Великодушный городничій смягчается, но на условіи, чтобы „засушенные бороды, аршинники, самоварники, протоканаліи и архибестіи“ не думали „отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ, или головою сахара“, ибо-де „онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина“...

Начинаютъ собираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ знатною особой; поздравляютъ вслухъ съ „необыкновеннымъ благополучіемъ“, и ругаютъ вполголоса. Городничиха, какъ и съ самаго начала пятаго акта, играетъ роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастьемъ,

какъ по праву принадлежащимъ ея достоинствамъ, и какъ давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ верхъ надъ знатною дамой: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входитъ простодушный почтмейстеръ и пренаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ очевидно, что онъ „и не уполномоченный и не особа“. Сцена чтенія письма Хлестакова—въ высшей степени комическая. Но чтѣ же нашъ городничій?—Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одураченнымъ собственною ошибкой, такъ тяжело наказаннымъ за свои грѣхи? Какъ бы не такъ! Бездарность, посредственность, или даже обыкновенный талантъ, тотчасъ бы воспользовались случаемъ заставить городничаго раскаться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творить не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишекъ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который „тридцать лѣтъ жилъ на службѣ“, котораго „ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣлывалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!“—Вы думаете: ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимою знатностью? Ничего не бывало! Когда дражайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: „Какъ же?... вѣдь это не можетъ быть... онъ совсѣмъ вѣдь обручился съ нашею Машенькой?“—онъ не только не старается замѣть позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чемъ дѣло: „А развѣ ты не видишь, что у него все это фу-фу? Пустѣйшій человекъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну, чтѣ въ немъ было такого, чтобы можно было принять за важнаго человека, или вельможу? Пусть бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ чтѣ: дрянъ, сосулька! Тоньше сѣрной спички!“ Засимъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствами на Петровъ Ивановичей, какъ первыхъ вѣстовщиковъ о прїездѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извѣстіемъ о прїездѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса, и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цѣлость пьесы.

Все, сказанное нами о „Ревизорѣ“, отнюдь не есть разборъ этого превосходнаго произведенія искусства. Подробный разборъ хода всей пьесы, характеровъ ея дѣйствующихъ лицъ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ взаимодѣйствія другъ на друга завели бы насъ далеко. Скрѣпя сердце и обузды-

вая руку, мы не показали подробно развитія дѣйствія, а наскоро пробѣжали его, не останавливаясь на отдѣльных лицахъ, но, такъ сказать, зацѣплялись за нихъ. Наша цѣль была—намекнуть на то, чѣмъ должна быть комедія художественно-созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею „Ревизора“, а вслѣдствіе ея не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедіи, а чрезъ все это, указать, по возможности, на цѣлость (Totalität) пьесы, какъ особаго, въ самомъ себѣ замкнутаго міра.

Не намъ судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мѣрѣ, теперь читатели могутъ ясно видѣть наши требованія отъ искусства и нашъ критеріумъ для сужденія о комедіи.

Стихотворенія Лермонтова.

Немного поэтовъ, къ разбору произведеній которыхъ было бы не странно приступать съ предварительнымъ взглядомъ на сущность поэзіи: Лермонтовъ принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ... Подробное разсмотрѣніе небольшой книжки его стихотвореній покажетъ, что въ ней кроются всѣ стихіи поэзіи, что она заключаетъ въ себѣ возможность въ будущемъ нѣсколькихъ и при томъ большихъ книгъ... Мы увидимъ, что свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная простота образовъ, энергія, могучесть языка, алмазная крѣпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе поэзіи идей, необъятность содержанія—суть родовыя и характеристическія примѣты Лермонтова и залогъ ея будущаго великаго развитія...

Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще „Русланомъ и Людмилою“—содержаніемъ, котораго идея отзывается слишкомъ раннею молодостью, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всѣми красками, благоухаетъ всѣми цвѣтами природы, сознаниемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія послѣ первой опорожненной имъ чаши на свѣтломъ пиру жизни... Лермонтовъ началъ историческою поэмой, мрачною по содержанію, суровою и важною по формѣ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ Пушкинъ явился провозвѣстникомъ челоѣчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; но эти лирическія стихотворенія были столько же полны свѣтлыхъ надеждъ, предчувствія торжества, сколько силы и энергіи. Въ первыхъ лирическихъ

произведеніяхъ Лермонтова, разумѣется, тѣхъ, въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также виденъ избытокъ несокрушимой силы духа и богатырской силы въ выраженіи; но въ нихъ уже нѣтъ надежды, они поражаютъ душу читателя безотрадностью, безвѣріемъ въ жизнь и чувства человѣческія, при жадѣ жизни и избыткѣ чувства... Нигдѣ нѣтъ Пушкинскаго разгула на пирѣ жизни; но вездѣ вопросы, которые мрачатъ душу, леденятъ сердце... Да, очевидно, что Лермонтовъ поэтъ совсѣмъ другой эпохи и что его поэзія—совсѣмъ новое звено въ цѣпи историческаго развитія нашего общества.

Первая піеса Лермонтова напечатана была въ „Современникѣ“ 1837 г., уже послѣ смерти Пушкина. Она называется „Бородино“. Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спрашиваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вѣдь недаромъ
Москва, спаленная пожаромъ,
Французу отдана?
Вѣдь были жъ схватки боевыя?
Да, говорятъ, еще какія!
Недаромъ помнить вся Россія
Про день Бородина!

Вся основная идея стихотворенія выражена во второмъ куплетѣ, которымъ начинается отвѣтъ стараго солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

— Да, были люди въ наше время,
Не то что нынѣшнее племя:
Богатыри—не вы.
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль—жалоба на настоящее поколѣніе, дремлющее въ бездѣйствіи, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы и великихъ дѣлъ. Дальше мы увидимъ, что эта „тоска по жизни“, внушила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное энергіи и благороднаго негодованія. Чтѣ же до „Бородина“,—это стихотвореніе отличается простотою, безыскусственностью: въ каждомъ словѣ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубо-простодушнымъ, въ то же время благороденъ, силенъ и положъ поэзіи. Ровность и выдержанность тона дѣлаетъ осязаемо-ощутительною основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не можетъ еще показать, чего отъ автора должна была ожидать наша поэзія. Въ 1838 году была напечатана его поэма „Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“; это произведеніе сдѣлало извѣстнымъ имя автора, хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такой безымянный поэтъ? кто такой

Лермонтовъ? писалъ ли онъ что-нибудь кромѣ этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оцѣнена, толпа и не подозреваетъ ея высокаго достоинства. Здѣсь поэтъ отъ настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошлое, подслушалъ бѣніе его пульса, проникъ въ сокровеннѣйшіе и глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всѣмъ существомъ своимъ, обвѣялся его звуками, усвоилъ себѣ складъ его старинной рѣчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій размахъ его чувства и, какъ будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ея грубой и дикой общественности, со всѣми ихъ отгѣнками, какъ-будто бы никогда и не знавалъ о другихъ,—и вынесъ изъ нея вымышленную быль, которая достовѣрнѣе всякой дѣйствительности, несомнѣннѣе всякой исторіи. И подлинно этой пѣсни можно заслушаться, и все нельзя ея довольно послушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра воскрешаетъ она прошлое—и мы не можемъ насмотрѣться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобы оно не исчезло отъ насъ. На первомъ планѣ, видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго память такъ кровава и страшна, котораго колоссальный обликъ живъ еще въ преданіи и въ фантазіи народа... Что за явленіе въ нашей исторіи былъ этотъ „мужъ кровей“, какъ называютъ его Курбскій? Былъ ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говорить Карамзинъ?... Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о его историческомъ значеніи; замѣтимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себѣ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашняго полуазиатскаго быта и внѣшнія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитіи, оставивъ ее при естественной силѣ и грубой мощи и лишили ее всякой возможности пересоздать дѣйствительность,—то эта сильная натура, этотъ великій духъ поневолѣ исказились и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеніи этой ненавистой и враждебной имъ дѣйствительности... Тиранія Іоанна Грознаго имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ-быть, это былъ своего рода великій человѣкъ, но только не въ-время, слишкомъ рано явившійся Россіи—пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ; можетъ быть, въ немъ бессознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страшно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого въ болѣзненной и бессознательной ярости... Вотъ почему изъ всѣхъ жертвъ его свирѣпства онъ самъ наиболѣе заслуживаетъ собогѣзнованія; вотъ почему его колоссальная фигура, съ блѣднымъ лицомъ и впалыми, сверкающими глазами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей

поэзіи... И такимъ точно является онъ въ поэмѣ Лермонтова: взглядъ очей его—молнія, звукъ рѣчей его—громъ небесный, порывъ гнѣва его—смерть и пытка; но сквозь всего этого, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваетъ величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природѣ духа...

Поэма начинается картиною царскаго пира: въ золотомъ вѣнцѣ своемъ сидитъ грозный царь, окруженный стольниками, боярами, князьями и опричниками,

И пируетъ царь во славу Божию,
Въ удовольствіе свое и веселіе.

Онъ велитъ наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ—„И всѣ пили, царя славили“. Лишь только одинъ изъ опричниковъ „Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усомъ“, и сидѣлъ съ крѣпкою думою на сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты небесъ на молодого голубя сизокрылаго,—„Да не поднялъ глазъ молодой боецъ“.

Царь ступнулъ объ полъ своей палкой, съ желѣзнымъ наконечникомъ—палка на четверть возвилась въ дубовый полъ, но и тутъ не дрогнулъ добрый молодецъ.

Низко кланаясь, опричникъ проситъ у царя извиненія, говоря:

„Сердца жаркаго не залить виномъ,
Думу черную—не запотчивать!
А прогнѣвать я тебя—воля царская!
Прикажи казнить, рубить голову:
Тяготитъ она плечи богатырскія
И сама къ сырой землѣ она клонится“.

Царь спрашиваетъ о причинѣ печали, и его вопросы—перлы народной нашей поэзіи, полнѣйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ же и отвѣтъ или, лучше сказать, отвѣты опричника, потому что, по духу русской національной поэзіи, онъ отвѣчаетъ почти стихомъ на стихи. Боясь длинноты, не выписываемъ этого мѣста; но вторая половина рѣчи Кирибѣевича дышитъ такою полнотою чувства, блещетъ такими самоцвѣтными камнями народной поэзіи, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечестъ его вмѣстѣ съ нашими читателями. Вина печали удалого бойца—молодушка, которая закрывается фатою, когда на него любуются красныя дѣвушки.

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть—лава, ея горестъ—тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ подвигъ крови и смерти ищетъ своего утоленія! Сколько поэзіи въ словахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышитъ въ нихъ,—это грусть, которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ея, это грусть, которая составляетъ основной элементъ, родную стихію, главный мотивъ нашей національной поэзіи!

Со смѣхомъ отвѣчаетъ царь своему любимому слугѣ, что его горю-бѣдѣ немудрено помочь, предлагаетъ ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье, велитъ сперва поклониться „смышленой“ свахѣ, а потомъ послать своей Аленѣ Дмитриевнѣ дары драгоценныя.

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричника,—и тщетно испуганный слухъ его ждетъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ занавѣсъ на эту такъ трагически недоконченную картину, такъ страшно прерванную сцену; передъ вами нѣтъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ вѣрите, что видѣли все это не на яву, что все это—только рассказъ пѣсенниковъ...

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте—дѣло разумѣйте!
Ужь потѣшите вы добраго боярина
И боярыню его бѣлолицую!

Но этотъ удалой припѣвъ, эти затѣйливыя прибаутки народнаго остроумія не веселятъ васъ; сердце ваше сжимается болѣзненной тоскою: оно чувствуетъ горе, предвидитъ бѣду; повѣсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагическою катастрофою, и завязка уже готова, дѣйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибѣевича—не шуточное дѣло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что для этого человѣка нѣтъ середины: или получить, или погибнуть! Онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной нравственности своего общества, а другой, болѣе высшей, болѣе человѣческой, не приобрѣлъ: такой развратъ, такая безнравственность въ человѣкѣ съ сильною натурой и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ, онъ имѣетъ опору въ грозномъ царѣ, который никого не пожалѣетъ, не пощадитъ даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя бы этотъ былъ рѣшительно виноватъ.

Занавѣсъ поднять—и передъ нами новая картина; молодой купецъ, статный молодецъ, Степанъ Парамоновичъ, по прозванію Калашниковъ, за прилавкомъ.

Шелковые товары раскладываетъ,
Рѣчью ласковой гостей онъ заманиваетъ,
Злато, серебро пересчитываетъ.

Это другая сторона русскаго быта того времени; на сценѣ является представитель другого класса общества. Первое его появленіе на сцену располагаетъ васъ въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тѣхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тѣхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхаютъ ихъ, одна изъ тѣхъ желѣзныхъ натуръ, которыя и обиды не стерпятъ, и сдачи дадутъ. Сильнѣе и сильнѣе щемитъ ваше сердце—чуветъ оно недоброе, тѣмъ больше, что „молодому купцу, статному молодцу“ задался недобрый день.

Калашниковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, „да нѣмецкимъ замкомъ со пружиною“, привязываетъ на желѣзную цѣпь зубастаго пса,

И пошелъ онъ домой, *призадумавшись*,
Къ молодой хозяйкѣ за Москву-рѣку.

Отчего же онъ призадумался?—Или душа человѣка чуетъ шелестъ шаговъ незримо-слѣдующей по пятамъ его судьбы, которая обрекла его въ свои жертвы?...

Пришедъ въ свой „высокій“ домъ, Степанъ Парамоновичъ дивится, что его не встрѣчаютъ ни молодая жена, ни малыя дѣтушки, что дубовый столъ не покрытъ бѣлою скатертью, и свѣчка передъ образомъ еле-теплится. Кличетъ онъ старуху Еремѣвну и спрашиваетъ, куда въ такой поздній часъ „дѣвалась, затаилась“ Алѣна Дмитриевна, и не заигрались ли его любезныя дѣти, что такъ рано уложились спать? И слышитъ въ отвѣтъ:

... Къ вечернѣ пошла Алѣна Дмитриевна;
Вотъ ужъ поплъ прошелъ съ молодой попадѣей,
Засвѣтили свѣчу, сѣли ужинать,—
А по сю пору твоя хозяйюшка
Изъ приходской церкви не вернулась.
А дѣтки твои малыя
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачемъ плачутъ, все не унимаются.

Въ этихъ стихахъ полная картина домашняго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Парамоновичъ крѣпкою думою.

[Возвращается Алѣна Дмитриевна, разстроенная, простоволосая].

Онъ спрашиваетъ ее, гдѣ она шаталась: ужъ не гуляла ли, не пиновала ли съ дѣтьми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

Онъ грозитъ запереть ее за дубовую дверь окованную, за желѣзный замокъ, чтобъ она и свѣту Божьяго не видѣла, его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листъ, затряслася Алѣна Дмитриевна, упала мужу въ ноги, прося его выслушать ее и говоря, что она „не боится смерти лютой, а боится его немилости“: въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени. Жена рассказываетъ мужу, что, шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи-то шаги, „оглянулася—человѣкъ бѣжитъ“; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что онъ слуга царя грознаго, прозывается Кирибѣевичемъ, а изъ славныхъ семьи изъ Малютиной...

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ,—подарочекъ мужа. Заключение ея разсказа состоитъ въ жалобахъ на свой позоръ и въ просьбахъ мужу—не дать ея, свою вѣрную жену, въ поруганіе злымъ охульникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посылаетъ за своими двумя меньшими братьями и рассказываетъ объ обидѣ, нанесенной ему злымъ опричникомъ царскимъ, говорить о своемъ намѣре-

ни—биться на-смерть съ опричникомъ на кулачномъ бою, который будетъ завтра на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и просить ихъ постоять за правду, если самъ будетъ побить.

Изъ ихъ отвѣта видно, что семья Калашниковыхъ хоть и не славилась столько, какъ Малютиныхъ, но состояла изъ сиваго орла съ орлятами... Превосходяще очеркнулъ поэтъ въ этомъ отвѣтѣ, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдѣ право первородства было и правомъ власти, гдѣ старшій братъ заступалъ мѣсто отца для младшихъ. И это сдѣлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинѣ, въ самомъ разгарѣ въ высшей степени драматическаго дѣйствія. Этою сценой семейнаго совѣщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: дѣйствующія лица и завязка дѣйствія уже рѣзко обозначились,—и сердце наше замираетъ отъ пречувствія горестной развязки...

На Москву-рѣку сходились удалые молодцы, „разгуляться для праздника, потѣшиться“. Самъ царь пріѣхалъ съ дружиною, боярами и опричниками, и велѣлъ оцѣнить серебряною цѣпью мѣсто въ 25 сажень „для охотничкаго бою, одиночнаго“. Потомъ царь велѣлъ вызывать охотниковъ:

„Кто побьетъ кого, того царь наградить,
А кто будетъ побить, тому Богъ простить!“

Выходитъ Кирибѣевичъ и съ похвалкою вызываетъ супротивниковъ, обѣщая „лишь потѣшить царя-батюшку, но для праздника отпустить живого“. Вдругъ раздалась толпа—и выходитъ Степанъ Парамоновичъ. Кирибѣевичъ, не выходя изъ тона своей удалой, молодецкой похвалбы, спрашиваетъ Калашникова о родѣ-племени и имени, „чтобъ знать, по комъ панихиду служить, чтобы было чѣмъ и похвастаться“.

[Слѣдуетъ отвѣтъ Калашникова].

Вотъ оно—ужасное торжество совѣсти въ глубокой натурѣ, которая никогда не отрѣшится отъ совѣсти, какъ бы ни была искажена развратомъ, какъ бы ни страшно погряжала въ пороки!... Всегда надъ нею грозная длань нравственнаго закона, грозный голосъ суда Божія, потому что она сама свой нравственный законъ и свой неумолимый судъ!..

Начинается бой (мы пропускаемъ его подробности); правая сторона побѣдила—

И опричникъ молодой застоналъ слегка,
Закачался, упалъ замертво;
Повалился онъ на холодный снѣгъ,
На холодный снѣгъ, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыромъ бору,
Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда ли: вамъ жаль удалого, хотя и преступнаго бойца? Съ невыразимою тоской повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которою выразилъ онъ его паденіе?... А между тѣмъ, вы же сами желали побѣды благородному купцу и гибели его преступному оскорбителю?.. Таково обаяніе

великихъ натуръ; какъ бы ни было велико ихъ преступленіе, но, наказанныя, онѣ привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу:—мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы, и братскимъ подѣлуемъ прощанія и прощенья въ холодныя посинѣлыя уста ихъ запечатлѣваемъ торжество возстановленной смертью гармоніи общаго, которую нарушили было они своею виной.

Грозный царь воспалился гнѣвомъ и спрашиваетъ Калашникова: вольною волей или нехотя убилъ онъ его вѣрнаго слугу и лучшаго бойца? Вѣроятно, Калашниковъ могъ бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной—и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавою местию врагу, не возвратившею его прежняго блаженства,—для этой благородной души жизнь уже не представляла ничего обольстительнаго, а смерть казалась необходимою для уврачеванія ея неисцѣлимыхъ ранъ... Есть души, которыя довольствуются кое-чѣмъ—даже остатками бывшаго счастья; но есть души, лозунгъ которыхъ—все или ничего, которыя не хотятъ запятнаннаго блаженства разъ потемнѣнной славы: такова была и душа удалого купца, статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ, однако, причину своего мщенія:

А за что про что—не скажу тебѣ;
Скажу только Богу единому.

Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человѣческаго и древнихъ нравовъ! Какая высокая, трагическая черта! Онъ охотно идетъ на казнь и лишь просить царя „не оставитъ своей милостью малыхъ дѣтушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его“. Въ отвѣтъ царя рѣзко, во всемъ страшномъ величїи, выказывается колоссальный образъ Грознаго.

Какая жестокая иронія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся бы отъ него во гробѣ! А между тѣмъ, въ согласіи на милость женѣ, покровительствѣ дѣтямъ и братьямъ осужденнаго проблескиваетъ лучъ благородства и величїа царственной природы, и какъ бы невольное признаніе достоинства человѣка, который обреченъ судьбою безвременной и насильственной смерти!.. Какая страшная трагедія! сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ нами и управляетъ ея ходомъ!.. И едва ли во всей исторіи человѣчества можно найти другой характеръ, который могъ бы съ большимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Іоаннъ Грозный!..

На площади собирается народъ; гудитъ-воетъ заунывный колоколь; по высокому лобному мѣсту весело похаживаетъ палачъ, руки голыя потираючи:

Удалого бойца дожидается;
А лихой боецъ, молодой купецъ,
Со родными братьями прощается.

Онъ велитъ имъ поклониться отъ него Алѣй Дмитревнѣ да *заказать* ей меньше печалиться, а дѣтушкамъ про него не велитъ сказывать...

И вотъ, занавѣсъ опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее опять стало прошедшимъ. Что? — могила, жилище тлѣнія и смерти; но надъ этою могилою вѣетъ жизнь, царитъ воспоминаніе, нѣмою рѣчью говоритъ преданіе:

И проходятъ мимо люди добрые:
Пройдетъ старъ человѣкъ—прекрестится,
Пройдетъ молодецъ—пріосанится,
Пройдетъ дѣвица—пригорюнится,
А пройдутъ гуляры—споютъ пѣсенку.

Какія роскошныя дани, какія богатые жертвы приносятся этой могилѣ живыми! И она стѣбитъ ихъ, ибо не живые въ ней, мертвой,—но она мертвая, рождаетъ жизни въ живыхъ: заставляетъ ихъ и креститься, и пріосаниваться, и пригорюниваться, и пѣть пѣсни!.. Васъ огорчаетъ, заставляетъ страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашникова; вы жалѣете даже и о преступномъ опричникѣ:—понятное, человѣческое чувство! Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалитъ ваше сердце, не было бы и этой могилы, столь краснорѣчивой, столь живой, столь полной глубокаго значенія и не было бы великаго подвига, который такъ возвысилъ вашу душу, и не было бы чудной пѣсни поэта, которая такъ очаровала васъ... И потому да пережѣнится печаль ваша на радость, и да будетъ эта радость свѣтлымъ торжествомъ побѣды безсмертнаго надъ смертнымъ, общаго надъ частнымъ! Благословимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ и повторимъ за поэтомъ музыкальный финалъ, которымъ, по старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляетъ онъ гуляровъ заключить свою поэтическую пѣсню:

Гей вы, ребята удалые,
Гуляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали—красно и кончайте.
Каждому правдою и честью воздайте.
Тароватому боярину слава!
И красавицѣ-боярыньѣ слава!
И всему народу христіанскому слава!

Изагая содержаніе этой поэмы, уже извѣстной публикѣ, мы имѣли въ виду намекнуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубину идей, которыми она запечатлѣна: что же до поэзіи образовъ, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свѣжести колорита, силы выраженія, трепетнаго, полнаго страсти одушевленія,—эти вещи не толкуются и не объясняются... Пусть читаютъ (поэму) и судятъ сами: кто не увидитъ въ этихъ стихахъ того, что мы

видимъ, для тѣхъ кѣтъ у насъ очковъ, и едва ли какой оптикъ въ мірѣ поможетъ имъ...

Содержаніе поэмы, въ смыслѣ разсказа происшествія, само по себѣ полно поэзіи; еслибъ оно было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь являлась бы поэзією, а поэзія—жизнію. Но тѣмъ не менѣе, онъ не существовалъ бы для насъ, нашли бы мы его въ простодушной хроникѣ старыхъ временъ, или, по какому-нибудь чуду, сами были его свидѣтелемъ—оно было бы для насъ мертвымъ матеріаломъ, въ который только поэтъ могъ бы вдохнуть душу живу, отдѣливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставленномъ и освѣщенномъ сообразно съ требованіями точки зрѣнія и свѣта. И въ этомъ отношеніи нельзя довольно надивиться поэту: онъ является здѣсь опытнымъ, гениальнымъ архитекторомъ, который умѣетъ такъ согласить между собою части зданія, что ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишнею, но представляется необходимою и равно важною съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете, что архитекторъ могъ бы легко, вмѣсто ея, сдѣлать и другую. Какъ ни пристально будете вы заглядываться въ поэму Лермонтова, не найдете ни одного лишняго или недостающаго слова, черты, стиха, образа; ни одного слабаго мѣста: все въ ней необходимо, полно, сильно! Поэма Лермонтова—созданіе мужественное, зрѣлое, и столько же художественное, сколько и народное. Но нашъ поэтъ вышелъ въ царство народности, какъ ея полный властелинъ и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ показалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видѣлъ ее предъ собою, какъ предметъ, и такъ же по волѣ своей вышелъ изъ нея въ другія сферы, какъ и вошелъ въ нее. Онъ показалъ этимъ только богатство элементовъ своей поэзіи, кровное родство своего духа съ духомъ народности своего отечества; показалъ, что и прошедшее его родины такъ же присуще его натурѣ, какъ и ея настоящее; и потому онъ, въ этой поэмѣ, является истиннымъ художникомъ,—и если его поэма не можетъ быть переведена ни на какой языкъ, ибо колоритъ ея весь въ русско-народномъ языкѣ, то тѣмъ не менѣе она—художественное произведеніе, во всей полнотѣ, во всемъ блескѣ жизни, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней Руси. Въ этомъ отношеніи, послѣ Бориса Годунова, больше всѣхъ посчастливилось Іоанну Грозному: въ поэмѣ Лермонтова колоссальный образъ его является изваяннымъ изъ мѣди или мрамора...

По внутреннему плану нашей статьи, мы должны были сперва говорить о тѣхъ стихотвореніяхъ Лермонтова, въ которыхъ онъ является не безусловнымъ художникомъ, но внутреннимъ человекомъ и по которымъ однимъ можно увидѣть богатство элементовъ его духа и отношенія его къ обществу. Мы такъ и начали, такъ и продолжаемъ: взгляды на чисто-художественныя стихотворенія его заключить нашу статью. И если мы оста-

новились на „Пѣснѣ про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, которую сами признаемъ художественною, то потому что, во-первыхъ, самая ея художественность болѣе или менѣе условна, ибо въ этой „Пѣснѣ“ онъ поддѣлывается подъ ладъ старинный и заставляетъ гуслиаровъ пѣть ее; во-вторыхъ, эта „Пѣсня“ представляетъ собою фактъ о кровномъ родствѣ духа поэта съ народнымъ духомъ и свидѣтельствуесть объ одномъ изъ богатѣйшихъ элементовъ его поэзіи, намекающемъ на великость его таланта. Самый выборъ этого предмета свидѣтельствуесть о состояніи духа поэта, недовольнаго современною дѣйствительностію и перенесшагося отъ нея въ далекое прошлое, чтобъ тамъ искать жизни, которой онъ не видитъ въ настоящемъ. Но это прошлое не могло долго занимать такого поэта: онъ скоро долженъ былъ почувствовать всю бѣдность и все однообразіе его содержанія и возвратиться къ настоящему, которое жило въ каждой каплѣ его крови, трепетало съ каждымъ біеніемъ его пульса, съ каждымъ вздохомъ его груди. Не отдѣлиться ему отъ него! Оно вѣдрилось въ него, обвилось вокругъ него, оно сосетъ кровь изъ его сердца, оно требуетъ всей жизни его, всей дѣятельности! Оно ждетъ отъ него своего просвѣтленія, врачеванія своихъ язвъ и недуговъ. Онъ только можетъ совершить это, какъ полный представитель настоящаго, другой властитель нашихъ думъ! Въ созданіяхъ поэта, выражающихъ скорби и недуги общества, общество находитъ облегченіе отъ своихъ скорбей и недуговъ: тайна этого цѣлительнаго дѣйствія—сознаніе причины болѣзни чрезъ представленіе болѣзни. Великую истину заключаютъ въ себѣ эти простодушныя слова изъ „Гимна Музамъ“ древняго старца Гесіода: „Если кто чувствуетъ скорбь, свѣжую рану сердца, и сидитъ съ своею горькою думою, а пѣвецъ, служитель музъ, запоетъ о славіи первыхъ человѣковъ и блаженныхъ боговъ, на Олимпѣ живущихъ,—въ тотъ же мигъ забываетъ несчастный горе и не помнитъ ни одной заботы: такъ скоро даръ боговъ измѣнилъ его“. Но это сила поэзіи вообще, сила всякой поэзіи, дѣйствіе же поэзіи, воспроизводящей наши собственные страданія, еще чуднѣе оказывается на нашихъ же собственныхъ страданіяхъ: увидѣвъ ихъ внѣ насъ самихъ, очищенными и просвѣтленными общимъ значеніемъ скрывающагося въ нихъ таинственного смысла, мы тотчасъ же чувствуемъ себя облегченными отъ нихъ...

Нашъ вѣкъ—вѣкъ по преимуществу историческій. Всѣ думы, всѣ вопросы наши и отвѣты на нихъ, вся наша дѣятельность вырастаетъ изъ исторической почвы и на исторической почвѣ. Человѣчество давно уже пережило вѣкъ полноты своихъ вѣрованій; можетъ быть, для него наступить эпоха еще высшей полноты, нежели какою когда-либо прежде наслаждалось оно; но нашъ вѣкъ есть вѣкъ сознанія, философствующаго духа, размысленія, „рефлексія“. *Вопросъ*—вотъ альфа и омега нашего времени. Ощутимъ ли мы въ себѣ чувства любви къ женщинамъ,—вмѣсто того, чтобъ роскошно упиваться его полнотою, мы прежде всего спрашиваемъ себя, чтб такое лю-

бовъ, въ самомъ ли дѣлѣ мы любимъ? и пр. Стремясь къ предмету съ насытною жаждою желанія, съ тяжелою тоскою, со всѣмъ безумствомъ страсти, мы часто удивляемся холодности, съ какою видимъ исполненіе самыхъ пламенныхъ желаній нашего сердца,—и многіе изъ людей нашего времени могутъ примѣнить къ себѣ сцену между Мефистофелемъ и Фаустомъ, у Пушкина:

Когда красавица твоя
Была въ восторгѣ, въ упоеньѣ,
Ты безпокойною душой
Ужъ погружался въ размышленье
(А доказали мы съ тобой,
Что размышленье—скуки сѣмя).
И знаешь ли, философъ мой,
Что думалъ ты въ такое время,
Когда не думаетъ никто?
Сказать ли?

Фаустъ.
Говори. Ну, что?

Мефистофель.
Ты думалъ: агнецъ мой послушный!
Какъ жадно я тебя желалъ!
Какъ хитро въ дѣвѣ простодушной
Я грезы сердца возмущалъ!
Любви невольной, безкорыстной
Невинно предалась она...
Что жъ грудь теперь моя полна
Тоской и скукой ненавистной?...
На жертву прихоти моей
Гляжу, упавшись наслажденьемъ,
Съ неодолимымъ отвращеньемъ:
Такъ безарасчетный дуралей,
Вотще рѣшась на злое дѣло,
Зарѣзавъ нищаго въ лѣсу,
Бранить ободранное тѣло;
Такъ на продажную красу,
Насытись ею торопливо,
Развратъ косится боязливо...

Ужасно!... Но это не смерть и даже не старость міра, какъ думаетъ старое поколѣніе, которое, въ своей молодости, такъ беззаботно пило и ѣло, такъ весело плясало, такъ безсознательно наслаждалось жизнію. Нѣтъ, это не смерть и не старость: люди нашего времени также или еще больше полны жаждою желаній, сокрушительною тоскою порываній и стремленій. Это только болѣзненный кризисъ, за которымъ должно послѣдовать здоровое состояніе, лучше и выше прежняго. Та же рефлексія, то же размышленіе, которое теперь отравляетъ полноту всякой нашей радости, должно быть въпослѣд-

ствіи источникомъ высшаго, чѣмъ когда-либо, блаженства, высшей полноты жизни. Но горе тѣмъ, кто является въ эпоху общественнаго недуга! Общество живетъ не годами — вѣками, а человѣку данъ мигъ жизни: общество выздоровѣетъ, а тѣ люди, въ которыхъ выразился кризисъ его болѣзни — благороднѣйшіе сосуды духа, навсегда могутъ остаться въ разрушающемъ элементѣ жизни!...

Какъ бы то ни было, но нашъ вѣкъ есть вѣкъ размышленія. Поэтому, рефлексія (размышленіе) есть законный элементъ поэзіи нашего времени, и почти всѣ великіе поэты нашего времени заплатили ему полную дань: Байронъ въ „Манфредѣ“, „Каинѣ“ и другихъ произведеніяхъ; Гёте особенно въ „Фаустѣ“; вся поэзія Шиллера по преимуществу *рефлектирующая*, размышляющая. Въ наше время едва ли возможна поэзія въ смыслѣ древнихъ поэтовъ, созерцающая явленіе жизни безъ всякаго отношенія къ личности поэта (поэзія объективная), и въ наше время тотъ не поэтъ и особенно не художникъ, у котораго въ основаніи таланта не лежитъ созерцательность древнихъ и способность воспроизводить явленіе жизни безъ отношеній къ своей личности; но въ наше время отсутствіе въ поэтѣ внутренняго (субъективнаго) элемента есть недостатокъ.

Въ самомъ Гёте не безъ основанія порицають отсутствіе историческихъ и общественныхъ элементовъ, спокойное довольство дѣйствительностию, какъ она есть. Это и было причиною, почему менѣе Гётевской художественная, но болѣе человѣчественная, туманная поэзія Шиллера нашла себѣ больше отзыва въ человѣчествѣ, чѣмъ поэзія Гёте.

Преобладаніе внутренняго (субъективнаго) элемента въ поэтахъ обыкновенныхъ есть признакъ ограниченности таланта. У нихъ субъективность означаетъ выраженіе личности, которая всегда ограничена, если является отдѣльно отъ общаго. Они обыкновенно говорятъ о своихъ нравственныхъ недугахъ, и всегда одно и то же; читая ихъ, невольно вспоминаешь эти стихи Лермонтова:

Какое дѣло намъ, страдалъ ты или нѣтъ?

Въ талантѣ великомъ, избытокъ внутренняго, субъективнаго элемента есть признакъ гуманности. Не бойтесь этого направленія: оно не обманетъ васъ, не введетъ васъ въ заблужденіе. Великій поэтъ, говоря о себѣ самомъ, о своемъ я, говоритъ объ общемъ — о человѣчествѣ, ибо въ его натурѣ лежитъ все, чѣмъ живетъ человѣчество. И потому въ его грусти всякій узнаетъ свою грусть, въ его душѣ всякій узнаетъ свою и видитъ въ немъ не только *поэта*, но и *человѣка*, брата своего по человѣчеству. Признавая его существомъ несравненно высшимъ себя, всякій въ то же время сознаетъ свое родство съ нимъ.

Вотъ что заставило насъ обратить особенное вниманіе на субъективныя сихотворенія Лермонтова, и даже порадоваться, что ихъ больше, чѣмъ чисто художественныхъ. По этому признаку мы узнаемъ въ немъ поэта русскаго, *народнаго*, въ высшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова, —

поэта, въ которомъ выразился историческій моментъ русскаго общества. И всѣ такія его стихотворенія глубоки и многозначительны; въ нихъ выражается богатая дарами духа природа, благородная человѣческая личность.

Черезъ годъ послѣ напечатанія „Пѣснь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, Лермонтовъ вышелъ снова на арену литературы съ стихотвореніемъ „Дума“, изумившимъ всѣхъ алмазною крѣпостію стиха, громовою силою бурнаго одушевленія, исполинскою энергіею благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ, стихотворенія Лермонтова стали являться одно за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэтъ говоритъ о новомъ поколѣніи, что его будущее „или пусто, или темно“, что оно должно состарѣться подъ бременемъ *познанія* и сомнѣнья; укоряетъ его, что оно изсушило умъ *безплодною* наукою. Въ этомъ нельзя согласиться съ поэтомъ: сомнѣнье—такъ; но излишества познанія и науки, хотя бы и „безплодной“, мы не видимъ: напротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежитъ къ болѣзнямъ нашего поколѣнія.

Хорошо бы еще, еслибъ, взаимно утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: былъ бы хоть какой-нибудь выигрышъ! Но сильное движеніе общественности сдѣлало насъ обладателями знанія, безъ труда и ученія—и этотъ плодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ: онъ только пресытилъ насъ, а не напиталъ, притупилъ нашъ вкусъ, но не усладилъ его. Это обыкновенное и необходимое явленіе во всѣхъ обществахъ, вдругъ выступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ нѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, а пересаженную отъ развившихся народовъ. Мы въ этомъ отношеніи — безъ вины виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и повднимъ ихъ умомъ,
И жизньъ ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ.

Какая вѣрная картина! Какая точность и оригинальность въ выраженіи! Да, умъ отцовъ нашихъ, для насъ—поздній умъ: великая истина!

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно.

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стонъ человѣка, для котораго отсутствіе внутренней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужаснѣйшее физической смерти!.. И кто же изъ людей новаго поколѣнія не найдетъ въ немъ разгадки собственнаго унынія, душевной апатіи, пустоты внутренней, и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?.. Если подъ „сатирою“ должно разумѣть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества,—то „Дума“ Лермонтова есть

сатира, и сатира есть законный родъ поэзіи. Если сатиры Ювенала дышать такою же бурей чувства, такимъ же могуществомъ огненнаго слова, то Ювеналъ дѣйствительно великій поэтъ!..

Другая сторона того же вопроса выражена въ стихотвореніи „Поэтъ“. Обдѣланный въ золото галантерейною игрушкою кинжалъ наводитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?... Увы!

Никто привычною, заботливой рукой
Его не чистить, не ласкаетъ.

Вотъ оно, то бурное одушевленіе, та трепещущая, изнемогающая отъ полноты своей страсть, которую Гоголь называетъ въ Шиллерѣ паэосомъ!.. Нѣтъ, хвалить такіе стихи можно только стихами, и притомъ такими же... А мысль?... Мы не должны здѣсь искать статистической точности фактовъ; но должны видѣть выраженіе поэта,—и кто не признаетъ, что то, чего онъ требуетъ отъ поэта, составляетъ одну изъ обязанностей его служенія и призванія? Не есть ли это характеристика поэта—характеристика благороднаго Шиллера?..

„Не вѣрь себѣ“ есть стихотвореніе, составляющее триумvirатъ съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэтъ рѣшаетъ тайну истиннаго вдохновенія, открывая источникъ ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ и въ прозѣ, и, кажется, удивительно какъ сильно и громко, но чтеніе которыхъ дѣйствуетъ на душу какъ угаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, но

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи:
То кровь кипить, то силъ избытокъ!..

Со времени появленія Пушкина, въ нашей литературѣ показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ оборотъ новое слово „разочарованіе“, которое теперь уже успѣло сдѣлаться и старымъ и приторнымъ. Элегія смѣнила олу и стала господствующимъ родомъ поэзіи. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали воспѣвать

Погибшій жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ.

Ясно, что это была эпоха пробужденія нашего общества къ жизни: литература въ первый разъ еще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы вполнѣ выразилось въ дивномъ созданіи Пушкина—„Демонъ“. Это демонъ сомнѣнія, это духъ размышленія, рефлексіи, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дѣло: пробудилась жизнь, и съ нею объ-руку пошло сомнѣніе—врагъ жизни! „Демонъ“ Пушкина съ тѣхъ поръ остался у насъ вѣчнымъ гостемъ, и съ

злою, насмѣшливою улыбкою показывается то тутъ, то тамъ... Мало этого: онъ привелъ другого демона, еще болѣе страшнаго, болѣе неразгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно, и грустно, и некому руку подать
Въ минуту душевной невзгоды...

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія нездѣшной муки, этотъ потрясающій душу рекъіемъ всѣхъ надеждъ, всѣхъ чувствъ человѣческихъ, всѣхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человѣческая природа, стынетъ кровь въ жилахъ, и прежній свѣтлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душитъ насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается своими костяными челюстями и прижимается къ устамъ нашимъ! Это не минута духовной дисгармоніи, сердечнаго отчаянія: это похоронная пѣсня всей жизни! Кому незнакомо по опыту состояніе духа, выраженное въ ней, въ чьей натурѣ не скрывается возможность ея страшныхъ диссонансовъ,—тѣ, конечно, увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую пѣсню грустнаго содержанія, и будутъ правы; но тотъ, кто не разъ слышалъ внутри себя ея могильный напѣвъ, а въ ней увидѣлъ только художественное выраженіе давно знакомаго ему ужаснаго чувства, тотъ припишетъ ей слишкомъ глубокое значеніе, слишкомъ высокую цѣну, дастъ ей почетное мѣсто между величайшими созданіями поэзіи, которыя когда-либо, подобно свѣточамъ Эвменидъ, освѣщали бездонныя пропасти человѣческаго духа... И какая простота въ выраженіи, какая естественность, свобода въ стихѣ! такъ и чувствуешь, что вся пѣснь мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ слезъ, давно уже накопившихъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните „Героя нашего времени“, вспомните Печорина—этого страннаго человѣка, который, съ одной стороны, томится жизнью, презираетъ и ее и самого себя, не вѣритъ ни въ нее ни въ самого себя, носитъ въ себѣ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничѣмъ ненасытимыхъ, а съ другой—гонится за жизнью, жадно ловитъ ея впечатлѣнія, безумно упивается ея обаяніями; вспомните его любовь къ Бэлѣ, къ Вѣрѣ, къ княжнѣ Мери и потомъ поймите эти стихи:

Любить... но кого же!.. на время не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.

Да, невозможно! Но зачѣмъ же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вѣчной любви, которыми мы встрѣчаемъ нашу юность, эта гордая вѣра въ неизмѣняемость чувства и его дѣйствительность?.. Мы знаемъ одну пѣсню, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени, а которая за нѣсколько лѣтъ передъ симъ казалась бы

даже бессмысленною, а теперь для многих слишком много знаменательна. Вотъ, она:

Я не люблю тебя: мнѣ суждено судьбою
Не полюбивши разлюбить;
Я не люблю тебя: больной моей душою
Я никогда не буду адѣсь любить.
О, не кляни меня! Я обманулъ природу,
Тебя, себя, когда въ волшебный мигъ
Я сердце правдное и бѣдную свободу
Повергъ въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ.
Я не люблю тебя, но, полюбя другую,
Я презиралъ бы горько самъ себя;
И, какъ безумный, я и плачу и тоскую,
И все о томъ, что не люблю тебя!..

Неужели прежде этого не бывало? Или, можетъ быть, прежде этому не придавали большой важности: пока любилось—любили; разлюбилось—не тужили; даже соединясь какъ бы по страсти тѣми узами, которые навсегда рѣшаютъ участь двухъ существъ, и потомъ увидѣвъ, что ошиблись въ своемъ чувствѣ, что не созданы одинъ для другого, вмѣсто того чтобы приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цѣпей, предавались лѣнливой привычкѣ, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства, переходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?.. Вѣдь у всякой эпохи свой характеръ?.. Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ многого требуютъ отъ жизни, слишкомъ необузданно предаются обаяніямъ фантазій, такъ что, послѣ ихъ роскошныхъ мечтаній, дѣйствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвѣтною, блѣдною, холодною и пустою?... Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ серьезно смотрятъ на жизнь, даютъ слишкомъ большое значеніе чувству?.. Можетъ быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ таинствомъ, и они лучше хотятъ совсѣмъ не жить, нежели жить, какъ живется?.. Можетъ быть, они слишкомъ прямо смотрятъ на вещи, слишкомъ добросовѣстны и точны въ названіи вещей, слишкомъ откровенны насчетъ самихъ себя: протяжно вѣвая, не хотятъ называть себя энтузіастами, и ни другихъ, ни самихъ себя не хотятъ обманывать ложными чувствами и становиться на ходули?.. Можетъ быть, они слишкомъ совѣстливы и честны въ отношеніи къ участи другихъ людей и, обѣщавъ другому существу любовь и блаженство, думаютъ, что непременно должны дать ему то и другое, а не видя возможности исполнить это, предаются тоскѣ и отчаянію?.. Или, можетъ быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видятъ, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы, глубокаго духа, и представляютъ собою младенца въ англійской болѣзни?.. Можетъ быть—чего не можетъ быть!..

„И скучно и грустно“ изъ всѣхъ пьесъ Лермонтова обратила на себя

особую неприязнь стараго поколѣнія. Странные люди! имъ все кажется, что поэзія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тѣшить побрякушками, а не гремѣть правдою! Имъ все кажется, что люди—дѣти, которыхъ можно заговорить прибаутками, или утѣшать сказочками! Они не хотятъ понять, что если кто кое-что знаетъ, тотъ смѣется надъ увѣреніями и поэта и моралиста, зная, что они сами имъ не вѣрятъ. Такія правдивыя представленія того, что есть, кажутся нашимъ чужакамъ безнравственными. Питомцы Бульи и Жанлисъ, они думаютъ, что истина сама по себѣ не есть высочайшая нравственность... Но вотъ самое лучшее доказательство ихъ дѣтскаго заблужденія: изъ того же самаго духа поэта, изъ котораго вышли такіе безотрадные, леденящіе сердце человѣческое звуки, изъ того же самаго духа вышло и стихотвореніе „Въ минуту жизни трудную“—эта молитвенная, елеинная мелодія надежды, примиренія и блаженства въ жизни жизнью.

Другую сторону духа нашего поэта представляетъ его превосходное стихотвореніе „Памяти А. И. О-го“: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но цѣломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть въ этомъ стихотвореніи что-то кроткое, задушевное, отрадно-успокаивающее душу... И какою грандіозною, гармонирующею съ тономъ цѣлаго картины заключается это стихотвореніе: вотъ истинно безконечное и въ мысли и въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной „Молитвы“ (стр. 43), въ которой поэтъ поручаетъ Матери Божіей, „теплой заступницѣ холоднаго міра“ невинную дѣву. Кто бы ни была эта дѣва — возлюбленная ли сердца или милая сестра — не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; какое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощномъ и гордомъ, въ натурѣ львиной—все это больше, чѣмъ умилительно... Изъ какихъ богатыхъ элементовъ составлена поэзія этого человѣка, какими разнообразными мотивами и звуками гремятъ и льются ея гармонія и мелодія! Вотъ пьеса, означенная рубрикою „1-ое января“: читая ее, мы опять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту же думу, то же сердце, словомъ—ту же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ говоритъ, какъ часто, при шумѣ пестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ него бездушныхъ лицъ—„стигнутыхъ приличьемъ масокъ“, когда холодныхъ рукъ его съ небрежною смѣлостью касаются „давно безтрепетныя“ руки модныхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святыя звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мѣста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,

А за прудомъ село дымится—и встають
Вдали туманы надъ полями.
Въ аллею темную вхожу я; сивозъ кусты
Глядять вечерній лучъ, и желтые листы
Шумять подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ! Когда же говорить онъ, шумъ людской толпы „спугнеть мою мечту“

О, какъ мнѣ хочется смутить веселость ихъ,
И дерево бросить имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и апостомъ!..

Если бы не всѣ стихотворенія Лермонтова были одинаково лучшія, то это мы назвали бы однимъ изъ лучшихъ.

„Журналистъ, Читатель и Писатель“ напоминаетъ и идею и формою и художественнымъ достоинствомъ „Разговоръ Книгопродавца съ Поэтомъ“ Пушкина. Разговорный языкъ этой пьесы—верхъ совершенства; рѣзкость сужденій, тонкая и ѣдкая насмѣшка, оригинальность и поразительная вѣрность взглядовъ и замѣчаній—изумительны. Исповѣдь поэта, которою оканчивается пьеса, блеститъ слезами, горитъ чувствомъ. Личность поэта является въ этой исповѣди въ высшей степени благородною.

„Ребенку“—это маленькое лирическое стихотвореніе заключаетъ въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную намеками, но тѣмъ не менѣе понятную. О какъ глубоко поучительна эта повѣсть, какъ сильно потрясаетъ она душу!.. Въ ней глухія рыданія обманутой любви, стоны исходящаго кровью сердца, жестокія проклятія, а потомъ, можетъ быть, и благословеніе смиреннаго испытаніемъ сердца женщины... Какъ я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорять, ты похожъ на нее, и хоть страданія измѣнили ее прежде времени, но ея образъ въ моемъ сердцѣ...

... А ты, ты любишь ли меня?
Не скучны ли тебѣ непрошенныя ласки?

Отчего же тутъ нѣтъ раскаянія?—спросятъ моралисты. Надѣньте очки, господа, и вы увидите, что герой пьесы спрашиваетъ дитя—не учила ли она его молиться еще за кого-то, не произносила ли, блѣднѣя, теперь забытаго имъ имени?.. Онъ проситъ ребенка не проклипать этого имени, если узнаетъ о немъ. Вотъ истинное торжество нравственности!

Поэтическая мысль можетъ иногда родиться и вслѣдствіе какого-нибудь изъ тѣхъ обстоятельствъ, изъ которыхъ складывается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дѣйствительности въ возможности, и потому въ поэзіи не имѣетъ никакого мѣста вопросъ: „было ли это?“; но она всегда должна положительно отвѣчать на вопросъ: „возможно ли это, можетъ ли это быть въ дѣйствительности?“ „Самое об-

стоятельство можетъ только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею и, будучи выражено имъ въ стихотвореніи, является уже совсѣмъ другимъ, новымъ и небывалымъ, но могущимъ быть. Потому, чѣмъ выше талантъ поэта, тѣмъ больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примѣненій и къ собственной нашей жизни и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ, какъ будто коротко знакомое намъ по опыту,—и тогда понимаемъ, почему поэзія, выражая частное, есть выраженіе общаго. Прочтете „Сосѣда“ Лермонтова—и хотя бы вы никогда не были въ подобномъ обстоятельствѣ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключеніи, любили незримаго сосѣда, отдѣленнаго отъ васъ стѣною, прислушивались и къ мѣрному звуку шаговъ его, и къ унылой пѣснѣ его, и говорили къ нему про себя:

Я слушаю—и въ мрачной тишинѣ
Твои напѣвы раздаются.
О чемъ они—не знаю: но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Какъ слезы, тихо льются, льются...
И лучшихъ лѣтъ надежды и любовь—
Въ груди моей все оживаетъ вновь,
И мысли далеко несутся,
И полонъ умъ желаній и страстей,
И кровь кипитъ—и слезы изъ очей,
Какъ звуки, другъ за другомъ льются.

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣпкой, эти унылые, мелодическіе звуки, льющіеся другъ за другомъ, какъ слеза за слезою; эти слезы льющіяся одна за другой, какъ звукъ за звукомъ,—сколько въ нихъ таинственнаго, невыговариваемаго, но такъ ясно понятнаго сердцу! Здѣсь поэзія становится музыкою: здѣсь обстоятельство является, какъ въ оперѣ, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ таинственное значеніе; здѣсь отъ случая жизни отнята вся его матеріальная, внѣшняя сторона, и извлеченъ изъ него одинъ чистый эфиръ, солнечный лучъ свѣта, въ возможности скрывавшійся въ немъ... Выраженное въ этой пьесѣ обстоятельство можетъ быть фактомъ, но сама пьеса относится къ этому факту, какъ относится къ натуральной розѣ поэтическая роза, въ которой нѣтъ грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта въ пьесахъ: „Когда волнуется желтѣющая нива“, „Разстались мы, но твой портретъ“, и „Отчего“,—и грустно, болѣзненно въ пьесѣ „Благодарность“. Не можемъ не остановиться на двухъ послѣднихъ. Онѣ коротки, повидимому, лишены общаго значенія и не заключаютъ въ себѣ никакой идеи; но, Боже мой! ка-

кую длинную и грустную повѣсть содержать въ себѣ каждое изъ нихъ! какъ онѣ глубоко знаменательны, какъ полны мыслию!

Мнѣ грустно... потому что весело тебѣ.

Это вадохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ растерзаннаго и смиреннаго бурею судьбы сердца... И какая удивительная простота въ стихѣ! Здѣсь говорить одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говоритъ само за себя, оно вполнѣ высказалось бы и прозою...

За все, за все Тебя благодарю я.
За тайныя мученія страстей,
За горечь слезъ, отраву поцѣлуя,
За мечь враговъ и клевету друзей;
За жаръ души, растрченный въ пустынь,
За все, чѣмъ я обманутъ въ жизни былъ...
Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынѣ
Недолго я еще благодарилъ...

Какая мысль скрывается въ этой грустной „благодарности“, въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнью сердца? Все хорошо: и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всѣ обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нѣтъ, хотя безъ нихъ и нѣтъ ничего, чего просить душа, чѣмъ живетъ она, что нужно ей какъ масло для лампы!.. Это утомленіе чувствомъ, сердце проситъ покоя и отдыха, хотя и не можетъ жить безъ волненія и движенія... Въ *pendant* къ этой пьесѣ можетъ идти новое стихотвореніе Лермонтова, „Завѣщаніе“: это похоронная пѣснь жизни и всѣмъ ея обольщеніямъ, тѣмъ болѣе ужасная, что ея голосъ не глухой и не громкій, а холодно-спокойный; выраженіе не горитъ и не сверкаетъ образами, но небрежно и прозаично... Мысль этой пьесы: и худое и хорошее—все равно; отдѣлать лучше не въ нашей волѣ, и потому пусть идетъ себѣ какъ оно хочетъ... Это ужъ даже и не сарказмъ, не иронія и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться,—все равно! Отца и мать жалѣть огорчить... Волѣ нихъ есть сосѣдка—она не спроситъ о немъ, но нечего жалѣть пустого сердца—пусть поплачетъ: вѣдь это ей нипочемъ! Страшно!.. Но позвія есть сама дѣйствительность, и потому она должна быть неумолима и безпощадна, гдѣ дѣло идетъ о томъ, что есть или что бываетъ... А человеку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкѣ гармонія условливается диссонансомъ, въ духѣ—блаженство условливается страданіемъ, избытокъ чувства—сухостью чувства, любовь—ненавистью, сильная жизненность—отсутствіемъ жизни: это такія крайности, которыя всегда живутъ вмѣстѣ, въ одномъ сердцѣ. Кто не печалился и не плакалъ, тотъ и не возрадуется, кто не болѣлъ, тотъ и не выздоровѣетъ, кто не умиралъ

за-живо, тотъ и не встанетъ... Жалѣйте поэта, или лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ваши собственныя раны; но не отчаявайтесь ни за поэта ни за человѣка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ вѣдро, безотрадность—надежда...

Два перевода изъ Байрона — „Еврейская мелодія“ и „Въ Альбомѣ“, тоже выражаютъ внутренній міръ души поэта. Это боль сердца, тяжкіе задохи груди; это надгробныя надписи на памятникахъ погибшихъ радостей...

„Вѣтка Палестины“ и „Тучи“ составляютъ переходъ отъ субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто-художественнымъ. Въ обоихъ пьесахъ видна еще личность поэта, но въ то же время виденъ уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніе „полнаго славы творенья“. Первая изъ нихъ дышитъ благодатнымъ спокойствіемъ сердца, теплою молитвы, кроткимъ вѣяніемъ святыни. О самой этой пьесѣ можно сказать то же, что говорится въ ней о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,
Передъ иконою золотой
Стоишь ты, вѣтвь Ерусалима,
Святыни вѣрный часовой!
Прозрачный сумракъ, лучъ лампы,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой.

Вторая пьеса „Тучи“ полна какого-то отраднаго чувства выадорования и надежды, и плѣняетъ роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ умиленнаго чувства.

„Русалкою“ начнемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаетъ за роскошными видѣніями явленій жизни. Эта пьеса покрыта фантастическимъ колоритомъ, и по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдѣлки, составляетъ собою одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ русской поэзіи. „Три Пальмы“ дышатъ знойною природой Востока, переносятъ насъ на песчанныя пустыни Аравіи, на ея цвѣтушіе оазисы. Мысль поэта ярко выдается,—и онъ поступилъ съ нею какъ истинный поэтъ, не заключивъ своей пьесы нравственною сентенціей. Самая эта мысль могла быть опoэтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ „Восточное сказаніе“; иначе она была бы дѣтскою мыслью. Пластицизмъ и рельефность образовъ, выпуклость формы и яркій блескъ восточныхъ красокъ—сливаются въ этой пьесѣ поэзію съ живописью: это картина Брюлова, смотря на которую хочешь еще и осязать ее.

„Дары Терека“ есть поэтическая апопееза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековъ умѣла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ея нѣмымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Нѣтъ возможности и

выписывать стиховъ изъ этой дивно-художественной пьесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполинской фантазіи; иначе пришлось бы переписать все стихотвореніе. Терекъ и Каспій олицетворяютъ собою Кавказъ, какъ самыя характеристическія его явленія. Терекъ сулитъ Каспію дорогой подарокъ: но сладострастно-лѣнивый сибаритъ моря, покоясь въ мягкихъ берегахъ, не внемлетъ ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалого кабардинца; но когда Терекъ сулитъ ему сокровенный даръ — безцѣннѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

... Надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косою размытой,
Колыхаяся, всплыла.
И старикъ во блескъ власти
Всталъ, могучій, какъ гроза,
И одѣлся влагой страсти
Темно-синіе глаза.

Онъ разыгралъ, веселья полный,
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви.

Мы не назовемъ Лермонтова ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ; но не думаемъ сдѣлать ему гиперболической похвалы, сказавъ, что такія стихотворенія, какъ „Русалка“, „Три Пальмы“ и „Дары Терека“ можно находить только у такихъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте и Пушкинъ...

Не менѣе превосходна „Казачья колыбельная пѣсня“. Ея идея — мать; но поэтъ умѣлъ дать индивидуальное значеніе этой общей идее: его мать — казачка, и потому содержаніе ея колыбельной пѣсни выражаетъ собою особенности и оттѣнки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апофеоза матери: все, что есть святого, беззапятнаго въ любви матери, весь трепеть, вся нѣга, вся страсть, вся безконечность кроткой нѣжности, безграничность безкорыстной преданности, какою дышитъ любовь матери, — все это воспроизведено поэтомъ во всей полнотѣ. Гдѣ, откуда взялъ поэтъ эти простодушныя слова, эту умиленную нѣжность тона, эти кроткіе и задумчивые звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Онъ видѣлъ Кавказъ, — и намъ понятна вѣрность его картинъ Кавказа: онъ не видалъ Аравіи, и ничего, что могло бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальмъ и прохладныхъ источниковъ, но онъ читалъ ихъ описанія: какъ же онъ такъ глубоко могъ проникнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

„Воздушный Корабль“ не есть собственно переводъ изъ Зейдлица: Лермонтовъ взялъ у нѣмецкаго поэта только идею, но обработалъ ее по-своему. Эта пьеса, по своей художественности, достойна великой тѣни, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно представленъ въ ней. — Какое

тихое, успокоительное чувство ночи послѣ знойнаго дня вѣсть въ стихотвореніи „Горныя вершины“, въ этой маленькой пьесѣ Гёте, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова „Мцыри“. Плѣнный мальчикъ-черкесъ воспитанъ былъ въ грузинскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться, или его хотятъ сдѣлать монахомъ. Разъ была страшная буря, во время которой черкесъ скрылся. Три дня пропадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоитъ изъ исповѣди о томъ, что было съ нимъ въ эти три дня. Давно манилъ его къ себѣ призракъ родины, темно носившійся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ—и ушелъ.

„Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля;
Узнать, прекрасна ли земля;
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣждалъ. О! я, какъ братъ,
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ взаимнѣ
Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...“

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная душа, что за могучій духъ, что за исполинская натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего поэта, это отраженіе въ поэзіи тѣни его собственной личности. Во всемъ, что ни говоритъ мцыри, вѣсть его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственной мощью. Это произведеніе субъективное.

Мысль поэмы отзывается юношескою незрѣлостью, и если она дала возможность поэту рассыпать передъ вашими глазами такое богатство самоцвѣтныхъ камней поэзіи,—то не само собою, а точно такъ, какъ странное содержаніе иного посредственнаго либретто даетъ геніальному композитору возможность создать превосходную оперу. Недавно кто-то, резонерствуя въ газетной статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова, назвалъ его „Пѣсню про царя Ивана Васильевича, удалого опричника и молодого купца Калашникова“ произведеніемъ дѣтскимъ, а „Мцыри“—произведеніемъ зрѣлымъ; глубоко-мысленный критиканъ, рассчитывая по пальцамъ время появленія той и другой поэмы, очень остроумно сообразилъ, что авторъ былъ тремя годами старше, когда написалъ „Мцыри“, и изъ этого казуса весьма основательно

вывелъ заключеніе: ерго—„Мцыри“ зрѣлѣе. Это очень понятно: у кого нѣтъ эстетическаго чувства, кому не говоритъ само за себя поэтическое произведеніе, тому остается гадать о немъ по пальцамъ, или соображаться съ метрическими книгами...

Но, несмотря на незрѣлость идеи и нѣкоторую натянутость въ содержаніи „Мцыри“,—подробности и изложеніе этой поэмы изумляютъ своимъ исполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что поэтъ бралъ цвѣты у радуги, лучи у солнца, блескъ у молніи, грохотъ у громовъ, гулъ у вѣтровъ,—что вся природа сама несла и подавала ему матеріалы, когда писалъ онъ эту поэму... Кажется, будто поэтъ до того былъ отягощенъ обременительною полнотою внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ, что готовъ былъ воспользоваться первою мелькнувшею мыслью, чтобы только освободиться отъ нихъ,—и они хлынули изъ души его, какъ горящая лава изъ огнедышащей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно объявшей собою распаленный горизонтъ, какъ внезапно прорвавшійся яростный потокъ, поглощающій окрестность на далекое разстояніе своими сокрушительными волнами... Этотъ четырехстопный ямбъ съ одними мужескими окончаніями. какъ въ „Шильонскомъ узникѣ“, звучитъ и отрывисто падаетъ, какъ ударъ меча, поражающаго свою жертву. Упругость, энергія и звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонируютъ съ сосредоточеннымъ чувствомъ, несокрушимою силою могучей натуры и трагическимъ положеніемъ героя поэмы. А между тѣмъ, какое разнообразіе картинъ, образовъ и чувствъ: тутъ и буря духа, и умиленіе сердца, и вопли, и отчаяніе, и тихія жалобы, и гордое ожесточеніе, и кроткая грусть, и мраки ночи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудня, и таинственное обаяніе вечера!.. Многія положенія изумляютъ своею вѣрностью: таково мѣсто, гдѣ мцыри описываетъ свое замираніе подлѣ монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ огнемъ, когда надъ усталою головою уже вѣяли успокоительные сны смерти и носились ея фантастическія видѣнія. Картины природы обличаютъ кисть великаго мастера: онъ дышетъ грандіозностью и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кавказъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта... Странное дѣло! Кавказу какъ будто суждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохновителемъ и пѣстуномъ ихъ музы, поэтическою ихъ родиной! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ — „Кавкасскаго Плѣнника“, и одна изъ послѣднихъ его поэмъ — „Галубъ“ — тоже посвящена Кавказу; нѣсколько превосходныхъ лирическихъ стихотвореній его также относятся къ Кавказу. Грибоедовъ создалъ на Кавказѣ свое „Горе отъ Ума“; дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ и вдохновила его оскорбленное человѣческое чувство на изображеніе апатическаго ничтожнаго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загорѣйцевъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчаливыхъ—этихъ карикатуръ на природу человѣческую... И вотъ является

новый великій талантъ—и Кавказъ дѣлается его поэтическою родиной, пламенно-любимою имъ; на недоступныхъ вершинахъ Кавказа, вѣчныхъ снѣгомъ, находитъ онъ свой Парнасъ; въ его свирѣпомъ Терекѣ, въ его горныхъ потокахъ, въ его пѣлебныхъ источникахъ находитъ онъ свой Кастальскій ключъ, свою Иокрену... Какъ жаль, что не напечатана другая поэма Лермонтова, дѣйствіе которой совершается также на Кавказѣ и которая въ рукописи ходитъ въ публикѣ, какъ нѣкогда ходило „Горе отъ Ума“: мы говоримъ о „Демонѣ“. Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрѣлѣе, чѣмъ мысль „Мцыри“, и хотя исполненіе ея отзывается нѣкоторою незрѣлостью, но роскошь картинъ, богатство поэтического одушевленія, превосходные стихи, высотность мыслей, обаятельная прелесть образовъ, ставятъ ее несравненно выше „Мцыри“ и превосходить все, что можно сказать въ ея похвалу. Это не художественное созданіе, въ строгомъ смыслѣ искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта поэта и обѣщаетъ въ будущемъ великія художественныя созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одинъ недостатокъ: это иногда неясность образовъ и неточность въ выраженіи. Такъ, напримѣръ, въ „Дарахъ Терека“, гдѣ „сердитый потокъ“ описываетъ Каспій красоту убитой казачки, очень неопредѣленно намекнуто и на причину ея смерти, и на ея отношенія къ гребенскому казаку:

„По красотѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.
Осѣдлалъ онъ вороного,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ чеченца злого,
Сложить голову свою“.

Здѣсь на догадку читателя оставляется три случая, равно возможные: или что чеченецъ убилъ казачку, а казакъ обрекъ себя мщенію за смерть своей любезной; или что самъ казакъ убилъ ее изъ ревности и ищетъ себѣ смерти, или что онъ еще не знаетъ о гибели своей возлюбленной; и потому не тужитъ о ней, готовясь въ бой. Такая неопредѣленность вредитъ художественности, которая именно въ томъ и состоитъ, что говорить образами опредѣленными, выпуклыми, рельефными, вполне выражающими заключенную въ нихъ мысль. Можно найти въ книжкѣ Лермонтова пять-шесть неточныхъ выраженій, подобныхъ тому, которыми оканчивается его превосходная пьеса „Поэтъ“:

Проснешься ль ты опять, осмѣянный пророкъ,
Иль никогда, на голосъ мщенья,
Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ,
Покрытый расаечной презрѣль?

„Ржавчина презрѣнья“ — выраженіе неточное и слишкомъ сбивающееся на аллегорію. Каждое слово въ поэтическомъ произведеніи должно до того исчерпывать все значеніе требуемаго мыслью цѣлаго произведенія, чтобы видно было, что нѣтъ въ языкѣ другого слова, которое тутъ могло бы замѣнить его. Пушкинъ и въ этомъ отношеніи величайшій образецъ: во всѣхъ томахъ его произведеній едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь неточное или изысканное выраженіе, даже слово... Но мы говоримъ не больше, какъ о пяти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все остальное въ ней удивляетъ силою и тонкостью художественнаго такта, полновластнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно Пушкинскою точностью выраженія.

Бросая общій взглядъ на стихотворенія Лермонтова, мы видимъ въ нихъ всѣ силы, всѣ элементы, изъ которыхъ слагается жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурѣ, въ этомъ мощномъ духѣ все живетъ; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводитъ ихъ какъ истинный художникъ, онъ поэтъ русскій въ душѣ—въ немъ живетъ прошедшее и настоящее русской жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутреннимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елеинное благоуханіе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихая грусть, кроткая задумчивость, вопли гордаго страданія, стоны отчаянія таинственная нѣжность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цѣломудренная чистота, недуги современнаго общества, картины міровой жизни, хмельныя обаянія жизни, укоры совѣсти, умиленное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіяся въ полнотѣ умиренаго бурею жизни сердца, упоеніе любви, трепетъ разлуки, радость свиданія, чувство матери, презрѣніе къ провѣ жизни, безумная жажда восторговъ, полнота упивающагося роскошью бытія духа, пламенная вѣра, мука душевной пустоты, стонъ отвращающагося самого себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомнѣнія, борьба полноты чувства съ разрушающею силой рефлексіи, падшій духъ неба, гордый демонъ и невинный младенецъ, буйная вакханка и чистая дѣва—все, все въ поэзіи Лермонтова: и небо и земля, и рай и адъ... по глубинѣ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силѣ поэтического обаянія, полнотѣ жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненнымъ фонтаномъ, его созданія напоминаютъ собою созданія великихъ поэтовъ. Его поприще еще только начато, и уже какъ много имъ сдѣлано, какое неистощимое богатство элементовъ обнаружено имъ; чего же должно ожидать отъ него въ будущемъ?.. Пока еще не назовемъ мы его ни Байрономъ, ни Гёте, ни Пушкинымъ, и не скажемъ, чтобы изъ него современемъ вышелъ Байронъ, Гёте или Пушкинъ: ибо мы убѣждены, что изъ него выйдетъ ни тотъ, ни другой, ни третій, а выйдетъ — Лермонтовъ... Знаемъ, что наши похвалы покажутся большинству

публики преувеличенными, но мы уже обрекли себя тяжелой роли говорить рѣзко и опредѣленно то, чему сначала никто не вѣритъ, но въ чемъ скоро всѣ убѣждаются, забывая того, кто первый выговорилъ сознаніе общества и на кого оно за это смотрѣло съ насмѣшкою и неудовольствіемъ... Для толпы нѣмъ и безмолвно свидѣтельство духа, которымъ запечатлѣны созданія вновь явившагося таланта: она составляетъ свое сужденіе не по самымъ этимъ созданіямъ, а по тому, что о нихъ говорятъ сперва люди почтенные, литераторы заслуженные, а потомъ, что говорятъ о нихъ всѣ. Даже, восхищаясь произведеніями молодого поэта, толпа косо смотритъ, когда его сравниваютъ съ именами, которыхъ значенія она не понимаетъ, но къ которымъ она прислушалась, которыхъ привыкла уважать на слово... Для толпы не существуетъ убѣжденія истины: она вѣритъ только авторитетамъ, а не собственному чувству и разуму — и хорошо дѣлаетъ... Чтобы преклониться передъ поэтомъ, ей надо сперва прислушаться къ его имени, привыкнуть къ нему и забыть множество ничтожныхъ именъ, которыя на минуту похищали ея бессмысленное удивленіе. *Procul profani!*..

Какъ бы то ни было, но и въ толпѣ есть люди, которые высятся надъ нею; они поймутъ насъ. Они отличаютъ Лермонтова отъ какого-нибудь фразера, который занимается стукотнею звучныхъ словъ и богатыхъ речей, который вздумаетъ почитать себя представителемъ національнаго духа потому только, что кричитъ о славѣ Россіи (несколько не нуждающейся въ этомъ) и вандальски смѣется надъ издыхающею, будто бы, Европою, дѣлая изъ героевъ ея исторіи что-то похожее на нѣмецкихъ студентовъ... Мы увѣрены, что и наше сужденіе о Лермонтовѣ отличать они отъ тѣхъ производствъ въ „лучшіе писатели нашего времени, надъ сочиненіями которыхъ (будто бы) примирились всѣ вкусы и даже всѣ литературныя партіи“ такихъ писателей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ замѣчательное дарованіе, но лучшими могутъ казаться только для малаго кружка читателей того журнала, въ каждой книжкѣ котораго печатаютъ они по одной и даже по двѣ повѣсти... Мы увѣрены, что они поймутъ, какъ должно, и ропотъ стараго поколѣнія, которое, оставшись при вкусахъ и убѣжденіяхъ цвѣтущаго времени своей жизни, упорно принимаетъ неспособность свою сочувствовать новому и понимать его — за ничтожность всего новаго...

И мы видимъ уже начало истиннаго (несуточнаго) примиренія всѣхъ вкусовъ и всѣхъ литературныхъ партій надъ сочиненіями Лермонтова, — и уже недалеко то время, когда имя его въ литературѣ сдѣлается народнымъ именемъ, и гармоническіе звуки его поэзіи будутъ слышимы въ повседневномъ разговорѣ толпы, между толками ея о житейскихъ заботахъ...

Герой нашего времени.

...Итакъ—„Герой нашего времени“—вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почестся злою ироніею, потому что бѣольшая часть читателей навѣрное воскликнетъ: „Хорошъ же герой!“—А чѣмъ же онъ дурень?—смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагоклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
Что пылкихъ думъ неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ;
Что умъ, любя просторъ, тѣснить;
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла;
Что глупость вѣтрена и зла;
Что важнымъ людямъ важны вадоры,
И что посредственность одна
Намъ по-плечу и нестрашна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ вѣры. Прекрасно! но вѣдь это то же самое, что обвинять нищаго за то, что у него нѣтъ золота: онъ бы и радъ имѣть его, да не дается оно ему. И притомъ, развѣ Печоринъ радъ своему безвѣрію? развѣ онъ гордится имъ? развѣ онъ не страдалъ отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣною жизни и счастья купить эту вѣру, для которой еще не настала чась его?.. Вы говорите, что онъ эгоистъ?—Но развѣ онъ не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? развѣ сердце его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной? Нѣтъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ знаетъ мученія; страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печорина не каменистая почва, но засохшая отъ зноя пламенной жизни земля; пусть взрыхлить ее страданіе и ороситъ благодатный дождь,—и она произраститъ изъ себя пышные, роскошные цвѣты небесной любви... Этому человѣку стало больно и грустно, что его всѣ не любятъ,—и кто же эти „всѣ“?—пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушать въ себѣ ложный стыдъ, голосъ свѣтской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ готовъ былъ простить Грушницкому, человѣку, сейчасъ только выстрѣлившему въ него пулю и безстыдно ожидавшему отъ него холостого вы-

стрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи у тѣла издохшаго коня?— нѣтъ, все это не эгоизмъ! Но его—скажете вы—холодная расчетливость, систематическая расчитанность, съ которою онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, не любя ея, и только для того, чтобы посмѣяться надъ нею и чѣмъ-нибудь занять свою праздность?—Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставлать его образцомъ, высокимъ идеаломъ чистѣйшей нравственности: мы только хотимъ сказать, что въ человѣкѣ должно видѣть человѣка, и что идеалы нравственности существуютъ въ однихъ классическихкихъ трагедіяхъ и морально-сантиментальныхъ романахъ прошлаго вѣка. Судя о человѣкѣ, должно брать въ разсмотрѣніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его во многихъ отношеніяхъ дурное настоящее—общаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою?—и хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаетъ, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значить ли это противорѣчить самимъ себѣ? опасность отъ парохода есть результатъ его чрезмѣрной быстроты; слѣдовательно, порокъ его выходитъ изъ его достоинства. Бываютъ люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведенія, потому что она въ нихъ есть слѣдствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный, онъ приводитъ въ умиленіе вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извнѣ, но есть результатъ самаго порока, отрицаніе собственной личности индивидуума въ оправданіе вѣчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Печорина, когда онъ съ нимъ встрѣтился на большой дорогѣ, вотъ что говоритъ о его глазахъ: „Они не смѣялись, когда онъ смѣялся... Вамъ не случилось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей? Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непродолжительный, но проникательный и тяжелый—оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ казаться дерзкимъ, если бы не былъ столь равнодушно спокоенъ“.—Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимомъ Максимычемъ показываютъ, что если это порокъ, то совсѣмъ не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобы такъ жестоко быть наказану за зло?.. Торжество нравственного духа гораздо поразительнѣе совершается надъ благородными натурами, чѣмъ надъ злодѣями...

А между тѣмъ этотъ романъ совсѣмъ не злая иронія, хотя и очень легко можетъ быть принятъ за иронию; это одинъ изъ тѣхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно,
Съ его безнравственной душой
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйстви пустомъ.

„Хорошъ же современный человѣкъ!“—воскликнулъ одинъ правоописательный „сочинитель“, разбирая, или, лучше сказать, ругая седьмую главу „Евгенія Онегина“. Здѣсь мы почитаемъ, кстати замѣтить, что всякій современный человѣкъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы онъ ни былъ дурень, не можетъ быть дурень, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и ни одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человѣчества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ Онегинѣ:

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный приракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,—
Ужъ не пародія ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ онъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Онегинъ не подражаніе, а отраженіе, но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтического романа. Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ,—и Пушкинъ гениальнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онегина. Но Онегинъ для насъ уже прошедшее и прошедшее невозвратное.

Если бы онъ явился въ наше время, вы имѣли бы право спросить, вмѣстѣ съ поэтомъ:

Все тотъ же ль онъ, иль усмирился?
Иль корчитъ такъ же чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представить онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится?—Мельмотомъ,

Космополитомъ, патриотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнеть иной?
Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?

Печоринъ Лермонтова есть лучший отвѣтъ на всѣ эти вопросы. Это — Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онегою и Печорою. Иногда, въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ...

Со стороны художественнаго выполненія нечего и сравнивать Онѣгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Онѣгинъ Печорина въ художественномъ отношеніи, такъ Печоринъ выше Онѣгина по идеѣ. Впрочемъ, это преимущество принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онѣгинъ? — Лучшею характеристикою и истолкованіемъ этого лица можетъ служить французскій эпиграфъ къ поэмѣ: „Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire“ Мы думаемъ, что это превосходство въ Онѣгинѣ нисколько не было воображаемымъ, потому что онъ „вчужѣ чувства уважалъ“, и что въ „его сердцѣ была и гордость, и прямая честь“. Онъ является въ романѣ человѣкомъ, котораго убили воспитаніе и свѣтская жизнь, которому все, приглядѣлось, все пріѣлось, все прилюбилось и котораго вся жизнь состояла въ томъ,

Что онъ равно звѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человѣкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: бѣшенно гоняется онъ за жизнью, ища ея повсюду; горько обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутренніе вопросы, тревожатъ его, мучать, и онъ въ рефлексіи ищетъ ихъ разрѣшенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ сдѣлалъ изъ себя самый любопытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннѣе въ своей исповѣди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываетъ небывалые, или ложно истолковываетъ самыя естественныя свои движенія.

„Герой нашего времени“, это — грустная дума о нашемъ времени.

Но со стороны формы изображеніе Печорина несовсѣмъ художественно. Однако причина этого не въ недостаткѣ таланта автора, а въ томъ, что изображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ былъ отдѣлиться отъ него и объективировать его. Мы убѣждены, что никто не можетъ видѣть въ словахъ нашихъ желаніе выставить романъ г. Лермонтова автобіографіею. Субъек-

тивное изображеніе лица не есть автобіографія: Шиллеръ не былъ разбойникомъ, хотя въ Карлѣ Моорѣ и выразилъ свой идеалъ чело-вѣка. Прекрасно выразился Фаригагенъ, сказавъ, что на Онѣгина и Ленскаго можно было смотрѣть, какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жанъ-Поля Рихтера, т.-е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ быть, воплотилъ двойство своего внутреннего существа въ этихъ двухъ жи-выхъ созданіяхъ. Мысль вѣрная, а между тѣмъ было бы очень нелѣпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизнью самого поэта.

Вотъ причина неопредѣленности Печорина и тѣхъ противорѣчій, кото-рыми такъ часто опутывается изображеніе этого характера. Чтобы изобра-зить вѣрно данный характеръ, надо совершенно отдѣлиться отъ него, стать выше его, смотрѣть на него, какъ на нѣчто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданіи Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же не-полнымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ единствомъ ощу-щенія, нисколько не поражаетъ единствомъ мысли и оставляетъ насъ безъ всякой перспективы, которая невольно возникаетъ въ фантазіи читателя по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую невольно погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романѣ удивительная замкнутость созданія, но не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической идеи, а происходящая отъ единства поэтического ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ „Вертерѣ“ Гёте, и потому есть что-то тяжелое въ его впечатлѣніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа г. Лермонтова: таковы бывають всѣ совре-менные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произве-деніяхъ: это вопль страданія, но вопль, который облегчаетъ страданіе...

Это же единство ощущенія, а не идеи, связываетъ и весь романъ. Въ „Онѣгинѣ“ всѣ части органически сочленены, ибо въ избранной рамкѣ ро-мана своего Пушкинъ исчерпалъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измѣнить, ни замѣнить. „Герой нашего времени“ предста-вляетъ собою нѣсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую раму, кото-рая состоитъ въ названіи романа и единствѣ героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостью; но какъ онѣ суть только отдѣльные случаи изъ жизни хотя и одного и того же чело-вѣка, то и могли быть замѣнены другими, ибо вмѣсто приключенія въ крѣпости съ Белою или въ Тамани, могли бы быть подобныя же и въ другихъ мѣстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ же героѣ. Но, тѣмъ не менѣе, основная мысль автора даетъ имъ единство, и общность ихъ впечатлѣнія поразительна, не говоря уже о томъ, что „Бѣла“, „Максимъ Максимычъ“ и „Тамань“, отдѣльно взятая, суть въ высшей степени художественныя произведенія. И какія типическія, какія дивно-художественныя лица—Бѣлы,

Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дѣвушки въ Тамани! Какія поэтическія подробности, какой на всемъ поэтической колоритъ.

Но „Княжна Мери“, и какъ отдѣльно взятая повѣсть, менѣе всѣхъ другихъ художественна. Изъ лицъ одинъ Грушницкій есть истинно-художественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, хотя и является въ тѣни, какъ лицо меньшей важности. Но всѣхъ слабѣе обрисованы лица женскія, потому что на нихъ-то особенно сильно отразилась субъективность взгляда автора. Лицо Вѣры особенно неуловимо и неопредѣленно. Это скорѣе сатира на женщину, чѣмъ женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, какъ авторъ тотчасъ же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какою-нибудь совершенно произвольною выходкою. Отношенія ея къ Печорину похожи на загадку. То она кажется вамъ женщиною глубокою, способною къ безграничной любви и преданности, къ геройскому самоотверженію; то видите въ ней одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которыя не мѣшаютъ женщинѣ любить горячо и беззавѣтно, но которыя едва ли когда допустить истинно-глубокую женщину сносить тиранство любви. Она обожаетъ въ Печоринѣ его высшую природу, и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Вслѣдствіе всего этого она не возбуждаетъ къ себѣ сильнаго участія со стороны автора и, подобно тѣни, проскользаетъ въ его воображеніи. Княжна Мери изображена удачнѣе. Это дѣвушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нѣсколько идеально, въ дѣтскомъ смыслѣ этого слова: ей мало любить человѣка, къ которому влекло бы ее чувство, — непременно надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и сѣрой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятнымъ и таинственнымъ и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть нѣчто общее съ Грушницкимъ, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя; но когда увидѣла себя обманутою, она, какъ женщина, глубоко почувствовала свое оскорбленіе и пала его жертвою, безотвѣтною, безмолвно страдающею, но безъ униженія, — и сцена ея послѣдняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливаетъ ея образъ блескомъ поэзіи. Но, несмотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ея тяжбу съ Печоринымъ судило не третье лицо, какимъ долженъ былъ явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостаткѣ художественности, вся повѣсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самые парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повѣсти — то блескъ молніи, то ударъ меча, то рассыпающійся по бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслить и чувствуетъ, что всякій изъ такихъ, какъ бы ни противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидить въ ней исповѣдь собственнаго сердца.

Въ „Предисловіи“ къ журналу Печорина авторъ, между прочимъ, говоритъ:

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ рассказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта, но теперь я не могу взять на себя эту отвѣтственность.

Благодаримъ автора за пріятное обѣщаніе, но сомнѣваемся, чтобы онъ его выполнилъ: мы крѣпко убѣждены, что онъ навсегда разстался съ своимъ Печоринимъ. Въ этомъ убѣжденіи утверждаетъ насъ признаніе Гёте, который говоритъ въ своихъ запискахъ, что, написавъ „Вертера“, бывшего плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него, и былъ такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшно было видѣть, какъ сходила отъ него съ ума пылая молодежь... Такова благодарная природа поэта: собственною силою своею вырывается онъ изъ всякаго момента ограниченности и летитъ къ новымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы творенье... Обьективирова собственное страданіе, онъ освобождается отъ него; переводя на поэтическіе звуки диссонансы духа своего, онъ снова входитъ въ родную ему сферу вѣчной гармоніи. Если же г. Лермонтовъ и выполнить свое обѣщаніе, то мы увѣрены, что онъ представитъ уже не стараго и знакомаго намъ, о которомъ онъ уже все сказалъ, а совершенно новаго Печорина, о которомъ еще можно много сказать. Можетъ быть, онъ покажетъ намъ его исправившимся, признавшимъ законы нравственности, но, вѣрно, ужъ не въ утѣшеніе, а въ пущее огорченіе моралистовъ; можетъ быть, онъ заставитъ его признать разумность и блаженство жизни, но для того, чтобы увѣриться, что это не для него, что онъ много утратилъ силъ въ ужасной борьбѣ, ожесточился въ ней, и не можетъ сдѣлать эту разумность и блаженство своимъ достояніемъ... А можетъ быть и то: онъ сдѣлаетъ его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побѣдителемъ надъ злымъ гениемъ жизни... Но то или другое, а во всякомъ случаѣ искупленіе будетъ совершено черезъ одну изъ тѣхъ женщинъ, существованію которыхъ Печоринъ такъ упрямо не хотѣлъ вѣрить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцаніи, а на бѣдныхъ опытахъ своей жизни... Такъ сдѣлалъ и Пушкинъ съ своимъ Онѣгинымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за невѣріе въ таинство любви и жизни, и въ достоинство женщины...

Стихотворенія Кольцова.

Стихотворенія Кольцова можно раздѣлить на три разряда. Къ первому относятся піесы, писанныя правильнымъ размѣромъ, преимущественно ямбомъ

и хореемъ. Большая часть ихъ принадлежитъ къ первымъ его опытамъ, и въ нихъ онъ былъ подражателемъ поэтовъ, наиболѣе ему нравившихся. Таковы пьесы: „Сирота“, „Ровеснику“, „Маленькому брату“, „Ночлегъ чумаковъ“, „Путникъ“, „Красавицъ“, „Сестрѣ“, „Приди ко мнѣ“, „Разувѣреніе“, „Не мнѣ внимать напѣвъ волшебный“, „Мщеніе“, „Вздохъ на могилѣ Веневитинова“, „Къ рѣкѣ Гайдарѣ“, „Что значу я“, „Утѣшеніе“, „Я былъ у ней“, „Первая любовь“, „Къ ней же“, „Наяда“, „Къ Н.“, „Соловей“, „Къ Другу“, „Изступленіе“, „Поэтъ и няня“, „А. П. Серебрянскому“. Въ этихъ стихотвореніяхъ проглядываетъ что-то похожее на талантъ и даже оригинальность; нѣкоторыя изъ нихъ даже очень недурны. По крайней мѣрѣ, изъ нихъ видно, что Кольцовъ и въ этомъ родѣ поэзіи могъ бы усовершенствоваться до извѣстной степени; но не иначе, какъ съ трудомъ и усиленіемъ выработавши себѣ стихъ и оставаясь подражателемъ, съ нѣкоторымъ только отбѣнкомъ оригинальности. Правильный стихъ не былъ его достояніемъ, и какъ бы ни выработалъ онъ его, все-таки никогда бы не сравнился въ немъ съ нашими звучными поэтами даже средней руки. Но здѣсь и виденъ сильный, самостоятельный талантъ Кольцова: онъ не остановился на этомъ сомнительномъ успѣхѣ, но, движимый однимъ инстинктомъ своимъ, скоро нашелъ свою настоящую дорогу. Съ 1831 года онъ рѣшительно обратился къ русскимъ пѣснямъ, и если писалъ иногда правильнымъ размѣромъ, то уже безъ всякихъ претензій на особенный успѣхъ, безъ всякаго желанія подражать, или состязаться съ другими поэтами. Особенно любилъ этимъ размѣромъ, чаще безъ рѣимы, съ которою онъ плохо ладилъ, выражать ощущенія и мысли, имѣвшія непосредственное отношеніе къ его жизни. Таковы (за исключеніемъ пьесъ: „Цвѣтокъ“, „Бѣдный призракъ“, „Товарищу“) пьесы: „Послѣдняя борьба“, „Къ милой“, „Примиреніе“, „Миръ музыки“, „Не разливай волшебныхъ звуковъ“, „К***“, „Воплъ страданія“, „Звѣзда“, „На новый 1842 годъ“. Пьесы же: „Очи, очи голубыя“, „Размолвка“, „Люди добрые, скажите“, „Теремъ“, „По-надъ Дономъ садъ цвѣтетъ“, „Совѣтъ старца“, „Глаза“, „Домигъ лѣсника“, „Женитьба Павла“ — составляютъ переходъ отъ подражательныхъ опытовъ Кольцова къ его настоящему роду — русской пѣснѣ.

Въ русскихъ пѣсняхъ талантъ Кольцова выразился во всей своей полнотѣ и силѣ. Рано почувствовалъ онъ безсознательное стремленіе выражать свои чувства складомъ русской пѣсни, которая такъ очаровывала его въ устахъ простого народа; но его удерживала отъ этого мысль, что русская пѣсня — не поэзія, а что-то простонародное, грубое и вульгарное. Къ счастью, ему попала въ руки книжка стихотвореній барона Дельвига (изданная въ 1829 году). Каково же было его удовольствіе, его радость, когда въ этой книжкѣ онъ увидѣлъ между „настоящими“ стихотвореніями и русскія пѣсни! Онъ сейчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло, и порѣшилъ его такимъ силлогизмомъ: баронъ — вѣдь это баринъ, да еще большой, все равно, что графъ или князь,

и, вѣрно, онъ ученый человѣкъ; но онъ сочиняетъ же русскія пѣсни: стало-быть, русская пѣсня не вздоръ, не глупость, а тоже — поэзія... И съ тѣхъ поръ, онъ все больше и больше началъ наклоняться къ этому роду поэзіи. Первые пѣсни, какъ написанныя имъ еще до знакомства съ пѣснями Дельвига, такъ и многія, написанныя до 1835 года, были чѣмъ-то среднимъ между романсомъ и русскою пѣснею, и потому походили на русскія пѣсни то Дельвига, то Мералякова. Но еще съ 1830 года, ему уже удавалось иногда выражать въ русской пѣснѣ всю оригинальность своего таланта и пессимъ: „Кольцо“, „Удалецъ“, „Крестьянская пирушка“, „Размышленіе поселенина“ (1830 — 1832), недостаетъ только зрѣлости мысли, чтобъ быть образцовыми въ своемъ родѣ произведеніями. Но съ пѣсень: „Ты не пой, соловей“ (1830) и „Не шуми ты, рожь“ (1834), начинается рядъ русскихъ пѣсень, какъ особаго рода, созданнаго Кольцовымъ.

Для означенія различныхъ степеней дара творчества употребляются, большею частію, два слова талантъ и геній. Подъ первымъ разумѣется низшая, подъ вторымъ—высшая степень способности творить. Но такое раздѣленіе довольно неопредѣленно: оно не даетъ мѣры (критеріума) для опредѣленія высоты художественной силы. Правда, талантъ и геній отличаются другъ отъ друга тѣмъ, что первый ниже второго, а второй выше перваго; но чѣмъ же именно ниже или выше—вотъ вопросъ! Одно изъ главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ качествъ генія есть оригинальность и самобытность, потомъ всеобщность и глубина его идей и идеаловъ, и, наконецъ, историческое вліяніе ихъ на эпоху, въ которую онъ живетъ. Геній всегда открываетъ своими твореніями новый, никому до него неизвѣстный, никѣмъ не подозрѣваемый міръ дѣйствительности. Толпа живетъ и движется, но безсознательно; переживши извѣстный историческій моментъ и уже нося въ самой себѣ всѣ элементы новаго существованія, она тѣмъ упорнѣе держится формъ стараго. Является геній—и возвѣщаетъ людямъ новую жизнь, начала которой они уже носили въ себѣ и корень которой скрывался уже въ самомъ прошедшемъ. Но толпа не признаетъ своего участія въ дѣлѣ генія; дико и враждебно смотритъ она на новый міръ мысли и формы, открывающійся въ его твореніяхъ, и только немногіе берутъ его сторону, и только новыя поколѣнія упрочиваютъ за нимъ побѣду. Имя генія — миллионъ, потому-что въ груди своей носитъ онъ страданія, радости надежды и стремленія миллионновъ. И вотъ въ чемъ заключается всеобщность его идей и идеаловъ: они касаются всѣхъ, они всѣмъ нужны, они существуютъ не для избранныхъ, не для того или для другого сословія, но для цѣлаго народа, а черезъ него и для всего человѣчества. Частность и исключительность, напротивъ, есть достоинство таланта,—и потому бываютъ таланты, произведенія которыхъ нравятся или только веселымъ и счастливымъ, или только меланхоликамъ и несчастнымъ, или только образованнымъ классамъ общества, или только низшимъ слоямъ его и т. д. Есть люди, которые нечаянно

открывали въ себѣ талантъ черезъ какой-нибудь внѣшній и случайный толчокъ: одинъ оттого, что ослѣпъ, другой оттого, что лишился любимой имъ женщины, третій оттого, что пострадалъ за правое дѣло, или за преступленіе, въ которомъ былъ невиненъ, и т. д. Безъ этихъ случайностей, всѣ эти люди никогда не сдѣлались бы поэтами. Естественно, что каждый изъ нихъ поетъ на одинъ и тотъ же ладъ и всегда одно и то же, и потому нравится только людямъ, которые одинаково съ нимъ настроены и находятъ въ его произведеніяхъ отголоски своихъ личныхъ ощущеній, или примѣненія къ обстоятельствамъ своей жизни. Отсутствие оригинальности и самобытности всегда есть характеристическій признакъ таланта: онъ живетъ не своею, а чужою жизнью, его вдохновеніе есть не чтó иное, какъ „плѣнной мысли раздраженіе“—мысли, захваченной у генія или подслушанной у самой толпы. Талантъ не управляетъ толпою, а льститъ ей, не утверждаетъ даже новой моды, а идетъ за модою, куда дуетъ вѣтеръ, туда и стремится онъ. Поди онъ противъ—и его сейчасъ забудутъ, а этого-то онъ и боится больше всего на свѣтѣ. Иногда онъ кажется оригинальнымъ и, въ свою очередь, порождаетъ толпу подражателей; но эта оригинальность тотчасъ исчезаетъ, какъ скоро привыкнутъ и приглядятся къ ней, и оказывается или результатомъ чуждаго вліянія, или проявленіемъ дурного вкуса эпохи; а толпа подражателей доказываетъ только то, что и талантъ имѣетъ степени, и менѣе талантливые подражаютъ болѣе талантливому.

Очевидно, что геній и талантъ суть только крайнія степени, противоположные полюсы творческой силы, и что между ними должно быть что-нибудь среднее. Въ самомъ дѣлѣ, иначе міръ искусства былъ бы очень скученъ, состоя изъ однихъ геніальныхъ твореній, окруженныхъ развалинами эфемерныхъ произведеній таланта. Напротивъ, во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности, исторія сохранила имена людей, которые не были геніями, не были полномочными властелинами своего времени, но тѣмъ не менѣе имѣли на него свое дѣйствительное вліяніе, и потому заняли хотя и второстепенныя, но почетныя мѣста въ благодарной памяти потомства. Въ сферѣ искусства такихъ людей называютъ большими и великими талантами, въ отличіе отъ геніевъ и обыкновенныхъ талантовъ. Но это названіе довольно неопредѣленно. Мы думаемъ, къ такимъ людямъ лучше бы шло названіе геніальныхъ талантовъ, какъ выражающее и ихъ сродство съ геніемъ и съ талантомъ, и ту средину, которую они занимаютъ между тѣмъ и другимъ.

Но слова ничего не значать, если не выражаютъ идеи, доказывающей ихъ необходимость и дѣйствительность. И потому, мы должны оправдать употребленное нами выраженіе „геніального таланта“, показавши его отношеніе къ генію и „таланту“. Геніальный талантъ отличается отъ обыкновеннаго таланта тѣмъ, что, подобно генію, живетъ собственною жизнью, творитъ свободно, а не подражательно, и на свои творенія налагаетъ пе-

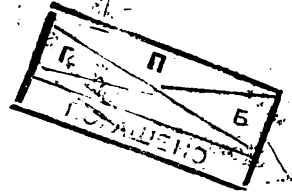
чать оригинальности и самобытности, со стороны какъ содержанія, такъ и формы. Отъ генія же онъ отличается объемомъ своего содержанія, которое у него бываетъ менѣе обще и болѣе частно. И потому, геній есть полный властелинъ своего времени, которое носитъ на себѣ его имя,—тогда какъ вліяніе геніальнаго таланта, какъ бы оно ни было сильно, всегда простирается только на одну какую-нибудь сторону искусства и жизни. Другими словами: геній захватываетъ и наполняетъ собою цѣлую область современной ему дѣйствительности, геніальный талантъ—одинъ уголокъ ея. Чтò въ геніи составляетъ полноту его существованія,—то въ геніальномъ талантѣ есть какъ бы отблескъ генія. Но сходное и общее между ними, несмотря на всю огромность раздѣляющаго ихъ пространства—это та оригинальность и самобытность, которая порождаетъ множество подражателей, но ни одного самостоятельнаго таланта, которой можно подражать, но которой невозможно усвоить. И вотъ гдѣ существенное отличіе геніальнаго таланта отъ обыкновеннаго. Послѣдній есть не болѣе, какъ посредникъ между геніемъ и толпою, родъ фактора, необходимаго для облегченія сношеній между ними: невольно увлекаясь идеями генія, онъ ихъ совлекаетъ съ ихъ высокаго, недоступнаго толпѣ пьедестала, и тѣмъ самымъ приближаетъ ихъ къ разумнію толпы. Подъ рукою таланта, идеи генія, такъ сказать, мельчаютъ и опошливаются, но тѣмъ самымъ онѣ и дѣлаются популярными, становятся всѣмъ доступными и каждому извѣстными. И потому, талантъ совершаетъ великое дѣло; но въ этомъ случаѣ, онъ дѣлается жертвою собственнаго успѣха: по мѣрѣ того, какъ онъ болѣе знакомитъ и сближаетъ толпу съ геніемъ, добродушно думая знакомить и сближать ее только съ самимъ собою—толпа все болѣе и болѣе отворачивается отъ него, обращаясь все болѣе и болѣе къ самому генію, непосредственныя сношенія съ которымъ стали для нея уже возможными и доступными. Сдѣлавши свое дѣло, таланты (потому что для такого дѣла одного таланта мало, а нужна толпа талантовъ) забываются: имена ихъ остаются въ исторіи литературы, но сочиненія предаются болѣе или менѣе полному забвенію.

Но мы все-таки еще не сказали послѣдняго слова о существенномъ различіи между геніальнымъ и обыкновеннымъ талантомъ. Оно заключается въ тайнѣ натуры человѣка. Въ человѣкѣ, владѣющемъ обыкновеннымъ талантомъ, талантъ есть сила абстрактная, родъ капитала, который принадлежитъ своему владѣльцу, но который—не одно съ нимъ. Продолжимъ наше сравненіе. Потерявши капиталъ, можно нажить другой: капиталъ—внѣшнее средство для жизни, но не сама жизнь. Какъ часто видимъ мы людей, которые долгое время пользовались огромною извѣстностію своего таланта, пережили свой талантъ и свою извѣстность, и которые, несмотря на то, сумѣли вознаградить себя другими благами жизни: приобрѣли большіе чины или большіе деньги, и прекрасно живутъ себѣ безъ таланта и безъ славы. Не таковъ человѣкъ, одаренный геніальнымъ талантомъ: его нельзя отдѣ-

лить отъ его таланта, его талантъ—его жизнь, его кровь, его духъ, его плоть, біеніе его сердца, дыханіе его груди, словомъ—весь онъ самъ. Это роковая сила, которая всегда будетъ мчать его къ одной цѣли; къ одной дѣятельности, наперекоръ судьбѣ, рожденію, воспитанію, всѣмъ внѣшнимъ обстоятельствамъ его жизни, какъ бы ни были они сильны. Онъ страстенъ къ славѣ и очень не чуждъ самолюбія; но еще не въ этомъ только источникъ его ничѣмъ неудержимаго стремленія къ творчеству: оно у него—инстинктъ, натура, страсть. Въ отношеніи къ своему призванію, онъ смѣло можетъ сказать о себѣ:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Игрызала душу и сожгла.

.....
Я эту страсть во тѣмъ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землею
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.



Сила геніальнаго таланта основана на живомъ, неразрывномъ единствѣ челоѵѣка съ поэтомъ. Тутъ замѣчательность таланта происходитъ отъ замѣчательности челоѵѣка, какъ личности, какъ натуры; тогда какъ обыкновенный талантъ отнюдь не условливаетъ собою необыкновеннаго челоѵѣка: тутъ челоѵѣкъ и талантъ—каждый самъ по-себѣ, и челоѵѣкъ, въ отношеніи къ таланту, есть то же, чтѣ ящикъ въ отношеніи къ деньгамъ, которыя въ немъ лежатъ. Сильная и богатая натура всегда отличается отъ натуръ обыкновенныхъ, никогда на нихъ не похожа, всегда оригинальна,—и удивительно ли, если печать этой оригинальности налагаетъ она и на свои творенія? Самобытность поэтическихъ произведеній есть отраженіе самобытности создавшей ихъ личности.

У всякаго челоѵѣка есть лицо, слѣдовательно, всякій челоѵѣкъ есть личность; и однакожъ въ челоѵѣческомъ родѣ гораздо больше существъ неопредѣленныхъ, безцвѣтныхъ, безхарактерныхъ, слѣдовательно, безличныхъ, нежели существъ съ рѣзкимъ выраженіемъ личности. Лицо есть выраженіе. Душа челоѵѣка; но вѣдь есть лица, которыхъ нельзя забыть, разъ увидѣвши, и есть лица, которыя видишь безпрестанно цѣлыя годы и забываешь, не видя недѣлю. Слѣдовательно, личность имѣетъ свои степени и свою постепенность. Чѣмъ общѣе, тѣмъ ничтожнѣе она; чѣмъ болѣе поражаетъ оригинальностью, тѣмъ она выше. Поэтому, геній есть высочайшее развитіе личности. Тайну генія составляетъ собственно не умъ: умъ, и часто весьма замѣчательный, бываетъ и у обыкновенныхъ людей; не талантъ: талантъ, и притомъ весьма замѣчательный, часто бываетъ и у обыкновенныхъ людей; не сердце: оно тоже, и очень часто, бываетъ удѣломъ людей.

обыкновенныхъ. Нѣтъ, тайна генія заключается больше всего въ какой-то непосредственной творческой способности вдохновенія, похожаго на откровеніе и составляющаго тайну личности человѣка. Это что-то такъ же неуловимое и невыразимое словомъ, какъ выраженіе фізіономіи, какъ органическая жизнь. Намъ извѣстны средства жизни, ея органы, ихъ отправленія; но фізіологическая жизнь все-таки для насъ тайна. Мы не можемъ выразить сущности генія, но всегда вѣрно чувствуемъ преобладающее надъ нами влияніе не только генія, но и всякой сколько-нибудь высшей насъ личности. Иногда геніальная личность, обдѣленная образованіемъ и не подозрѣвающая своего значенія, съ смиреніемъ и съ робостью подходитъ къ человѣку обыкновенному, но образованному, развитому и ученіемъ и свѣтскою жизнью; но дѣло всегда оканчивается тѣмъ, что первая незамѣтно беретъ верхъ надъ послѣднимъ, и обыкновенный человѣкъ, въ присутствіи геніальнаго невѣжды, какъ-то невольно дѣлается осторожнымъ, какъ бы боясь проговориться. Вотъ что значитъ личность, натура,—и талантъ тогда только бываетъ плодотворенъ и живучъ, когда онъ тѣсно соединенъ съ личностью, съ натурою человѣка. И вотъ почему иногда бываютъ люди съ талантомъ, не имѣя ни ума, ни сердца: это таланты обыкновенные, которые могутъ существовать безъ связи съ личностью и натурою человѣка.

Когда талантъ въ человѣкѣ есть не просто внѣшняя сила производить на основаніи влеченія самобытными образцами, но выраженіе внутренней сущности человѣка, его личности, его натуры—тогда, каковъ бы ни былъ объемъ этого таланта, но онъ уже сила творческая, зиждательная, слѣдовательно, въ немъ уже заключается искра геніальности,—и если, по его объему, его нельзя назвать „геніемъ“, то можно и должно назвать „геніальнымъ талантомъ“.

Къ числу такихъ талантовъ принадлежитъ и талантъ Кольцова.

Пока сочиненія Кольцова были разбросаны по разнымъ періодическимъ изданіямъ, подобное заключеніе о его талантѣ не безъ основанія могло бы показаться нѣсколько преувеличеннымъ; но теперь, когда все написанное имъ собрано въ одной книгѣ, и наше мнѣніе можетъ быть повѣреннымъ, мы смѣло выговариваемъ его не какъ простое мнѣніе, но какъ глубокое и обдуманное убѣжденіе.

Кромѣ пѣсенъ, созданныхъ самимъ народомъ, и потому называющихся „народными“, до Кольцова у насъ не было художественныхъ народныхъ пѣсенъ, хотя многіе русскіе поэты и пробовали свои силы въ этомъ родѣ, а Мерзляковъ и Дельвигъ даже приобрѣли себѣ большую извѣстность своими русскими пѣснями, за которыми публика охотно утвердила титулъ „народныхъ“. Въ самомъ дѣлѣ, въ пѣсняхъ Мерзлякова попадаются иногда мѣста, въ которыхъ онъ удачно подражаетъ народнымъ мелодіямъ, и вообще онъ по этой части сдѣлалъ все, что можетъ сдѣлать талантъ. Но, несмотря на то, въ цѣломъ, его русскія пѣсни не что иное, какъ романсы, пропѣтые

на русский народный мотивъ. Въ нихъ виденъ баринъ, которому пришла охота попробовать сыграть роль крестьянина. Чтò же касается до русскихъ пѣсенъ Дельвига—это уже рѣшительно романсы, въ которыхъ русскаго—одни слова. Это чистая поддѣлка, въ которой роль русскаго крестьянина игралъ даже и не совсѣмъ русский, а скорѣе нѣмецкй, или, еще ближе къ дѣлу, итальянскй баринъ. Мерзляковъ, по крайней мѣрѣ, перенесъ въ свои русскія пѣсни русскую грусть-тоску, русское гореванье, отъ котораго щемить сердце и захватываетъ духъ. Въ пѣсняхъ Дельвига нѣтъ ничего, кромѣ сладенькаго любезничанья и сладенькой задумчивости, слѣдовательно, нѣтъ ничего русскаго. Впрочемъ, наше мнѣнiе о пѣсняхъ Мерзлякова клонится не къ униженiю его таланта, весьма замѣчательнаго; но мы хотимъ только сказать, что русскія пѣсни могъ создать только русскй человѣкъ, сынъ народа, въ такомъ смыслѣ, въ какомъ и самъ Пушкинъ не былъ и не могъ быть русскимъ человѣкомъ, по причинѣ рѣзкаго разрыва, произведеннаго реформою Петра Великаго между образованными классами русскаго общества и массою народа. Въ пьесахъ Пушкина, содержанiе которыхъ взято изъ народной жизни и выражено въ народной формѣ, видна душа глубоко-русская, но, въ то же время, видна и та художественная объективность, которая дѣлала для Пушкина возможнымъ быть какъ у себя дома во всѣхъ сферахъ жизни, даже самыхъ противоположныхъ другъ другу; и благодаря которой онъ въ „Каменномъ гостѣ“ изобразилъ природу и нравы Испанiи съ такою же поразительною вѣрностью, какъ въ „Русалкѣ“ изобразилъ природу и нравы Руси временъ удѣловъ. Сверхъ того, въ этой „Русалкѣ“, если внимательнѣе прислушаться къ ея звукамъ, приглядѣться къ ея колориту,—нельзя не открыть въ ней примѣсы поэтическихъ элементовъ, болѣе обрусѣнныхъ поэтомъ, если можно такъ выразиться, нежели чисто русскихъ. Сейчасъ видно, что эта пьеса писана поэтомъ, который образованъ европейски и который безъ этого обстоятельства не могъ бы написать ее такъ. Не таковъ мiръ русскихъ пѣсенъ Кольцова: въ нихъ и содержанiе и форма чисто-русскiя,—и несмотря на всю объективность своего генiя, Пушкинъ не могъ бы написать ни одной пѣсни въ родѣ Кольцова, потому что Кольцовъ одинъ и безраздѣльно владѣлъ тайною этой пѣсни. Этою пѣсней онъ создалъ свой особенный, только одному ему довлѣвшй мiръ, въ которомъ и самъ Пушкинъ не могъ бы съ нимъ соперничествовать,—но не по недостатку таланта, а потому, что мiръ пѣсни Кольцова требуетъ всего человѣка, а для Пушкина, какъ для генiя, этотъ мiръ былъ бы слишкомъ тѣсенъ и малъ, и потому могъ входить только, какъ элементъ, въ огромный и необъятный мiръ Пушкинской поэзiи.

Кольцовъ родился для поэзiи, которую онъ создалъ. Онъ былъ сыномъ народа, въ полномъ значенiи этого слова. Быть, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскй бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для

краснаго словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровью любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что, какъ зародышъ, какъ возможность, живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ сочувствовалъ онъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его быть, его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни,—зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не черезъ изученіе, а потому, что самъ, и по своей натурѣ и по своему положенію, былъ вполне русскій человѣкъ. Онъ носилъ въ себѣ всѣ элементы русскаго духа, въ особенности—страшную силу въ страданіи и въ наслажденіи, способность бѣшено предаваться и печали и веселью, и, вмѣсто того, чтобы падать подъ бременемъ самаго отчаянія, способность находить въ немъ какое-то буйное, удалое, размашистое упоеніе, а если уже пасть, то спокойно, съ полнымъ сознаніемъ своего паденія, не прибѣгая къ ложнымъ утѣшеніямъ, не ища спасенія въ томъ, чего не нужно было ему въ его лучшіе дни. Въ одной изъ своихъ пѣсенъ, онъ жалуется, что у него нѣтъ воли,

Чтобъ въ чужой сторонѣ
На людей поглядѣть;
Чтобъ порой предъ бѣдой
За себя постоять;
Подъ грозой роковой
Назадъ шагу не дать;
И чтобъ съ горемъ, въ пиру,
Быть съ веселымъ лицомъ;
На погибель идти—
Пѣсни пѣть соловьемъ.

Нѣтъ, въ томъ не могло не быть такой воли, кто въ столь мощныхъ образахъ могъ выразить свою тоску по такой волѣ...

Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнью народа, какъ это само собою сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая свѣтлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовью крестьянина, который смотритъ на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ: прочтите его „Пѣсню пахаря“ и „Урожай“. Сколько сочувствія къ крестьянскому быту въ его „Крестьянской пирушкѣ“ и въ пѣснѣ: „Что ты спишь, мужичокъ?“!

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашелъ онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ пѣтикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантазії своей, которая давала ему только образы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностью содержанія. И потому въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и исключенныя бороды, и

старыя онучи—и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзіи. Любовь играетъ въ его пѣсняхъ большую, но далеко не исключительную роль: нѣтъ, въ нихъ вошли и другіе, можетъ быть, еще болѣе общіе элементы, изъ которыхъ слагается русскій простонародный бытъ. Мотивъ многихъ его пѣсенъ составляетъ то нужда и бѣдность, то борьба изъ копейки, то прожитое счастье, то жалобы на судьбу-мачеху.

Въ одной пѣснѣ крестьянинъ садится за столъ, чтобы подумать, какъ ему жить одинокому; въ другой выражено раздумье крестьянина, на что ему рѣшиться—жить ли въ чужихъ людяхъ, или дома браниться съ старикомъ-отцомъ, рассказывать ребятишкамъ сказки, ботѣть, старѣться. Такъ, говоритъ онъ, хоть оно и не тово, но ужъ такъ бы и быть, да кто пойдетъ за нищаго? „Гдѣ избытокъ мой зарытъ лежитъ?“ И это раздумье разрѣшается въ саркастическую русскую иронию:

Куда глянешь—всюду наша степь;
На горахъ—лѣса, сады, дома;
На днѣ моря—груды золота;
Облака идутъ—нарядъ несутъ!..

Но если гдѣ идетъ дѣло о горѣ и отчаяніи русскаго человѣка—тамъ поэзія Кольцова доходитъ до высокаго, тамъ обнаруживаетъ она страшную силу выраженія, поразительное могущество образовъ.

Пала грусть-тоска тяжелая
На кручинную головушку;
Мучить душу мука смертная,
Вонъ изъ тѣла душа просится.

И какая же вмѣстѣ съ тѣмъ сила духа и воли въ самомъ отчаяніи:

Въ ночь, подѣ бурей, я коня сѣдлалъ,
Безъ дороги въ путь отправился—
Горе мыкать, жизнью тѣшиться:
Съ зломъ долей перевѣдаться...

И послѣ этой пѣсни („Измѣна суженой“), прочтите пѣсню: „Ахъ, зачѣмъ меня“—какая разница! Тамъ буря отчаянія сильной мужской души, мощно опирающейся на самое себя; здѣсь грустное воркованіе горлицы, глубокая, раздирающую душу жалоба нѣжной женской души, осужденной на безвыходное страданіе...

Когда форма есть выраженіе содержанія, она связана съ нимъ такъ тѣсно, что отдѣлить ее отъ содержанія значитъ уничтожить самое содержаніе; и наоборотъ: отдѣлить содержаніе отъ формы значитъ уничтожить форму. Эта живая связь, или, лучше сказать, это органическое единство и тождество идеи съ формою и съ идеею бываетъ достояніемъ только одной гениальности. Простой талантъ всегда опирается или преимущественно на содержаніе, и тогда его произведенія не долговѣчны со сторонѣ формы, или

преимущественно блистаетъ формою, и тогда его произведенія эфемерны со стороны содержанія; но главное, и въ томъ и другомъ случаѣ, богатая мыслию, или щеголяющія вышнюю красотою, они лишены оригинальности формы, свидѣтельствующей о самобытности мысли. Здѣсь-то всего яснѣе и открывается, что обыкновенный талантъ основанъ на способности подражанія, на способности увлеченія образцами,—и въ этомъ заключается причина недолговѣчности, а чаще всего и эфемерности таланта. И потому, оригинальность есть не случайное, но необходимое свойство геніальности, есть черта, которая отдѣляетъ геніальность отъ простой талантливости или дарovitости. Но эта оригинальность, прежде всего поражающая читателя въ языкѣ поэта, не должна быть искусственною, или изысканною: тогда она увлекаетъ только на минуту и потомъ тѣмъ болѣе дѣлается предметомъ осмѣянія и презрѣнія, чѣмъ больше сперва имѣла успѣха. Поэтъ долженъ быть оригиналенъ, самъ не зная, какъ, и если долженъ о чемъ-нибудь заботиться, такъ это не объ оригинальности, а объ истиннѣ выраженія: оригинальность придетъ сама-собою, если въ талантѣ его есть геніальность. Истинная оригинальность въ изобрѣтеніи, а слѣдовательно, и въ формѣ, возможна только при вѣрности дѣйствительности и истинѣ.

Такою оригинальнію Кольцовъ обладалъ въ высшей степени. Съ этой стороны его пѣсни смѣло можно равнять съ баснями Крылова.



8
MK

U.C. BERKELEY LIBRARIES



0006679716

MK U.C. BERKELEY LIBRARIES



0006679716

1/1

(X)

